

МАТЬ-МАЧЕХА

Владимир Солоухин

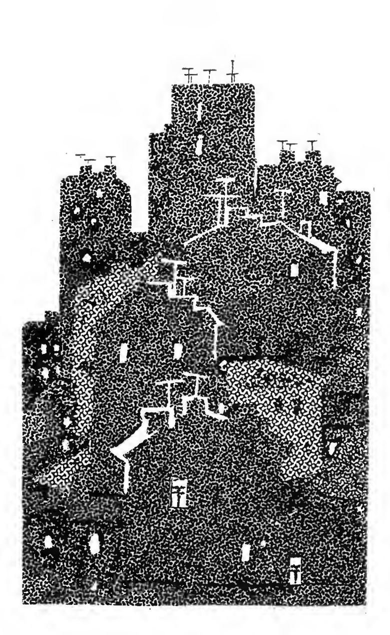
РАССКАЗЫ








МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ · 1969



ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Мать-мачеха

РОМАН.
РАССКАЗЫ

P_2
C60

7—3—2

СВИДАНИЕ С ТАЛАНТОМ

Высокие горы начинаются с предгорий, а книги с предисловий. И начать свое предисловие я хочу словами автора этой книги. Открывая «Избранное» К. Паустовского, Владимир Солоухин писал: «Имя писателя, художника становится часто как бы волшебной палочкой. Дотронешься до глухой стены — и тотчас окажешься в прекрасном, новом для тебя мире, в стране, по которой так интересно, так нужно, так сладостно путешествовать. Сколько больших художников — столько и стран, особых, не похожих одна на другую».

Это так. Но думается, что наше путешествие становится интересным еще и потому, что мы уже знаем того необыкновенного и удивительного человека, создателя этой «страны», которого полюбили и на свидание с талантом которого спешим всякий раз, когда видим его новую книгу или перечитываем уже знакомую.

Есть в этом какое-то очень ощутимое сходство с пережитыми и будущими свиданиями с любимым или близким человеком — другом, товарищем. Спеша к нему, мы каждый раз несем с собой гамму чувств, целый мир мыслей, событий, фактов одного дня, недели, месяца, года, чтобы найти отзвук их в том, кого любим, кому доверяем. И постоянно в нас горит, подчас неосознанно, желание открыть в друге какие-то новые черты и надежда на то, что эта новая встреча пройдет еще интереснее, искреннее.

Уверен, что именно с такими чувствами читатель возьмет в руки и эту книгу полюбившегося ему писателя, художника с удивительным и неповторимым талантом, рожденным на древней и вечно юной земле Владимирской. Первое наше знакомство с В. Солоухиным состоялось в конце 50-х годов, когда вместе с автором мы с удовольствием отправились в путешествие по «Владимирским проселкам». Так называлась его первая книга лирической прозы, которая явилась и открытием нового таланта, и откровением его в своей глубокой привязанности к родной земле. Но в этой любви угадывалось большее, в малых проселках виделись большие дороги России, потому что любовь к Родине всегда конкретна, всегда связана с теми местами, где вы родились, где прошлепало по весенним травам ваше босоногое детство, где открылся перед вами мир юности с ее романтическими мечтами, надеждами и планами, где навсегда осталась частица вашего сердца. И как органична с Россией при всем своем своеобразии и неповторимости Владимирщина, так и рожденный ею талант оказался настолько явлением индивидуальным и своеобразным, насколько и нерасторжимо связанным с прекрасной русской классической прозой.

Своеобразие в русле огромной и могучей реки русской прозы — это огромное и чудесное завоевание таланта Владимира Солоухина. Я подчеркиваю — в русле, ибо индивидуальность его возникла не по тем довольно сомнительным, если не глубоко ошибочным, рецептам следования моде, стремления во что бы то ни стало к какой-то сногсшибательной оригинальности, оборачивающейся тут же оригинальничаньем, рецептам, которые порой брались на вооружение некоторыми литераторами именно в те годы. Индивидуальность художника — это прежде всего индивидуальность человека, его характера, темперамента, его внутреннего мира и мира, в котором он живет, человека, обладающего способностью донести до нас эти миры в их нерасторжимом единстве. Вот почему подражание, следование моде никогда не рождало художника, который бы входил в искусство надолго. Произведение может выдержать суровое испытание временем, если в нем выражена неповторимая человеческая личность в ее органической связи с передовыми идеями своего времени, своей эпохи. Именно с такой личностью

мы и встретились в книгах «Владимирские проселки» и «Капля росы», а затем в рассказах и романе «Мать-мачеха», с которыми читатель вновь или впервые встретится в этой книге.

Как это ни странно, но уже при чтении первых книг В. Солоухина, его рассказов невольно возникала мысль, что автор тем только и занимается, что списывает все с натуры, пропустив ее сквозь призму своего «я». И в этой на первый взгляд странной мысли была и есть своя закономерность. В самом деле, В. Солоухину нечего было придумывать, ибо сама жизнь его родного края, как и жизнь вообще, богаче и щедрее всякой самой изобретательной выдумки и безудержной фантазии. Он отправился в путешествие по тем будничным проселкам, по которым проходил или проезжал каждый из нас, если бывал на Владимирской земле. Но разница была в том, что на сей раз на проселки ступила нога художника, человека, обладающего даром удивления, открытия, проникновения в обычное, примелькавшееся в жизни.

Шагая рядом с этим чудесным спутником, мы открываем для себя красоту щедрой на краски природы среднерусской полосы, ощущаем в своем сердце те тревоги и радости, с которыми шагает по родной земле человек, в силу жизненных обстоятельств оставивший ее, но не порвавший с нею те едва уловимые и едва заметные, но очень прочные и цельные связи. Критика уже отмечала, что в решаемой творчеством Владимира Солоухина проблеме — человек и природа, человек этот — пришелец в мир природы либо по делам, либо на отдых, но он — отрезанный ломоть. И все-таки этим-то, мне кажется, и интересен В. Солоухин, ибо таких «отрезанных ломтей» в стране, ставшей индустриальной державой, очень много. Сам процесс возвращения и исповеди «блудного» сына деревни трогает за живое, трогает никогда не умирающее чувство связи человека с природой, которое живет приглушенно или остро, но постоянно в каждом.

Но нигде писатель не умиляется букашечке, козявочке, листочку, травинке. Он видит мир не глазами эмоционально настроенного дачника, а глазами труженика деревни. Отсюда его трезвость и граненая ясность наблюдений, что прочно и надежно вырабатывает иммунитет таланта против микробов слащавости, псевдохудожественности, литературщины. Шагаем мы по жизни рядом с

тружеииком. И верим, что так может поведать о труде человек, который любит землю, умеет «раззудить» плечо иа косьбе и сметать стог, махнуть тяжким молотом по гулкой и звонкой наковальне, разжечь теплинку и тут же иажарить рыжиков. И эта рабочая «мускулистость» придала его прозе интенсивность и мощиость воздействия иа читателей. Таков писатель и в кииге «Капля росы», и в рассказах, и в ромaие «Мать-мачеха».

Я специально оговариваю наличие связующего звеиа в виде рассказов между большими полотиами В. Солоухина, потому что считаю, что ромаи смог появиться в результате опыта рассказчика, что я и попробую доказать. Но прежде хотелось бы подумать иад его рассказами и порассуждать о иих.

Бесспорно, что эти короткие и бесхитростные, простые, как сельские ребятишки, рассказы о детстве писателя, о его трудиой юиости, пришедшейся иа военные годы, и воспомииаиия уже зрелого человека, связаииые с далеким и иедальиим прошлым, отчасти иеобходимое продолжеиие «Владимирских проселков» и «Капли росы», ио в то же время и явлеиие специфичиое, особеиное (правда, еще скрытое) в солиечиой системе творчества Владимира Солоухина. И его повести, и его рассказы объедииены интересиой и искреиией личностью художиика. Они, находясь в русле течеиия большой и могучей русской прозы, привиесли в иее иовое ощущеиие мира, запечатлев в себе время и человека — современиика автора. Нерв его прозы (как и нерв его талаита) обладает сильиейшей восприимчивостью, удесятеряющей силу малейшего впечатлеиия и рождающей потому явление цельиое, емкое, типичное.

Обращаясь к современиости с позиций лирического «я», В. Солоухии не мог ие ощутить потребности поглубже влезть в жизнь, посмотреть на нее изнутри, с позиций героя в третьем лице, что со всей определеииостью обиаружилось в романе «Мать-мачеха», ио готовилось исподволь уже в рассказах. Каждый его рассказ — это страничка жизии провинции в какой-то определеииый, точно очерченный отрезок времени, сквозь который четко прощупывается пульс нашего сегодия. Каждый его рассказ — это прочный сплав художественных открытий и гражданской убежденности. Внешне простой эпизод, о котором можно сказать буквальио в нескольких словах,

попадая в поле зреиня такого талаита, как талант В. Солоухииа, превращается в миииатюрное полотно жизии, а найдеиное художинком ядро этого микромира — деталь — иесет в себе такой снлы потеицнал, который обеспечивает не только крепкую связь всех элементов художественного полотиа, ио н трансформацню нх в большие идейные н эмоциональиые обобщеиня. Особенно ярко это можио обнаружнть в одном из лучших рассказов писателя — «Варвара Ивановна». Я не собнраюсь пересказывать его содержание, как н вообще содержанне всех произведеиий, собраиных в кннге, нбо онн созданы для чтеиия, а не предварнтельной аннотацнн в предисловии или рецеизин, но хочу обратнть винманне на сцеиу иелепой гнбели бригаднра Татьяны Сергеевиы.

«Лежнт поверх изрубленной на снлос кукурузы иаша Татьяиа Сергеевна. В стеганке, в мужских кожаиых сапогах. Лежит ничком, лнцо подвернуло иа стороиу. Внсок пробит железным осколком».

Обратнте внимание, как удивнтельно верно, до болн проннкновеино схватывает взгляд писателя, словно объектив кинокамеры, картнну погибшего человека. Общнй плаи, средний н вдруг крупным планом то главиое, осиовное, в котором фокусируется вся нелегкая и простая фнлософня человеческого бытня: «Рукн в земле, как полагается брнгаднру». «Руки в земле» — вот оио, то ядро, о котором говорнлось выше. Больше и ие скажешь инчего, да и ие иужио. Отсюда разрядка, спад в следующей фразе: «Глядеть, собственио, иечего». Виутреняя завершеиость у Владнмнра Солоухнна характерна не только для рассказа в целом, но н в каждом отдельном его эпнзоде и в каждой фразе вы ощутнте ее. Эта легкость, естествеииость, простота — постоянные спутницы любой завершеииости — свндетельствуют об огромной подготовнтельной и иепосредствеииой работе писателя над своимн проnзведеииямн.

Прнгляднтесь повнимательнее к рассказам, прнслушайтесь к иим, вчитываясь в каждую фразу, н вы увндите нх мастерское построенне, внешне неброское, вроде даже вялое, а внутрн беспокойное, требовательное, вы почувствуете настойчивое желаине художннка не оставнть равиодушным, подчнннть чнтателя своей воле, своему мнроощущеиию, своему взгляду иа жизнь во всех ее коикретиых проявлеииях.

Лирическое «я» Владимира Солоухина немыслимо вне связи с теми, кто трудится на земле, чьими руками украшается и преобразуется природа, теми, кто стал главным и основным читателем нашей великой страны книголюбов. Они, эти люди, с которыми свела судьба героя его рассказов, и есть соль земли. Без них зачахла б нива жизни, как сказал однажды поэт.

Сколько излучают простого и такого нужного человеку тепла своим участием в его беде или несчастье такие простые деревенские люди, как тетя Маша в рассказе «Каравай заварного хлеба», что без лишних слов и ненужных вопросов приютила, обогрела незнакомого ей паренька. Не ведая того, она преподнесла подростку такой урок жизни, который вряд ли бы он смог почерпнуть из самого толкового учебника. Просто он понял, осознал то, что было заложено в нем самой природой,— что человек всегда должен оставаться человеком. И уж ничто не могло поколебать осознанного и понятого. Писатель удачно тут же ставит героя в такое положение, когда можно было бы поколебать его теплое чувство признательности к тете Маше, к матери, чувство, подкрепленное теплым караваем заварного хлеба, который он нес своим товарищам в общежитие: шофер как плату за проезд забирает у паренька каравай. Но этот факт лишь усиливает тот зреющий в сознании паренька протест против жестокости, жадности, эгоизма, который выливается в бунте паренька против амбарного замка и неприступной крепости-тумбочки, где у Мишки Елисеева хранились продукты, пожираемые им в одиночку по ночам.

Не так прост человек, как порой принято о нем думать, а потому прямолинейное суждение о нем всякий раз наказывает совесть судящего. Такова основная мысль многих рассказов В. Солоухина, включая рассказы «Моченые яблоки», «Ножичек с костяной ручкой», «Мошенники» и др.

«Я ехал вслед за грузовиком и думал, как неожиданно может раскрыться всякий человек, какими неожиданными гранями может сверкнуть, если жизнь повернет его так и эдак» — эти мысли героя рассказа «Моченые яблоки» можно было бы поставить эпиграфом ко всему созданному В. Солоухиным.

Рецензенты порой ставили в упрек писателю, что-де в своих рассказах он не дает нам конкретных мыслей и

переживаний героя, что он лишь в общих чертах думает о «времени и о себе». Этот упрек легко опровергается конкретным анализом тех психологических задач, которые решал Владимир Солоухин в своих рассказах. Во-первых, простор мысли, вызов на сопереживание, неограниченное поле творческого воображения — вот основная и главная стратегическая установка всего творчества писателя. Таким большим доверием он пленяет и завоевывает наши нескрываемые симпатии. Во-вторых, требуемый психологизм, когда автором в обязанность герою вменяется рассуждать, анализировать, высказывать либо оценочные, либо определительные характеристики в отношении его литературных соучастников событий, либо по поводу каких-то частных или общих случаев и явлений, активным и пассивным свидетелем которых он становился, можно очень часто найти и в рассказах самого В. Солоухина. Приведу в качестве примера хотя бы рассказ «Серафима». Его герой — семнадцатилетний юноша по совету дружка записался в школу танцев. И вот после нескольких занятий автор абсолютно точно психологически передает нам мысли своего героя, которые возникали у каждого из нас, если он учился танцевать. Вот они: «...стало тянуть из неуютных казенных комнат общежития в тот совершенно иной мир, где паркет, зеркала, ритмичная музыка, плавные и красивые, тоже ритмичные движения». И не в этом ли неожиданно открывшемся красивом и необыкновенном мире, соединившемся с большой и чистой душой паренька, оттаяла, ожила прежняя Серафима? Так в комплексном психологическом сцеплении звеньев изображаемого решает В. Солоухин одну из обычных тем литературы.

А разве не построен целиком на психологизме, на внутреннем монологе героя мальчишки рассказ «Мститель»? Согретый доброй иронией, этот этюд о мальчишках включает в себя и «возрастную» степень самих героев. Третьей в их компании оказалась теплинка, которую развели в лесу двое мальчишек. Так вот она «вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице».

И уж коль скоро разговор зашел о детях в рассказах В. Солоухина, то не удержусь от восхищения перед лаконизмом, какой-то сквозной и нежной поэтичностью таких психологических этюдов о детях, как «Подворотня» и

«Бишка». Дети, видимо, очень близки поэтам схожестью отношения к миру, умением удивляться и открывать в обычном и примелькавшемся новое и неожиданное. А ведь Владимир Солоухин не только прозаик, но и один из интереснейших современных поэтов, выпустивший в свет несколько сборников своих стихов. Но его лирическая проза при этом постоянно сохраняет свою самостоятельность и независимость, хотя и в прозе он остается поэтическим писателем.

Огромную роль в развитии психологических задач, решаемых писателем в прозе, играет пейзаж. Продолжая лучшие традиции классической прозы, писатель подчиняет пейзаж человеку; не аккомпанементом звучит он у В. Солоухина, а живым участником действия. Это органично усвоено русскими прозаиками у народного творчества, где открыто происходит очеловечивание и явлений и предметов окружающего мира. Писатель как бы передает природе частицу своего нервного возбуждения. И от этой скрытой душевной вибрации мир в словесном его преломлении оживает, делается таким зримым и чувственным, что мы, кажется, ощущаем ароматы и запахи, цвет и звук. Достигается это большим эмоциональным зарядом каждой фразы. Отточенная, ладно сделанная фраза, период, с большим чувством меры использование художественных средств: эпитетов, метафор, сравнений и т. п., экономия языковых средств буквально во всем — вот далеко не полный перечень достоинств и своеобразия языка В. Солоухина. Глянув на единичное, он может воскресить, воссоздать методом накопления и подключения окружающих предметов большой мир, расширить его до горизонта и голубизны опрокинутого над головой неба, заставляя нас активно включаться в этот сложный и такой простой процесс. Вот, например, как это делает писатель в рассказе «Белая трава»: «Будем теперь по капельке увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом древесные ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное — перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня».

Но, повторяю, писатель и его двойник в рассказах — лирический герой, от имени которого ведется повествование, далеко не сторонний созерцатель происходящего, хотя он и выступает нареченным критикой «пришельцем» в мир природы. И опять-таки свидетельством тому не только выводы, прочувствованные и испытанные в жизни и потому так откровенно и даже категорично вынесенные на наш суд, как, например, в рассказе «Моченые яблоки»: «Говорят, что лучше всего сближает людей дорога. Но это неверно. Не дорога, а работа, делание одного и того же дела — вот что сближает людей по-настоящему и наверняка». В этом убеждает нас и само активное участие лирического героя в жизнеутверждающем, созидающем процессе труда и защиты его результатов. Рассказывая о борьбе с пожаром, герой «Закона набата» не скрывает тех чувств, которые наполняли его душу тем, что он оказался в центре борьбы, ее непосредственным и активным участником.

«Что-то проснулось в наших олепинских мужиках, и холодок восторга от своей же дружности и слаженности приятно пробежал у меня по спине.

Медный, хоть и давно не чищеный брандспойт в моих руках (так уж получилось в горячке) вдруг вздрогнул, дернулся, едва не вырвавшись из рук. Сильно щелкнуло, хлопнуло на его конце (как если бы вылетела пробка), и белесая струя воды ударила кверху, в черно-красное небо».

Не правда ли, вновь перед нами удивительно цельный и плотный кусок солоухинской прозы, где в иных условиях, в ином контексте все эти описания самого поведения брандспойта показались бы случайными, вялыми. В том-то и дело, что в данном случае срабатывает тот же самый процесс передачи человеческого настроения на предмет, непосредственно связанный, сливающийся в нервном возбуждении с человеком. Вообще мне кажется, что в этом рассказе независимо от воли автора, а вдруг, неожиданно собрались воедино все герои его рассказов, когда в массе они на время утеряли свою решительность и действенность, а затем, притеревшись друг к другу, проявили все свои лучшие качества, откликнувшись огромной душой своей на зов набата, на зов горя человеческого. Так органично «я» всех этих людей вобрало в себя и не растворило, а словно укрупнило и усилило и

«я» автора. Оно обнажило перед нами во всей конкретности и индивидуальность его личности, выявило ее общественную сущность, ее конституцию.

Как общество наше, так и личность автора не приемлют жадности и черствости, пошлости и жестокости. Автор — жрец чистого чувства, веры в доброе в человеке, в искренность отношений. В этом суть рассказов «Наша дама», «Звезда с звездою говорит...» да и вообще всех рассказов В. Солоухина.

Тетя Маша и Варвара Ивановна, Серега и Сашунька, Витька Агафонов и Колька Ланцев, Оксана Потапенко, девушка Маша, Серафима — они надолго остаются в нашем сознании, они еще долго будут служить людям верой и правдой, служить теми маленькими вехами, по которым определяешь верность своего курса в жизни. Так, казалось бы, в сугубо лирических рассказах обнаружилось не только стремление автора к эпичности, но и ее довольно внушительные «всходы», которые определили и неминуемый последующий урожай в виде эпического полотна. Им явился роман «Мать-мачеха», опубликованный в одиннадцатом и двенадцатом номерах журнала «Молодая гвардия» за 1964 год, когда и состоялось наше новое свидание с талантом писателя.

Даже внешне, несмотря на то что повествование велось от третьего лица, роман органично включался в одну из очередных орбит солнечной системы творчества Владимира Солоухина. В центре романа — один герой, вокруг которого на том или другом расстоянии расположены другие персонажи. И в зависимости от того, насколько они близки герою, связаны с ним в тот или иной промежуток времени, они то активно включаются в действие, то отдаляются или совсем пропадают в ткани повествования.

Итак, это роман одного героя. Основная задача автора, как он сам ее понимает и определяет,— это стремление высветить отдельные моменты из жизни молодого поэта Дмитрия Золушкина. А посему мы становимся свидетелями, как писатель осуществляет свою задачу. Мы сможем сами обнаружить, что являлось главным и второстепенным для писателя в жизни его героя, что он продолжительно высвечивает и что мельком открывается нашему взору, когда луч только скользит, стремясь вновь к основному и существенному. Только в таком случае

мы сможем понять и оценить все достоинства и недостатки, которые есть в романе, а не просто предъявлять автору претензии, относящиеся к типу пожеланий или утверждений от противного.

И еще одно предварительное замечание. Бесспорно, что, создавая свой роман, В. Солоухин не прошел мимо того опыта, который был уже накоплен нашей литературой в освещении послевоенных лет страны. Этот опыт сказался на романе целиком, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Само по себе стремление разобраться во всех движущих и тормозящих силах движения нашего общества, обнаруженное литературой 50—60-х годов,— явление положительное. Оно побудило художников высказать с гражданских позиций свои взгляды на человека в отношении к обществу и общества в отношении к человеку, определить роль личности на том или ином отрезке нашего движения. К сожалению, порой художники утрачивали диалектичность, выпускали из рук пульс эпохи во всей ее сложности, а это приводило к некоей однобокости, односторонности освещения нашей жизни, выставлялись напоказ только теневые стороны, только тормозящие моменты, и упускалось из виду то большое, цельное, главное, что было завоевано в результате великих побед социализма и остается могучим источником нашего поступательного движения к коммунизму. Без учета этого обстоятельства тоже невозможно объективно понять и оценить роман Владимира Солоухина и определить его место в прозе 60-х годов.

Дмитрий Золушкин, главный герой романа, принадлежит к тому поколению, чья юность и первые шаги в большую жизнь зрелости происходят в период Великой Отечественной и в первые послевоенные годы. Следовательно, время действия романа — рубеж 40-х и 50-х годов, а место действия ограничено двумя точками — деревня и город. Решая проблемы прошлых лет, как и многие произведения советских писателей, обращенные в недальнее прошлое, роман В. Солоухина освещен идеями нашего сегодня. Сюжет романа, как и сюжеты других произведений писателя, внешне прост, что составляет одно из достоинств прозы писателя, так как простые сюжеты, по справедливому замечанию Бальзака, «указывают на большую творческую силу и всегда таят в себе неисчислимые богатства».

Пареиь нз деревии Митя Золушкии служит сержаитом в московском гарнизоие. Ему двадцать лет. Часто вспомииается родная деревня, даются картины его доармейской юности. Вместе с автором мы обиаруживаем в парне особую восприимчивость к природе, мечтательиость, в которых угадывалась поэтическая иатура. Показывая Митьку, шагающего по сеиокосу, автор пишет: «Вот если бы и в лесу вдруг исчезли все деревья, все равно как эти копеикн, а вместо иих выросло бы одно огромиое дерево!» — подумал Митька. Впрочем, не точно сказаио, что Митька подумал, просто перед его глазамн появнлось иа миг видение: плешииа посреди леса, а иа плешине дерево ростом до облаков.

Другие ие зиают, ио Мнтька давио замечает за собой, что как-то у него ие получается, чтобы думать. У иего прыгают перед глазами, словио в киио, разиые видения, в этом и состонт его, Митькино, думаиье».

Мы ощущаем вместе с пнсателем у Митьки тягу к чтению, переживаем его чистую и юиошески робкую любовь к сверстиице Шуре Куделииой, вместе с Митей Золушкиным мстим Гришке Тимкииу за оскверисииое чувство.

Так легкими и едва уловнмыми штрнхами деревеиской жизии паренька В. Солоухии иастраивает иашн сердца на симпатню к своему герою, подчеркивая эту симпатичность еще и испытаииым приемом коитраста внешности героя и его виутреииего мира. «Дмитрию Золушкииу доходил двадцать первый год. Был ои иекрасив: лицо круглое, густо, до медиой красноты усыпаииое веснушками, волосы рыжне, уши прноттопыреиные. Правда, с цветом волос счастливо сочетались темиой сниевы большие глаза». Да и сам он могуч, почти как то иарисоваииое его «вндением» дерево: такая грудь, что «пуговицы готовы были в любую миииуту брызиуть в разиые стороны». Словом, В. Солоухии окоичательио иавязал нам Золушкииа. И теперь уж мы не стороинне иаблюдатели, а активиые сопережнватели всех его успехов и иеудач в городе и деревие, которые, словио два полюса, под общим назваиием «мать-мачеха» будут колебать этого сильиого, ио еще виутренне иеубеждеиного парня иа протяжеиии всего ромаиа.

Подчиняясь властному прнказу своего таланта, Золушкин после демобилизацни поступает в Литератур-

ный институт, попадая в необычную для себя среду, с которой, правда отчасти, был знаком, присутствуя на литературных вечерах и объединениях, когда выдавалась возможность получить увольнительную. Здесь же, в городе, он пережил чувство унижения за свою «серость», когда встретившиеся ему вечером две незнакомки Майя и Надя посмеялись над «ефрейтором», что тот не знает слов «рефлексия» и «интеллект». Золушкин решает доказать им и в их лице многим, что он, человек от земли, способен познать и не только это. Так талант парня, замешанный на чувстве гордости, явился тем мощным импульсом, благодаря которому он поступает в институт. Здесь же, в Москве, он встретил свою роковую любовь — Энгельсину, воспитанную в затхлой атмосфере мещанства в доме матери-мачехи Елизаветы Захаровны. Эта атмосфера погубила человека в Энгельсине, она же погубила и любовь Золушкина, душа которого искала ответного простора и простоты отношений. И невольно наш герой видит в этой семье олицетворение вообще городского мира, в котором ему нет места, но без которого он уже и не мыслит себя. А высветит луч писательского прожектора эти глубокие и сильные переживания героя еще не скоро... Пока же Дмитрий живет успехом поступления в институт, своими творческими успехами и взаимным чувством той, которую, казалось, наконец отыскал.

Как точно и художественно убедительно показал В. Солоухин еще один мало кем схваченный и подмеченный в нашей литературе сложный процесс вживания деревенских ребят в манящий столичный мир. Талантливые деревенские парни приезжают в Москву. Они приносят с собой обостренную манеру чувствовать и изображать, по которой их всегда можно отличить. Сердца их всегда полны песнями родной стороны, а мечты пророчат им такой небывалый и такой громкий успех, достижение которого движет всей их недюжинной энергией. Но постепенно, включаясь в процесс столичной жизни, осознавая всю сложность поставленной задачи, сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами, с непривычной средой, молодой человек начинает ощущать собственные «провалы» в определенной системе познаний, общей культуры. Оскорбленное самолюбие удесятеряет все это, они осознают свою «инородность», они «увядают» на непривычной почве, чувствуя под ногами каме-

нистый асфальт, а не мягкую, близкую, добрую землю родной деревни. Эти этапы отмечены и в жизни Дмитрия Золушкина. Городское общество сначала поражает его своей необычностью и интенсивностью умственной жизни, затем смущает непривычностью человеческих отношений и, наконец, вызывает определенное чувство неприятия, усугубленное личной драмой. Поэтому на первых порах связь с деревней кажется ему лишь данью прежнему, к которому он уже не имеет никакого отношения. Затем уже трезвое осознание цены утери прозвучит в таких словах: «Сломалась, хрупнула немудреная линия крестьянского рода... и совпало, что излом, самый что ни на есть разрыв вековых волокон, пришелся как раз на Митю. Новая стихия жизни не хлебом с солью, не материнской, любую боль утоляющей лаской встретила деревенского парня Золушкина. Она, эта новая стихия, воплотилась для него в сказочный, неправдоподобный образ девушки Гели и через него же насмеялась над ним».

Крушение иллюзий, боль сомнений и переживаний, связанных с тем, что он не понимает порой земляков-односельчан и они не понимают его, рождают в душе парня самые противоречивые мысли, которые, нарочито и назойливо переплетаясь, вырастают в сумбурную и отчаянную теорию ступенчатости в понимании искусства. Усложненность жизни духовной и физической влияет на Золушкина, что приводит его к подобного рода умничаньям: «искусство... может идти по двум путям: или рисовать само событие, или передавать настроение, вызванное им». Вернувшись к родному дому, там, где живут его земляки, собравшись с мыслями, Золушкин сам поймет (это не показано автором, но подсказано внутренним смыслом здравого рассудка героя), что судил нелепо и неверно об искусстве, ибо любое событие в искусстве — это уже и скрытое переживание зрителя, читателя, слушателя.

Да, деревня, разрастаясь до огромного понятия «земля», постоянно, словно гигантский магнит, выискивала в гуще городской жизни человеческую единицу, своего «блудного» сына и притягивала и звала в свое исцелительное для души Золушкина поле. Но уж сильно был связан с городом он, слишком много энергии отдал он на освоение, на «обживание» непривычных и таких

необходимых творческому человеку мест средоточия культурных ценностей, что не вернуться. Тем самым В. Солоухин на наших глазах показывает в полный рост факт рождения художника, о котором принято говорить как об отрезанном ломте. Глядя на золотой цветок мать-и-мачехи, в котором воплотилась в видении Золушкина в этот момент земля и история наша, молодой поэт говорит: «А ты хочешь сказать мне, что истина только в тебе (то есть небо, вода, земля и все цветущее доброе на ней)? Ты хочешь сказать, что цветение человеческого духа беднее и жалче твоих, пусть и солнечных, лепестков? Нет, золотой цветок. Спасибо тебе, что ты разбудил меня от тяжелого сна. Но я снова уйду туда, в каменные, железные ущелья, к заколоченным деревенским избам, на пристани и вокзалы, на проселки и большаки... Да, на вечности твоей, на бессмертии твоем я примерил свои человеческие дела.

«Ступай, теперь тебя нельзя победить. Это я говорю тебе, золотая травинка, вобравшая в себя соки родной земли. Маленький горьковатый символ ее... мать-и-мачеха».

Светлым и вдохновенным аккордом кончается роман. Крепкие мускулы тела созвучны окрепшему, набравшемуся духовных сил внутреннему миру человека-художника. Этот процесс — магистраль романа, ибо весь интерес и писателя и нас, читателей, к этой освещенной дороге идейного и творческого формирования Дмитрия Золушкина. Но то вправо, то влево убегали мимоходом выхваченные светом проселки жизни других персонажей, с которыми сталкивает судьба Золушкина.

Хорошее и радостное, плохое и страшное, понятое и неосознанное, усвоенное и непривычное — вот те постоянно действующие эмоциональные всплески души героя, лежащие в центре всего повествования, среди которых иногда образуются провалы, заполненные растерянностью, неуверенностью, какой-то пассивностью его поведения, что объясняется не заглушением в себе голоса совести, не соглашательской позицией в отношении к злу, а вполне оправдано еще не созревшим, не сформировавшимся мировоззрением героя. «Хождение по мукам» Дмитрия Золушкина — лишь посылка, а не итог духовного развития человека. Об этом нужно всегда помнить, читая роман. Вот почему автор говорит о герое без вся-

кого нажима, не обвиняя и не оправдывая его поступков, отдавая все его дела и поступки, как и в рассказах, на суд читателя, рассчитывая на нашу творческую активность, на соучастие в творческом процессе. Эта общая установка создает идейно-художественную цельность всей книги, объединившей роман и рассказы писателя.

Но лирическая струя все-таки сильно и мощно пробилась в повествование, сконцентрировав в себе все лучшие достижения лирической прозы писателя. Великолепно описание дома Золушкина, небольшой речки Скворенушки, или наполненного неповторимыми ароматами сада после дождя, или прекрасная картина русского зимнего леса, восполняющая бедность зимнего пейзажа в живописи, или вид деревушки Калинихи, состоящей из одиннадцати домов, «вытянувшихся по изгибу крутого холма. Самый последний дом наклонился над рекой напиться, остальные, взявшись за руки, держат его, чтобы не ткнулся с глинистого обрывчика в светлый, чистенький омуток...». Словом, трудно из лучшего выбирать лучшее. Рисует художник мягкими, акварельными тонами. Как и в рассказах, основными и любимыми цветами писателя остаются золотой и голубой, что органично связано даже с цветом волос дорогого сердцу писателя героя и золотым цветком мать-и-мачехи. У него даже дожди и те золотые: «В июле прошли обильные, просветленные солнцем золотые ливни». Порой эта лирическая струя довлела над художником, мешая ему вырваться на простор эпической прозы. Сложность усугублялась и тем, что сам художник был «закоренелым» лириком. В романе сказалась эта внутренняя борьба сложностью взаимоотношений между «я» героя и «я» писателя. Эта внутренняя борьба отразилась в некоем смешении стилей, где наряду со спокойным, чисто эпическим повествованием неожиданно всплескивается оживленная, порой даже игривая сказовость, иной раз информационность. Естественно, эта борьба, победа в которой все-таки осталась за автором, отняла у последнего много сил, которых, видимо, и не хватило для создания подлинного эпического полотна с накалом идеологической борьбы на фронте искусства, детального изображения творческого мира, в котором суждено было жить и развиваться герою.

Но за мужеством критики должно следовать мужество похвалы. Поэтому можно прямо сказать, что писатель выполнил задачу, он вышел к нам в новом для себя качестве, доказав, что его таланту под силу и эпические полотна, хотя критика признала за ним лишь то, что отмечала и раньше: самобытное умение передавать жизнь деревни, отдельных моментов творческого процесса и т. п., упрямо желая видеть в нем прежнего Владимира Солоухина — только лирика в прозе.

Но почему тогда «неудавшийся» роман волнует нас, заставляет задуматься? Этими удачными частностями? Не думаю. Простая история, рассказанная талантливо и цельно, соотнесенная правдой своего факта с правдой жизни,— вот источник успеха романа. Тайное голосование читателей определит истинное значение его, как это происходило и происходит в жизни. Критика лишь убыстряет или замедляет сроки этого голосования.

Ну и естественно, у многих возникает вопрос: почему писатель дал такую, несколько претенциозную фамилию своему герою? Напрашивается по ассоциации со сказочной Золушкой вывод, что дана эта фамилия для того, чтобы обозначить его какую-то особенность и предначертать лучезарное будущее. Видимо, не только для этого. По-моему, фамилия взята автором для того, чтобы усилить именно своей ассоциативностью напряженность того житейского поля, которое, по идее автора, создавали в романе два полюса под общим названием «мать-мачеха», между которыми в силу их наибольшей активности мечется герой. Именно благодаря этому «двуединому» процессу развития молодого поэта автор и смог обнажить перед нами свою способность аналитического мышления, которому под силу проникать в глубь человеческой души. В этом я вижу основное достоинство романа.

Разрывая роман на отдельные удачи и просчеты, что постоянно происходит и без чего нельзя оценить достоинство произведения, нужно все же смотреть на сильные и слабые стороны его как на камни одного и того же здания: убери один, и здание может рухнуть. Поэтому в комплексе всех плюсов и минусов, приложенных в виде векторных сил эмоционального воздействия на читателя, можно сказать, что равнодействующая романа свидетельствует об очередной творческой удаче таланта, а не о его поражении. Поэтому я склонен утверждать, что сам ге-

рой Митя Золушкин как художественный образ будет жить, а роман будут читать, чтобы ощутить в новой «редакции», в новом свете атмосферу нашей жизни на рубеже 40—50-х годов, воссозданную талантливым писателем.

Как все дороги ведут к населенному пункту, так и всякие рассуждения, размышления — к выводам, а их сделать нетрудно, они ясны и понятны каждому. Как в близком друге мы с радостью открываем внутреннюю красоту, так и во время каждого свидания с талантом писателя мы открываем скрытую от наших глаз щедрость и мудрость жизни. Как нескончаемы проселки на земле Владимирской, а люди создают все новые и новые, так нескончаем источник таланта Владимира Солоухина, а посему долго и нескончаемо будет продолжаться наше свидание с ним.

Б. Леонов


мать-
мачеха
РОМАН

Читая поэму, роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина.

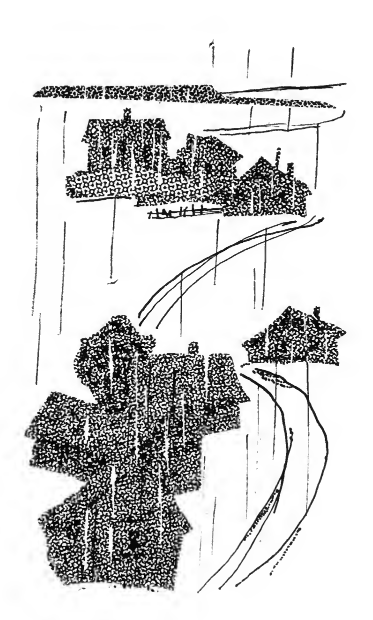
А. С. Пушкин.

...Важно не только то, от чего что произошло: еще важнее то, что в чем вскрылось.

В. О. Ключевский.
(«Курс русской истории»)

ДЕРЕВЬЯ РОЖДАЮТСЯ ПРЯМЫМИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел,
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

А. Блок.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Митька Золушкин — парень на редкость рыжий. Человек с воображением обязательно сравнил бы вылезающие из-под шапки Митькины вихры с языками и клочьями пламени, что вырываются из-под застрех горящего дома.

Но Митька без шапки, потому что в поле не зима, а душный июльский полдень. Вот почему на Митьке нет ничего, кроме белой рубахи и штанов, сшитых из миткаля.

Митька рад бы снять и последнюю эту одежонку, если бы дело происходило где-нибудь возле реки, чтобы можно было, разбежавшись, прыгнуть подальше и бултыхнуться в воду.

Теперь Митька лежит на копне сухого клевера, широко раскинув руки и ноги. Он смотрит то вверх, то вдаль. Шевелиться ему лень, хотя и нужно было бы пошевелиться, потому что одна жесткая клеверина уперлась пониже левой лопатки и все время покалывает.

Занятие у Митьки серьезное и глубокомысленное: он смотрит на крестик далекой колокольни, что высовывается из хлебных волн, подобно мачте уходящего корабля. К крестику прицепилось продолговатое белое облачко. Митька зажимает сначала один глаз — облачко отскакивает от крестика далеко влево, закрывает другой — облачко приклеивается снова.

Золотистая синева небес поит и поит синие глаза рыжего парня Митьки. И если бы нашелся сторонний человек и если бы он перевел свой взгляд с Митькиных глаз на небо, а потом обратно с неба на Митькины глаза, то немало удивился бы тому, что нет между небом и глазами заметной разницы.

Безмолвие в мире полное. Впрочем, если хорошенько прислушаться, и не прислушаться даже, а просто обратить внимание,— откуда ни возьмись наплывет, окружит и все наполнит собою легчайший приятный звон. Будто бы это кровь шумит в ушах. Сквозь легкий звон послышится сначала стрекотание кузнечиков, потом, совсем уж издалека, донесется то скрип тяжело нагруженной телеги, то вилы звякнут о вилы, то смех отзовется на смех.

Там, вдалеке, мечут клеверный стог, и Митька ждет, в сущности, когда к нему подъедет пустая телега. Тогда он встанет, возьмет вилы, несколькими нетерпеливо-огромными навильниками вскинет на телегу три копны, сам уляжется на четвертую, чтобы снова погрузиться в сладкую дремотную неподвижность. Легко и свободно струится по Митькиным жилам молодая и, вишь ты, звонкая кровь.

— Митька-а-а! — прозвенело над полем.— Иди сюда-а!

Без опаски ступая босыми ногами по короткой колючей кошенине, но выбирая все же местечки, съеденные мягкой повиликой, Митька пошел к стогу.

Утром вид у поля был один, а теперь стал другой. Среди бесчисленных коричневых клеверных копен образовалось обширное пустое место, посреди которого и возвышается продолговатый островерхий стог. Уцелевшая копенка возле стога кажется крохотной. Около нее, мордами друг к дружке, телегами врозь, отдыхают, жуют клевер две, тоже крохотные, лошадки. Все кажется маленьким по сравнению с большущим стогом.

«Вот еслн бы н в лесу вдруг нсчезлн все деревья, все равно как этн копенки, а вместо них выросло бы одно огромное дерево!» — подумал Митька. Впрочем, не точно сказано, что Митька подумал, просто перед его глазами появнлось на миг виденне: плешнна посреди леса, а на плешнне дерево ростом до облаков.

Другие не знают, но Митька давно замечает за собой, что как-то у него не получается, чтобы думать. У него прыгают перед глазами, словно в кнно, разные вндения, в этом и состоит его, Митькино, думанне.

Он знает, зачем его позвалн к стогу, потому что представнлось ему: он, Мнтька, стоит на возу с длнннымн внлами-троешками н на самую вершину стога подает клевер. Виденне было правильное.

— Смени-ка Ивана Петрова, а то высоко ему стало, не под снлу.

Митька высвободнл из-под ремня рубаху, чтобы не задержнвалась за рубахой клеверная мелочь, надел на голову носовой платок с четырьмя узелочкамн по углам.

— Смотри, не подпалн стог-то! — всплеснулся сзади звонкий девическнй голосок.— Вон внхры-то у тебя — чистый костер!

Отвечать лень. Но вот уж кто-то нашелся н ответнл шуткой на шутку:

— Как бы он ужо вечером тебя самое не подпалил!

— Чай, у нее другой поджигатель есть, известный!

— Того поджигателя самого сначала надо поджечь.

— И подожжет, она девка горячая...

Зубья внл, острые, высветленные с концов, с хрустом уходят в клеверный пласт. Мнтька берет внлы на излом, через коленку и, подняв над головой, начинает перебнрать рукамн по черенку, поднимая клевер все выше и выше, в самую снневу небес. Руки, плечи, спина ноют сладкой болью, сыплется труха; из-под носового платка и под рубахой по ложбинке груди щекотно льется пот.

— Д-давай, д-давай! — слышнтся с верхушки стога властный, слегка заикающнйся голос.— М-молодежь!

Митька «дает» так, что все, кому уж нечего теперь делать, собралнсь вокруг и смотрят, как на представленне. Звякнули внлы о дерево телегн, последний навнльник взлетел кверху. Вот как умеет работать Мнтька Золушкин!

Лицо его, как бы покрытое одной сплошной веснуш-

кой, раскраснелось еще больше, губы высохли, в горле стало першить. Ленивой, но полной достоинства походкой потрудившегося человека Митька пошел к копне.

Шура Куделина — это она опасалась давеча, что Митька своими вихрами подпалит стог,— разгородила клевер, достала из копны ведро с водой:

— Пей!

Митька легко, как жестяную кружку, поднял ведро к губам, дунул. Мохнатые клеверные шапки разбежались к краям ведра. На жестяном дне запереливалось солнце. Теплая, с привкусом железа вода не понравилась Митьке. Ему представилось сейчас, как холодная, вкусная вода струится через горло и холодит в животе. Еще ему представилось, что он окунает в воду все лицо и фыркает, наслаждаясь. Мог ли он после этого пить теплое, с привкусом железа пойло!

Широкой кривой полосой сверкнула на солнце и тяжело плюхнулась на землю вода.

— Ах ты, рыжая бестолочь, что наделал! Или ты один тут? Сам напился, а другим не надо? — Шура Куделина вырвала у Митьки ведро из рук, и можно было подумать, что сейчас она огреет его этим ведром.

— Да не пил я,— буркнул Митька.— Теплая она, вода, с мусором.

— А может, я и хотела теплой да с мусором! Ты ее, что ли, принес, твоя она, да?

— Ладно уж, давай ведро, хорошей сейчас принесу, из Скворенушки.

Скворенушка — небольшая лесная речка. Она пробирается по дну глубокого буерака. И что бы там ни говорили про Скворенушку — и мала она, и чуть ли не пересыхает местами, и если здраво разобраться, то это и не река вовсе, а маленький лесной ручеек,— она течет да течет себе по камушкам, и жизнь у нее своя, на других непохожая.

Зной стоит на земле, высыхают зеленые травы, прячется от жары все живое, а у Скворенушки в буераке прохлада. Зелени разной, и цветам, и малиннику, и душистой мяте, и крапиве (а что ж, и крапиве!) — всему вольготно расти возле Скворенушки. Тут найдешь и яркую купальницу, красивую этакой здоровой деревенской красотой, и изнеженную орхидею любку, что сравнима может быть лишь с бледной, утонченной красавицей из

старинной книжки. Когда разольет любка в полночь свой крепкий аромат, у всех соседок полный конфуз: слетаются к любке ночные бабочки. «Потайная она, эта любка. При луне с ночными бабочками свадьбу свою справляет. То ли дело мы, остальные цветы, мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы и солнышко».

Своя жизнь у Скворенушки, на других непохожая. По земле разгуляются, летают сильные ветры, а у нее в буераке тихо. Держится здесь воздух из запахов смолы, грибов и лесной прели. В золотисто-зеленоватом сумраке, обросшие мхами, похожие на лежащих слонов, спят валуны. Дно речушки сплошь усеяно мелкими яркими камушками. Местами вода собирается в омутки, становится черной. Водяная живность только и ждала, чтобы вода перестала струиться. Тотчас забегали по омутку водомерки, по дну его заползали ручейники, а прибрежная осотка нет-нет да и стрельнет узким, остроносым, коварным, как татарская стрела, щуренком.

Митька давно перешел из-под ослепительного шелкового полога полдня под низкий сумрачный полог леса. Давно уж он идет по каменистому руслу лесного ручья, а воды нет как нет. Камни прохладные и мокрые, они не успели обсохнуть. Недавно еще ручей жил, вода была здесь, где ступают сейчас босые Митькины ноги. Порой ему кажется, что впереди булькает и льется; он бежит бегом и не находит ничего, кроме сырых и холодных камней.

«Вода от меня уходит,— думает Митька.— Это, наверно, за то, что я в жару выплеснул воду из ведра. Если раздуматься, это была вполне хорошая, пригодная вода. А людям хотелось пить».

Теперь ему никак нельзя возвращаться с пустыми руками. Он слишком далеко зашел, чтобы возвращаться к людям ни с чем.

— Врешь, от меня не уйдешь! — кричит Митька и бежит по камням.

Но голоса нет. Он сам не слышит своего голоса. Никак не бежится по ослизлым круглым голышам.

— Врешь, догоню, принесу... холодной... пропахшей лесом... Пейте, люди... пей, Шура Куделина... Я напою... Я научу тебя...

— Товарищ сержант! Товарищ сержант, подымайтесь! — Дневальный тронул Дмитрия за плечо.

Как и полагается дежурному по роте, сержант Золушкин спал в эту ночь, не раздеваясь, в сапогах, при штыке и пистолете.

— Напиться не дали.

— Что вы говорите, товарищ сержант?

— Я говорю, пить во сне хотелось, а вы разбудили. Идите на пост, я сейчас.

Умывальник сверкнул двумя рядами начищенных до блеска кранов. По кафельному полу молочно растеклись матовые плафоны. В зеркале промелькнуло, задержалось на миг округлое веснушчатое лицо. Голова, остриженная под нулевку, отливала червонным золотом.

Тугая, обильная струя из крана становилась холоднее с каждой секундой. Щека, подставленная под струю, начала неметь то ли от холода, то ли от ударяющего напора струи. Скупо, по-армейски — три глотка, четвертый для полоскания — Дмитрий утолил жажду.

При выходе на площадку привычно расправил складки под ремнем, развернул плечи. Гимнастерка с трудом сходилась на груди Дмитрия. Пуговицы готовы были в любую минуту брызнуть в разные стороны.

Дневальный плавно, умудряясь бесшумно печатать шаг (еще спят солдаты), двинулся навстречу сержанту.

— За время вашего отсутствия ничего существенного не произошло.

— Я не отсутствовал, а спал. Впрочем, пожалуй, вы правы. А что произошло несущественного?

— Хлеборезы отправлены, старшину поднял десять минут назад. В два ноль восемь приходил дежурный по части.

— К рубильнику. (Во всей казарме одновременно вспыхнет неожиданный свет.)

Широкие, как ворота, двери казармы распахнулись настежь. Вдали, в темной глубине помещения, пропадали ряды солдатских коек. Самым крепким, предподъемным, сном спят солдаты. Им снятся сны. Кому что. Большинству — родные места. Тому — Полтавщина с подсолнухами и пирамидальными тополями, тому — бурелом на соболиной тропе, тому — сухая ровная степь. Десятки и сотни снов. Пожалуй, собери, составь их вместе, получится большая страна, которую солдаты эти будут защи-

щать, называя Родиной. Что увидит солдат в свой самый последний час? Карту, что ли, где сразу и Днепр-отец и Амур-батюшка? Или увидит он лесной ручей под названием Скворенушка и уже сквозь туманное, расплывчатое видение лесного ручья разрядит последний патрон из последней своей обоймы?

Немного осталось солдатского сна. Через двадцать секунд сержант Золушкин подаст команду и сразу погасит сны. Рука дневального на рубильнике. Ждет. Секунда, другая, последняя.

— Ррота... Подымайсь!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Трудный день дежурства по роте подходил к концу. У солдат — личное время. Из курилки слышится ожесточенный стук костяшек. Иные пишут домой, пристроившись на солдатской тумбочке, иные починяют амуницию, а кто и просто читает книгу.

Медлительный от природы, Дмитрий Золушкин преображался, когда жизнь требовала от него немедленных и конкретных действий. Он действовал в течение суток, а сейчас жизнь ничего не спрашивала. Лениво он ходил по узким проходам казармы.

В углу, составив вместе две тумбочки, занимались бойцы его, сержанта Золушкина, отделения. Ефрейтор Пальцев тренировал бойцов на сборку и разборку пулеметного замка. Разобрав замок, он сваливал все части в шапку, завязывал кому-нибудь глаза и, крикнув: «Собирай!» — засекал время. Никто из бойцов не заметил, как подошел и стал позади сержант.

— А как думаете, сержант за сколько секунд соберет?

— Да уж, наверно, быстрее тебя.

— Я бы потягался.

— Ты лучше со своей Клавочкой в субботу потягайся. До сержанта тебе далеко.

— Ребята, а кто знает, у сержанта «Клавочка» есть?

— Наверно, получше твоей.

— Что он, рыжий, что ли, чтобы не было!

Сказано было без умысла — сорвалась с языка поговорка, но отделение дружно захохотало. И сразу все заметили командира.

— Встать, смирно! — крикнули вместе двое.— Товарищ сержант, вверенное вам отделение занимается матчастью пулемета. Занятие проводит ефрейтор Пальцев.

— Не следует складывать в кучу металлические части: будут забоины, замок откажет в бою.

— Товарищ сержант,— облегченно выпалил ефрейтор,— разрешите доложить: замок учебный.

— На то он и учебный, чтобы учиться на нем обращению с настоящим боевым замком. Делаю вам замечание.

Невольно подслушанный разговор испортил настроение Дмитрию. Сами того не зная, смехом своим и безобидной, казалось бы, репликой бойцы задели больное место в душе своего командира.

Дмитрию Золушкину доходил двадцать первый год. Был он некрасив: лицо круглое, густо, до медной красноты осыпано веснушками, волосы рыжие, уши приоттопырены.

Правда, с цветом волос счастливо сочетались темной синевы большие глаза, но в деревне, где прошла юность Дмитрия, вряд ли кто обращал внимание на такую тонкость, а что рыжий да конопатый — бросалось каждому.

Деревенские ребятишки, заметив в человеке какую-нибудь слабость, никогда уж не удержатся от того, чтобы лишний раз не напомнить. Вот и легла полоса отчуждения между ним и мальчишками. То есть не то чтобы он не играл с ними вовсе, но в одиночестве чувствовал себя гораздо свободнее и лучше. (Полуодинокое Митькино детство вернее ученых статей рассказывало о том, насколько правдива и глубока чудесная история, придуманная датским башмачником. Особенно, если мы проследим за жизнью рыжего мальчишки хотя бы до ее середины, когда ни в характере, ни в делах не останется ничего от неуклюжего желторотого увальня, но, сверкнув белизной, широко распластаются в синеве тяжелые лебединые крылья.)

Из-за мальчишечьих насмешек Митька был убежден в некоей своей неполноценности по сравнению со всеми другими черноволосыми и русоголовыми мальчишками. Бегство от мальчишек шло по трем путям. Во-первых,

в лес и на речку, то есть к природе; во-вторых, в разные мечтания, то есть в себя, и, наконец, в книги.

Правда, был у Мити друг Гриша Тимкин. Тимкины — большая, дружная, веселая семья — переехали в Самойлово откуда-то с фабрики, и вскоре их в селе никто не звал по фамилии, а все больше Фабричные да Фабричные. Сам Прокофий — Фабричный — устроился работать колхозным кузнецом.

С новым луком проходил однажды Митя Золушкин мимо кузницы. Крепкий черноглазый паренек в отцовской стеганке разбирал железный хлам, вытаскивая железяки из-под обтаявшего апрельского снега. Увидев Митю, паренек бросил работу и, вытирая руки о полу стеганки, пошел навстречу. Привыкший к постоянным подвохам со стороны сельских мальчишек, Митя весь насторожился и нахохлился.

— Чего это у тебя? — спросил черноглазый.

— Лук.

— А куда ключ суют, тебе не попасть.

Митя прицелился в скважину, выстрелил и промахнулся. У паренька была привычка медленно, важно облизывать губы. Он трижды успел облизать их, пока прицеливался. Стрела воткнулась в скважину и там застряла.

— Видал? А? Видал?! Меня Гришка зовут, а тебя?

Так они познакомились. Вечером Митя пил чай у Фабричных. Его удивляло, что никто из десяти человек, сидящих за столом, за целый вечер не заметил, что он, Митя, безнадежно рыжий человек.

Новых друзей редко видели врозь. Вдвоем они были непобедимы и гуляли свободно, где хотели. Характерами расходились только в том, что Гриша тянул к ребятам в общие игры, а Митя подальше от них — в лес, на речку.

С годами выравнялось дело. К тому же Митя уехал в город (в селе не было десятилетки) и приезжал теперь в Самойлово на летние каникулы. Он вырос, окреп в кости, перестал дичиться людей.

Прочитанные книги и учение в городе сделали его развитее всех своих сверстников; и ему легко было теперь чувствовать себя если и не выше их, то на равной ноге. Только в одном не смог измениться Митя.

Шура Куделина в девчоночьем голенастом возрасте ничем не выделялась из своих подружек. Разве что была побойчее. Это она, бывало, завидев Митю, напевала приплясывая:

Рыжий, рыжий да седой,
Самый, самый дорогой.
Рыжий, рыжий, конопатый, 9
Не годится во солдаты... —

за что и была однажды затиснута носом в сугроб. Пришлось вытаскивать ее оттуда за ноги. Едва не задохнулась.

Был и еще, иного уж рода, случай. В июле прошли обильные, просветленные солнцем золотые ливни. Вода в речке поднялась, вышла из берегов, залила прибрежные луговины. Красного, глинистого цвета, почти густая, она текла быстро, завихрялась, закручивалась, кружила на завертинах прутье, смытый с берегов мусор.

Для самойловских ребятишек такая благодать как с неба свалилась. Разве не интересно: где была трава, где раздевались, оставляли штанишки да рубашонки, теперь можно купаться и плавать; где было по колени, стало с головкой; где было по пазушки, не достанешь дна.

Митя с Гришей прибежали на реку позже других. Как только остановились перед водой, сразу поняли — что-то тут происходит. Человек пятнадцать мальчишек и девчонок испуганно смотрели на середину омута.

Вдруг из мутной воды появилась, хватаясь за воздух, рука, а затем медленно растеклись по воде длинные девчоночьи волосы. Потом все исчезло. Вот снова появилась рука, и снова растеклись по воде волосы, но рука высунулась меньше, чем в первый раз, и волосы растеклись не так густо.

Митя и Гриша не сговаривались, но в воде оказались одновременно. Как попало, и саженками, и «вниз личиком», и на боку они добарабались до места, причем Митя добарабался быстрее. Загребая на одном месте (минута, страшнее которой ему так и не пришлось пережить впоследствии), Митя ждал, вглядываясь в мутную воду: появятся ли еще раз рука и волосы? Ждать пришлось долго (так показалось Мите), уже и Гриша успел подплыть, уже бросился в воду кто-то из взрослых, когда

затемнелось в струе воды, и, не помня себя, Митя вцепился в это темное, судорожно намотал на руку и почувствовал, как засасывает, как тянет за ноги глубина — и нет никакой опоры.

Их вытащили вместе, но Шуру пришлось откачивать, прежде чем в посиневшее тельце вернулись тепло и жизнь. Митя отделался тем, что вырвало глинистой водой, да еще дома наподдал отец по затылку. Было это давно, начало уж и забываться за давностью прошедшего времени.

Разгоряченный ходьбой от станции, Митя зашел за Гришей, и они помчались на речку. Лежа на мелкой луговой траве, окруженные полдневной жарой и звоном кузнечиков, делились новостями.

— Ты, наверно, в городе девушку красивую нашел, признайся.

— Не. Да я и не искал вовсе. Учиться нужно.

— А знаешь, Шурка-то какая стала? В журналах картинки печатают, так вот точь-в-точь.

— Ты не влюбился ли в нее?

— Не влюбился пока. А все собираюсь до дому проводить. Никак не осмелюсь.

Митя равнодушно слушал, жуя травинку. Каждая мышца его, натруженная во время долгой ходьбы, благодушествовала и наслаждалась покоем. Он, глядя прямо в зенит, следил, как плотное белое облачко медленно распадается на два. Гриша лежал на животе и палочкой ковырял землю.

— Да... Все никак не осмелюсь. Главное, не знаю, про что разговаривать. Уж я у парней подслушивал, о чем они с девками говорят, когда домой провожают. Ванька Гулин пошел с Татьянкой, я подполз под крыльцо, лежу и слушаю.

— Ну и что же?

— Да ничего. Он ей врет, как налима на восемь фунтов вытащил, она не верит, смеется. А еще он спрашивал, по скольку у них картошки к обеду варят... Хоть бы ты научил, о чем с девушкой разговаривать.

— Я сам не знаю. О чем думаешь, про то и говори.

— Ишь ты, какой хитрый! Мало ли что я думаю, так ей все и выкладывай.

Помолчали.

— С такой, как Шура, один вечер на крыльце посидеть — и помирать можно,— со вздохом заключил Гриша и пошел к воде.

На другой день на покосе Митя увидел Шуру Куделину. С Кривого луга убирали сено. Шустрый паренек с волосами, почти бесцветными от солнца, подъезжал к копне. Митя подавал на телегу сено, а паренек его уминал, раскладывал равномерно.

Часть луга была скошена только что, по утренней росе, и трава там лежала в валках — стоял над лугом тонкий аромат обданной горячим солнцем, начинающей обсыхать травы. Да и сено само отдавало разными запахами, а более всего луговой клубникой.

Митя забылся, паренек прозевал, и острая рогулька железных вил оцарапала пареньку ладонь. Митя прогнал своего подручного в село на перевязку. Понадобился новый помощник.

— Эй, кто там, помогли бы воз уложить!

В конце луга девушки разбивали валки, им-то и крикнул Митя. На зов пошла она.

Красная косынка повязана так, что нависает над лицом шалашиком и затеняет лицо. Из тени, а от яркости полдня казалось — из темноты, смеются глаза, улыбаются яркие, слегка припухшие губы. А какие они, глаза, не разберешь. То ли совсем густо-синие, то ли поднебесной неправдоподобной голубизны, то ли серые, светлые, как вода в родниковом колодце. Но если синие, голубые, серые, то почему обожгли и нестерпимо было глядеть в них дольше мгновения?

Из-под косынки падают косы, темно-русые, тяжелые. Одна коса назад, оттягивая, призапрокидывая Шуркину голову, другая — на грудь, достигая пояса.

А платье-то как раз без пояска, простенькое, ситцевое. Шура из него немножко выросла.

По каким-то таким неуловимым линиям сразу видно, что, кроме этого платьишка, на теле ровно ничего нет. На босу ногу синие прорезиненные тапочки.

— Полезай на воз, я подавать буду,— скомандовала Шура.

— С какой стати ты подавать! Засмеют: девка подает, а я на возу вместо мальчишки.

— Я тебе не девка, а девушка. Учится тоже! В интеллигенцию метит. Неловко мне наверху стоять. Видишь, платье-то... коротко...

Митя вспыхнул и вскочил на телегу.

Горячи полдни в сенокосную пору. Не успел Митя спрыгнуть с воза, как с восторженным визгом, с писком, с хохотом налетели на него, окружили, навалились кучей семеро девчат. Кто за ноги, кто за голову, не очень-то церемонясь, поволокли к воде. Если бы несли на весу, может, Митя и не барахтался бы, пускай себе тащат! Но волочение спиной по земле показалось неудобным, и он сумел подняться на ноги. Теперь девчата могли бы посыпаться от него как горох в разные стороны, но вырываться не хотелось.

— Эх, помирать, так вместе! — Он схватил Шуру на руки, и теперь их тянули, толкали к воде сразу двоих (точно — ничего не было на Шуре, кроме ситцевого платьишка).

Шура пыталась вырваться, но не очень трепыхалась, иначе, конечно, вырвалась бы. Болтая ногами и хохоча, она все крепче и крепче сжимала Митину шею, а перед самой водой укусила его. Митя почувствовал там, где кончается горло и начинается ключица, влажные, прохладные зубы, не делающие ему боли, и весь горячий Шурин рот.

От неожиданности ослабли руки, и Митя уронил свою ношу в осоку, где еще и воды-то не было — грязь одна. Сам, перепрыгнув, бросился на середину омута.

— Ах ты, рыжая бестолочь, хоть бы в воду бросил-то! — догнало его у того берега.

...Не так уж трудно было днем, при всех, схватить Шуру Куделину на руки и держать ее на руках, а уронив, уплыть, как будто ничего не случилось.

Вечером все менялось. Митя видел, как это делают другие парни. Вот Ванька Гулин решил идти с гулянья домой. «Гулянье» все представляет из себя бревно, лежащее возле амбара. На бревне, сколько усядется, сидят девушки и парни. Остальные танцуют, стоят группами, разговаривают, смеются. Ванька Гулин уходит домой. Он идет вдоль бревна и с каждым парнем, с каждой девушкой прощается за руку. Доходит очередь до Татьянки — рывок, никто не успел оглянуться, а уж Татьянка выдернута за руку из круга гулянья, и уж исчезает в

темноте счастливая пара. Успевают заметить только, как Ванька Гулин накидывает на худые Татьянкины плечики шевиотовый свой пиджак.

Другие поступают еще проще. «Утанцевав» подальше от круга, перестают заниматься ненужной нм больше ерундой, стушевываются, сливаются с яркими тенями лунной июльской ночи.

У каждой пары свое крыльцо, где сидят, разговаривают, целуются до скорой рассветной зари. Только зная про это, можно как следует понять грустную девичью частушку:

Было, было крыльцо мило,
Был уютный уголок,
А теперь я пройду мимо —
Только дует ветерок.

Митя знал, как это делается. Мало того, он знал даже, на какое крыльцо пришли бы они с Шурой, и пытался даже представить себя рядом с ней в безмолвном ночном одиночестве. Но тут перехватывало дыхание, кружилась голова, нужно было облизывать губы.

Когда Митя представлял, что Шура сидит рядом с ним на крыльце, и говорит ему что-то такое ласковое, доверительное, и смотрит на него, а потом кладет ему голову на плечо (дальше этого мечты не дерзали), сладкая боль сжимала сердце и не жалко было бы отдать за это все, вплоть до ничтожных остатков жизни.

Но казалось это невозможным, недоступным, кроме как в мечтах, хотя Шура была на гулянье в трех шагах от Мити и Митя знал в потаенном уголке сознания, что, догони он ее, когда пойдет домой, окликни или, как Ванька Гулин, дерни за руку, она, Шура, не будет противиться, пойдет с ним, может быть, даже будет рада и благодарна.

Постепенно группами расходился народ.

— Кому в наш конец?

– Плетешки, выходи строиться!

— Вышвырки, спать пора!

— Красная Сторонка!..

Сердце от ребер к ребрам начинало раскачиваться, как язык внутри тяжелого, большого колокола. Ребра ощущают физические толчки изнутри. В виски напористо и шумно бьет кровь. Шура медлит, затягивает прощание. И если бы случилось так, что вдруг они остались

одни, то, наверно, все и произошло бы, то есть он пошел бы провожать ее до дому. Но Гриша был рядом и звал домой, не понимая, почему Митя медлит. И тут уж никак нельзя было решиться, чтобы при всех, при Грише, при девушках...

Вскоре Шурин голосок звенел в конце села:

Дорогой ие провожает,
А я им ие дорожу.
Я такими ухажерами
Заборы горожу.

Однажды (ночь была самая лунная из всех возможных лунных ночей, к тому же в обоих прудах горело по круглой луне, и, значит, как бы три луны освещали село Самойлово) случилось, что все разошлись и остались на гулянье только Шура, Митя да еще Гриша. Тут бы Грише догадаться и скрыться за угол амбара, но он, как видно, ни о чем не догадывался. Почувствовалась неловкость. Нашлась раньше всех Шура:

— Что ж это, два кавалера одну девушку до дому не проводят, стыдно.

— А чего не проводить,— вызвался Гриша.

И не успел Митя моргнуть глазом, как в руках у него оказалась Гришкина гитара, а пиджак Гриши окутывал уже зябкие плечи девушки.

Размахнулся Митя гитарой, и уж бросилось в глаза то место, та явственная выщербинка на бревне, от которой должны были брызнуть звонкие золотые щепки. Но что-то обидное, непонятное удержало Митину руку, и он побрел домой мимо трех неподвижных, одна другой ярче, полуночных лун.

Гриша не ведал Митиной тайной любви и делился секретами:

— Вчера у Малашкиных на крыльце сидели. Я обнял ее, а она — ничего. Минут пять так было. Потом встала. «Холодно,— говорит,— домой пора». Это ведь у них первая отговорка. Или ноги озябли, или спать хочется. Только и правда дрожит вся. «Посиди,— говорю,— я согрею».

— Ну, а она?

— Ничего, еще посидели.

«Врет,— радовался Митя,— ушла, должно быть».

Кончалось лето. Было за второй час ночи. Перекрест-

но падали звезды. С деревьев обильно и звучно капала роса. По-осеннему сгустился мрак, хотя силуэты деревьев были все еще чернее неба, проступали на нем. Митя сидел на лавке возле своего палисадника и курил, и знал, что у Малашкиных на крыльце целуют Шуру Куделину.

Из темноты появился Гриша.

— Это ты? Куришь? Дай скорее хватну.

— Сверни свою.

Руки у Гриши, когда он сворачивал, дрожали, спичка осветила бледное, с расширенными глазами лицо. Молча затянулся несколько раз.

— Елки-палки, не знаю, как тебе и рассказать. До сих пор сам не свой. Целоваться-то мы еще раньше начали, я тебе говорил. Только она все «не надо» да «не надо». А нынче как подменили,— сама целует, рук не отводит. Потрогай ладонь, слышишь, какая горячая,— целый вечер за пазухой держал. Под конец смотрю, обмякла моя Саня, что хочешь делай. Тут-то все и произошло. Потом-то уж она плакать начала.

Гриша засмеялся чему-то своему, вспомнившемуся.

— Хочешь расскажу, как все это?.. В подробности...

— Не хочу... На свадьбу только позови, не забудь.

— На какую свадьбу? Придумаешь тоже! Да какой я жених, если до прошлого года штаны на одной пуговке носил. Нет уж, я теперь баста!

— Что «баста»? — насторожился Митя.

— Не пойду с ней больше, а то и греха наживешь...

— Ну-ко, встань!

Гриша, не поняв, в чем дело, поднялся. И тот несостоявшийся удар гитарой по углу амбара присовокупился, значит, к ярости и силе сегодняшнего удара. Гришу будто ударили по поджилкам, брыкнулся на черную мокрую траву.

Они дрались долго, молча и сосредоточенно, не уступая друг другу, стараясь попасть непременно в лицо. Дрались лучшие дружки — Гриша и Митя...

Так в эту ночь одновременно, каждый по-своему, они стали мужчинами.

На другой день Митя уехал в город. Перед уходом в армию ему не удалось побывать дома. С тех пор он не видел ни родного Самойлова, ни Гриши Тимкина, ни Шуры Куделиной.

Незлобный смех отделения: «Что он, рыжий, что ли, чтоб девушки у него не было» — разбередил рану. К столику дежурного по роте Дмитрий подошел злой. До смены оставалось полчаса, и этот срок казался большим. «Сдам дежурство, приму душ — и спать. А чего там? После наряда положено». Но в следующую секунду пришлось забыть про усталость.

— Рота, смирр-э!

По коридору в сопровождении адъютанта двигался командир полка.

— Товарищ полковник, в подразделении капитана Крошкина личное время. Дежурный по роте сержант Золушкин.

Отрапортовано было хлестко, с решительным взглядом прямо в глаза полковнику. Не отнимая руки от козырька, Дмитрий следовал за командиром полка, приотстав, как и положено, на один шаг. Полковник посмотрел, заперты ли на замки пирамиды с оружием и шкафы с патронами, заглянул в казарму.

Сержант Золушкин был опытен в службе. Чутьем, по неуловимым признакам он понял: сейчас полковник проверит боеготовность роты. Дневальный Пальцев, расторопный, смышленый солдат, успел перехватить взгляд сержанта и теперь за спиной полковника потихоньку отпирал шкафы и пирамиды.

В старинной сказке царевна укололась о веретено, и все царство застыло в неподвижности. Люди заснули, не донеся пирога до рта, не дожарив гуся, не дометя двора, не дойдя до кровати. Точно так же команда «смирно» заставила замереть солдат там, где она их застала. Тот шел из курилки да так и замер на полдороге; тот чинил гимнастерку и теперь стоял в нательной рубахе, держа гимнастерку в одной руке, а иголку с ниткой — в другой; тот стоял в одном сапоге, потому что к моменту команды перематывал портянку.

Полковник отодвинул обшлаг кителя, под которым оказались часы с черным циферблатом и большой, во весь циферблат, красной секундной стрелкой. Золушкину хорошо было видно, что полковник ждет, когда стрелка эта добежит до ровной цифры.

— Сержант, дайте «вольно». Наземная тревога!

— Есть наземная тревога! Рота — в ружье!

Загремело по казарме дробящимся эхом:

— Первый взвод — в ружье! Второй взвод — в ружье! Отделение — в ружье! В ружье! В ружье!

Все пришло в движение, все смешалось в беспорядочной суматохе. Но беспорядочной эта суматоха могла показаться только неопытному стороннему наблюдателю. Каждый знал, что ему нужно делать и как ему делать свое дело при меньшей затрате движения и времени. Рота собиралась в полной тишине, и тишина эта никак не вязалась с суматохой, которую видели глаза. Слышалось только энергичное шарканье сапог, да нет-нет позвякивало оружие.

Увлеченный построением роты, Золушкин не сразу заметил, что у одного шкафа с патронами образовалась свалка. Он подскочил туда.

Дневальный второпях сломал ключ и теперь дергал замок, стараясь оторвать его вместе с проушинами. Солдатам не терпелось разобрать патроны. В пяти шагах от свалки стоял полковник и беспристрастно смотрел, как по черному циферблату лихорадочными прыжками мчится красная стрелка.

— А! — Носок Митькиного сапога саданул по филенке, и та, разлетевшись вдребезги, словно была стеклянной, осыпалась на пол.— Ломай шкаф, разбирай патроны!

Провожая полковника вдоль строя роты, Золушкин про себя чертыхался. Теперь он остыл и хорошо понимал, что за разбитый шкаф дадут суток пять ареста. Об отдыхе нечего и думать.

— Сержант Золушкин, встаньте лицом к строю. Рота — смирно! За проявленную решительность в действиях, обеспечивших своевременную боеготовность подразделения, сержанту Золушкину объявляю внеочередное увольнение в город!

— Служу Советскому Союзу!

С этого-то внеочередного увольнения, в сущности, и началось все.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Две недели назад в два часа ночи пустынна была Красная площадь. Свет сшестеренных прожекторов, установленных вдоль фасада ГУМа, мог бы лететь далеко-далеко в синее пространство майской ночи. Но, направ-

ленный на брусчатку почти в упор, он неистово плавился на камнях, отскакивал, отражался, пытаясь воспарить все же и выйти, наконец, на присущее ему прямолинейное движение. Усмирившись, свет стоял над Красной площадью, как высокая и тихая вода, наполняя пространство между Историческим музеем и собором, между высокой стеной Кремля и фасадом ГУМа. Получался как бы грандиозный зал, доверху налитый ярким светом. Выше потолка начиналось небо с облаками и звездами. Памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, Мавзолей — вот и вся обстановка зала, да и то она расставлена по стенам, так что пустынная середина с ее почти планетарной кривизной еще более усиливала впечатление грандиозности.

В третьем часу ночи в устоявшейся тишине звонко и часто застучали вдруг бойкие каблучки, и со стороны Охотного ряда (может быть, с улицы 25 Октября) вбежала на площадь девушка.

Крохотная среди безмолвной архитектуры, она бежала, пересекая площадь наискосок, и еще более крохотный, но яркий огонек зеленой косынки трепетал за ее плечами. Этим бьющимся огоньком да еще запрокинутой назад головой создавалось ощущение самозабвенности.

У Лобного места коротко и неуверенно свистнул милиционер. Но девушка успела уже добежать до Мавзолея и схватиться за железную планку барьера. Обессиленно повиснув на ней, то ли часовым, то ли мимо них в приоткрытую тяжелую дверь девушка выдохнула:

— Победа!

Она ждала, что часовые бросятся друг к другу и будут целоваться, поздравлять друг друга, может быть, даже начнут стрелять из винтовок, ибо все позволено в миг победы.

Но лица часовых остались каменно-неподвижными, не дрогнули кончики штыков, не сверкнуло хотя бы в глазах ответной улыбки, и тогда уже тихо, не то извиняясь, не то как бы боясь разбудить, девушка повторила:

— Так ведь победа же, товарищи...

А между тем через все возможные проходы и проезды врывались на площадь люди. Через час трудно было пройти по ней. Приходилось протискиваться боком. И первая девушка с зеленым огоньком косынки бесслед-

но потерялась в пестрой толпе, как первая капелька дождя теряется, когда хлынет на землю обильный ливень.

С тех пор прошло две недели, но по-прежнему многолюдно на Красной площади. Народ, конечно, не тот же самый. Одни уходят, другие приходят. Но хватит в Москве людей (а вокруг Москвы еще и страна), чтобы каждый день было здесь и людно и празднично.

Дмитрий, получив увольнение, тоже очутился на Красной площади. Легко было заметить, что толпа не просто скопление ярко одетых людей, что в толпе не каждый сам по себе, но что люди ходят все больше парами или по нескольку человек: друзья, знакомые, близкие, родственники. Только Дмитрий болтается один, неприкаянный, никому не нужный и, что самое главное, неспособный разорвать нелепый круг своего одиночества.

А годы подошли такие, когда ни чтение книг, ни казарменная, расписанная по минутам жизнь не могли заглушить уж острой жажды того, что с железной непреложностью требовали возраст и здоровье.

Двадцатилетнему спортсмену (Дмитрий баловался вольной борьбой и штангой) с каменными мышцами под золотистой кожей, ни разу не целованному, ему не хватало, может быть, в конечном счете именно женской ласки. И, может быть, именно от этого охватывала душу неясная тревога.

Но желания были иные — первые в длинной последовательной цепи желаний. Ему хотелось просто идти с девушкой под руку, и покупать ей мороженое, и заботиться о ней, и курить так, чтобы дым не попадал на спутницу, и не нужно было ничего другого, лишь бы она тепло и доверчиво разговаривала с ним.

(Ждущее любви тело высылало вперед разведку, и казалось, что ласки просит не тело, а именно душа. Но обостренное желание духовной близости с будущей любимой девушкой пропадало зря. Разведка бродила в пустоте. Высвобождалось огромное количество духовной и психической энергии. Двенадцать лет спустя Дмитрий поймет, наконец, откуда произошел изначальный толчок, швырнувший здоровенного деревенского парня на девственный, ослепительно белый лист бумаги...)

Ни о чем этом не думал сержант Золушкин. Он выбрался из толпы и прошел в ворота Александровского

сада. Ноги после дежурства горели, набухли, распирая сапоги по швам, захотелось сесть и сидеть без движения.

Синие сумерки сада были прошиты двумя цепочками бледных еще пока фонарей. Вокруг каждого фонаря полупрозрачной салатной зеленью светилась молоденькая древесная листва. Ровная травка газонов, тоже освещенная электричеством, напоминала солдату свежую, сочную озимь.

Среди синевы сумерек и нежной зелени желтела дорожка сада. По ней в ту и другую сторону прогуливалось множество людей. Скамейки все были заняты. Только в дальнем конце, за Троицким мостом, Золушкину, наконец, посчастливилось: девушки щебетали самозабвенно, а рядом с ними было свободное место.

— Я не помешаю?

Девушки никак не отозвались на его вопрос, лишь одна из них сделала вид, что подвинулась. Это едва уловимое движение Дмитрий принял за разрешение сесть.

Через десять минут он знал о девушках многое. Одну из них зовут Майя, другую — Надя. Обе они только что кончили десятый класс. Майя собирается поступать на филфак, а Надя — в консерваторию. Перед экзаменами дрожат одинаково. Так и шло время. Сержант курил, а девушки разговаривали.

— Знаешь, Майя, этот ведь опять вчера звонил.

— Не нужно было давать телефон.

— Я и не давала. Не знаю, где он узнал.

— Ты познакомила бы, что ли, с ним. Может, он и ничего. Студент? Чиновник?

— Он аспирант. Пишет диссертацию по эстетике.

— Все аспиранты заражены рефлексией,— убежденно бросила Майя.— Слишком они носятся со своим интеллектом.

«Это еще что,— про себя удивился Дмитрий,— болезнь, что ли, какая?» Память подсказала словечко «рефлектор». Но рефлектор — это вроде как отражатель. Нельзя же заболеть отражательством. И потом еще это... как его?.. ин-теллек-ту-аль-ный... Спросить разве у тех же девушек? Наверно, расскажут.

— Девушки, вы извините, конечно, а что означает слово «интеллект»?

Только теперь увидел Дмитрий, какие у беловолосой

Нади светло-каштановые, желудевые глаза. В них промелькнуло что-то вроде жалости. У Майи ледком схватило синий взгляд. Она и ответила Дмитрию:

— Интеллект, товарищ ефрейтор, это как раз то, чего не хватает вам, иначе вы не избрали бы такого грубого способа знакомиться с порядочными девушками. И потом, кто вам дал право вслушиваться в иаш разговор?

Дмитрий опомнился, отмахав шагов пятьдесят от злополучной скамейки. Вдруг что-то его толкнуло изнутри. В нем иногда (это иачалось после драки с Гришей) соскакивала этакая пружинка, и тогда он мог все.

«И главное, почему ефрейтор? — успело промелькнуть в голове, пока стремительно шел обратно.— Что она, неграмотная, что ли? Про рефлексию небось знает, а в воинских званиях ни бум-бум!»

Наклонившись низко почему-то к Наде, а не к Майе, отчитавшей его (потом он так и не мог объяснить себе, почему именно к Наде), он грубо приподнял подбородок девушки и, глядя прямо в глаза, четко выговорил:

— Хорошо, Надя. Мы еще когда-нибудь встретимся с вами. Тогда я расскажу вам, что такое рефлексия и что такое интеллект. Это вам обещает сержант Золушкин. У меня все!

— Он сумасшедший! — первой опомнилась Майя, когда Дмитрий снова ушел.

Подруга ничего не ответила. Осталось ощущение зыбкой глубокой синевы, и еще как будто заглянула в пропасть, и нужно было отшатнуться, зажмурившись, или, по крайней мере, заслониться рукой, но вот не успела этого сделать.

Чем дальше уходил Дмитрий от Александровского сада, тем стыднее становилось ему. А чем становилось стыднее, тем шире и стремительней делался шаг. Тем меньше разбирал, куда он бежит, бессознательно лавируя, то призадерживаясь на миг, то устремляясь в образовавшийся прогалочек между пешеходами, успевая извиняться за толчки, которых, верно, уж иикак нельзя было избежать.

Таким образом он прошел по многолюдным тротуарам Охотного ряда, пересек площадь, протискался сквозь столпотворение у кинотеатра «Метрополь», поднялся на гору, повернул направо. Ноги Дмитрия делали одно, а голова думала о другом.

«Ну ладно, я вам докажу, что такое Золушкин! Я еще вам докажу!...»

Дальнейшее представлялось в видениях:

«Майя, Майя,— кричит в трубку Надя,— немедленно посмотри газету!»

«А что такое? Опять война?»

«Да нет, какая ты глупая! Там напечатаны стихи сержанта Золушкина».

«Какого еще сержанта?»

«Ну, помнишь, позавчера мы обидели его в Александровском саду. Ты еще назвала его ефрейтором».

«Как? Его стихи? Он поэт?.. Надечка, что же нам делать? Надо бы как-нибудь извиниться. Но как?..»

Затем начинали мелькать неясные видения. Как Надя сидит на скамейке Александровского сада, но теперь без подруги, одна. «Я не помешаю?» — спрашивает Золушкин. И снова они, желудевого цвета глаза.

Однако чтобы стихи в газете появились послезавтра, нужно не позже завтрашнего вечера отнести их в редакцию. Те шесть или семь стихотворений, которые имелись за душой у Дмитрия (в солдатской тумбочке) и которые он считал подходящими для любой газеты, давно не давали ему покоя. Теперь, в этот вечер уязвленного самолюбия, он окончательно решил: «Тянуть больше нельзя». Опять появилось видение: он разворачивает газету и видит на самом заметном месте крупными буквами: «Дмитрий Золушкин, «Созвездие победы».

В эту-то секунду сквозь туманную оболочку самосозерцания и проскочили к сознанию Дмитрия и долетели слова из того, другого, внешнего мира:

— Андрей, Аллочка, скорее! Я выбежала специально за вами. Сейчас будут читать по кругу. Говорят, у Матвея новые стихи. Прозеваете все на свете.

Скорее всего именно слову «стихи» удалось прошибить броню и включить сознание бегущего мимо Дмитрия. А как только сознание включилось, то и восстановились все слова, схваченные наскоро непроизвольной, автоматической памятью.

Дмитрий заинтересовался происходящим вокруг него. Оказалось, что он стоит возле дверей в длинное каменное здание. Эти, Андрей и Аллочка, должно быть, вышли просвежиться с какого-нибудь собрания, а девушка прибежала за ними, потому что сейчас будут читать по

какому-то там кругу и потому что у какого-то там Матвея новые стихи.

Дмитрий видел, как все трое ушли внутрь здания, и, пока захлопывалась дверь, успел заметить еще, что их повела вниз узкая, желтовато освещенная лестница. Поколебавшись мгновение, он толкнул дверь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Энгельсина была девушка темноволосая, высокая и стройная. Никаких изъянов не было в ее девятнадцатилетнем теле. Разве что крупновата голова, отчего несколько слабой казалась шея, поддерживающая эту голову. Точь-в-точь тяжелый махровый цветок на гибчатом стебельке. Чаще всего к правому плечу склонялась Гелина голова. Но, конечно, бывали мгновения, когда гордость и, как бы сказать, норов сквозили во всей осанке. Недаром впоследствии, после самой-то главной трагедии, к которой постепенно у нас придет все дело, Митя кричал в чаду и угаре: «Где она, с гордо посаженной головой?»

Половину белого мрамора (но теплого, живого мрамора) лица занимали глаза, влажно-черные, удлиненные, в длинных ресницах (даже тень от ресниц по белому мрамору). Казались глаза состоящими из одних зрачков. Правда, сама Энгельсина, или Геля, как ее обычно называли, хорошо знала, что вокруг зрачков ее глаз существует еще синеватое пространство. Синие белки — не так уж часто это бывает.

Остальные части лица, как-то: нос, подбородок с едва различимой ямочкой и даже рот, очерченный так, что затаилось в нем навсегда выражение печали, и даже широкие, из черного бархата полукружия бровей — все это тем не менее шло, по выражению одного знакомого журналиста, лишь на подверстку к глазам, настолько были огромны.

Но поэт Сергей, например, незадолго до разрыва в одном из последних стихотворений о своей любви написал: «Так вот оно, счастье с печальным ртом!» То есть все-таки не глаза он определил как главную черту, положенную природой на лицо этой девушки. Влюбленному, наверно, всегда виднее.

Было у него еще стихотворение, начинавшееся со слов: «Быть бы тебе боярышней». Значит, несмотря на темноволосую, ну, что ли, экзотическую красоту, Геля вызывала тем не менее представление о красоте древнерусской, да еще и боярской.

Волосы свои Геля рассыпала однажды на крышку пианино, чтобы выяснить в конце концов, что же чернее. Но окончательно выяснить не удалось.

Утром, наедине, Энгельсина любила иногда отбросить одеяло и простыню. Она глядела на свое тело, длинное и складное, молодое, чуть сжавшееся от зябкости, но оттого еще более крепкое.

По мягкому ковру переходила к зеркалу, не одеваясь, расчесывала волосы. Их хватало почти до колен. Святая Агнесса. Однажды ей захотелось стать похожей на святую Агнессу, с тех пор она упорно не укорачивала волос, и вот, пожалуй, добилась своего.

Зеркало стояло в затененном углу комнаты, приходилось зажигать над зеркалом матовый фонарь. Тогда тело девушки как бы светилось само собой подобно тому, как светятся выхваченные из мглы лица людей на полотнах Рембрандта.

«Художники, художники,— думала Энгельсина, запахивая халат и завязывая поясок,— перестали вы писать наше женское тело! Потом и не узнают, что в Москве в сороковых годах двадцатого века жили девушки стройные, как богини».

Но тут нужно было быстренько умываться, успеть «изобразить» хотя бы какой-нибудь пустячок — ну, хотя бы ту «Мазурку», что принес на неделе Аркадий, потом успеть почитать по-немецки, потом успеть почитать по-французски, потом мчаться в Ленинку, а там успеть почитать о Лессинге, потом — на лекции, в университет, потом (сегодня ведь четверг) на поэтическую студию. Да еще где-нибудь по дороге хорошо бы забежать в антикварный магазин, полюбоваться на красивые безделушки. Когда уж тут думать про свою красоту! До свидания, Гелечка, до позднего вечера!

Энгельсина знала про себя, что ведет родословную от старинного русского корня. Однако слышала она и то, что давно, больше ста лет назад, примешалась к неторопливому потоку рода струя горячей кавказской

крови. Один из предков по материнской линии, русский офицер, был женат на красивой грузинской княжне.

И мать, и девушка, и сестра матери не часто вспоминали про то, что существовала некогда красавица Нина. Затаилась, присмирела до времени огненная грузинская кровь, но притаилась единственно затем, чтобы однажды сделать прыжок и сразу наверстать все упущенное. От русых родителей народилась вдруг Энгельсина, темноволосая, черноглазая, с бровями, встречающимися на переносье. Впрочем, говорилось уж о том, какая она. Тем ценнее для нас замечание влюбленного поэта Сергея Страхова: мол, быть бы тебе боярышней.

Теперь про имя, столь необычное и для русского и для грузинского календаря. Дело в том, что в незабываемом одна тысяча девятьсот семнадцатом году пути отца и матери Энгельсины резко разошлись. То есть не то, чтобы пути. Долгое время супруги продолжали жить вместе. Во всяком случае, девочка у них народилась в двадцать седьмом году. Но все же Вера Сергеевна продолжала любить стихи Гумилева и Блока, а романсы Булахова предпочитала модной в те времена песенке: «Во солдаты Ваню мать...» В церковь, правда, не ходила под угрозой немедленного развода (Петр Петрович Садовников занимал к этому времени видную партийную должность). Раскол совершился после того, как Вера Сергеевна тайком окрестила девочку, нареченную Ольгой.

Через два года после раскола у Ольги появилась мачеха, которую звали Елизаветой Захаровной. Тогда-то, в духе бурного кумачового времени, переименовали Олечку в Энгельсину. А по дому звали Гелей или даже иногда и Гелечкой.

(Впрочем, для самой Оли подмена матери мачехой была секретом и тайной. Как бы при анестезии в младенческом возрасте, когда память еще ничего не закрепляет, на долгую-долгую жизнь произошла упомянутая подмена.)

То ли Петру Садовникову было некогда оглядеться как следует в кипении и бурлении неотложных дел, то ли вообще в те времена считались второстепенными (в плане немедленной мировой революции) семья и чисто семейные качества близкого человека, но трудно

было бы ошибиться более роковым, более нелепым образом.

(В человеческой природе встречается черта, достойная тщательного и кропотливого изучения. Возьмите, например, у Бальзака. Всячески ущемляемая и попираемая своим папашей Гранде, очаровательная девушка Евгения после смерти отца тотчас переняла его манеру заикаться, разговаривая с должниками. Ну и — надо догадываться — остальные качества папаши, которые совсем недавно были ей в полной степени ненавистны.

Психология выворачивается вдруг наизнанку, и остается только развести руками в недоумении.

Впрочем, еще в царской армии было замечено, что из наиболее подобострастных подчиненных выходят самые крикливые унтеры и фельдфебели.

Лиза, поскрипывающая кожаной тужуркой, Лиза — оратор, разрушитель уютов и ниспровергатель мещанства, Лиза, товарищ Лиза, Елизавета Захаровна вдруг, по прошествии времени, непостижимым образом восприняла в себя все, что доселе столь страстно и убежденно ниспровергала, превратившись в самую образцовую и безнадежную мещанку. Либо нечто таилось где-нибудь глубоко внутри и ждало момента вылазки? Нельзя же предположить, что она сознательно вытряхивала из обжитых столетних домов старье и тряпье, чтобы самой... Нет, нет и нет! Тут вот именно загадка и казус психологии. Да и достались ей за Петром Петровичем вовсе не апартаменты, а одна-единственная комната в многонаселенной квартире. Ну, правда, это была Москва.

Старинный друг Садовникова — Степан Кузьмич, бог знает за что любивший Веру Сергеевну (Верочку), или, вернее, бог знает за что не любивший новую жену приятеля, частенько при случае вопрошал: «Ну, а где же твоя псевдоверочка?» Юмор неуклюжий, но в чем-то Степан Кузьмич попадал в точку.)

Петр Садовников был коммунистом ленинской закалки. К тому времени, когда Энгельсине исполнилось десять лет, он работал в Москве на ответственном посту. Тем труднее было ему пройти целым и невредимым через год тридцать седьмой...

Елизавета Захаровна, женщина своенравная и крутая, взяла воспитание дочери в свои руки. Впрочем, она

и мужа-то, когда он был жив, держала в своих руках. Разница была в том, что муж — человек состоявшийся и умный — относился к домашней диктатуре с внутренней улыбкой и себе на уме.

Энгельсина — беззащитный ребенок — представляла комочек мягкой глины, из которой можно вылепить все, что захочешь. И Елизавета Захаровна лепила.

Француженка и немка приходили к Геле домой. К учительнице музыки Геля ходила сама. Хорошо еще, что в детстве не выявилось никаких способностей к рисованию. «Я хочу сделать тебя европейски образованным человеком, я хочу дать тебе блестящее воспитание».

— Мамочка, в «Повторном» идут «Красные дьяволята».

— Ты с ума сошла! Зачем тебе «дьяволята»? Пойдешь со мной в Дом ученых.

— Мама, можно я приглашу к нам в гости мальчика Мишу, он сидит со мной на одной парте?

— Кто он? Из какой семьи?

— Из обыкновенной. Его отец водит трамвай, а мать работает продавщицей в магазине.

— Что?! Почему ты не протестуешь против того, что к тебе подсадили этого оборванца?

— Он не оборванец, он хороший мальчик и товарищ хороший. Он заступился за меня, когда Боря развязал мне бант.

— Как? Он успел поссорить тебя с Борей? Да знаешь ли ты, что он не стоит Бориного мизинца?

— Нет, стоит. Боря ябедник, а Миша хороший товарищ.

— Ну, хватит. Прекратим этот разговор. Я завтра же схожу в школу и скажу, чтобы тебя отсадили от этого... продавца. Ты, может быть, скоро захочешь привести в дом колхозника? Пастуха? Конюха? — И уже более ласково увещевала: — Ты пойми, доченька, что у тебя должны бывать люди только нашего, то есть твоего, круга. Каждый вращается в своем кругу. Зачем же тебе сын вагоновожатого? Я хочу сделать из тебя европейски образованную девушку. Встречайся с теми, кто поймет твою игру на фортепьяно, с кем ты можешь перекинуться по-французски или по-немецки, с кем можешь поговорить о Шиллере, о Гейне, о Лессинге. Ты девочка тонкая, я бы даже сказала, утончен-

ная, старайся же избегать всего грубого, некрасивого. Встречаясь с грубым, невольно огрубишься сама.

Уютно в комнате, увешанной коврами и обставленной книгами. Свет, пробиваясь сквозь шелковый абажур, разливается красновато. Настольная лампа на рабочем столе Елизаветы Захаровны только добавляет уюта. Золоченые корешки книг мерцают заманчиво и волнующе — хочется взять книгу, раскрыть, почитать. Впрочем, нет, не хочется. Лучше раскрыть пианино и что-нибудь сыграть. «Турецкий марш». Как хрупкие льдинки, рождаются и тают звуки.

— Геля, почему ты не играешь вещь до конца? Начатое нужно доводить до конца. А ты бросаешь на середине «Турецкий марш» и начинаешь бог знает что.

— Мне так хочется.

— Ничего подобного. Сейчас же играй «Турецкий марш». Сначала и до конца. Я буду слушать.

Динь-динь! — сталкиваются звонкие льдинки. Кап-кап! — стучат о клавиши маленькие теплые капельки.

Хорошо, уютно в комнате. Мягкий диван, ковер, трюмо, золоченые книги, красноватый свет. Уютно и душновато, как в футляре из-под большого маминого колье.

— Мама, можно я пойду к Зое?

— К Зое можно. Но, смотри, чтобы не позже десяти. А зачем одеваться, ведь Зоя живет в нашем подъезде?

— Может быть, мы с ней погуляем по улице.

Улица! Сколько воздуха, сколько разных лиц, звуков, огней! Мохнатые легкие снежинки возникают из пустоты и летят, летят, перегоняя одна другую. Патриаршие пруды. Скоро здесь будет каток и веселье. Тихие переулки, ни одной машины. Только снежинки, снежинки и снежинки...

— Геля, где ты была? Зоя приходила к тебе. Ты поставила меня в глупейшее положение.

— Я просто ходила по улице.

— С кем?

— Ни с кем. Одна.

— Врешь! Когда ты научилась врать? Мерзавка!

Холодные ледяные глаза гипнотизируют девочку. Хочется сжаться в комочек, исчезнуть. Но тело не может сделаться меньше.

Тело не может. Но что-то все-таки сжимается и по-

том не хочет распрямляться. Что-то сжимается навсегда, и это страшно...

Постепенно Геля поняла, что можно очень просто облегчить свое существование. Нужно только говорить неправду. Например, если сходила с Мишей в кино, нужно сказать, что просидела в читальном зале или в крайнем случае что в кино ходила с подругой. Можно взять коньки и уйти будто бы на каток, а на самом деле не идти на каток, или, наоборот, отпроситься в кино, а незаметно прихватить коньки. А еще проще делать так: если хочется идти в кино, просись на каток. Елизавета Захаровна обязательно ведь заставит сделать не то, что просишь.

— Мама, мне сегодня так хочется в Дом ученых!

— Не выдумывай, пожалуйста. Сегодня там нет ничего интересного.

— Мама, а мне правда хочется.

— Я сказала: не выдумывай. Лучше иди походи по улице. Целый день без свежего воздуха!

После этого нужно сделать обиженный вид и надеть шубку...

Так как никогда нельзя было заранее знать, что понравится Елизавете Захаровне, а что не понравится, к какому поступку она отнесется одобрительно, а за какой осудит, то Геля лгала на каждом шагу, лгала мило, самозабвенно, не дрогнув своей широкой бархатной бровью.

С возрастом, после поступления Гели на филологический факультет, друзей в ее доме стало бывать больше. По-прежнему отбор их строго контролировала Елизавета Захаровна. Даже, может быть, еще строже, чем в детстве: как-никак наступил опасный возраст. Впрочем, Геля не отличалась постоянством в подругах и друзьях. К одним из них она быстро теряла интерес, так как действительно была девушкой очень тонкой, другие отходили сами, теряя интерес к Геле, к ее матери, к атмосфере в доме.

Только Зоенька, неизменная подруга детства, оставалась верна Геле. Она давно приотстала в своем развитии от Гели, с ней бесполезно было бы входить в тонкости Массне или Шелли, и училась-то она всего-навсего в текстильном институте, а не на филфаке. Но это-то и было хорошо. С ней не нужно было обязатель-

но, из требования приличия, поддерживать разговор, с ней можно было болтать о тряпках, о безделушках, можно было и вовсе ни о чем не разговаривать. Можно было даже ее не замечать.

Зоя одновременно и работала и училась. Забегая после работы, как бы по дороге, она садилась всегда на стул, а не на диван и робко просила:

— Геля, сыграй.

Геля открывала крышку инструмента, «изображала» несколько вещиц, и Зоя, довольная, уходила, говоря всегда одну и ту же фразу:

— Ну ладно, Геля, я побегу.

— Заходи, Зоя, всегда заходи, я тебе сыграю...

И вновь оставалась одна. А с Зоей разве не одна? Пожалуй, одна и с Зоей. И с другими подругами одна. И с мамой одна. Все одна и одна... Ни с кем не весело. Так, говоришь что-нибудь ради приличия, и легче становится, когда уходят и не надо ничего говорить.

Душа Гели, как зверек, сидела, забившись в норку, и при людях, при свете не высовывала даже и мордочки. Лишь ночью, в темноте она осторожно выбиралась из убежища, приобретала свободу. Геля грезила. Разные это были грезы. Она любила тогда весь мир. Она делала тогда что-то очень хорошее Зое, она мучилась от сознания своих дневных поступков, неправильных или равнодушных.

Ночью же она жалела маму. Она понимала, что ей тоже нелегко и не просто одной, молодой еще и красивой. Что не бывает в доме мужчин только из-за нее, из-за Гели. Эта жертва со стороны матери мучила больше всего. Геля ненавидела эту жертву и боялась ее. Было предчувствие, что когда-нибудь за эту жертву спросится по большому счету, что жертва-то эта и есть главная решетка и главные стены Гелиной моральной тюрьмы.

В университете Геля начала писать стихи. Это были типичные стихи филологички. Их ведь всегда отличишь и выберешь из десятков других стихов. Умные, с точными формулировками, как бы чем-то интересные, но, в сущности, выхолощенные, рассудочные, бескровные, они отличались от настоящих стихов так же, как бутафорская глиняная разрисованная колбаса за стеклом витрины отличается от куска колбасы, сочащейся жиром, расточающей ароматы чеснока и мяса.

Стихи поощрялись Елизаветой Захаровной. Геля стала бывать на поэтической студии МГУ. Там, в полуподвальном помещении студенческого клуба (угол Герцена и Моховой), она и увидела Сергея Страхова.

Темноволосый, с дерзкими серыми глазами, он не выманивал Гелиной души из ее глухого убежища хлебной корочкой пламенных слов и взглядов. Будучи опытным, он не мудрил, не плел сетей, но вошел в жизнь Гели смело, широкой походкой недавнего фронтовика.

Сергей был из московской интеллигентной семьи. Писал диссертацию, и Елизавета Захаровна всячески привечала и обласкивала Сергея. Она даже нарочно уходила куда-нибудь, когда он бывал: пусть поворкуют наедине.

Южная кровь не дремала в Геле. Воображение ее не было целомудренно еще с девчоночьих лет, поэтому Сергей, когда впервые поцеловал Гелю и когда Геля задрожала и судорожно обвила его шею, успел подумать, что церемониться тут не надо. А Геля как будто поддавалась. Позволила расстегнуть кофточку, пустила руку на грудь. Ее состояние похоже было на обморок. Испугалась она в последний момент. Рванулась, пытаясь оттолкнуть, сумела перевернуться на бок. Остановиться Сергей уже не мог. Он грубо тряхнул ее, зачем-то рванул кофточку, располосовав сверху донизу, и тут же почувствовал острую боль на горле. Зубы лязгнули, соскользнули, но успели разорвать кожу. Слепой от ярости, Сергей опять бросился на девушку, но его собственный миниатюрный кинжальчик, которым еще полчаса назад они так мирно чистили груши, хищно уставился, грозя воткнуться в живот. Ослепительной вспышкой полыхнула далекая кровь воинственного и гордого грузинского князя.

Сергей бросился вон из комнаты. А Геля упала плашмя на диван, и рвала зубами подушку, и плакала навсхлип и в голос, сотрясаясь всем своим юным телом, которое, на слезы свои, она сумела так решительно отстоять.

Только через несколько дней, когда отупела боль и стали как бы приснившимися подробности и детали того проклятого дня, она поняла, как сильно любит Сергея и как она без него ни минуты не может.

Сергей стал избегать встреч. Он перестал ходить на

поэтическую студию. Позвонить ему? Но хватало самолюбия, чтобы не звонить. Она ждала и искала случайной встречи, и тогда по глазам сразу было бы все видно и понятно.

Геля стала ходить на другие литературные кружки и объединения в надежде, не ходит ли Сергей туда. Но и там его не было. Пришла тяжелая зима с метелями, с непрестанной болью в сердце, с полным отвращением к какому бы то ни было делу. В эту зиму Геля по-настоящему полюбила музыку.

Елизавета Захаровна допрашивала с пристрастием:

— Почему не приходит Сергей? Объясни, что у тебя с Сергеем? Я знаю, это ты во всем виновата. То тебе не так, это нехорошо. Интеллигент, умница, почти кандидат наук. Любит дурочку! Разговаривать с тобой не буду, пока не вернешь Сергея.

Геля начинала играть громче. Старенькое доброе пианино сотрясалось и гудело от мощных звуков, слетающих с этих тонких, с этих белых, с этих полупрозрачных рук.

...Разрыву исполнилась годовщина. Начавшее гаснуть вспыхнуло с новой силой. Геля вспомнила, что четверг, изменила планы на вечер и поехала на литобъединение, едва ли не самое крупное в Москве.

Каждый четверг перед восемью часами вечера, шел ли дождь, мела ли метель, съезжались с разных концов Москвы, сходились с разных концов площади, кто из троллейбуса, кто из метро, разные люди. Они сходились к одной из дверей большого здания и пропадали за этой дверью. Совсем еще юнцы — начинающие поэты — и старые, обтрепанные житейской бурей литературные бродяги, поэтические девицы, жаждущие погреться или блеснуть в холодных, в сущности, лучах чьей-нибудь славы, и вдумчивые студентки, ищущие знаний, старушки, в обличье которых сохранилось еще немало от того, от прошлого века, а рядом с ними — заводской парень с неотмытой металлической пылью на руках...

В литературном объединении была секретарь — солидная, в средних годах, темноволосая женщина Гера Васильевна. На ней-то все и держалось. Постоянного руководителя не было. Приходилось каждую неделю договариваться с кем-нибудь из крупных поэтов. К Гере Васильевне все шли охотно, знали, что народ соби-

рается настоящий, то есть с настоящим поэтическим завихрением в мозгах. А то, что собравшиеся не знали подчас, кто из поэтов будет вести занятия в следующий четверг, придавало этим занятиям особую прелесть. Каждый четверг был чреват сюрпризом.

Геля опоздала на этот раз. Все уж сидели по местам. Еще и не окинув взглядом всей комнаты, всех людей, собравшихся в ней, она почувствовала — Сергея нет. Но делать было нечего. Присев на свободный стул возле квадратной грубой колонны, бог знает зачем поставленной здесь, она стала слушать.

Она заметила (потому что пришлось потесниться), когда рядом с ней уселся громоздкий солдат с красной, как морковь, щетиной на голове. Но, право, не обратила на него никакого внимания.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда Дмитрий, поколебавшись мгновение, толкнул дверь и лестница повела его вниз, в подвальный этаж, и когда пришлось идти длинным, плохо освещенным и плохо прибранным коридором, чувство реального на минуту оставило его. То старинное изорванное кресло попадалось на пути, то прижавшийся к стенке коридора, весь измазанный чернилами канцелярский стол. В одном месте стоял перевернутый на ребро рояль. Беспомощно торчали короткие ножки с медными колесиками на них. Сквозь рваную прореху золотисто проглядывали запыленные потроха рояля.

Велика Москва. Много разного происходит в ней. Идут москвичи по тротуару и не подозревают, что можно просто так вот толкнуть дверь (нырнуть с поверхности в глубину), и рядом окажется другой мир. И в голову не придет, что может быть все это.

Как только Дмитрий переступил порог комнаты, единственной жилой комнаты в длинном полуосвещенном коридоре, так и был встречен дружными аплодисментами всех там собравшихся. К тому же люди все повернули головы и смотрели именно на дверь, именно на него, Дмитрия Золушкина. Только когда его чуть было не сшиб стремглав бегущий от переднего стола в коридор лохматый большеголовый человек, на ходу вы-

тиравший мокрый лоб скомканным в плотный комочек грязным носовым платком, Дмитрий понял, что он-то, этот бегущий человечек, и есть виновник аплодисментов.

Два или три человека вышли вслед за большеголовым и лохматым. Дмитрий, стоя у притолоки открытой двери, слышал, как они поздравляли там запотевшего и говорили ему разные громкие слова:

— Ну, Матвей, молодец! Ну и рванул!..

— Хрестоматийные стихи! Это сильнее Пастернака. Как это там у тебя:

С корабля пообрезали шлюпки,
Чтоб надежд не оставалось ложных.
Капитан, покусывая трубку,
Проходил, сухой и непреложный.

— Нет, нет, там дальше хорошо,— перебил другой собеседник.— Там насчет моряков хорошо.

Появлялся в аварийных пунктах,
И тогда, завидев командира,
Моряки вытягивались в струнку
И телами затыкали дыры.

— А я даже не знал, что есть такой обычай у моряков — сбрасывать шлюпки, когда нужно обязательно спасти корабль.

— Может, и нет такого обычая,— ответил тот, кого называли Матвеем.— Разве это важно? Мне в этих стихах другое дорого — конец.— И он мечтательно, нараспев, прочитал:

А земля, к которой люди плыли,
Тонкой линией была на карте.

Между тем возле стола, за которым сидела полная темноволосая женщина, появилась высокая девушка с копной, ну, прямо-таки золотых волос. Таких, что Золушкин еще подумал: «Ну, слава богу, не один я рыжий!» Девушка протянула вперед руку, как бы ища, на что опереться, и, сдержанно отбивая такт напряженно протянутой рукой, запрокинув чуть-чуть свою роскошную голову, сильным, глубоким голосом начала читать. Она кидала непривычные для Дмитрия сочетания слов, хлесткие, как удары хлыста, вызывающие и как бы чреватые опьянением:

Вот она, степная небылица,
До лесов распахнутая тьма,
Выжигают очи кобылицам
Звезды бессарабского клейма.

От перенапряжения ли последних двух суток, от необычности ли всей этой обстановки, от резкого ли смещения плоскостей (дежурство по роте с наземной тревогой, Александровский сад с обидчивыми девчонками, подвальная комната с живыми, настоящими поэтами), Дмитрий почувствовал себя захмелевшим. Какие-то душевные пласты сдвинулись с места и угрожающе поползли, набирая скорость. Сердце колотилось часто, появился озноб.

Небольшого роста сухощавый мужчина сменил девушку. Он был в поношенном пехотинском кителе без погон. «Офицер, воевал»,— отметил про себя Дмитрий. Как заколачивая гвозди, так, что каждое слово — гвоздь, забиваемый с одного точного беспощадного удара, худощавый в кителе говорил:

К неоткрытому... полюсу... мы... не протопчем тропинку...
Не проложим... тоннелей... по океанскому... дну...
Не подарим... вселенной... Шекспира... Родена... и Глинку...
Не излечим проказы... Не вылетим на Луну...

Это были с острой горчинкой и с глубоким, почти не прощупывающимся надрывом стихи о жертвенности поколений, захлестнутых огнем только что кончившейся войны. Но Дмитрий, пожалуй, и не постигал сразу всего их смысла и не вдавался в смысл стихов, как человек, внезапно ослепленный фарами автомобиля, от которого уже не спастись, вряд ли думает, какой именно марки автомобиль его сшибает.

Может, был наш Ньютон... всех физиков... мира... зубастей...
Да над ним ведь... не яблоки — вражьи мины... висят...
Может быть, наш Рембрандт... лежит... на доске...
в медсанбате...
Ампутацию... правой без стона... перенеся...

Дмитрий почувствовал необходимость сесть. Он сделал от притолоки три шага и неловко опустился на свободное место рядом с темноволосой девушкой, так что ей пришлось сильно потесниться. Конечно, он не обратил никакого внимания на девушку, разве что механи-

ческая память сделала моментальный снимок белого, словно мраморного, лица с большими продолговатыми глазами.

Поэт у стола продолжал «заколачивать гвозди»:

Человечество... будет... божиться... моим... поколеньем...
Потому, что мы сделали... все, что мы были... должны...
Перед памятью... нашей... будут... вставать... на колени...
Исцелитель... проказы... и открыватель Луны!..

Дмитрий ждал, что этому поэту тоже будут аплодировать. Но обошлось без аплодисментов. Недоуменно, шепотом, Дмитрий спросил у соседки:

— Почему не аплодируют?

— Здесь вообще не принято аплодировать. Здесь же не эстрада. Только в редких случаях и очень, очень некоторым. Матвею, например.

Сзади кто-то буркнул:

— А что особенного, прямолинейные стихи?

Потом и еще читали стихи. Шло так называемое чтение по кругу. Каждый мог прочесть одно свое стихотворение. Дмитрий испугался, что, может быть, и его заставят читать, но взгляд председательствующей женщины скользнул мимо Дмитрия и остановился на стоящем в проходе юноше с черной повязкой на глазу.

— Вы!

— Я сегодня не буду читать, Гера Васильевна. Весь вычитался в прошлый раз.

— Как хотите.

Вместо одноглазого вышла пожилая уже, толстогубая, бедно и неопрятно одетая женщина. Смиренно сложила пухлые ручки на животе и еще более смиренно стала говорить что-то такое, из чего Дмитрий ровно ничего не понял. Только одна строка, резкая ясностью и яркостью своей, ударила по глазам: «В траве лежало озеро с отбитыми краями». Вот какая была эта строка.

После тихой поэтессы Дмитрий спохватился поглядеть на часы. Как все равно что-нибудь толкнуло его поглядеть на часы именно в эту минуту. Он рванулся было к двери. Но, вспомнив, возвратился на место и спросил у темноволосой соседки:

— Здесь, что же, каждый день бывает такое?

— Что вы?! Только по четвергам. А по средам — в «Комсомольской правде», а по вторникам — в МГУ.

Вооружившись столь исчерпывающими сведениями, Дмитрий снова побежал к двери, едва не сшиб в дверях хроменькую женщину с палочкой, метнулся сначала в другую сторону коридора и, выскочив на тротуар, сначала не мог понять, где он находится (настолько отрешился от обстановки), а поняв, бегом побежал через площадь.

Он бежал, а мысли его, отрывочные и короткие, прыгали, как кинокадры, если бы вдруг взбесился и закусил удила проектирующий аппарат. «Ладно... Все к черту!.. Понял... Пойму... Эпоха... Сороковые годы... Ясно... Сжечь... Врете!.. Врете!»

Дрожь начинала бить сильнее. Не заболел ли?

(Дмитрий не знал еще, что потрясение организма необязательно связано с тем, что вблизи разорвался снаряд или схватился руками за оголенные провода. Он не знал также, чем это чревато, когда некоторые душевные пласты сдвигаются с места и начинают ползти, набирая скорость. Вопрос еще, что откроется глазу на новом, обнажившемся месте, под оползнем. Ударят ли источники светлой голубой реки, в ночное ли озеро будут глядеться оранжевые звезды, россыпь ли драгоценных камней, клеклая ли, бесплодная глина.)

В часть Дмитрий все-таки пришел вовремя. Дежурный по части, принимая увольнительную записку и доклад сержанта, покачал головой:

— Глаза у вас блестят, товарищ Золушкин. Не выпили, случайно, грамм двести?

— Никак нет, товарищ лейтенант.

— Значит, больны. Завтра утром в санчасть мерить температуру. А теперь спать.

Казарма спала. Сержант прошел на цыпочках вдоль длинного ряда коек, сложил обмундирование, нырнул с головой под одеяло. Но дрожь не унималась. Взбесившийся киноаппарат продолжал свою работу. На экране, наплывая, сменяя друг друга, заслоняя друг друга, разрастаясь до огромной величины, качались глаза. Это — привычное. Так всегда бывало после увольнения в город. Каждый раз перед засыпанием начинались глаза. Дмитрий видел их днем: большие, добрые, жесткие, старческие, слезящиеся, девичьи бойкие, мужские сосредоточенные. В одних золотисто дрожала радость, точь-в-точь как солнышко в ручейке, другие — как

устоявшаяся с началом утренников осенняя вода. Одни мигали слабовольно и виновато, другие глядели зовуще и дерзко. Иные опускались, не выдерживая его, Митькиных, глаз.

Вот и теперь пошли глаза. Значит, скоро сон. Глаза... Глаза... Но что это? Вдруг стали наплывать из темноты, становиться все больше и больше продолговатые, черные, словно из одних зрачков. И нежная синева вокруг. Чьи это? Откуда взялись? Ах, да, соседка! Волны тепла охватили Дмитрия. Все погасло, отпало. Остались только большие, продолговатые... И тепло... тепло...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как и всегда, сон оборвался сразу. В мелькании сбрасываемых одеял и наматываемых портянок, в дробном стуке сапог и в многократном повторении четких команд, в горячке контрольного построения Дмитрию некогда было подумать о чем-либо постороннем, не касающемся этого построения.

Отделение его построилось дружно, только самый нерасторопный боец Сергунин еще и после команды «равняйсь!» пытался застегивать пуговицы на гимнастерке. Одернутый резким замечанием сержанта, боец опустил руку да так и замер в расстегнутой гимнастерке.

Когда распустили строй и образовалось пять свободных минут до выхода на зарядку, Дмитрий успел прислушаться к себе и понял, что нездоров.

В санчасти военврач поставил Дмитрию градусник, посмотрел на язык, послушал легкие, надавил на печенку, укоризненно покачал головой:

— Решили сачконуть, товарищ сержант?

— Первый раз за четыре года к вам пришел. Можно бы и поверить. Теперь не зима, выезда в поле не предполагается, лыжного похода — тоже. Сачковать вроде бы не отчего. Плохо себя чувствую. Голова как-то странно... пульсирует.

Военврач усмехнулся:

— Ну, раз голова пульсирует, так уж и быть, на двое суток освобожу от распорядка дня, за исключением завтрака, обеда, ужина да еще вечерней поверки. На поверку все-таки становитесь.

— Слушаюсь.

Вернувшись в казарму, Дмитрий, несмотря на освобождение, не мог все же начисто отрешиться от течения жизни. Он заправил койку, навел порядок в тумбочке, проверил, как заправлены койки и убраны тумбочки у бойцов отделения, проверил оружие, сходил с ротой в столовую, потолкался в курилке после завтрака; и только когда подразделения развели на занятия, сержант остался один, предоставленный самому себе и столь неожиданному и тем более сладостному досугу.

Когда случалось по каким-либо причинам выпадать из железного распорядка дня (это было похоже, как если бы, выйдя из тряского грузовика или хотя бы из поезда, остался лежать на теплой весенней траве, на опушке леса — можно и теплинку разложить,— в то время как мимо, уже не имея отношения к тебе, проходят и проходят, гремя, вагоны), когда случалось таким образом «выпадать», Дмитрий всегда шел в одно и то же место, а именно в пустующий днем солдатский клуб. Там он садился в кресло, что спряталось в уголке, отгороженное от остального фойе роялем, и творил запретное, сладкое, как всякий тайный грех,— сочинял стихи.

В это утро, занимаясь повседневными и разнообразными хлопотами, Дмитрий чувствовал какое-то подспудное беспокойство, нетерпение сделать что-то очень важное, что было твердо решено еще вчера, но вот все некогда сосредоточиться, подумать, вспомнить. Сейчас будет досуг, и сосредоточишься и вспомнишь, и все успокоится, как боль, когда нездоровый зуб благополучно вырван.

И точно. Как только Дмитрий остался один, как только он уже без спешки свернул прямую толстую папиросу и раскурил ее, ему ярко вспомнилось все вчерашнее, а вместе с тем и решение, принятое твердо и бесповоротно.

Еще тогда, вчера, предвидя утренний ход мыслей, Дмитрий сказал себе: «Завтра все может показаться в ином свете, помни же, насколько важным ты считаешь это решение сейчас». Вгорячах рождается стремление совершить поступок искренний, продиктованный сердцем. Нужно его запомнить, зафиксировать, если не можешь совершить сразу, чтобы потом с наступлением

утренией трезвости, когда в дело вмешается рассудок, не забыть решенного вгорячах. Дмитрий считал, что при резких иеожидаиностях первый, непроизвольиый душевиый толчок к действиям всегда самый правильный.

Решительио он выложил на койку все вещички из немудреной солдатской тумбочки. Фанерку с прорезью для чистки пуговиц, флакон с раствором нашатыря для той же цели. Сапожную щетку, завернутую в красную бархатиую тряпочку. Потом пошли книги: «Краткий курс истории ВКП(б)», однотомиик Маяковского, томик Гейне, лирика Лермонтова. Под книгами собрались письма от матери, а потом уж, на самом дне, хранились бумаги, ради которых и залез в тумбочку сержант Золушкин. Все водворилось на место, только сверток бумаг перекочевал в карман сержантовых галифе.

Теперь, усевшись в заветное кресло, Золушкин извлек сверток и стал перечитывать каждый листок. Было намереиие разложить все на две кучки: в одну кучу — вопиюще иесообразное, в другую — терпимое или даже хорошее. Но росла только одна, а имеино первая кучка.

По лицу Дмитрия, когда он читал, бродило какое-то неопределенное выражение: и оттенки стыда, и оттенки досады, и оттенки мрачной, упорной решимости.

«Писал... Что писал? Хотел нести в редакцию. Не попади вчера на этот вечер, понес бы». Стихи между тем мелькали перед глазами: «Созвездие Победы» — стихи о том, как на время войны зачехлили, одели в парусину кремлевские рубииовые звезды. А теперь вот снова сняли чехлы, и значит:

Над всей планетою взошло,
Горит созвездие Победы.

Стихи на смерть Алексея Толстого. Было там что-то и про перо и про чернила, медлеиио засыхающие на пере. Причем Дмитрий ясно видел, как покрывается перо (номер восемьдесят шесть) этакой золотистой плеиочкой высохших чернил. Но таков был прорыв окутывавшей сознание пелены, что Дмитрий, ие получив, конечно, за это время дополиительных сведеиий о жизни покойного писателя, все же обругал себя беспощадно: «Дурак, Толстой, наверио, пером-то и не писал, а все больше на машинке. А уж если пером, то «вечным», автоматическим».

Дальше пошла совсем никудышная продукция. То какие-то феи с розовыми грудями в тихом саду (значит, начитался перед этим старинных стихов, купленных в магазине), то вдруг залетали в стихи такие словечки, от которых феям уж пришлось бы бежать из сада (значит, запоем в те дни читал стихи Маяковского), а то вдруг шло уж и вовсе непонятное, ибо нельзя было этому деревенскому парню, да еще и солдату, да еще и в сорок пятом году, напускать в свои стихи белесого тумана предреволюционных декадентов.

Дмитрий вообразил, будто ему нужно читать стихи там, в подвальчике, где он был вчера. Стыдно иль не стыдно было бы прочитать там это? А это? А это?.. Вот какой единственной меркой он мерял теперь каждую свою строку.

Из всех бумаг получилась одна кучка, одна стопка бумаги, над которой проведено столько восторженных часов в одиноком кресле пустынного солдатского клуба.

Аккуратно, уголок к уголку подровнял он все бумаги и, взяв их своими лапищами за середину, рванул, чтобы полоснýть напополам и вчетверо. Но бумаги было многовато, она не хотела полосоваться. Это разозлило. И когда в сердцах все-таки разорвал поперек, не помня себя, стал мельчить и мельчить, пока не осыпалось ворохом мусора. Белые лепестки валялись и на рояле, и под роялем, и на полу вокруг кресла.

Пошел из клуба и чувствовал легкость, точно такую же, как после похода, когда снимешь с плеч литую, двухпудовую станину пулемета: и легко, и непривычно, неустойчиво первое время без нее...

Случилось, что в следующий четверг уволиться было Дмитрию нельзя. Зато в среду он выходил из наряда, и тут нетрудно было отпроситься хотя бы на четыре часа.

Все было не так в «Комсомольской правде», все было непохоже на веселый поэтический подвальчик. Началось с того, что у Дмитрия потребовали пропуск.

— Нет у меня пропуска, я первый раз.

— Попробуйте позвонить по этому телефону; может быть, вас внесут в список. Поэты все больше по списку проходят.

Дмитрий набрал номер:

— Я хотел бы пройти на занятие литературной студии.

— Вы пишете стихи или прозу?

— Нет... не прозу.

— Ваше имя? Хорошо, идите в бюро пропусков, я туда позвоню.

Человек, занимавшийся выписыванием пропусков, долго читал список. Даже Дмитрий успел весь его прочитать. Все фамилии были незнакомы. Последней в списке значилась некая Садовникова. А потом уж приписанный чернилами и Золушкин. Садовникову Дмитрий запомнил именно потому, что стояла по соседству.

Получив пропуск, Дмитрий снова обошел вокруг бетонное здание и снова оказался перед вахтером, который не пускал его десять минут назад.

— Теперь пожалуйста. Да вы в лифт ступайте,— посоветовала женщина, видя, что Дмитрий, разбежавшись, устремился по лестнице.

Вдоль длинного и прямого, как винтовочный ствол, коридора шел Дмитрий, и красная ковровая дорожка поглощала его шаги. Столько было дверей справа и слева, что Дмитрий едва успевал читать надписи на дощечках. Телефонный голосок, с которым Дмитрий разговаривал насчет пропуска, просил зайти Дмитрия для знакомства в отдел литературы и искусства.

Перед дверьми с нужной вывеской сержант подтянулся, как если бы шел к командиру полка. Постучался раз и второй раз, погромче, понастойчивее. Ничего не было слышно из-за дверей. Неожиданно дверь раскрылась, и Дмитрий оказался лицом к лицу с худощавой веснушчатой женщиной.

— У нас не стучат,— как-то даже радостно сказала женщина.— Входите, это ведь вам я сейчас заказывала пропуск? Давайте знакомиться. Галина Николаевна Морозова.

— Сержант Золушкин,— ответил Дмитрий, принимая «основную» стойку.

— А как добра молодца по изотчеству?

— Васильевич.

— Получается — Сержант Васильевич,— засмеялась женщина.— Давайте уж лучше без сержанта. Мы здесь люди глубоко цивильные. Так, значит, Дмитрий? Что же вы пишете, Дмитрий Золушкин? Да вы садитесь.

Женщина села и сама. Мелкие веснушки покрывали ее руки, как раз до самых рукавов голубовато-стального полотняного платья, то есть чуть повыше худых, заостренных локтей. В узкой прорези на груди виднелись те же веснушки. На лице их не было. Остроносое и тонкогубое лицо Галины Николаевны не очень понравилось Дмитрию на первый взгляд. Еще бы очки — и классная дама.

— Значит, вы пишете стихи? Может быть, для знакомства покажете что-нибудь? Чтобы я представляла ваше лицо, ваш уровень. К нам, на студию, ходят сильные ребята.

— Показать я вам ничего не могу. Несколько дней назад я уничтожил все, что у меня было.

— Уничтожили? — с новым интересом спросила Галина Николаевна.— Зачем?

— Понял, что никуда не годится.

— Да... Ну что же, допустим... У нас руководит студией Александр Александрович Горынский. Я скажу ему о вас. Как он решит, так и будет. А сейчас идите в Голубой зал. Там, наверно, уж собрались.

Путешествие по красной ковровой дорожке продолжалось. Ни одного человека не было видно в коридоре, таком длинном, что даже сужался, сходил на нет в затененной дали. Потом попалась квадратная площадка. Круглый стол и кресла вокруг него. Здесь было светлее, и Дмитрий увидел, что носки сапог запылились, к тому же кто-то наступил в троллейбусе, и теперь пятно. Он отошел в уголок площадки, достал из заднего кармана брюк аккуратно сложенную бархатную тряпочку, почистил ею то один сапог, то другой. Потом достал завернутый в тряпочку небольшой кусочек воска. Нарисовал им на носках сапог решеточки и решеточки те расчистил бархатной тряпочкой. Матовые абажуры загорелись по четыре в каждом сапоге. «Теперь порядок».

В самом конце коридора снова площадка. С нее небольшая деревянная лестница повела к дверям зала.

Первое, что бросилось в глаза,— голубизна. Голубые, обитые бархатом стены; голубая бархатная мебель; голубые сумерки за огромным, во всю противоположную стену, окном, прошитые золотыми нитками предвечерних московских улиц.

Во всю длину зала, посреди его,— грандиозный

стол. С одного конца к нему приставлено тронообразное кресло, а вдоль, по обеим сторонам,— голубые бархатные кресла помельче. Бумага стопками, карандаши остро заточены. Несколько чернильниц под бронзовыми колпаками. То ли здесь будет занятие литстудии, то ли начнется Тегеранская конференция.

За столом сидело уже человек пятнадцать. Видимо, время подошло, и все, усевшись по местам, ждали, когда войдет руководитель. Так что, когда дверь открылась и возник на пороге рыжий детина, все, как один, повернули головы и внимательно смотрели, как он идет по ковру и как растерялся — куда же пристроиться?

Дмитрий и правда растерялся, увидев сочетание роскоши и блеска с подчеркнутой строгостью. Среди лиц, повернувшихся к Дмитрию, только одно было ему знакомо. Девушка, рядом с которой он оказался на прошлой неделе в подвальчике (как полутемно, как мило, как людно, как шумно там было по сравнению с этим Голубым залом, как легко там остаться незамеченным!), сидела за столом, как раз лицом к дверям. Ей и поворачиваться было не нужно. Она тоже узнала Дмитрия, поняла его смущение и растерянность. Немедленно пришла на помощь, а именно, улыбнувшись, кивнула на место рядом с собой.

Всему наступает конец. Оказывается, можно в конце концов обойти огромный стол, не повалив ни одного стула, и сесть куда нужно, да еще при этом и сохранить на лице подобие независимой улыбки. И все было бы хорошо. Но, посидев минуту, Дмитрий понял, что полагалось бы что-нибудь сказать соседке, тем более что она пригласила его сесть рядом. «Что бы такое ей сказать? Разве что «здравствуйте»? Но теперь поздно. «Здравствуйте» надо бы сразу. Спросить, что здесь будет,— и так ясно, что̀ будет. Не знал бы, не пришел. «Как поживаете?» — совсем уж глупо».

Галина Николаевна вошла в зал и тем одним облегчила участь Дмитрия. Она встала рядом с тронообразным креслом.

— Александра Александровича, к сожалению, сегодня не будет. Он поручил занятие провести мне.

(В то самое время, когда Дмитрий, а по деревне Митюшка Золушкин, заходил в Голубой зал, в селе Самойлове пригнали скотину. Легонькая суматоха, свя-

занная с загоном в хлевы этих торжественно важных, сытых коров, этих непослушных овец, этих коз и телят, постепенно улеглась. На село вместе с сумерками опустилась тишина. Красноперый закат, правда, все еще трепыхался за дальним лесом.

Отец Митюшки, длиннобородый седой старик Василий Васильевич, сидел на лавочке возле своего дома, в серых подшитых валенках — «Ну-к и что июнь месяц — чай, в них мягче»,— а также и в зимней шапке. Он думал о том, что опять старуха будет ругаться: не приколотил доску. А зачем эту доску приколачивать, все равно весь дом рушится. Вот уж Митюшка приедет, тогда... Его старуха, то есть мать Митюшки, Пелагея Степановна, доила Томку — рогатую козу с сережками под бородой. Было слышно и Василию Васильевичу, как цвикает молоко в подойник.

Шура Куделина у пруда стояла на самой кромке зеленой муравы и красноватой от заката водой мыла загорелые свои ноги. В горсти вода была зеленая от гусей, теплая, как парное молоко. Ноги от нее пощипывало, потому что накололо их в поле соломой. Ласточки летали над ветлами и вокруг креста колокольни, гоняясь за невидимой глазу мошкарой, а Степашка Крайний ехал по селу на пустой телеге.)

...— Александра Александровича, к сожалению, не будет, он поручил провести занятие мне,— сказала Галина Николаевна.— Я думаю, мы устроим сегодня студийную работу. Тема: «Любовь к Родине».

— Галина Николаевна,— обиженно возразил молоденький паренек,— вы нам прямо как десятиклассникам. Чего-нибудь поконкретнее бы.

— Поконкретнее вы сделаете сами. На то вы поэты. Весь интерес в том, каким образом каждый из вас будет решать эту вечную и неисчерпаемую тему. На таких темах проверяется индивидуальность, самобытность художника. Я знаю, что за полтора часа вы не напишете шедевров. Но нужно владеть ремеслом. Кто не успеет закончить — не беда, пусть будет строфа, две строфы, набросочек... Кто не хочет писать, пусть поскучает. Ничего не поделаешь.

Стало тихо.

О том, чтобы сочинить что-нибудь за эти полтора часа, у Золушкина не было и мечты. Но он тоже на

всякий случай взял несколько листов бумаги — лежала перед ним стопа — и карандаш. На чистом листе бумаги, чтобы скоротать время, он стал рисовать свой деревенский дом. Каждый раз на занятиях по политграмоте, на каких-нибудь лекциях — словом, каждый раз, когда оказывалась перед ним бумага и делать было нечего, Дмитрий рисовал свой деревенский дом. Рисовать его было больно и сладко. За каждой черточкой возникали воспоминания, от которых теплело в груди,— телега возле двора, дуга валяется возле телеги, ветла, лавочка, бревно отвалилось от завалинки.

Из-за крыши двора особенно радостно было высунуть веточки деревьев. Через эти веточки появлялся вдруг теплый аромат яблок и укропа, слышалось шуршание вечернего дождичка в кустах смородины и малины. Блестела мокрая, ласковая для босой ноги тропинка, либо золотистая залетная пчела попадала в лучик солнца, и черное вишенье проглядывало сквозь глянцевую листву.

Завалящие, конечно, сорта яблочишек, но каково в августе набрать их, самых спелых, без червоточинки и устроить на сеновале клад. Полежат, погреются в сене, как бы даже примут в себя лугового надречного аромата, зажелтеют, дойдут до сладчайшей спелости. Лежат долго. Сам забудешь про заветное место. Потом вспомнишь, раскопаешь перед самым снегом. Все совершил бы Дмитрий, чтобы хоть однажды возвратилось такое. Сливы он клал в водосточный желоб на крыше, и они дозревали за одну неделю. Ничего, что отдавали потом железной ржавчинкой. Как раз перед уходом в армию положил запас, штук восемьдесят, и не успел попользоваться. Сгнили, наверно. Кто ж догадается? Или склевали галки.

Да... Уходил он в августе. Это был теплый, спелый август. Теплые звездные ночи. В темноте за горизонтом ярко полыхали спелицы. Дмитрий только сейчас услышал, какое красивое слово «спелица». Вспыхнет темнокрасная полоса, ждать бы грому, но тихо ночью в августе. Безмолвно вспыхивают красные спелицы. Из-за околицы с поля пахнет теплой, перегретой за день соломой.

Уверенная, крепнущая струна запела в душе. Беззвучно, как в немом кино, развалились на четыре стороны

голубые бархатные стены — и мерцающие звезды, и мгновенные огневые спелицы, и соломенный ветерок, и поля окружили Дмитрия. Упавшее яблоко стукнулось о сухую землю, и стук его слышен чуть не в соседней деревне. Сторож в чугунную доску начал неторопливо, с протяжными остановками выбивать двенадцать часов...

— Ну, дети,— шутливо сказала Галина Николаевна, снова входя в зал,— показывайте ваши уроки. Время истекло. Нужно еще нам всех послушать и отдать кому-нибудь пальмовую ветку первенства. Читать будем по кругу, по солнышку.

Дмитрий плохо слышал, что читали сидящие за столом. В это время он снова и снова торопливо перечитывал набросанное на своих листах. Нужно было в оставшиеся минуты определить, можно это читать вслух или нельзя. Вот уж два человека остались до Золушкина.

Главная беда состояла в том, что у стихотворения, написанного наспех, не хватало конца — самой последней, самой главной строфы. А как без нее? Нельзя.

Все же невозможно было начисто отрешиться от происходящего, и краем уха Дмитрий улавливал, что читалось. Один написал стихотворение о том, что, только идя в атаку, он понял, как дорога ему Родина, а до этого как следует не понимал.

Стихи другого начинались торжественной, звучной строкой: «Нам не надо чугунных надгробий». Дескать, не для славы погибали мы за нашу великую землю. Соседка Дмитрия робко пожаловалась, что ушел от нее любимый человек, но что боль не смертельна, потому что осталась Родина. Что-то было там вроде: «Одна теперь ты у меня мечта, любовь, надежда, радость».

— Вы?

Дмитрий поднялся.

— Я написал немного, но только у меня вышло не про любовь к Родине, а про наше село Самойлово.

— Но если вы там родились, то все в порядке.

Дмитрию показалось, что иные едва сдерживают усмешечки превосходства, что каждый ждет веселого, развлекательного представления. Но Дмитрий ошибся. Может, и было две-три ухмылки: всякий народ. Остальные если и чувствовали надвигающееся представление, то ожидали его вовсе не со злорадством, а, напротив,

с ощущением большой неловкости. Одна синеглазая девушка улыбалась даже весело и обрадованно, как будто заранее знала, что все равно ничего плохого с таким здоровяком произойти не может.

— Ну, так что же про Самойлово? — подбодрила Галина Николаевна.

Дмитрий ошибался насчет ухмылок. Но он не знал, что ошибается, и это было к лучшему. Подчас ничто не соберет так все силы, не направит их в одну точку, как сделает это злость. Дмитрий осерчал, и это придало его голосу вызывающую, дерзкую уверенность:

Шла пора полыхающих спелиц,
Августовская спелая сушь,
По ночам начинались капели
Опадающих яблок и груш.

Я не пил самогон напоследок —
И без этого был я хмельной,
Потому что от ласковых веток
Плыл стоградусный терпкий настой.

Не девчонку, чтоб горечь растеплить,
Не девчонку семнадцати лет —
Целовал за гуменцами землю
Уходящий в солдаты студент...

Дмитрий почувствовал, как его подхватила плавная светлая волна и подняла на ту ознобную высоту, где ликующе щемит сердце. На взлете волны взволнованно дрогнул голос:

Ведь, наверно, дожди там бывают,
И грязища — не ступит нога.
Ведь на сажень поди наметает
По февральским дорогам снега.

Только что на меня за напасти!
Это грустно и, право, смешно:
Вспомню дом — ни весну, ни ненастье,
Вижу только одно и одно...

Дальше-то и должна идти ненаписанная строфа. Именно до этого места и хотел и должен был читать Дмитрий Золушкин. Но волна не позволила остановиться хотя бы на мгновение, и, мгновенно, ослепительно все поняв и увидев, с ощущением радостной завершенности,

легко, естественно он пустил на конец стихотворения уже читанную первую его строфу:

Шла пора полыхающих спелиц,
Августовская спелая сушь,
По ночам начинались капели
Опадающих яблок и груш.

Дмитрий сел, собрал свои листочки и придавил их к столу большими мужичьими руками, которые теперь немного дрожали от только что окончившегося полета.

— Именно такие стихи вы и сожгли на прошлой неделе? — спросила Галина Николаевна.

— Я их не сжег, а изорвал на мелкие частички,— серьезно уточнил Золушкин.— Там были другие стихи. А этого у меня не было. Я не знаю, откуда оно взялось.

Значит, искренняя растерянность была на лице у парня. Все засмеялись. Но не так, как ждал сначала Дмитрий, а хорошим, добрым смехом. Этот смех сделал больше, чем если бы каждый человек подошел к Дмитрию и пожал ему руку и сказал: «Теперь ты наш, мы принимаем тебя. Теперь ты держись с нами свободно, легко, как будто мы давно знаем друг друга и часто встречаемся. Мы иногда будем трунить над тобой, потому что ты очень велик и красен, но это не беда, не обращай на это внимания».

Да еще тот паренек, который возражал насчет сегодняшней темы, вскочил вдруг на стул и громогласно прочитал пародию, которую неизвестно когда успел придумать: до чего же востры эти городские люди!

Нет, уйти не могу осмелиться,
Но запомнить я буду рад:
Целовал за гуменцами спелицу
Уходящий в поэты солдат.

Пародия тронула девственное тщеславие Дмитрия даже больше, чем сам факт дружного присуждения ему воображаемой пальмовой ветки.

Кроме того, вечер, окончившийся так счастливо, неожиданно получил для Дмитрия фантастическое продолжение. На лестнице между четвертым и пятым этажами, перепрыгивая через три ступеньки, Дмитрий догнал свою соседку. Он умчался бы и дальше, гремя сапогами по каменным маршам лестницы, но девушка

посмотрела, будто хотела что-то спросить. Дмитрий пошел рядом, и девушка действительно спросила:

— Скажите честно, вы правда только сейчас написали это стихотворение или оно было написано раньше? Ну, может быть, наброчки какие. Отдельные строчки.

— Что вы! Еще за минуту до написания у меня и в мыслях не было ничего подобного.

Дмитрий отметил невольно, что девушка как раз с него ростом. То есть если бы стать лицом к лицу, то непременно брови пришлись бы на брови. «Королева! — мелькнуло у него.— И по росту, и по осанке, и по взгляду, и по усмешке в краешках губ, царевна!»

— Вы знаете, это очень интересно. Это подтверждает мою теорию о подсознательной сфере мышления, а также об иррациональности творчества, или, строже говоря, об иррациональности творческого процесса.

В таких ученых категориях Дмитрий, конечно, не смог бы продолжать разговоры. Но, к счастью, лестница кончилась, и он, пропустив вперед «царевну», вышел на улицу.

— Хорошо пройтись по воздуху после такого сидения. Не правда ли?

— Да. Но я уже опаздываю в часть,— спохватился Дмитрий, посмотрев на часы. В голосе его невольно прозвучала нотка ужаса.

Спутница тотчас поверила ему и предложила выход:

— Значит, нужно схватить такси.

— Но у меня нет денег... Я их оставил дома.

— Пустяки. Хотите, я вас довезу?

В машине лицо «царевны» было затемнено и только временами освещалось неверным — то зеленым, то красным — светом фонарей, реклам, светофоров, мимо которых проезжали. Ехали молча. Тотчас Дмитрий почувствовал едва уловимый, тревожащий и как бы одурманивающий запах духов. Впервые вдохнул этот запах деревенский парень Митюшка Золушкин. И может, не было бы еще беды, если бы просто понюхал стеклянную пробку от флакона. Но тревога вместе с тонким и нежным ароматом шла от девушки, сидящей вблизи. Учащенно забилось сердце, как будто вдохнул не духи, а некие ядовитые пары, от которых рано или поздно наступит гибель. Говорят, есть такие восточные яды, от которых умирают через несколько лет.

На прощание девушка подала Дмитрию руку, и казалось, на миг перемешались в ней все маленькие косточки, когда веснушчатая лапа Дмитрия ненароком сжала ее.

— Ой!..— воскликнула девушка.

— Извините, я не хотел.

— Ничего. У меня колечко, поэтому было больно. Вы придете в среду? Или в четверг в подвал? Или в понедельник к нам, в МГУ? Обязательно приходите, я буду ждать.

«Я буду ждать. Я буду ждать. Я буду ждать»,— колотилось сердце Дмитрия. Не видя ничего перед собой, он бежал через площадь перед казармами, зная, что опаздывает безнадежно. Но не было ни раскаяния, ни страха перед дежурным по части. Только в самый последний момент явилась мысль, от которой захолонуло сердце: «А что, если накажут неувольнением в город? Нет, нет! Дадут трое суток гауптвахты». К следующему четвергу он будет свободен. Даже если и пять суток, все равно к четвергу будет свободен. Никакие преграды не смеют становиться на его пути. Какие могут быть преграды?

Когда сержант Золушкин доложил о возвращении в часть, часы показывали ноль сорок шесть. Засыпая, он подложил под щеку правую руку и снова услышал чудом, от одного только прикосновения перешедший на руку запах все тех же духов.

На другой день его вызвал командир батальона и объявил шесть недель неувольнения в город.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Внешне Золушкин оставался тем же подтянутым, деловым, знающим службу и четко ее исполняющим сержантом. Разве что с бо́льшим остервенением колол штыком фашины, резче лязгал затвором, метче и кучнее посылал свои пули в далекий, кажущийся крохотным силуэт мишени.

Внутренне он кипел и метался. Сначала неувольнение из части казалось простой нелепостью, недоразумением, и больше ничего. Какое может быть неувольнение, если она будет ждать? Разве так может быть? Но пришел

нужный день, Дмитрий почувствовал всю неумолимость, всю непреложность происшедшего. Не оттого он мучился, что не увидится с ней и, таким образом, не получит радости для себя, а оттого, что она ведь будет ждать. Она будет ждать, а его все нет и нет. Она обидится, посчитает его болтуном и ничтожным человеком. Потом, когда-нибудь после шести недель, не захочет с ним разговаривать.

К пяти часам вечера Дмитрий, зная, что идет в увольнение сержант Рощин, составил план. Он нашел Рощина в курилке; тот накладывал на свои сапоги последний блеск.

— Слушай, ты куда сегодня идешь?

— Ну, куда, куда! Сам знаешь, куда в увольнение ходят. А что, поручение какое?

— Есть одно дельце.

— Нет, уж уволь! Моя ждет не дождется. Теперь небось одеколонами мажется. Мне каждая минута дорога.

— А!.. У тебя все одно на уме.

— А у тебя разве не то же? — сердито спросил Рощин.— Или, может быть, поручение твое — купить папирос в «Гастрономе»?

Дмитрий даже не обиделся, настолько у него и правда было другое, а не то, о чем говорил теперь Рощин. Этот Рощин был старше Дмитрия, опытнее, а главное — слыл среди солдат отчаянным бабником, может быть, благодаря тому, что каждый раз после увольнения рассказывал в курилке нагло и цинично все, что удалось ему час или два назад. Он, верно, почувствовал смущение Дмитрия и теперь, продолжая складывать бархатную тряпочку и убирая ее в карман, говорил:

— Знаем мы эти вздыхания! Эти голубые грезы... Полет фантастики. Все равно к одному придет. А я, брат, нет. Я люблю проще. Раз я иду — значит, мажься одеколоном. Придешь к ней, а ей будто нездоровится — в кровати лежит. Знает, что каждая минута дорога... Потянется этак сладко, с выгибом... Схватишь ее в это время на самом выгибе... Э, да что вы, сосунки, понимаете!.. Вон, проси Кузнецова, он тоже в город идет. И тоже вроде тебя — теленок. Этому в городе делать нечего. Рад будет твоему поручению. Зачем увольнение дают таким?!

Ефрейтор Кузнецов взялся было за поручение с радостью.

— Значит, зайдешь в подвал, там будет народ,— разъяснял Золушкин,— стихи будут читать. Увидишь ее и скажешь, что сержант Золушкин не может сегодня прийти и еще шесть недель не сможет. Ну... скажешь, что выехал в летние лагеря.

— Постой, постой! А как ее зовут? Не могу же я к каждой подходить и докладывать.

— Как зовут-то, я и не знаю.

— Вот те раз!

— Да ты сразу ее увидишь. Глазищи — по чайному блюдцу. Сама белая, ростом, как царевна.

— Царевен я никогда не видел.

— Да ты сразу ее увидишь и сразу выделишь.

— Нет, товарищ сержант, говорите, как зовут, а так я не согласен.

Казалось чудовищным, невозможным, несправедливым, что вот он, Кузнецов, стоящий здесь рядом, через полчаса может оказаться там, в подвале, хотя там ему ничего не нужно. Как просто! Полчаса — и там. И можно сесть рядом, поздороваться. А если будут читать по кругу — прочитать новое стихотворение. Фантастически близко существовал тот, другой, мир, в котором с утра до ночи жил теперь Дмитрий Золушкин. Но был этот мир и фантастически далек от того места, где он жил на самом деле.

В части, где служил Дмитрий, летом всегда проводилось соревнование сборных взводов. Каждая рота отбирала тридцать самых сильных, выносливых и легких на ногу бойцов. Командиром взвода назначался самый крепкий и выносливый офицер. Отделенными — самые крепкие и выносливые сержанты. Сборный взвод освобождался от несения службы и некоторое время тренировался, чтобы потом как можно быстрее пройти тридцать километров. Идти нужно было с выкладкой: шинель-скатка, винтовка, саперная лопата, подсумок, фляга и прочее снаряжение. Полагалось взводу тащить четыре ручных пулемета и один станковый. Во время похода надо было преодолевать водный рубеж (озеро шириной шестьсот метров), штурмовую полосу, а также стрелять

по заранее приготовленным мишеням. Время засекалось по последнему человеку, так что если весь взвод прошел за три часа, а один отстал и плелся пять часов, то считалось, что и взвод шел пять часов.

Утром уж было видно, что день разгорается жаркий и безветренный. Тем не менее Дмитрий приказал всем бойцам своего сборного отделения подобуть зимние шерстяные портянки. Он приказал им также за завтраком насыпать на хлеб как можно больше соли и съесть этот хлеб со сладким чаем — ведь чем больше соли съешь перед походом, тем меньше будет мучить жажда.

За завтраком каждому выдали двойную порцию сливочного масла, и все тщательно намазали и ели его. Дорога́ будет каждая, самая маленькая калорийка. Но и странно было, что аккуратный желтый ломтик сможет помочь там, на дистанции, когда начнут убывать силы. А что они начнут убывать, в этом не было никаких сомнений.

Лейтенант Лоза, невысокий, как бы даже толстенький и рыхлый, а на самом деле самый быстроходный офицер из всей части, построил взвод. Тоном, как будто перед ним стоит не взвод, а целая армия, и он ее главнокомандующий, Лоза говорил:

— Вчера взвод первого батальона прошел за три часа ноль две минуты. Наша задача — пройти за три часа ровно. Мои сигналы вам известны, и вы знаете, что я никогда не оглядываюсь назад во время марша. Младшие командиры! Прошу следить за порядком строя. Пулеметы всегда в голове. Подменять несущих пулемет через каждые пятнадцать минут. Ни одного глотка воды. Ни одного отстающего. Выбившихся из сил нести на себе...

Взвод стоял на обочине асфальтированного шоссе, обставленного в этом месте двумя рядами справных деревенских изб. Как раз в том месте, где стоял взвод, уходила от шоссе, в глубину летнего приволья, давно неезжая проселочная дорога. В палисадниках перед избами пышно цвела сирень. В кистях ее дремало еще прохладное синее утро, тогда как на других цветах, растущих около дороги, не было ни капли росы. Здесь, около асфальта, цветы были запыленные, им здесь было особенно жарко, особенно трудно жить и цвести.

Позади деревенских изб колыхалось море тех пест-

рых, тех свежих, тех разноцветных цветов, которыми так богато раннее лето. Последняя волна этого цветочного моря, разбиваясь об огороды, выплескивалась через прогоны и на деревенскую улицу. Но здесь ослабевала, и, как брызги ее, лишь кое-где пестрели одуванчик, лютик, одинокая ромашка.

Проселок, уходящий в прогон, захлестывало цветочной волной, и поэтому было бы так заманчиво уйти по нему, чтобы и самому затеряться в благодатном цветущем раздолье.

И тишина деревенской улицы, и эти пахнущие медом цветы, если бы солдаты обращали на них внимание, располагали больше к неторопливым мирным делам, а не к тому, чтобы ни с того ни с сего вдруг сорваться с места и в течение нескольких часов, выбиваясь из сил, бежать мимо палисадников, этих колодцев со светлой водой, этих перелесков, озер и речек. Но солдаты не думали ни о чем другом, кроме того, что им говорил лейтенант Лоза.

Сержант Золушкин тоже внимательно слушал командира, но он все время думал еще и о другом. Вот уже две недели он на все вокруг себя смотрит не только своими, но еще и ее глазами. Увидит сирень в палисаднике, обрадуется. Кажется ему, что и она тоже увидела и обрадовалась этой сирени. Еще не зная, что̀ это за глаза, что̀ может им нравиться, а что́ не нравиться, на что им смотреть приятно, а по чему они скользнут равнодушно, не заметив и не оживившись, он все равно смотрел вокруг этими глазами. И некому было тут сказать, что вторые эти глаза совсем не другие и не чьи-нибудь, а его же, Дмитрия Золушкина, придуманные им самим же глаза.

Мало того, что вокруг, еще и на себя он стал смотреть со стороны теми же, ее глазами. Что бы он ни делал теперь, все он делал так, как будто каждую минуту в какое-то волшебное зеркальце она смотрит на него, одобряя или осуждая. Но чаще, конечно, она смотрела, когда было за что одобрять. В иных случаях волшебное зеркальце могло ведь и выключаться.

Радостно раздвоившись, жил Дмитрий Золушкин. Здесь была штормовая полоса, горячий пот, заливающий глаза, соль на спине, похожая на иней, беспрекословное подчинение старшим, десять бойцов отделения,

за которых он отвечал головой, заботясь о их портянках, сапогах, винтовках и даже о их настроении.

Торжественные разводы караула, несение службы на важных постах, четкие, непреложные уставы, определявшие каждый шаг жизни. Это был мир реальный, мир утра и вечера, дня и ночи. Это была действительность.

Рядом с ней долгое время существовала вторая действительность, которая подчас казалась даже более реальной. Мать, отец, родная деревня, дом, деревенские забавы, кустики в Капустном овраге, сосенка по дороге к реке. Каждая травинка, каждая черточка в пейзаже — все это так явственно окружало Дмитрия и днем (в тоскливой мечте) и ночью (в снах). Все это с такой силой звало назад, что иной раз самый тяжелый, самый длинный поход проходил для него как во сне. Он шел в строю, как заведенный механический человечек, а сам в это время заходил в избу, приехав с поля, умывался, садился за стол. Мать наливала ему горохового супу со свининой. Или он подходил к гулянью, небрежно набросив пиджак на плечи поверх белой косоворотки, здоровался по очереди со всеми девушками и парнями...

Все, что пришлось ему когда-либо пережить в том, так резко и так прочно исчезнувшем мире, вновь и вновь переживалось им в мелочах и подробностях. И вот уж его солдатская действительность казалась придуманной и случайной, а не то, что возникало в памяти и от чего нельзя было куда-либо подеваться.

Полковник Смекодуб однажды сказал им, молоденьким,— как будто проник в самые сокровенные их мысли:

— Я знаю, вам кажется, что вы здесь у нас в гостях, а дом и вся жизнь у вас там, на гражданке, где папа с мамой, что вот проснетесь однажды — и нет ни меня, ни каптерки, ни утренней зарядки. Такое состояние ваше продлится еще месяцев шесть или восемь. Потом все перевернется. Вам покажется, что ваше основное место и дело здесь, а туда... Ну что ж, туда можно и даже нужно, и даже очень неплохо съездить в гости.

Дмитрий не поверил тогда полковнику. Но проходили месяцы, и он стал замечать, как все призрачнее и призрачнее, как бы увиденные в интересном кино, становились и Гриша Тимкин, и Шура Куделина, и сенокос, и купание лошадей в реке, и учение в городе.

В то время как все размывчатее и нереальнее ка-

зались черты пережитого ранее, все главнее и важнее становилось то дело, которое приходилось делать теперь, сегодня, сию минуту и сию секунду. Теперь он на далеких маршах меньше всего думал о мамином гороховом супе, а больше о макаронах по-флотски, которые, как точно было известно, ждали его сегодня в гарнизонной столовой. Жизнь перестала двоиться. Все сделалось простым и ясным, как пейзаж в бинокле, когда точно поставишь фокус.

И вот теперь Дмитрий почувствовал вдруг, что совсем неожиданно он заглянул в какое-то такое новое, в котором еще неизвестно, что ждет его впереди, но, что бы ни ждало, не стремиться туда уже невозможно.

Если раньше, выключаясь из солдатской действительности, он сразу переносился в родную деревню и там жил, пока ноги его шли да шли по земле или пока политрук читал да читал лекцию о моральном облике советского солдата, если раньше не нужно было при этом фантазировать, но нужно было только вспоминать, то теперь воображению нашлась работенка потруднее.

Нужно было вообразить, как он, Дмитрий Золушкин, взял слово и хочет выступить на обсуждении новых стихов поэта Матвея. Это было равноценно тому, как если бы он решился спрыгнуть с колокольни Ивана Великого. Это было невероятно! Тем слаще воссоздавать штришок за штришком, как он пробирается к переднему столу, как все смотрят на него и ждут от него умных и точных слов и как он произносит и произносит эти слова. Или вот он сам читает свои стихи, и они такие, что ему аплодируют, как Матвею, и тоже обсуждают, и кто-то из крупных поэтов, пришедших на занятия, говорит ему что-то хорошее, ободряющее.

Воображение ходило кругами, а круги все сужались и сужались. В конце концов, оставалась только она одна, белолицая, темноволосая девушка с большими глазами, которая сказала ему тогда в машине, легко дотронувшись до руки: «Обязательно приходите, я буду ждать». Начиналось самое трудное, самое тайное, но и самое радостное. Впрочем, все было смутно и неправдоподобно тут.

Запоем читая Маяковского и Блока, Дмитрий наткнулся на поэму, которая лучше всего, так ему, по крайней мере, казалось, отвечала не то что истинному

положению вещей, но чему-то внутреннему, главному, иной, сердцевинной сути происходящего.

Он воспринял, как себя, того рабочего с железным ломом, который ломает слоистые скалы на знойном морском берегу и возит и возит их по трудной каменистой тропинке. Именно как про себя, без самой маленькой скидки или поправки, умел он читать, забывая про все на свете:

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.

Что из того, что не именно крошить скалы железным ломом, а косить клевер, ковать железо или, как теперь вот, идти, обливаясь потом...

Почти не заметил Золушкин, когда тронулся взвод, и поэтому потерял ориентировку, много ли успели отмахать. Должно быть, порядочно, потому что у всех солдат проступили темные пятна на прилипших к спинам гимнастерках, но не было еще вокруг этих темных пятен белого кружева запекшейся, высохшей соли.

И кричит и трубит он — отрадно,
Что идет налегке хоть назад,
А у самой дороги прохладный
И тенистый раскинулся сад.
По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы...

Значит, теперь профессионально читал стихи Дмитрий Золушкин, если его поразил такой простенький эпитет. Какие могли быть розы, чтобы сразу можно было их увидеть? Пурпурные, черные, влажные, росистые — все не то! Лишние — вот что гениально! То есть так полон розами сад, что лишние свисают наружу, через ограду, туда, где зной, пыль и камни. Перехлестывает через край роскошное цветение сада.

— Товарищ сержант, отстал ручной пулемет! — крикнул ефрейтор Пальцев.

Дмитрий оглянулся назад. Строй взвода растянулся шагов на сто. Еще дальше, в ста пятидесяти шагах, трусил с ручным пулеметом на плече крупный, но рыхловатый боец Корнилов. «Значит, пока я бегу к нему, то есть назад, взвод уйдет еще шагов на сто, а то и двести.

Догнать будет очень и очень трудно. Но и так ему не догнать».

Гимнастерка у Корнилова расстегнута до ремня. В ложбинке груди серый налет дорожной пыли. Струйки пота размывают ее, превращая в жидкую грязь. Под пилотку боец подложил носовой платок, но и платок набряк. С его концов все равно стекают на лицо соленые капли.

— Что, брат, тяжеленько? Почему не отдал пулемет, когда почувствовал, что отстаешь?

— Вы не оглядываетесь, а сам я постеснялся.

Корнилов попробовал улыбнуться, но улыбки у него как-то не вышло.

Дмитрий на ходу (все тут должно делаться на ходу) переложил пулемет к себе на плечо, поправил его — неловко надавило на косточку.

— Не отставать ни на сантиметр. За мной! — И побежал по горячей дороге, над которой колебалась, еще не рассеявшись окончательно, тонкая кисея пыли, хотя взвод свернул за осиновую рощу и скрылся за ней.

...Стоит ли говорить, что таинственным садом со свисающими из него лишними розами казался сержанту Золушкину тот новый загадочный мир, к дверям которого он подошел и внутрь которого он заглянул недавно.

Иль разум от зноя мутится,
Замечтался ли в сумраке я,
Только все неотступнее снится
Жизнь другая — моя, не моя...
Не доносятся жизни проклятья
В этот сад, обнесенный стеной,
В синем сумраке белое платье
За решеткой мелькает резной.

Теперь они, Золушкин и Корнилов, тоже обогнули осиновую рощу и увидели, что расстояние между ними и взводом сократилось очень мало.

— За мной, бегом! — командовал Золушкин, хотя и так они почти все время бежали.

Ну хоть бы легкий ветерок, хоть бы какая-нибудь струйка прохлады! Хорошо бы бежать, а на тебя бы поливали из шланга! В грудь, в лицо, в спину. Даже мотору нужно водяное охлаждение.

— Бегом! — крикнул сержант еще раз, видя, что Кор-

нилов опять переходит с бега на легкую рысцу, а потом и на пеший шаг.— Сачкуешь! Я тебе посачкую, размазня!..

...Ну что из того, что не было в синем сумраке белого платья, а была она в черном костюме и белой кофточке!

Наказанье ли ждет иль награда,
Если я уклонюсь от пути?
Как бы в дверь соловьиного сада
Постучаться, и можно ль войти?
А уж прошлое кажется странным,
И руке не вернуться к труду:
Сердце знает, что гостем желанным
Буду я в соловьином саду...

На пути попалась деревня. Около дороги стояло в одном месте несколько пожилых женщин. Они с любопытством смотрели на солдат. К этому времени отставшие почти догнали ядро взвода и в конце концов догнали бы совсем, если бы не этот проклятый колодец. Старушка при помощи огромного скрипучего журавля деревянной, в железных обручах бадьей черпала воду. Золушкин и Корнилов подбежали к ней.

— Попейте, попейте, сердешные. И куда это вас теперь гонят по этакой жаре?

Дмитрий упал перед бадьей на колени, низко наклонил голову. Старуха не сразу поняла, что нужно делать.

— Лейте, лейте скорее! — довольно грубо крикнул Дмитрий и тут же услышал, как блаженно обтекла, плотно обхватила голову, шею, грудь, плечи ледяная глубинная вода.

Корнилов тоже подставил себя под воду, и старуха, перекрестив, окатила и его. Сержант не видел, что Корнилов, сделав из ладони лодочку, успел и внутрь схватить два жадных, больших глотка.

— Ну, теперь-то мы их в момент настигнем, свежие, бодрые. За мной, брат Корнилов, бегом!

...Правду сердце мое говорило,
И ограда была не страшна.
Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери она...
Опьяненный вином золотистым,
Золотым опаленный огнем,
Я забыл о пути каменистом,
О товарище бедном своем.

Освеженные и взбодренные, Золушкин с Корниловым одним рывком догнали взвод. И Дмитрий передал уж пулемет очередному бойцу и вздохнул повольготнее и настиг уж самого лейтенанта Лозу (твердо зная, что в голове строя идти всего легче), как тревожный крик заставил остановиться весь взвод.

— Корнилов упал! — закричали сзади.— Упал боец Корнилов!

Когда все оглянулись, Корнилов пытался встать, неловко подгребая под себя черную пудру торфянистой пыли, но видно было, что сил у него не хватает.

— Вы пили воду? — строго спросил лейтенант.

— Окатились только,— обиженно ответил Золушкин,— не первый год замужем. Корнилов, ты пил? Честно отвечай, пил там, у колодца?

— Так ведь... Два глотка.

— Все ясно. Сержант! Раскатайте одну шинель, положите на нее бойца. Напеременках по четверо потащите его к финишу, осталось не более двенадцати километров. Взвод, марш!

Теперь уж некогда вспоминать Блока, только отдельные обрывочки строчек и слов бессвязно мельтешили в мозгу и путались на языке в пересохшем рту. Тащить Корнилова было неудобно: начинало ломить то в боку, то в пояснице. Лоза, как заведенный, правда налегке, с одним пистолетом на бедре, шел и шел, не оглядываясь. Один только он шел, а остальные трусили, едва поспевая за ним. Корнилову совали в рот кусочки пиленого сахара, и он ими хрупал, задумчиво глядя в небо, чистое и белесоватое от зноя. Казалось, не от солнца жарко земле, а от всего раскаленного неба.

Туман застилал глаза Дмитрию Золушкину. Эта история с пулеметом крепко подкосила его. Идти становилось все тяжелее и тяжелее...

Не зря ели утром белую мелкую соль! Теперь она вышла наружу. Закупорила все поры и приостановила убыль влаги из организма. Это было хорошо как средство от жажды, но это было и плохо. Дмитрий почувствовал, что весь он перегрелся, что сам он полыхает еще большим внутренним сухим жаром, чем этот летний полдень.

Но люди плохо знают и всегда недооценивают предельные возможности своего организма. Наступил мо-

мент, после которого пришло неожиданное облегчение. Не нужно было уж думать, далеко осталось идти или близко. Работа сознания затормозилась, а мышцы, разработавшись, войдя в ритм, делали и делали свое дело.

Теперь не только гимнастерки, но и лица солдат покрылись мелким соленым инеем. Проведешь по лбу рукой — мелкий белый порошок останется на ладони.

В одном месте дорога некоторое время шла сырым, замшелым лесом. В широкой глинистой колее застоялась дождевая вода. Она стояла давно, успела подзагустеть слегка, была красная и колыхалась оттого, что за несколько минут перед этим проехал по колее грузовик. Солдаты на ходу черпали пилотками воду и так, с водой, надевали пилотки на голову. Вода стекала по лицу на плечи, на грудь, холодила и освежала, хоть была, в сущности, теплой, грязной водой.

Штурмовую полосу, даже если лежишь перед ней в спокойном, неутомленном состоянии, пройти не так-то легко. То есть, конечно, если умеешь преодолевать все эти препятствия, расставленные на пути, все заборы, через которые нужно перепрыгивать, длинную «мышеловку», под которую нужно подползать по-пластунски, да и мало ли чего там еще нагорожено,— если умеешь все это преодолевать, то пройти штурмовую полосу не только не трудно, но в некотором роде в удовольствие. При всем том после штурмовой полосы десять минут не отдышишься, не придешь в себя. Теперь нужно было преодолевать ее без остановки, с марша, да после полосы до финиша еще оставалось четыре километра.

Когда Золушкин, не раздумывая, побежал сначала по наклонному, а потом по горизонтальному бревну, ему показалось на мгновение, что штурмовую полосу не преодолеть. Что он или повиснет на заборе, или упадет в окоп с водой. Но тело неожиданно легко подчинилось его приказу, и он по всем правилам, едва коснувшись каблуком поперечной балясины, перескочил первый заборчик.

В конце штурмовой полосы стоял комбат. Может, майор каждого хвалил здесь для одобрения. Может быть. Но когда Дмитрий услышал искренние комбатовы восклицания: «Молодец, Золушкин! Вот как штурмуют настоящие солдаты!» — у Дмитрия трепыхнулось в груди, и холодок восторга пробежал между лопатками.

В нем вдруг окрепла уверенность, что теперь он дойдет, и дойдет хорошо, как надо. Какие могли быть сомнения?! А если он прошел все это и дошел — и ничего, если он умеет делать такие марши, то что ему страшно?

«Вы там, которые собираетесь, чтобы читать стихи, вы умеете делать такие марши? Вы — тонкие, вы — нежные, вы, знающие непонятные для меня слова «интеллект» и «рефлексия»! А тащить восемь верст своего товарища вы умеете? Так что ж, если я приду к вам, я буду неполноценнее, хуже вас?

Я приду как солдат, знающий цену каждому стакану пота, и вы расступитесь, чтобы пропустить меня. Я предчувствую, что иная полоса препятствий встанет на моем пути и длина ее будет не сто пятьдесят метров, не тридцать километров, а, может быть, тридцать лет. Но если я умею так штурмовать, то разве наука не пригодится мне и там, на иной, на вашей, неизвестной мне полосе?»

Пусть укрыла от дольнего горя
Утонувшая в розах стена,
Заглушить рокотанне моря
Соловьиная песнь не вольна.
...Но, вперяясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа.
...Размахнувшись движеньем знакомым
(Или все еще это во сне?),
Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне...

На опушке леса стояло несколько грузовиков, фургон с красным крестом и две большие черные автомашины. Народ толпился около автомобилей и смотрел навстречу бегущим. Все это было еще очень маленькое, за дальностью, но все же ясно было видно, что это автомобили, люди и что это и есть финиш.

— Подтянись! — скомандовал лейтенант Лоза, впервые уйдя из головы строя и пропуская взвод мимо себя.— Подтянись! Все отдать!

«Все отдать!» — это значит, если ты двигался быстро, то нужно теперь еще быстрее, так быстро, как только ты можешь. Если командир говорит «все отдать!», значит, он уверен, что ты успеешь добежать прежде, чем действительно отдашь все. Значит, и правда скоро конец пути.

Подхлестнутый командой, взвод в последнем рывке достиг финиша.

Генерал — командир соединения, полковник — командир части, комбат, старшие офицеры штаба, адъютанты, медики — все, казалось, с некоторой растерянностью смотрели на этих чумазых, потных, с запекшимися губами закончивших марш солдат.

Командир взвода остановил передних и стал ждать, когда подтянутся остальные. Офицеры смотрели на часы.

Корнилова уже не тащили на шинели. Он, поддерживаемый справа и слева, подталкиваемый сзади, бежал сам. Наконец и эта группа влилась в строй взвода.

— Всем оправиться, застегнуть воротники, поправить пилотки и снаряжение.

Смирно! Равнение на середину! Товарищ генерал, сборный взвод в полном составе прибыл к месту финиша!

Генерал остановил хронометр.

За отменный результат — два часа пятьдесят девять минут — каждый участник перехода получил поощрение: два внеочередных увольнения в город. Сержант Золушкин, столкнувшись с явным противоречием своих неувольнений с увольнениями, осмелился тут же в строю обратиться к генералу, обласкавшему взвод. Генерал тоже, как видно, оказался в затруднительном положении. Он спросил:

— Вы что получили раньше — взыскание или поощрение?

— Взыскание, товарищ генерал, получил раньше.

— Значит, так и будет. Сначала взыскание, а потом поощрение.

Теперь, значит, все поедут в Москву, на грузовике, лишь Золушкин останется в лагере.

В глухом, непросветном ельничке Золушкин сидел возле кадки с водой, врытой в землю. Здесь была курилка, и Золушкин сделал все, чтобы оправдать назначение площадки. Дым не сразу расходился в лесном безветрии. Среди частого ельничка было накурено, как в комнате.

Дежурный по лагерю лейтенант Баскаков (ему быть бы офицером, когда скакали на лошадях, резались в карты, дрались на дуэлях и в деревянных церквушках

ночью венчались с дочками станционных смотрителей) появился возле. Приземистый, кривоногий, с черными, как уголь, быстрыми, но умеющими вдруг вцепиться и сделаться неподвижными глазами, он среди тех, кто его знал, то есть среди офицеров полка, слыл за отчаянного человека, хотя в чем бы, право, могла проявиться его отчаянность в условиях тыловой части, да еще почти в самой середине Москвы?

— Сиди,— как бы даже брезгливо бросил он Золушкину.

От лейтенантовской гримасы сержанту стало неловко, что вскочил слишком быстро и слишком подобострастно.

— Говорят, стихи пишешь? — Зрачки бегали по Золушкину, стараясь разглядеть на нем что-то такое, чего вовсе и не было.— Где же эти, ну, синяки, ссадины, царапины?

— Нету,— развел руками Золушкин.

— Ну, так будут! — почти закричал Баскаков.— Если, конечно, будут стихи, а не какое-нибудь дерьмо. Поэтому и ходят чистенькие. И задницы все целенькие, как у новорожденных, и хари розовенькие, как задницы. Разве таким должен быть поэт?! Светильник, жертвенный огонь. Глаза горят. Губы искусаны до крови. И где-нибудь сторонкой, в тени, уж пробирается дежурный иуда, чтобы нанести в решительную секунду проклятый свой поцелуй.

Золушкин подумал, что дежурный по части пьян, но этого быть не могло.

— Поэ-ты! К шести часам явитесь на кухню. Выделено пять бойцов для чистки картошки. Будете старшим.

— Слушаюсь!

Еще пристальнее вонзился лейтенант Баскаков в побледневшее лицо сержанта, словно хотел лишний раз убедиться, точно ли нет там синяка, не появился ли вдруг теперь, во время разговора.

— Вы же ходили со сборным взводом...

— Так точно, ходил.

— Почему молчите? После сборного взвода не полагается никаких нарядов. Почему вы вообще околачиваетесь в лагере, когда весь взвод уехал в Москву?

— У меня шесть недель неувольнения.

— Н-да... Ну вот что! Нечего вам здесь околачиваться. Приказываю ехать в расположение части. Увольни-

тельный знак я выдам. Да, смотрите... не загуляйте с ним в Москве. Никто не спохватится.

Через четверть часа Золушкин стоял на шоссе и поднимал руку проходящим автомобилям. Грузовик притормозил. Сержант на ходу запрыгнул в кузов и, широко расставив ноги, держась за кабину, врезался в теплую светлую струю летнего вечера. По сторонам дороги колыхалась высокая тяжелая трава. Казалось, колыхает ее ветер, разлетающийся от грузовика, на котором мчался теперь Дмитрий Золушкин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Если бы грузовик довез сержанта до казармы, то вся последующая жизнь Золушкина сложилась бы одним образом (теперь уж никто не может сказать, как именно она сложилась бы). Но грузовику надо было на окраине поворачивать налево, пассажиру пришлось сойти, и это, микроскопическое в плане всей жизни, обстоятельство повлекло за собой такую неожиданную череду событий, что теперь никто не может сказать, как именно сложилась бы жизнь нашего героя, если бы грузовик довез его до казармы.

Золушкин оказался в Москве в седьмом часу вечера с увольнительным знаком в кармане.

— То есть как же так,— пробормотал Дмитрий Золушкин,— выходит дело, что я свободен? Могу, если захочу, сесть в трамвай и поехать в любую сторону. Даже можно пойти в подвал, где собираются поэты.

«Постой, постой! Тут что-то не так. Тебе в течение шести недель запрещено появляться в городе».

«Но я уж в городе. Чего же теперь раздумывать! И товарищи мои все в городе. И никому я сейчас не нужен. В казарме думают, что я в лагере, а в лагере думают, что я в казарме».

«Может быть, лейтенант Баскаков нарочно послал тебя, чтобы проверить твою дисциплинированность?»

«Вот чудак! Конечно, он послал меня нарочно. Но вовсе не для проверки, а для того, чтобы и я отдохнул после трудного марша».

«Нет, нет! Нельзя становиться на этот путь. Ты солдат и должен выполнить свой долг. Мало ли, что ты в

городе. Ты должен немедленно следовать в часть и доложить о прибытии».

Когда сержант садился в трамвай, мелькнуло в толпе на тротуаре бледное, длинное лицо сержанта Рощина. «Видел или не видел? Но если и видел, что тут такого? Хорошо, что решил ехать прямо в часть. А то, знаем мы этого Рощина... Потом доказывай».

Трамвай, скрипя, скрежеща, звоня на перекрестках, долго вез Золушкина через Москву. «Как же так? Вот он едет в трамвае, и еще сорок человек едут вместе с ним. Любой из этих сорока человек может вдруг сойти и поехать куда-нибудь в другую сторону и даже обратно. Только он, Золушкин, должен стремиться в часть, где теперь ему совсем нечего делать».

«Во-первых, ты не прав, взять хотя бы этого парня, что сидит у окна. Вероятно, он едет на свидание, назначенное возле кинотеатра. Значит, он не может поехать в другую сторону, значит, он тоже не свободен в своих действиях, если, конечно, хочет оставаться порядочным человеком, а не превращаться в свинью и пустомелю. Эти мужчины, женщина и девочка, наверно, едут в гости к знакомым, где их ждут. Опаздывать неприлично. Они вон даже нервничают, что трамвай идет слишком медленно. Есть люди, едущие на работу, есть люди, едущие с работы к своим детям. У каждого человека свои обязанности, свой долг, так же как у тебя. Даже законченный бродяга вовсе не свободен в своих действиях. Он голоден, он должен направлять свои усилия в поисках пищи, а не размышлять о творчестве Гёте или Рембрандта».

Трамвай, ерзая и лязгая суставами, повернул за угол, и Дмитрий увидел, что теперь он едет совсем близко от того места, где в подвале происходят собрания поэтов. Что, пожалуй, сейчас трамвай поедет мимо заветной двери. Заглянуть бы туда на пять минут! Всего на пять минут. А потом ехать дальше. Что от этого изменится?

Асфальт обозначился летящими серыми линиями. Мелькнули, бросившись навстречу, лица людей, сильно ударило в подошвы. Дмитрий очутился на тротуаре.

Комната в подвале оказалась пустой. Дмитрий разочарованно выходил обратно, как вдруг на лестнице встретил поэта с черной повязкой на глазу.

— Привет! Хорошо, что пришел. Сегодня будет ин-

тересный вечер. Ждем Горынского. Пойдем, пока никого нет, познакомлю тебя с секретарем объединения.

Когда шли коридором, встречались еще люди, пришедшие на вечер. Одноглазый со всеми знакомил Дмитрия, как своего хорошего друга.

— Поэт Золушкин. Познакомьтесь.

— Саша... Ма́ркович.

Дмитрий не понял, отчество у Саши «Ма́ркович» или такая чудна́я фамилия, но уточнять не стал.

— Да! — воскликнул одноглазый.— Мы сами-то как следует не знакомы. Остап Отрадный. А вот и наша Гера Васильевна. Гера Васильевна, привел вам нового поэта.

— Что ж, милости просим. Может, мы вас сегодня и послушаем? А что? Сегодня будет Горынский. Когда-нибудь надо принимать боевое крещение. Ну, договорились. Сейчас я проведу вас к машинистке. Вы ей продиктуете то, что намерены читать. Это займет двадцать минут, не больше.

Диктовка заняла не двадцать минут, а около часа. Когда Дмитрий снова спустился в подвал, там было полно народу. Остап встретил Дмитрия в дверях и потащил в передний угол к столу.

Все для Дмитрия происходило как-то само собой, помимо его воли и вроде бы даже в тумане. Каждую минуту собирался он сказать Остапу, что ему некогда заниматься всем этим, что ему надо бежать в часть. Но каждую минуту какое-нибудь новое обстоятельство делало невозможными и неуместными слова об уходе.

В дверях появился Александр Горынский. Дмитрий никогда не видел его прежде, никто не сказал ему, что это Горынский, но ошибиться было нельзя. Как-то вдруг все сидящие в комнате сделались чуточку поменьше, лица их стали чуточку пообыкновеннее. Свет от лампочек как-то перестал освещать всех сидящих людей, а ухитрился сосредоточиться на одной лишь огромной, несущей белоснежную гриву волос, приоткинутой назад голове. Дмитрий вскочил, сдвинув каблуки, как будто рядом возник сам генерал Кириллов.

Пройдя через комнату, Горынский оказался рядом с Золушкиным. Он сел, положив руки на причудливую клюшку, а Гера Васильевна ему что-то шептала на ухо, кивая в сторону Дмитрия.

— Ну, хорошо, хорошо. Пусть начинает.

Дмитрий начал читать стихи. Сначала он, как со стороны, прислушивался к своему голосу. То вдруг вспоминал, что ему надо скорее отсюда бежать, и тогда читал механически, то искал глазами свою «царевну» и не находил ее. То опять схватывал нить стихотворения, и тогда голос его заметно креп.

На каком-то месте Дмитрий все же забылся, или стихи повели его, понесли по течению, закружив, не давая опомниться. Все было смутным в этот у судьбы украденный вечер. Впрочем, кто знает, может быть, подаренный судьбой.

Дмитрию аплодировали. То, что еще вчера ночью в самых тайных и сладких мечтах казалось недосягаемым и немыслимым, исполнялось в точности. Но шло это как-то мимо Дмитрия: кто-то другой читал стихи, кому-то другому аплодировали поэты, о ком-то другом говорили люди, когда началось обсуждение прочитанного.

Горынский начал говорить сидя. Потом встал одним коленом на стул. Его бас без усилия наполнял всю комнату, и некоторое время Дмитрий слушал голос маститого поэта именно как бас, плохо вдумываясь в слова, образующие музыку. Ясно было одно: Горынского удивило, Горынского задело за живое, заставило горячиться и доказывать. Вот уж как труба гремит его голос под низеньким потолком. Далеко ли зовет труба поэта, на какие пути-дороги? Должны ведь еще появиться синяки, если послушать лейтенанта Баскакова, и рубцы, и шрамы. Что же Горынский без рубцов? А седина? А эти горькие складки у губ? Это дрожание руки у такого матерого мужичищи. Как бы там ни было, нельзя не поднять головы, не вскочить на ноги, не встать лицом на рассвет, если зовет труба поэта...

Было как раз такое время, когда уволенные возвращаются в часть. Проще простого было возвратиться и сержанту Золушкину. Никто не заметил его возвращения.

Еще и потому все в этот вечер казалось нереальным и затуманенным, что не месяц назад, не хотя бы вчера, но именно сегодня бежали они с Корниловым, таща пулемет. «Неужели сегодня? Нет, это было сто тысяч лет назад, в другую эпоху, с другим человеком».

Шесть дней спустя сержанта Золушкина вызвали в штаб части. Старший лейтенант, которого сержант раньше никогда не видел, предложил сесть, и уж одно это не понравилось Дмитрию.

— Как вы оказались в Москве одиннадцатого июня с увольнительным знаком на руках?

— Было приказано следовать в часть.

— Когда получили знак на руки и отбыли из лагеря?

— В семнадцать ноль-ноль.

— Когда прибыли в часть?

— В двадцать три сорок.

— Где находились шесть часов сорок минут?

— В Москве. Гулял.

— Можете быть свободны. Распишитесь вот здесь, внизу.

Еще через три дня в неурочное время объявили построение роты. Комбат принял рапорт от старшины и скомандовал:

— Сержант Золушкин, выйти из строя. Слушай приказ. Приказ номер (такой-то, такой-то) по полку (такому-то, такому-то) от (такого-то июня, такого-то года). За самовольную отлучку, продолжавшуюся четыре часа, сержанта Золушкина Д. В. разжаловать в рядовые, из полка (такого-то, такого-то) откомандировать. Старшина, срежьте лычки с этого разгильдяя, и чтобы сегодня же его не было в расположении части!

Когда-нибудь потом начнутся воспоминания о друзьях из полка, с кем пришлось разделить годы юности. Не раз потом кровь стыда и позора будет бросаться в лицо при воспоминании о том, как срывал старшина с погон золотые командирские лычки. И это презрение в голосе комбата, и недоуменные лица бойцов из его, сержанта Золушкина, отделения... Все это будет переживаться потом. Говорят, если отрубить топором палец, то не услышишь сначала никакой боли, тупой удар и больше ничего, словно онемело отрубленное место. Потом, конечно, будет болеть, да еще как!..

Рядовой Золушкин и ефрейтор Гуськов (теперь уж как бы старший над своим бывшим командиром) шли по Москве в Управление группы войск, куда откомандировали Дмитрия. Ефрейтор нес в папке личное дело бывшего сержанта.

Что касается Золушкина, все для него заслонила од-

на-единственная мысль: «Куда теперь пошлют, где придется служить?» Как только он представлял, что его увезут из Москвы, что он оторвется от литературной обстановки, что он больше никогда не увидит ее... Не Москву, не обстановку, конечно, куда все это подевается, но ту, сказавшую ему доверчиво: «Я буду ждать...» Если бы знать адрес или хотя бы имя и фамилию, можно было б написать и с края света, а теперь вполне безвыходным представлялось положение рядовому Золушкину.

Писарь в управлении долго читал бумаги, сходил с ними в другую комнату, а выйдя, стал заполнять бланки.

— Куда меня, а?

— В строительный полк.

— А где он? В Москве... или подальше?

— Гораздо подальше.

Вдруг заговорил ефрейтор Гуськов:

— А вы его зря берете. Вам его завтра же придется демобилизовать.

— Как так? — резко вскинул голову писарь.

— А так. Он по указу подлежит демобилизации.

— Почему не ушел?

— Спросите у нашего генерала. Для него ведь законы не писаны.

Писарь засмеялся, сложил бланки, которые успел заполнить, разорвал их и выбросил в корзину.

— Нет, брат, служил у генерала Кириллова, а денежки по демобилизации мы плати. Не выйдет, не выйдет!

Писарь снова сходил в другую комнату и снова вышел оттуда.

— Ефрейтор, ведите его обратно.

Шли не торопясь, пили газированную воду, съели по мороженому, на бульваре посидели и покурили.

— Ловко ты, а?! Еще бы две минуты, и он бы унес бумаги на подпись. Тогда бы меня ищи-свищи!

— Глазомер, натиск, быстрота... Виктория! Сами же нас учили.

Обратно в часть Дмитрию пройти было нельзя. Он теперь был чужой, откомандированный. Пришлось из проходной звонить начальнику по строевой части:

— Товарищ капитан, это я, рядовой Золушкин.

— Ну что вы тут болтаетесь, что нужно?

— Так что, не берут. Прислали обратно.

— !!! Почему не берут, что за чепуха?!

— Говорят, подлежу демобилизации. «Деньги,— говорят,— платить за вашего генерала не собираемся».

Наступнло молчаиие, продолжавшееся слишком долго. Видимо, капитан соображал.

— Ну ладно... Возьмн разовый пропуск. Сейчас я тебя демобнлнзую.

Оказывается, демобнлизация, которую каждый солдат ждет несколько лет, заннмает счнтанные мннуты. Заполнить обходной лнсточек, подождать, пока писарь выпишет бумагн, да еще в бухгалтерии получнть демобнлнзационные деньгн. Золушкину причиталось шестьсот шестьдесят два рубля.

Затискав эти деньги в карман гнмнастерки и козырнув последннй раз начальнику по строевой частн, Золушкин повернулся уходить, как вдруг писарь остановил его:

— Куда же ты? Надо взять еще на складе вещи, с которымн пришел с гражданки.

Дмнтрнй совсем забыл, что когда-то он носил чтонибудь другое, кроме формы. Все, оказывается, лежит на складе и ждет своего часа. Его деревенские, с пузырями на колеиках, матерью стиранные штаны, черная косоворотка с белыми пуговицами, парусиновые ботинки, фуражка с козырьком, в котором размокла от дождя и переломнлась жесткая картонка.

Старшина Стрижкин показал Дмнтрию каждую вещь, подержав ее на весу над вещевым мешком, снова затянул мешок и сунул Дмитрию чернильный карандаш.

— Распишись в получении.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Четыре года не надо было думать, что поесть, где поесть н даже когда поесть. Наступнт по распорядку час обеда — н вот уж нн на минуту не замедлнт команда: «Рота, выходн строиться на обед!»

Четыре года не надо было думать, что̀ надеть и обуть. Износнлись сапоги — старшнна выдаст новые илн эти отправит в ремонт, будешь носнть из резерва. Ннкто не допустил бы, чтобы солдат нз этого полка появился на

улице в обветшалой шинели. «Заменить» — и весь разговор!

Четыре года не нужно было думать, где ночевать, как спать, на чем спать, чтобы тоже не стеснять и других людей. Как быть с простынями, наволочками, с матрацем.

Четыре года не нужно было думать, что делать, как жить дальше. Круг обязанностей ясен и прост. На каждый час суток падает какое-нибудь определенное, непременное действие: обед — так обед; рукопашная подготовка — так рукопашная подготовка; чистка оружия — так чистка оружия; заступление в караул — так заступление в караул. В карауле еще проще: объект, который ты охраняешь. Конечно, служба требует от солдата и расторопности и смекалки, но она исключает, чтобы ты гадал: а что я буду делать завтра? Как что? Погляди на расписание. А что я буду делать через месяц? Как что? Все то же самое. Если тебя повысят в звании, или дадут новую должность, или переведут в другой батальон, ты будешь делать то, что положено делать человеку в твоем новом звании или что ему положено делать по характеру службы того, другого батальона.

И вдруг сразу тысяча новых задач. Во-первых, куда деть этот ужасный мешок, с которым неприлично ходить по улицам Москвы подтянутому строевому командиру? Неважно, что срезали лычки, неважно, что демобилизовали, психология не могла перемениться через два часа. Дмитрий отстегнул погоны и спрятал их в карман. Очень плохо они сочетались со стареньким, стираным, бледно-желтого цвета мешком, набитым бог знает каким хламом.

Ну, положим, мешок можно сдать в камеру хранения на вокзале. А самому? Ехать в тот городок, где учился до армии, и устраиваться работать на завод? Конечно, демобилизованного немедленно возьмут на работу. Ехать в родное село или в райцентр — и там будут рады лишним рабочим рукам. Но и завод и райцентр были настолько невероятны для Дмитрия, что мысль как-то и не развивалась в этих двух направлениях.

Если исключить армию, все остальное время Дмитрий учился. По существу, Дмитрий ничего не умел, кроме как учиться. Он не представлял себя в какой-либо дру-

гой роли, кроме учащегося. Я преподаватель физкультуры в школе? Я помощник мастера в цехе? Я бригадир в колхозе? Я милиционер? Хорошо. Возьмем любую из этих должностей. Все равно будешь думать только о стихах и писать их и днем и ночью. Значит, они будут мешать любой работе. Значит, чтобы они не мешали, надо направить жизнь в их стихию. Логика ясна. Но что делать сию минуту, чтобы направить жизнь в эту самую стихию стихов?

Судьба, хоть и сослепу, поступает иногда мудрее зрячего. Разве не вовремя она подсунула Дмитрию горделивую москвичку, не повидав которую он никак не мог бы уехать теперь из Москвы. Если бы не эта зацепка, давно бы помчался Золушкин на вокзал, вскочил бы на первый же поезд и укатил бы к себе в Самойлово. На досуге, на зеленой траве все обдумал бы хорошенько. Принял бы какое-нибудь решение. Однако выполнить решение, пожалуй, было бы тогда труднее. Опять куда-то ехать, подниматься с места. Деньги к тому времени подистратятся.

«Надо сначала поступить учиться в университет, а потом уж ехать в Самойлово,— пришла Дмитрию мысль, в которой дерзость соперничала с простодушием.— Кстати, и девушка та учится в университете. Есть там, наверно, факультет, где изучают литературу. Вот мне и нужно туда».

В узких, изломанных как попало коридорах университета народу было втрое против обычного. У студентов шли экзамены. Больше, чем студентов, толпилось в коридорах людей, только еще желающих стать студентами. Одни принесли документы, другие пришли навести справки. Третьи, так себе, вроде Золушкина,— на самую неопределенную рекогносцировку.

Заплечный мешочек свой Дмитрий оставил на лестничной площадке, уютно пристроив его рядом с мусорницей. Потолкался в коридоре, почитал стенную газету (умеют филологи писать!), постоял у доски, где вывешены правила приема. Безнадежность положения была ясна Золушкину. А тут еще долетела из общего разговора громкая и явственная, решившая все дело фраза:

— Да что вы! Говорят, восемьдесят человек на одно место. Фронтовики, демобилизованные хлынули во все вузы.

Мешочек стоял на месте. Некому было позариться на Митькино барахло. «Что ж, пойдем, водворяйся на старое место!» Лямка — через правое плечо.

У Никитских ворот сверх всяких ожиданий Дмитрия окликнули:

— Золушкин! Привет, старик! А где погоны?

«Погоди, погоди, надо же вспомнить, как зовут этого паренька с литобъединения. Остап с повязкой тогда потащил меня вдоль по коридору и по дороге познакомил меня с этим пареньком. Вот, значит, сказал он тогда... Отчество у него Ма́ркович... или фамилия такая чудна́я. Саша Маркович — так или в шутку, или всерьез все называли его на литобъединении».

Перед Дмитрием стоял маленький, с вечной улыбкой — вернее, с вечной готовностью улыбнуться — Саша Маркович. Теперь Дмитрий даже вспомнил строчку из Сашиного стихотворения: «У Мценска поезд замедляет ход». Дальше что-то про новые корпуса.

— Погоны в кармане. Демобилизовался я.

В сущности, Дмитрий был едва знаком с этим Сашей. Но как-то просто все у поэтов. Стариком назвал, будто четыре года в одной роте служили.

— Чудесно! Это событие надо вспрыснуть. Как раз мы стоим недалеко от ресторана и как раз время пообедать.

У Саши, значит, был опыт, если он решительно сдал мешок гардеробщику и решительно провел Дмитрия в зал ресторана.

— Ну вот. Здесь, брат, не по карточкам. Коммерческая еда.

Ни на вспрыски, ни тем более на кутеж не походил этот коммерческий обед. Однако Дмитрию пришлось чуть не располовинить свои демобилизованные деньги. Тут и заметил Саша, что собутыльник его, в сущности, невесел, а скорее задумчив или даже мрачен.

— Ты что? Или денег пожалел? Не жалей, старик, такое событие один раз в жизни.

— Деньги — что! А вот выйдем мы сейчас, я и не знаю, куда мне деваться. Планов нет на дальнейшую жизнь. Это хуже всего.

Саша даже присвистнул.

— Вон ты о чем! Забирай мешок. Тронулись ко мне на квартиру.

В кривеньком переулке возле Петровских ворот Саша увлек Дмитрия по темиой лестнице иа второй этаж. Ковырнул ключиком, пропустнл вперед.

— У меня беспорядок, нзвинн.

Дмнтрнй впервые попал в московскую квартиру. После огромиых, простoрных казарм, где вся жизнь на виду друг у друга, квартира Саши показалась глухим закоулком. Каптерка, а ие квартира.

Сильио потертый диван, столик перед ним. На столике пишущая машиика. Миогие буквы на киопках (Дмнтрий не знал, что это клавишн) потрескались. Кое-где Саша чериилами иаписал иовые буквы. Шкаф с кннгами. В приоткрытую дверь видна неприбранная комната. Низкая тахта. Ковер, спускающийся иа нее со стены, как писали в старинных ромаиах, наводил иа мысль, что хозяева его знавали лучшне времена.

— Там мамина комиата,— пояснил Саша.— Она у меня старушка. Стихи для детей пишет. Песенки для радио. Иногда печатают.

Квартнра внушала Дмитрию двойствеииое чувство. Так и вндио было, что, живя в подобном уголке, полагается вести нелегкую борьбу за существоваиие. Видишь, старушка, а куда-то утрусила. Наверио, в редакцию со своими песенками.

С другой стороны, таилась в укромном уголке странияя и заманчивая тяга: остаться одному, взять нз шкафа интересиую кингу или сесть за стол, иаписать стнхотворенне. Ннкакого тебе подъема, никакого тебе отбоя. Ночью можно зажечь настольную лампу...

Пока Саша за легкой перегородочкой гремел чайником, Дмитрий хватал то одиу книгу, то другую: Хлебников, Ахматова, Пастериак, Цветаева, Гумилев... Каждое нмя было иово для Дмитрия. Но все равио, хотя ои и ничего ие знал об этих поэтах, каждое имя внушало ему иекий трепет, и было радостио оттого, что все это есть, все это пока иеизвестио, но будет известно раио или поздио. Как старого знакомого, ои раскрыл томик Лермонтова и хотел уж углубиться в какое-нибудь стихотворенне. Но тут подоспел Саша. Ои сел за пишущую машннку, ловко вставнв в иее свежнй лнст бумаги.

— Старик! Отложи классиков. Диктуй мие девять самых лучших своих стихотвореиий.

— Зачем тебе? Да у меня и не наберется девять самых лучших.

— Сейчас все узнаешь. А девять потому, что это на востоке счастливая цифра. У китайского императора было девятьсот девяносто девять комнат и девятьсот девяносто девять жен. Вот житуха была китайскому императору! А заявление мы напишем такое... «В приемную комиссию...» Нет, лучше сразу директору. «Прошу зачислить меня в число студентов... Прилагаю...» Здесь распишешься. Да ты не бойся, у нас в институте хорошие ребята. Эх, если бы наверняка! Постой, постой! У меня идея.

Саша стал набирать номер телефона.

— Александр Александрыч? Здравствуйте. Это Саша... Маркович. Понимаете, какое дело... Золушкина неожиданно демобилизовали... Ну, помните, мы недавно обсуждали его стихи... Вот-вот! Он самый. Теперь он хочет поступить в наш институт. Его, конечно, примут и так. Но все же, если бы ваша рекомендация... Отлично! Бежим. Золушкин, за мной!

— Ты его не знаешь,— говорил по дороге Саша.— Он очень простой. И любит молодежь. Позвонил бы ему сейчас какой-нибудь пожилой поэт, он бы его ни за что не принял. Очень ему нужно! А мы вот едем.

— Мы — по делу.

— Наше дело между делом сделается.

Высокая женщина ослепительной, как показалось Дмитрию, красоты открыла дверь, обшитую черной кожей.

— Здравствуйте, мальчики. Александр Александрович вас ждет. А я вас помню. Ваш басок мне очень понравился,— продолжала говорить женщина, отбирая у Дмитрия мешок и пристраивая его на вешалке.

Потом она показала глазами на дверь, в которую, правда, в это время уже входил Саша Маркович.

(В минуту, когда и Дмитрий вошел в кабинет знаменитого русского поэта, в Самойлове жизнь шла своим чередом. Петька Степушкин, соломенноголовый мальчишка, каким был когда-то и Золушкин, тащил за размокшую веревку из пруда вершу.

Совпадение может показаться странным, но отец

Дмитрия — Василий Васильевич — именно в это время наконец приколотил гвоздем ту доску в поросячьем хлеву, которая уж несколько лет болталась неприколоченной и за которую каждый раз задевала юбкой Пелагея Степановна. Что касается Шуры Куделиной, то ее в этот день не было в Самойлове. Она уехала в город продать шесть десятков накопленных за лето яиц.

А вообще-то над Самойловом стояла сухая, потрескивающая жара, хотя день и клонился к вечеру.)

Хозяина в кабинете не оказалось, и Дмитрий получил неожиданную возможность перевести дыхание, осмотреться, прийти в себя.

Окно кабинета выходило на Кремль со стороны Замоскворечья. Иван Великий с его вознесенной в небеса золоченой шапкой, купола соборов полевее Ивана Великого, островерхие башенки кремлевской стены — все это было похоже на те сказочные города, что возникают по приказанию Царевны Лебеди на неведомых островах, среди моря-окияна.

Окно занимало целую стену, и кремлевский пейзаж, или, скажем, ансамбль, был как все равно картина, вставленная в грубую деревянную рамку.

После окна бросче всего были книги. Ими уставлены все три остальные стены комнаты. Из темной старинной кожи потрескавшиеся переплеты, корешки английских и французских книг, комплекты старинных журналов, собрания сочинений, длинные плотные ряды тонких стихотворных книжечек. На все это тотчас разбежались бы глаза Дмитрия, если бы не одно отвлекающее обстоятельство. Тут и там на книжных полках лежали в чеканных ножнах разнообразные старинные кинжалы. Тут и там стояли длинные кривые сабли, тонкие шпаги, и даже допотопные мушкеты смиренно таились в наиболее укромных уголках. Круглый щит татарского воина, побывавший, может быть, на Куликовом поле, прорубленный мечом шлем русского витязя с обрывком кольчуги, обломок копья времен, вероятно, Игорева побоища.

Саша, бывавший в этом доме и раньше, бесцеремонно надел на Дмитрия шлем, дал ему в руки тяжелую саблю, сам, закрывшись татарским щитом, выставил впереди щита полукруглый турецкий ятаган: «Пора нам состукнуть клинок о клинок».

— За Русь! — заорал ни с того ни с сего Дмитрий, и сабля его поднялась в таком замахе, а на лице под шлемом появилась такая гримаса, что маленький Саша бросил татарский щит, ятаган и юркнул за письменный стол, за тяжелое старинное кресло.

— Неплохое начало, мой мальчик! А знаешь ли ты, что это личная сабля Шамиля? — В кабинет вошел хозяин, большой, широкоплечий, в белой рубахе, расстегнутой на седой волосатой груди. — Браво, браво! Оружие свободы в достойных руках. (Саша высунулся из-за кресла.) Каков темперамент! О-лл-я! Ты посмотри, каков красавец в шлеме!

Это «О-лл-я» надо было бы петь со сцены Большого театра. Попусту пропадал в четырех стенах мягкий и в то же время все заполняющий собой бас.

— О-лл-я! Подай нам большой поднос!

Большой серебряный поднос хозяин дома поставил на тахту. Он велел гостям разуться и сесть по-турецки вокруг подноса. Две бутылки, прижавшись друг к другу и готовые к любым неожиданностям, как солдаты по стойке «смирно», встали посреди подноса. Дмитрий ждал и закусок. Но, как видно, тут были свои законы и правила. Ольга Владимировна поставила на поднос две тарелки. Одну с апельсинами, другую с шоколадными конфетами. Пиршество началось.

В сущности, все дальнейшее происходило в густом тумане. Дмитрий опьянел с первой порции, но нельзя было не выпить и по второй. Иногда из тумана возникала и подходила вплотную к Дмитрию красивая добрая женщина. Она деликатно отбирала у Дмитрия то шпагу, то саблю, то палаш, которыми тот всячески бряцал и размахивал. Через несколько минут женщина подходила снова, потому что оружие вновь оказывалось в руках у Дмитрия.

— За Русь! — восклицал он время от времени, потрясая то шашкой Шамиля, то палашом Грибоедова.— Пора нам состукнуть клинок о клинок, в свободу сердце мое влюблено!

Пожалуй, слово «свобода» потому еще в сознании пьяного Дмитрия вызывало почти спазматическую сладость в горле, что на этот раз не было уже опасности опоздать из очередного увольнения в город. Именно на слове «свобода» наиболее остервенело и ликующе вски-

дывалась кверху боевая сталь. Тут-то и подходила деликатная Ольга Владимировна.

Последнее, что еще, превозмогая тяжесть век, видел Дмитрий, был сам Горынский с книгой в одной руке и с боевым новгородским топором — в другой.

И он восклицает, подъемля топор:
«Звезда ты моя, Ярославна!»

На слове «звезда» оружие опускалось вниз, рубя воздух, далеко и лихо пролетая назад. Слезы восторга текли по щекам седоголового восторженного человека, и самому Дмитрию тоже хотелось плакать и кричать: «Звезда ты моя, Ярославна!» Он и собирался крикнуть, но вместо этого ткнулся носом в жесткую ворсистую тахту и больше ничего уж не видел и не слышал.

...Дмитрий, хотя и открыл глаза, не мог еще приподнять больной головы от подушки. Белоголовый старик уже сидел в своем кресле, побритый, подобранный, свежий, и что-то писал. Саши не было в комнате. Горынский почувствовал, что Дмитрий проснулся.

— Если бы нужна была рекомендация на вас как на собутыльника, ни за что бы не дал. А на стихи, пожалуйста.

— С отвычки. Так-то я ничего.

— Я пошутил, мой мальчик.— Бас, достигнув предела своей мягкости, перешел на мурлыкающие нотки: — Вот рекомендация: расти большой. И помни только одно: лучше пройти через все муки и потом со зрелостью прийти к надежному успеху, чем сначала окунуться в успех, а прийти потом к мукам, уже непоправимым и неизлечимым.

— Конечно. Чего бы лучше! Я бы всей душой. Но разве это будет зависеть от меня?

— А между прочим, каким бы ты хотел вырасти?

— Не понимаю...

— Ну, вот я — поэт Горынский. Если бы тебе сказали, что к пятидесяти годам ты, Золушкин, станешь поэтом такой же величины...

Дмитрий понял беспощадную суть вопроса.

— Но это невозможно.

— Но допустим. Допустим, я — всесильный волшебник... Тысяча и одна ночь... Шехеразада...

— Но это невозможно,— упрямо повторил Дмитрий.— Лучше я буду маленьким, микроскопическим Золушкиным, чем большим Горынским.

— Кто научил?

— Никто. Мне так кажется.

Поэт подошел к Дмитрию вплотную, положил руки ему на плечи. Получилось немного театрально, но не могло и Дмитрия не захватить волнение этой большой минуты.

— Наконец-то я слышу речь не мальчика, но мужа. Расти большой! — Сухие губы поцеловали в лоб.

Ольга Владимировна позвала к столу. Четыре тарелки янтарного куриного бульона излучали огненное дрожание. Дмитрий ел молча. Болела голова. Было неловко за вчерашнее. Его обычная застенчивость проснулась в нем.

— Александр Александрыч,— спрашивал между тем Саша,— теперь занятий в литстудии не будет, наверно, до осени?

— Наверно, наверно,— поддакнул мурлыкающий басок.

— В этом году стало ходить много новых: Золушкин вот, Ваксберг, Садовникова...

— Между прочим, породистая девчонка. Но я таких знаю. Такие — только под венец.

— Да, да,— подхватил Саша.— Рассказывают, что она чуть не зарезала одного аспиранта.

— Зверь, а не девчонка! Грузинских, княжеских и русских рюриковских кровей. Но стихи пустейшие. Дамское рукоделие. Между прочим, у меня лежит папка с ее стихами. Ты ведь, Саша, знаешь телефоны всех красивых девушек.

— Д5-67-02,— незамедлительно выпалил Саша.

— Да, да.— Поэт встал, чтобы сходить в кабинет и записать там номер телефона.— Но вы, молодые люди, имейте в виду: такие — только под венец. Я знаю. Впрочем, постой, постой! Это вы ведь, Золушкин, садились однажды с нею в «Победу» с шашечками? А мы его учим!

Дмитрий сначала не слушал разговора мужчин про какую-то неизвестную ему породистую девушку. Но последние слова Горынского заставили его с лихорадочною быстротою и четкостью вспомнить, восстановить все,

что уже было сказано про нее: «Д5-67-02. Кажется, так они говорили? Кажется, не ошибся».

Переспросить потом номер телефона у Саши, что было бы проще простого, Дмитрий ни за что бы не смог.

— Ну, как тебе этот рыжий мальчик? — спрашивал Александр Александрович у своей жены, когда Дмитрий и Саша ушли.

— Этот мальчик, эта рыжая лопоухая крошка — себе на уме. Уж я-то в вас, в мужиках, понимаю. Ты видел его мешок? Думаешь, это солдатский, где хранятся сухари и портянки? Это осьминный мужицкий мешок. Это не мешок, а былина.

— Дай бог! Дай бог!..— проворчал Горынский. Потом он ушел в кабинет и закрылся на ключ.

Но еще и оттуда слышалось временами басовитое мурлыканье: «Дай бог! Дай бог!..»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Как же так?» — думал Митя, лежа на бережке реки. Вот сейчас, сию секунду существует и та казарма, где он недавно жил, где он мог находиться и сейчас, сию секунду, и та койка, на которой он спал, и тот автомат, из которого он стрелял так беспощадно. Может быть, именно теперь роту вывозят на стрельбище.

Существует также и Саша Маркович со своей пишущей машинкой, и кабинет Горынского, существует Москва. И люди сейчас там бегают, снуют в разных направлениях, торопятся, глотают выхлопные газы, и у них нет ни минуты свободного времени.

Но, оказывается, в ту же секунду существует вон эта зеленая, мягкая трава, эта всеобъемлющая тишина, эта тихая, незыблемая вода, отражающая синее небо и белые облака. Две желтые кувшинки ухитрились распуститься как раз посередине белого облака.

Несколько дней назад он был еще в Москве, и другие у него были заботы. Надо ли говорить, что, как только они с Сашей отдали бумаги в институт и распрощались, Дмитрий немедленно устремился к телефонной будке.

— Алло! — мягко и ободряюще прозвучало в глубине трубки.— Я слушаю. В чем там дело? Нажмите кнопку, а то вас не слышно.— В голосе появилась нотка требовательности. Может быть, девушка и бросила бы трубку, но тут Дмитрий неосторожно шмыгнул носом, и это было услышано.— Что вы там пыхтите? Кто вы?

— Сержант Золушкин. Дмитрием меня зовут.

— Вы, наверно, не туда попали. Вам кто, собственно, нужен?

— Мне бы это... Садовникову.

— Да... Я Садовникова. Но я не знаю никакого Дмитрия.

— Ну как же? Вы же сказали, что будете меня ждать.

— Где ждать, когда? Гражданин, повесьте трубку и перестаньте меня разыгрывать.

Тогда Дмитрий решился на отчаянные слова:

— Но я уезжаю из Москвы. А должен вам за такси, надо бы вернуть. Я не люблю, когда кому-нибудь должен.

В трубке наступило молчание.

— Извините... Это так неожиданно для меня... Я не могла подумать. Когда вы уезжаете?

— Сегодня уезжаю. Вот только с вами встречусь и сразу же уеду.

— Да? Вы так думаете? Ну, что с вами делать! Я буду сегодня в университете и около двух часов выйду в Александровский сад.

Он ждал ее на той же скамейке, где месяц назад так нелепо поссорился с неизвестными ему девчонками Надей и Майей.

Дмитрий видел Энгельсину всего два раза. Да и то как-то вроде мельком, в постоянных заботах, вечером и оттого тревожился. А вдруг теперь, при солнце, не узнает ее? Тем более что никак не удавалось ему, как ни старался вызвать силой воображения, в точности восстановить лицо этой девушки.

Завидев издали идущую по аллее ту или другую девушку, Дмитрий загадывал: она или не она? Девушка подходила ближе. Ясно было видно, что не она. Но все равно Дмитрий всматривался, сравнивал, насколько эти все, идущие мимо, невзрачнее, некрасивее той, которую ждет он, Митька Золушкин!

Когда Энгельсина появилась на дорожке сада, не нужно было загадывать: она или не она? Шла девушка чуть-чуть повыше, чем все остальные, чуть-чуть стройнее, чем кто бы то ни было, и вроде бы даже свет излучался от нее во все стороны. По крайней мере померкло и пропало из поля зрения все, что было вокруг. И деревья, и стриженые кустики, и дорожка сада, и люди. Осталась только одна она, высокая, с гордо посаженной головой, подходящая все ближе и ближе.

Дмитрий поднялся навстречу девушке. И когда здоровались за руку, когда тонкая рука была поглощена на мгновение широкой, как лопата, крестьянской лапищей, легко было заметить еще раз, что точь-в-точь против черной девичьей брови приходится красная, как старая самоварная медь, бесхитростная Митькина бровь.

— Ну что вы, как? Почему уезжаете? А что будете делать, когда приедете? Так это чудесно, если вы поступите в институт! Мы будем ходить в консерваторию. Как? Вы ни разу не были в консерватории?! Чу-до-вище!.. И я еще с ним разговариваю! А вообще вы любите музыку? А что вы любите из музыки больше всего?

Мите вспомнилось, как Гриша Тимкин не знал, о чем говорить с девушкой, и даже подслушивал, о чем говорит Ванька Гулин с Татьянкой, когда сидят они на ночном крыльце. Сюда бы теперь Гришу Тимкина: успевай поворачиваться, успевай отвечать на вопросы! Последний вопрос был не из самых легких.

Правда, однажды солдаты сидели в лагере в курилке, а неподалеку из репродуктора лилась негромкая музыка. Сквозь смех и солдатские анекдоты эта музыка просочилась к Дмитриевой душе, и ему стало не по себе. Немного тревожно и немного больно. В это время особенно громко засмеялись солдаты, и сидевший тут же лейтенант Баскаков оборвал смех:

«Ну-ка тихо, вы, производители!»

Скрипка продолжала свое дело. Дмитрию очень захотелось узнать, что же такое это было.

На другой день, встретившись с лейтенантом Баскаковым один на один, Дмитрий щелкнул каблуками перед лейтенантом:

«Разрешите спросить?»

«Спрашивайте».

«Как называлась музыка, которую вчера передавали?»

«О музыке нельзя говорить по стойке «смирно». Но, если вы решили узнать, это была «Шехеразада».

Никакой «Шехеразады» никогда больше не слышал Золушкин, но название теперь пришлось кстати. Он так и ответил Энгельсине:

— Вы знаете, я больше всего люблю «Шехеразаду».

По крайней мере не пришлось врать. Ведь действительно та музыка понравилась Дмитрию, а другой он просто не знал.

— Вы?! «Шехеразаду»? Этого не может быть! Это невероятно и удивительно! — вроде бы даже чего-то испугалась девушка.— Если вы мне напишете из деревни, я отвечу. А сейчас нужно бежать — экзамены.

На самом-то деле она не побежала, а удалилась, будто ступала не по дорожке сада, а по роскошному ковру, расстеленному на земле только для нее одной.

«Только под венец» — вспыхнули еще раз слова старика Горынского.

«Ну и хорошо! Ну и пусть! Ну и смейтесь! А может, мне и надо, чтобы только под венец. Отлично!»

...Она ушла, ступая по земле, как по ковру, и это было совсем недавно. Митя приподнял голову, открыл глаза и, словно в первый раз, не узнавая, взглядом обвел окрестности. Ближе всего была река. Тихая, почти нетекучая вода дремала у Дмитриевых ног. Река текла справа налево. Но, уткнувшись в зеленый крутой бугор, поворачивала и змеилась вдаль, так сказать, вдоль Митиного взгляда, невольно увлекая взгляд туда, где снова вставал поперек течения реки высокий, но на этот раз уж песчаный обрыв с темной гривой сосен на нем. От самых Митиных глаз до самого этого обрыва лежала ровная зеленая луговая земля. Округлые купы ветел поднимались над ровной луговиной, обозначая замысловатое движение реки.

Уронив голову на землю, Митя перестал видеть и воду, и зеленый бугор слева, и песчаный обрыв вдали, а видел один лишь облака, белые с розоватыми краями. Толпа их могла показаться нестройной, как и всякая толпа. Но стройность была в том, что все они от горизонта до горизонта двигались строго в одном направлении, с одинаковой медленностью, и не было

случая, чтобы одно облако догнало другое либо отстало от него, чтобы оно зацепилось за соседнее, сбило его с пути либо вдруг поплыло куда-нибудь наискосок, наперекор общему медлительному движению.

В прибрежной траве, между землей и облаками, лежал лицом кверху Дмитрий, и ощущение особенной, какой-то даже физической радости жизни, впервые проявившееся в нем, наполняло все его подставленное солнцу и ветру тело. Эта самая радость необыкновенной новизны, всего, что видит глаз и ощущает кожа, возникла не сию минуту, а несколько дней назад, когда после армейской службы, после всех волнений и тревог, после Москвы Дмитрий возвратился на родную землю.

Появляясь на свет, человек в общем-то ничего не соображает. Он только орет, чем и утверждает свой приход на древнюю, но все еще не очень благоустроенную планету. Счастье Мити состояло в том, что он после длинной армейской отлучки как бы родился заново и все увидел в первый раз, будучи уже взрослым человечищем, способным и видеть зеленое с голубым, и прислушиваться к скольжению речной воды по нагретой солнцем коже, и сознавать, что все это есть и что есть ко всему этому самая красивая девушка, какая только может быть на земле, и что девушка эта будет посылать свои письма к нему в Самойлово.

Но главная удача состояла все-таки в том, что двадцать один год назад ему выпал редчайший, почти невероятный случай прийти на землю. В самом деле, сколько тут было случайного! Должны были родиться его отец и мать. Потом они должны были пожениться именно друг на друге. Днем раньше или днем позже мог бы зародиться на земле уж не он, Митя, а какая-нибудь бестолковая голенастая девчонка или совсем другой мальчишка. А его, Мити, так и не появилось бы, не было бы никогда. Ну разве не удача, что родился именно он! И вот уж плывут облака, и гибкая травинка наклонилась над его лицом, и божья коровка карабкается на гибкую травинку.

(К тому же Дмитрия вчера зазвал в гости сельский доктор Степан Аверьяныч, семидесятилетний высокий старик, старинной выучки, которому по виду быть бы каким-нибудь знаменитым профессором, а не обыкновенным сельским врачом.

За обедом после четвертой рюмки чистого медицинского спирта Степан Аверьяныч почувствовал стремление высказаться:

— А ведь тебя, если бы не я, и на свете не было бы.

Дмитрий знал, что весь народ в округе, начиная с пятидесятилетних мужиков и баб, все прошли при рождении через руки Степана Аверьяныча либо его жены — акушерки. Но Степан Аверьяныч продолжал:

— Ведь мать-то приходит тогда ко мне в слезах. Топленого маслица притащила горшок: «Сделай божескую милость, время смутное, ребятишек и без того полна изба, все говорят, голодовка будет».

А я на нее как крикнул. «Ну-ка,— говорю,— чтоб ни-ни, чтобы как следует и чтобы обязательно мужика, хватит девчонками пробавляться!..» Ну, вот ты, значит, и уцелел. А долго ли мне было с тобой покончить? Две минуты...)

«Не покончил со мной старик Аверьяныч, вот и опять удача». Теперь Дмитрий стоял на самой кромочке земли и воды, травы и опрокинутого неба, на самой черте между зеленым и голубым. Вместе с ольховыми перевернутыми кустами приняла вода и Митино перевернутое отражение.

«Живу вот, отражаюсь в земной воде, в глазах людей и, может быть, даже в их душах».

Нырнув, Митя дошел до дна, и там охлажденная родниками придонная вода остужающе-сладостно заскользила вокруг человеческого теплого, кровеносного тела.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Социальное мышление Дмитрия спало спокойным сном. Конечно, мать рассказывала ему, что с весны было голодно, выбирали из земли прошлогоднюю перемерзшую картошку — почти вся картошка осталась в зиму под снегом.

Но почему колхозная картошка осталась под снегом, как идут колхозные дела, хуже или лучше они идут, чем в других колхозах? А если не хуже, то почему и в соседних нехорошо — все эти вопросы никак не задевали Дмитрия.

(Дело не только в том, что ему было шесть лет, когда образовались колхозы. То есть, значит, он не мог помнить иного состояния деревни и уж, во всяком случае, не мог бы сопоставить и сравнить, если бы даже и помнил хоть какую-нибудь детальку. Возраст здесь ни при чем. Просто тот участок мозга, который призван по всякому поводу вырабатывать беспощадные «почему?», находился как бы в замороженном состоянии. Это обстоятельство нужно взять на заметку, ибо что может быть любопытнее, как следить за процессом оттаивания и приобретения чувствительности.)

К тому же, если раньше он, приезжая в деревню на каникулы, тотчас отправлялся на колхозную работу: косить, молотить, метать стога,— то теперь нужно было готовиться к вступительным экзаменам. Бригадир в первый же день наведался к Дмитрию. А Дмитрий в это время как раз писал диктант. Не могло быть и речи, чтобы бросить занятия и уйти в поле.

Для жилья Дмитрий приспособил старый омшаник в запущенном, одичавшем саду. Избушка была небольшая, но уютная, о двух оконцах, прорубленных отцом, когда пчелы нарушились и хранить в омшанике стало нечего. Однако устоявшийся за десятилетия, впитавшийся запах воска, меда и пчел держался в омшанике, и это было приятно Дмитрию.

Оконца избушки выходили — одно на старую, с черными, словно обуглившимися, ветвями яблоню, другое на молодую рябину. И яблоня и рябина шуршали листвой по стеклам, загораживая от глаз все остальное и создавая в комнате полумрак.

На два пустых, чудом уцелевших улья Дмитрий положил дощатый щит и, значит, обзавелся столом. Несколько охапок свежего, непересушенного сена образовали просторное мягкое ложе. Ветхое, из разноцветных лоскутов одеяло покрывало его.

Татьяна Синькова, сверстница Дмитрия (а уж учительница), приехавшая в отпуск и взявшаяся помогать Дмитрию, после каждого диктанта, уходя, вороватым, чуточку туманившимся взглядом окидывала душистую безбрежную постель, настолько она тянула и манила, хотя бы и помимо воли. Хотелось броситься на нее плашмя, распластаться и лежать в желтоватом от бревенчатых стен полумраке. Около постели, на полу, ле-

жали стопы книг, стояла на чурбаке керосиновая лампа. Фанерный ящик с табаком дополнял картину.

Из сверстников Дмитрия никто почти не вернулся с войны. Погиб и бывший друг его Гриша Тимкин. Только Сергей Белов, отпущенный из армии по болезни, напоминал Мите довоенное детство. Сергей же снабжал Дмитрия свойским табаком.

От тяжелых, сочных стеблей, срубленных косым ударом, нужно было отрывать успевшие одрябнуть, но все еще сочные и тяжелые листья. Стебли измельчали немудреной рубящей машиной, превращали их в зеленое махорочное крошево, сушили. Это и были «корешки». Листья Пелагея Степановна отправляла на противне в печь. В печи при этом не должно было быть ничего съестного: все вбирало в себя запах и горечь табака. Однажды, по первому разу, пришлось выбросить на помойку большое блюдо поджарившейся румяной картошки.

Темно-желтые высохшие листья легко крошились в руках. Можно было курить и одни листочки этого прекрасного турецкого табака, но были они так жестоко крепки, что поневоле приходилось разбавлять корешками. У Сергея Белова пять гряд засеяно турецким табаком: фанерный ящик возле постели Дмитрия всегда бывал полон. По вечерам Сергей приходил к Дмитрию. Они сидели на сене, не зажигая огня, и курили. Сергей работал в колхозе счетоводом.

— Нет, я уеду. Вот кончится лето, и уеду,— говорил он.

— Куда же ты?

— В город уеду. Поступлю на завод. Разве с этими людьми можно работать!

Тут начинался рассказ о том, как председатель и бухгалтер вместе, помогая друг другу, тащат из колхоза все, что попало. Сергей-счетовод для них — бельмо на глазу. Мешает. Они его то стараются напоить вином, уговаривают действовать заодно, то начинают грозиться.

— Ты бы вывел их на чистую воду,— нехотя советовал Митя.

— Думаешь, просто? Председатель с бухгалтером когда заодно — большая сила. Все равно они меня съедят. Я уж знаю...

Но, вообще-то говоря, эти разговоры скоро надоедали Дмитрию. Они с Сергеем сидели рядом. Говорили об одном, а думали в разные стороны. Дмитрий либо витал мечтами в Москве, либо, что было теперь почти всегда, жил в начатом, но недописанном стихотворении.

— У меня ведь все бумаги в руках, все цифры. Какой расход, сколько должно быть в банке...— убеждал Сергей.

«Ландыши, черт бы их побрал, ландыши! — твердил про себя Дмитрий в это время.— Неужели в русском языке нет никакой рифмы к ландышам?» Стихотворение-то почти написано. В нем говорилось, как в московском парке, в пыльной и душной толчее вдруг взбунтовался поэт, и ему захотелось увести всех из этого шумного, пыльного места туда, где чисто и тихо. Конечно, предполагалось, что в первую очередь он уводит вместе с людьми и ее, но это только так, подразумевалось в стихотворении. Очень уж хотелось увести именно к ландышам, но вот не находится проклятая рифма. Может быть, так:

А поля будут стлаться и стлаться вширь,
Пока желтую пыль с каблуков
Не отмоют росистые ландыши
Из прохладных лесных уголков.

— Написал бы ты об этих подлецах,— проникал сквозь дымку стихотворения обиженный голос Сергея.— Может, подействовало бы.

— Что ты, Сергей! Ну какие же могут быть стихи о бухгалтере? Давай-ка лучше свернем по одной.

Дмитрий не мог понять, как и где зарождается в нем стихотворение. Нельзя ведь было ходить по лесу и думать, думать, думать, о чем бы теперь написать. Чаще всего бывало, что за пять минут до того, как родиться стихотворению, ничего похожего не было в голове Дмитрия. Никогда он об этом не думал, не знал, даже не предполагал, что могут быть подобные сочетания слов и что они ему понадобятся. Это случалось не каждый день. И Дмитрия начинало томить, мучить сознание, что вот опять уж прошло четыре дня, а он ничего не пишет и теперь, наверно, не напишет никогда.

А ведь нужно и на будущий год, и каждый год все писать и писать стихи. Становилось страшно: откуда же они могут взяться? То он садился за стол к чистому листу бумаги, то бросался на постель, то вскакивал и ходил по комнате. Не находил себе места, опять садился к столу, прислушивался к самому себе. Но было в нем темно, молчаливо, глухо.

На бумаге появлялись при этом слова, строчки или даже строфы, но были они уныло-неинтересны, рождали чувство, похожее на досаду, когда отсыревшие спички одна за другой шипят, но не хотят зажигаться.

И вдруг спичка вспыхивала. Строка тянула строку; рифма, ну прямо-таки из небытия, вытаскивала рифму. Рифмы выскакивали на бумагу с такой же легкостью и обязательностью, как эхо обязательно прилетает туда, откуда был брошен полный и сильный звук. Да! Да! Когда не писалось, было похоже на то, что человек кричит, желая услышать эхо, а эха все нет и нет... Как будто весь мир сделан из душной проклятой ваты, в которой глохнут и умирают слова. Потом что-то вдруг изменяется. Становится легко. Даже не надо кричать. Наоборот! Скажешь тихо, вполголоса, а эхо отвечает, четкое, громкое, чистое. Всю вселенную можно наполнить певучим голосом, настолько она чутка и настроенна, звонка и восприимчива, жаждуща и добра.

Стихотворение рождалось в процессе своего же рождения. Написав первую и вторую строфы, Дмитрий не знал еще, только смутно предчувствовал, что̀ будет в конце стихотворения. Но тут у стихотворения возникала своя логика, свое русло, свой путь течения, и нельзя было ни свернуть, ни остановиться. Охватывал озноб восторга.

Поэт вел стихотворение, или стихотворение на своей зыбкой волне несло его — не все ли равно? Потом Дмитрий перечитывал, переписывал начисто и удивлялся: откуда оно взялось? Сегодня утром его еще не было. Не было нигде на земле. Так-то вот! За все века его не было, а теперь оно есть, и никуда уж оно не денется. Оно появилось на земле.

Было похоже, что где-то в глубоких тайных лабораториях мозга идет беспрерывная работа по улавливанию, отбору и сортировке впечатлений. Мы живем, смотрим на мир, разговариваем с людьми, чувствуем, и,

значит, стихия впечатлений ежесекундно врывается в нас, впечатлений самых разнообразных, непохожих друг на друга.

Однако память умеет, может быть незаметно для нас самих и независимо от нас, сортировать эти впечатления, раскладывая их (ну, скажем вульгарно и грубо) по ячейкам. Вот лежит в ячейке одно-единственное впечатленьице, один-единственный фактик, запавший, может быть, в детстве. Некоторое время спустя залетело, запало к нему еще одно похожее родственное впечатленьице. Теперь их два. Потом их становится все больше и больше. Может быть, даже они приобретают способность притягивать к себе, в свою ячейку песчинки родственных им впечатлений.

Затем, как и всюду, количество порождает качество. Камня весом в один килограмм бывает достаточно, чтобы сорвался горный обвал тяжестью в тысячи тонн. Одного грамма хватает, чтобы чашка весов пошла вниз, хотя до этого на ней стояли уж тяжелые чугунные гири.

Еще одно впечатление, и происходит вспышка. Рождается человеческая мысль. Факты и впечатления, присутствия которых в нашей памяти мы не ощущали, обобщаются, оформляются в мысль, в идею, в образ, толкая нас к действию, к творчеству. Пишется стихотворение, зарождается идея романа или картины, открывается закон всемирного тяготения. Тем временем в памяти накапливаются, подбираются один к одному другие, новые впечатления.

Нельзя ручаться, что именно так объяснял себе Дмитрий Золушкин психологию творчества. Известно одно — каждый раз он удивлялся написанному им же самим стихотворению, а потом каждый раз по нескольку дней томился и мучился от унылой и, казалось, навеки сковавшей его немоты. Впрочем, тогда же, на самой, можно сказать, заре, он понимал, что даже потрясающее событие может не оплодотворить его сию же секунду так, чтобы тут же и зародилось стихотворение. Это было страннее и удивительнее всего.

Сухая, позабывшая про дожди земля обдавала зноем. Даже в лесу, где бродил Дмитрий, не было обыкновенной влажности и сырости. Не было и прохлады.

Жарче и душнее, чем в поле, казался полдень среди деревьев. Слепни не давали остановиться ни на минуту. Тонко пели комары, прилипая к влажной спине и жаля сквозь рубаху. Митя почти бегом вырвался из леса на опушку — и остолбенел. Со стороны села, то есть навстречу ему, низко нависая над ржаным переливчатым полем, распространяясь от горизонта до горизонта, ползла чернота. Ее передний край клубился, то выпуская вперед рваные мохнатые щупальца, то снова убирая их. И все там клубилось и переворачивалось, продвигаясь между тем вперед медленно и неостановимо. «Сейчас ударит»,— подумал Митя. И точно, сразу в семи местах, залпом, долбанули сухую землю семь коротких, широких молний, и грохот от семи разрядов потряс замерший в ожидании воздух. Далеко в глубине черного полога, словно кусочек рафинада, ослепительно сверкала на фоне наэлектризованного мрака аккуратная самойловская колоколенка. «Прорываться или сидеть в лесу? Ведь и в лесу может шарахнуть именно в то дерево, под которым сидишь». К тому же по молодости слово «прорываться» казалось наиболее подходящим.

Продвинувшись вперед, чернота сделала еще один залп. Митя в это время бежал уж к ней навстречу и с радостью отметил, что ударило не в дорогу, что дорога осталась между двух молний.

Широкое поле поспевающей ржи бесновалось справа и слева, как, допустим, бесновалась и металась бы на привязи молодая лошадь, почуяв приближение голодных и беспощадных волков. Рожь ведь тоже была привязана к земле, и некуда ей было деться перед лицом надвигающегося бедствия, которое она, может быть (кто знает!), предчувствовала.

Рожь то ложилась плашмя на землю, то вдруг всколыхивалась и раскачивалась из стороны в сторону, перепутываясь колосьями, шумя, стеная и как бы даже простирая и заламывая руки.

Молодые, в пору плодоношения упругие стебли не хотели ни припадать к земле, ни ломаться на самой середине. Было похоже на то, что они крепко ухватились друг за дружку и колышутся все вместе, опираясь один на другой. Но иногда ветер бил в них сверху и разъединял, развевал, образуя завихряющиеся воронки.

Туча, плывущая над рожью, бесновалась ничуть не меньше. Она кипела черными клубами и клочьями, как вода в огромном котле. Потом вдруг черное брюхо тучи лопнуло, раздалось в стороны (как бы раздвинулись створки у бомбовоза), и обнажилось иссиня-белесое, дохнувшее холодом нутро. В тот же миг две крупные градины упали на дорогу, а третья больно стрельнула в плечо. Через две секунды небо обрушилось на землю.

Дмитрий, закрыв руками темя, добежал до копны прошлогодней соломы и зарылся в ее сладковатую, пахнущую прелью середину. Тысячи барабанов ровной беспрерывной дробью оглушили окрестности. Минут семь шум держался на одной напряженной, надсадной ноте, потом надломился, рассыпался на мелкую дробь и неожиданно затих. Словно выключили авиационный мотор, работавший над самым ухом. Стало слышно, как идет дождь. Обыкновенный летний дождь, которого все ждали давно и с нетерпением.

То, что увидел Дмитрий, выбравшись из соломы, как бы даже ослепило его. Никакой ржи вокруг ни справа, ни слева от дороги не было. Обильно перемешанная с избитой, измочаленной соломой, обнажившаяся и размокшая, лежала земля. Ручьи полужидкой грязи медленно ползли под уклон поля. В каждой выемке, где больше, а где меньше, в колеях дороги голубел не успевший растаять, хранящий отблески грозовой тучи град — куски льда, округлившиеся во время полета, слегка продолговатые, то мелкие, как горох, то по грецкому ореху, а иные чуть ли не с куриное яйцо.

В другое время Дмитрий стал бы хватать град руками, как бывало в детстве, пересыпать из горсти в горсть, ощущая непривычную для жаркого лета холодящую свежесть. Но то, что наделал град, было безобразно. Дождь хлестал с нараставшей силой, размывал верхний слой земли, обнажал вбитые в землю переломанные стебли и колосья, омывал их и тем самым еще более усугублял картину катастрофического опустошения.

«Это же, как фашисты,— бормотал Дмитрий, бредя под дождем по гиблому полю.— Десять минут стрельбы — и вся земля устлана трупами. А так словно бы

ничего больше не изменилось на земле. Все идет своим чередом: дождь, облака, скоро выйдет солнышко, и лишь для тех, кто лежит на земле, не будет больше ни дождя, ни облаков, ни солнца.

Смерть неизбежна в конце концов. Страшен быстрый и неожиданный переход от жизни к гибели. Только сейчас было это живое, колыхалось под ветром, ждало дождя — и вот теперь нет ничего. Пустое место: переломанная солома на поле ржи или общая могила, засыпанная свежей землицей».

На краю поля Дмитрию повстречался верховой, председатель колхоза Павел Павлович, мужик нестарый, неглупый, в чем-то похожий даже на городского человека, и нельзя сказать, чтобы без хозяйственной жилки.

Дмитрий думал, что увидит сейчас слезы на глазах мужика, потому что нельзя было им не появиться перед этим полем, потому что при виде такого поля появлялись они, наверно, и сто и двести лет назад. Нет ничего радостнее для крестьянина, чем увидеть тяжелоколосые наливные хлеба, и нет ничего горше разоренной, обиженной земли.

Павел Павлович нагнулся с лошади, чтобы поздороваться с Дмитрием, усмехнулся:

— Ну как, шишек тебе не наставило? А ты не смейся. Один год семирихинского мужика до смерти градом забило. Вон какой. Небось по сто грамм, да с какой высоты, да попадет по темени...

— Наделал-то что! А?!

— Отличился! Пятьдесят семь гектаров и шесть десятых. Я уж сообщил в область. Выехала комиссия.

«Неужели ему не жалко?» — подумал Дмитрий, вглядываясь в спокойное, как будто даже довольное лицо председателя.

— А сами-то вы как к этому относитесь?

— Стихийное бедствие. Председатель тут ни при чем. Кто хочешь скажет. У комиссии тоже глаза есть. Спишут с нас эти гектары — и делу конец! Стихийное бедствие, оно, брат, не разбирается.— Ухмыльнулся, окинул председательским взглядом погибшее поле и добавил: — Видишь, как обработано — чище комбайна!

Дмитрий думал, что в селе теперь только и разговору о происшествии, что, может быть, стоит в селе стон и

вопль. Бабы голосят, заламывая руки. Но ничего необычного не было заметно в Самойлове. Зина Лоханова, накрыв голову старой дерюжкой, выбежала с ведром поставить его под капель. Окна во многих избах открыты, чтобы прочищенный грозой воздух гулял в душноватых избах. Ни воплей, ни громкого разговора, ни хотя бы нетерпеливых вопросов к нему, Мите, ничем не выдавало село своего горя от настигнувшего среди белого дня бедствия.

Вечером на сене Сергей Белов обстоятельно разъяснял Дмитрию:

— Возьмем председателя. Добра, говоришь, ему не жалко? Так ведь не его добро. Значит, и горевать нечего. То надо было бы этот хлеб убирать, молотить, отправлять на подводах в город да чтобы влажность оказалась в норме, а то и обратно повезешь досушивать. Главная забота, чтобы в «сжатые сроки», чтобы раньше других (району показатели нужны), чтобы не попасть на черную доску в районной газете. Представь себе, сколько забот и канители. И вдруг за четверть часа все заботы долой. Приедет комиссия, спишет. Да ведь это для председателя не град, а благодать небесная.

Манера говорить у Сергея была такая, что не поймешь, то ли он шутит, то ли говорит серьезно, то ли рассуждает, то ли насмехается. Издевательская нотка нет-нет да и проскальзывала в голосе Сергея, но Дмитрий никак не мог понять, к кому именно относится нотка: то ли к председателю, то ли к комиссии, которая спишет, то ли еще к чему-то, чего Дмитрий пока не мог ни понять, ни осмыслить.

За окнами избушки начался дождь. Не такой, как днем, не сорвавшийся с цепи, но тихий, вкрадчивый, шелестящий. Зато была в нем иная уверенность, иная, вот именно тихая сила. Чувствовалось, что такой не остановится через полчаса, но будет идти, пока не набрякнет теплой водой каждая крупица земли, каждая травинка, каждый древесный лист, каждая серая дранка на крестьянской крыше.

— Но это все полбеды,— заговорил Сергей после некоторого молчания (пока сворачивали по новой цигарке, пока раскурили их, пока затянулись как следует, по два раза).— Когда-нибудь это изменится. Найдутся умные люди. Неправда! Да и жизнь заставит. Хуже то, что

сегодня случилось: хлеб побило, а председателю не жалко. Хлеба не жалко — вдумайся! Пятьдесят семь гектаров списал и — успокоился...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Оставшись один, Дмитрий лежал и слушал дождь. Слушать его было трудно, потому что он сильно гремел о железную крышу избушки. Но все же можно было различить и его хлюпанье в луже около приоткрытой двери, и его ровный, устойчивый шум в отдалении: вот о дорогу, а вот о другие крыши, а вот просто о землю вокруг села. Временами, когда вода переставала литься, мир наполнялся шелестением капель в деревьях сада, в кустах смородины, в высокой крапиве возле тына.

Лампа стояла на столе. Ее желтый неяркий свет доставал до самых ближних мокрых ветвей сада, тех, что прикасались к стеклам. Кисть рябины, чуть тронутая желтизной, покачивалась и все время постукивала по стеклу, как будто кто-нибудь сломил эту кисть и теперь стучится ею, просится с дождя в уютное желтенькое тепло. А может быть, это сама рябина стучится и просится в тепло.

Некому постучаться. В такую погоду на всех дорогах и тропинках вокруг села на многие километры ни души. Митино окно, может, и светится, пробиваясь сквозь деревья и дождь, может, и мигает в виде звездочки, но нет путника, для которого эта звездочка сделалась бы сейчас путеводной.

Не все ль равно, что гроздь рябины
Ко мне стучится издавна...

Дмитрия кинуло к столу. Настроение вечера определилось и потребовало слов. Мелодия то глохла и пропадала, как в испорченном радиоприемнике, то пробивалась сквозь небытие и звучала громко и чисто.

Который час без перерыва
В мое окно стучит вода!
Окно сквозь полночь сиротливо,
Должно быть, светит, как звезда.
Вовек не станет путеводной
Звезда ненастная моя...

«Как же так получается? — искренне досадовал Дмитрий час спустя, когда стихотворение было закончено.— Я лежал и думал о сегодняшнем горе, о граде, о погибшем хлебе, о Сергее Белове и его разговорах. Наконец, я думал о ней. А вместо всего этого написал стихотворение... даже неизвестно о чем. Усомнился в том, что моя поэзия когда-нибудь понадобится людям; в том, что моя душа когда-нибудь привлечет к себе другую, ищущую тепла и участия, о том, короче говоря, что «вовек не станет путеводной звезда ненастная моя». Зачем это и откуда? Завтра же сяду и во что бы то ни стало напишу стихи о нынешнем граде».

(Дмитрий не мог, конечно, в то время в тонкости понимать, что бывает событие и бывает настроение, этим событием вызванное. Усталость от пережитого и перечувствованного, некоторая растерянность от всего и некоторая беспомощность перед всем создали определенное настроение. Что касается искусства, то оно может идти по двум путям: или рисовать само событие, или передавать настроение, вызванное им. В последнем случае это называлось бы лирикой.)

Теперь надо было сходить в сад, поглядеть, нет ли на грядах выползков, на которых хорошо берут окуни. Укрывшись с головой плащом и взяв электрический фонарик, Митя шагнул за дверь.

Пахло мокрой травой, смородиновым листом и речным туманом (когда подойдешь на рассвете вплотную к речной воде). Луч фонаря зайчиком заметался с места на место. На зеленых напряженных стрелах лука дрожали светлые водяные капли, под яблонькой образовалась лужица — капало с нижней ветки,— на лужице вздрагивали мелкие пузыри. Земля на грядах мягка и черна, как бархат. Она испещрена круглыми норками, а возле каждой норки, склеившись попарно (долгожданная мокрая ночь любви), нежились под теплым тихим дождем ползучие твари — бесчисленные дождевые черви. Красного цвета, по-своему сильные и пружинистые, они теперь лежали, расслабившись и растянувшись как можно длиннее, может быть, для того, чтобы большее число дождинок попало на них в течение ночи.

От яркого света они мгновенно скрючивались и юркали в свои земляные убежища. Требовалась некоторая сноровка, чтобы наловить их в старую консервную банку.

Человек, только что написавший лирическое стихотворение, сумевший перенести на бумагу и закрепить на бумаге моментальное и непрочное движение души, стоял на одной земле, под одним и тем же дождем с небольшими ослизлыми тварями, которые тоже обрадовались дождю и выползли для любви и что-то, значит, чувствуют, если так распростерлись, подставляя себя каждой капельке.

За миллионы лет человек научился многому, в том числе и писанию стихов. Но не разучился ли он за это же время радоваться простому теплому дождю? Разве кожа его потеряла чувствительность? Разве не услышал бы он, как падают на нее и стекают по ней капли, прилетевшие с неба?

Движимый странным чувством, которое могло прийти, наверно, только в темноте и только в одиночестве, Митя ушел в избушку, а через некоторое время вышел оттуда, сбросив свою одежду.

Нагой, молодой и сильный, он бегал по саду, задевая за кусты и деревья, струи воды катились по плечам, по спине, по груди, обильно и сладко обтекая глаза и губы.

— Ха-ха! Мне доступна и высшая радость духа, и простейшая радость плоти! Радость бога и радость червяка. Ха-ха!

Где кончил тварей ты телесных,
Где начал духов ты небесных
И цепь существ связал всех мной!

Я человек, я соединяю в себе эти две невозможные крайности. Я очень счастливый человек!

Спите, бедные люди! Вы так и не узнаете никогда, что значит июльский дождик в ночном саду. Вы разучились ходить нагими. В дождь вы стараетесь поскорее убежать в укрытие, чтобы — боже сохрани! — на вас не упало десятка два лишних капель. Вы поглубже надеваете шляпу, сутулите плечи и поднимаете воротник. В вашей походке появляется что-то суетливое и жалкое. И все это вместо того, чтобы поднять кверху радостное лицо и с развернутыми плечами, походкой бога пройти по земле во время теплого, благодатного дождя.

Надо полагать, что если бы кто-нибудь из деревенских жителей увидел всю эту картину, то возможно... Впрочем, неизвестно, что бы тогда подумали деревенские

жители про бедного парня. Подглядывать было некому.

Растираясь до красноты жестким вафельным полотенцем, Митя меньше всего думал теперь о путеводных ли, прочих ли звездах и совсем не замечал обыкновенной рябиновой кисти, трущейся об обыкновенное оконное стекло.

Прежде чем заснуть, он успел прочитать несколько страничек из учебника по истории. Про восстание декабристов в 1825 году...

«Здравствуйте, Энгельсина!

Сказать ли вам, что я теперь по образу жизни во многом похож на лейтенанта Глана. Живу в избушке, которая, правда, стоит не в глухом лесу, а в саду. Но ведь на что-нибудь дано же нам человеческое воображение. Тем более что избушка со всех сторон окружена непролазными джунглями малины, перемешанной с крапивой. По ночам в саду поет соловей. А так как соловья обыкновенно слышно за несколько километров, то представьте себе мое положение: от краешка моего уха до кончика соловьиного носа едва ли наберется восемь шагов...

(Стороннему, но все же и пристрастному наблюдателю за Митей Золушкиным тогда же могло бы броситься в глаза очень уж резкое несоответствие между его заминкой, допустим, перед словом «рефлексия» и этаким свободным, можно даже сказать... ну, не будем говорить, конечно, изящным, но все же и лишенным ведь неуклюжести и тяжеловесности слогом первого письма к Энгельсине.

Но — великое дело цель! И направленность к ней. То есть, значит,— целенаправленность. Можно с утра до вечера слоняться по комнате, окажешься к вечеру все на том же месте, хотя бы ноги и гудели, как после далекого, трудного пути. За тот же день можно уйти за синие леса, за высокие горы, за быстрые реки.

В человеческом устройстве, бесспорно, есть аппаратик, заведующий познанием мира. Наверно, в одном случае он работает вширь, вразброс, без настройки, хватая одновременно и то, что понадобилось бы строителю мостов, и то, что понадобилось бы радиотехнику, и то, что понадобилось бы художнику, хотя человек пока ни то, ни другое, ни третье.

У Мити Золушкина с первого прихода в поэтический подвальчик, от первой встряски хитроумный аппаратик точнейшим образом настроился. Он схватывал теперь только то или главным образом только то, что нужно хозяину. В сущности, речь идет о самообразовании, которое при осознании цели совершается в тысячу раз быстрее. Из сотен книг интуитивно выбирается та, которая всего нужнее; из трехсот страниц берутся те три или четыре мысли, которых наиболее не хватало, чтобы на их огонек сбежалось столько же мыслей собственных.

Митя только и делал последние месяцы, что читал либо слушал.)

...На днях я долго продирался сквозь лесную чащобу. Я забирался все глуше и глуше, и мне показалось, что может наступить время, когда невозможно будет вернуться обратно. Вдруг чащоба кончилась, открылась просторная поляна, и лесная речка протекала по ней.

Я хотел первым делом напиться из ручья и наклонился уж над ним, но тут мне почудилось, что это вы смотрите на меня глазами темной лесной воды и что это ваш смех слышится в ее серебристом и ласковом журчании.

Теперь вы подумаете, наверно, что я не осмелился прикоснуться губами к трепещущей струе ручья. Но, увы, жажда есть жажда... Вода пахла хвоей и мятой.

Но я хотел не об этом. Напившись, я лег на спину и пролежал так довольно долго. И вот мне стало казаться, что нет на свете ни больших городов, ни грохота машин, ни бурных или скучных собраний, ни дикого скопления людей в одном месте. Как будто я задремал над этим ручьем триста тысяч лет назад, а теперь очнулся от дремоты, и нужно разминать мышцы, и, попробовав на пальце острие копья, идти добывать себе пищу, огонь, подругу...

Но жизнь усложнилась в наше время. Например, возьмите турниры. Вместо того чтобы, разъехавшись в разные стороны на одетых в панцири лошадях и выставив длинные пики, вихрем налетать друг на друга: кто кого вышибет из седла, противники вежливо сидят друг против друга, отпивают по глоточку крепкого чая и предупредительно передвигают деревянные пешечки. Лишь мысли их незримо сшибаются, может быть, более яростно, чем те поединщики, что в тяжелых панцирях.

Точно так же, чтобы добыть (мне, допустим) кусок мяса, я должен буду не просто, подкараулив, ловко метнуть копье. Но сначала я должен буду написать стихотворение, потом отнести его в редакцию, где оно может пригодиться, а может не пригодиться. Потом разные люди разных профессий будут принимать участие в том, чтобы оно появилось на газетной странице. Потом бухгалтер выпишет мне деньги. Потом кассир мне их выдаст. А потом я пойду в магазин и тогда-то уж и куплю кусок мяса. Если, конечно, окажутся неизрасходованными у меня талончики на продуктовой карточке.

Но мерещится мне сквозь лесную безмятежную поляну дождливый вечерний город, и я в этом городе, вынужденный вести борьбу за существование не год, не два. И если даже я почувствую, что сжимается вокруг меня некий незримый круг, сжимается все теснее и теснее,— не в кого будет метнуть копья, чтобы разорвать упомянутый круг. Все как-то незримо и неуловимо в этом мире. Это иногда пугает меня. Но пугает нереально, а так, брезжит что-то неясное, смутное, осенне-дождливое, и вот тревожно становится на душе.

И нужно, чтобы было среди миллионов окон одно освещенное окно, в которое всегда постучишься, и метнется тень, и звякнет защелка, и будет тепло после холодного сентябрьского дождя...»

«Здравствуйте, Митя!

Я, конечно, допускаю, что ваш образ жизни похож на жизнь лейтенанта Глана, но тогда кто же ваша Эдварда? И потом, напрасно вы считаете меня такой уж наивной: будто я могла бы подумать, что вы не дотронетесь до той самой струи. Напротив, если бы вы ее не тронули, то, может быть, я удивилась бы вашей нерешительности и, простите меня, сентиментальности.

В Москве стоит жара. Мои друзья все разъехались. Мама тоже в командировке, и я теперь одна-одинешенька. Скучаю, хожу из угла в угол, немножко играю, но вообще-то больше ленюсь. Иногда занимаюсь в Ленинке, пишу реферат о работе Лессинга «Лаокоон». Продвигается слабо.

Литературные студии тоже прервали свою работу. Вообще довольно противная пора — лето: шипит гази-

ровка на всех углах. В Москве полно приезжего народу. Потому что, если во время отпусков москвичи уезжают в другие города и на юг, то из других городов и с юга во время отпусков все едут в Москву. Ходят по музеям, обедают целыми семьями в ресторанах, где им не подают по два часа. Я это знаю потому, что одна без мамы тоже иногда обедаю в ресторане.

Ваше сиятельство, удельный князь Дмитрий Самойловский, скоро ли изволите вы пожаловать в стольный град Москву, дабы ваши ближние могли лицезреть ваш светлый лик и возрадоваться светлой радостию?

Между прочим, будущие студенты уже начинают съезжаться для того, чтобы держать вступительные экзамены...»

Каждое утро в одно и то же время Митя бегал на речку, чтобы освежиться после крепкого сна. В селе мелкая травка успевала обсохнуть к этому времени, но как только тропинка выводила на луг, так и обжигало росистым холодком горячие после сна Митины ноги.

Тут открывался с горы такой простор, что если бы распахнуть руки чуточку пошире, чем они могли распахиваться, то легко можно было бы воспарить и, опираясь на упругие струи воздуха, скользя по ним, испытать всю сладость вольного, как у птицы, полета.

Некоторую крылатость придавало Мите и только что прочитанное письмо. В нем, правда, не было ничего особенного, но стояло в самом начале: «Здравствуйте, Митя», так что, если бы уж вовсе ничего не шло после этих слов, то их одних хватило бы, чтобы почувствовать крылья, то есть если чуть пошире раскинуть руки, то, может быть, и подхватит устойчивый встречный ветерок и перенесет с горы на яркие прибрежные лютики.

Раздевшись до трусов, Митя сел на краешек земли над водой и крепко задумался. Со стороны поглядеть — сидит парень на берегу и пальцем босой ноги чертит по воде взад-вперед: полное легкомыслие и полное бездумье.

Сегодня, через два часа, Митя должен уехать из Самойлова. До сих пор линия его, Митиного, рода, рода земледельцев Золушкиных, шла сквозь стихию земли, природы, деревни, сквозь стихию солоноватого на вкус крестьянского труда. И отец Мити Василий Васильевич,

и дед Василий Дмитриевич, и прадед Дмитрий Иванович, и дальше, и дальше, если бы заглянуть в иные колена,— все эти люди пахали землю, сеяли рожь. От рождения до смерти видели перед собой дерево, траву, хомут, дощатый стол, образа, колосящееся поле, дождь, заходящий из «мокрого угла», лошадиный круп с потрепанной шлеей, жало косы, лежащее на отбойной наковаленке, кровь из перерезанного горла барана, хлеб, накрошенный в молоко или в квас в огромной глиняной миске...

Вот почему называется, что родился Митя в семье крестьян. И если раздуматься, только от него одного зависит теперь, куда же дальше повернет, как пойдет развиваться линия земледельческого золушкинского рода.

Допустим, станет Митя интеллигентом, пусть даже и самым завалящим, и вот уж линия устремится из стихии деревни в стихию города. Уж будущий, допустим, сынишка Мити будет называться не сыном крестьянина, а сыном... ну, кем там сделается Митя к тому времени? И уж все потомство Мити на много колен вперед от рождения до смерти будет глядеть не на лошадиный круп со шлеей, а на цепочки уличных фонарей, на рояль, на книжные полки, на заманчивую прибранность рабочего стола, освещенного настольной лампой; может быть, чертежи, может быть, мудреные приборы, может быть, огонек интереса в глазах студенческой аудитории...

В совсем иную стихию можно теперь повернуть и направить линию рода, и это зависит теперь только от одного человека — от Мити, сидящего на краешке земли. Захоти он остаться в деревне... Впрочем, как это можно захотеть, когда невозможно и помыслить, чтобы не поехать сегодня в Москву!

Может быть, Митя-то весь не больше, чем игрушка в руках судьбы, как говорилось в старинных романах. Может быть, он лишь очередное звенышко в железной цепи закономерностей, и помимо его воли наступила пора сломаться, хрупнуть немудреной линии крестьянского рода. Так уж совпало, что самый излом, самый что ни на есть разрыв вековых волокон пришелся как раз на рыжего парня Митю. Больно ли будет Мите от этого излома — ничего пока неизвестно.

Очнувшись от задумчивости, Митя заметил, как слева, за выступом бережка, что-то плещется и булькает. Вроде как полощут белье. Хотя никогда еще не было

случая, чтобы в такой ранний час кто-нибудь появлялся на реке, кроме Мити.

Из-за мыса разбегались по омуту легкие веселые складочки. Подумав, не выхухоль ли играет в прибрежной осотке, Митя осторожно, по-солдатски выглянул из-за бугра и увидел, что никакая это не выхухоль, а просто Шура Куделина полощет белье.

Просто ли? Просто ли?.. Нет, не просто. Надо было ей знать, что Митя в эти часы ходит купаться; надо было ей уследить сегодня, что он уж пошел, надо было так подойти к реке, чтобы он не заметил.

По вечерам на гулянье (не то, что до войны) сто раз мог бы Митя подойти к Шуре Куделиной, сто раз мог бы остаться с ней наедине на всю ночь. Иногда она в присутствии Мити начинала рассказывать:

— Лежу я вчера ночью в амбаре...

Тут, конечно, перебивали Шуру подружки:

— Неужели одна в амбаре не боишься спать?

— Чего бояться-то? Не съедят.

— Амбар-то ваш на отшибе стоит, не докричишься.

— ...и вдруг слышу, вроде кто-то шастит около двери...

Митя воображал тогда и душноватую темноту амбара, и постель Шуры на старинном огромнейшем сундуке, и что-то даже вроде тревожного шепота смутно мерещилось ему.

Митя взял в руки тяжелый, большой камень, окунулся с ним в воду возле бережка и, легко пробежав по дну реки и обогнув мысок, вынырнул у самых ног Шуры Куделиной. Притворно испугавшись, та захохотала, начала было отбиваться мокрым бельем. Но Митя не стал хвататься руками.

В гору от речки они шли вместе. У корзины оказалось две ручки. Удобно было ее нести вдвоем. На горе дорожка (хоть и узка) расходилась на две. Корзина стояла между Дмитрием и Шурой, а они оба лицом к лицу все разглядывали, все разглядывали застиранное деревенское бельишко.

— На гулянье надоело ходить...— Тут у Шуры не хватило дыхания, значит, заговорила она как все равно в омут с обрыва.— Приходил бы нынче вечером к амбару, посидели бы...

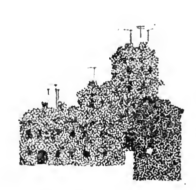
Широко раскрытые глаза забегали по лицу Дмитрия, словно бы ища, на чем задержаться, за что зацепиться,

в чем найти уверенную, надежную опору, а губы приоткрылись, готовые и засмеяться и дрогнуть, изломившись в острой горечи. Рукой начала Шура теребить воротничок белой кофточки, хоть был он свободным, без пуговки, а длилось все это, наверно, меньше чем полсекунды, потому что не надо было долго думать Дмитрию, чтобы сказать правду:

— Я сегодня уезжаю сдавать экзамены.

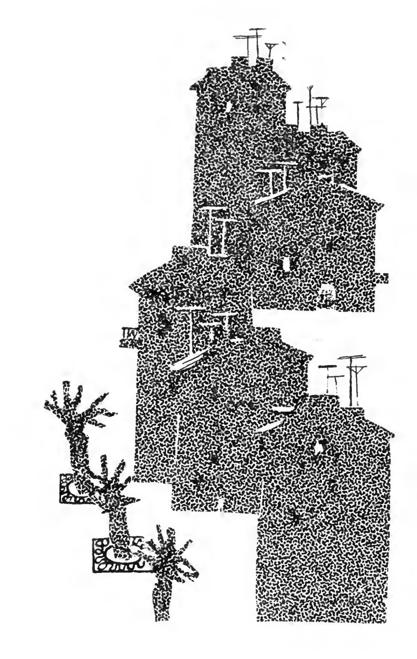
От развилки до села было совсем близко. Все же Дмитрий, пока шел, успел подумать: а не зря ли меняет он эту живую, загорелую, горячую на, в сущности, призрак с мраморным лицом и черными бархатными бровями? До той дотронуться не осмелишься, будешь глядеть как на икону да вздыхать.

И все ли кончилось на этом с Шурой Куделиной? Или будет еще дорожка, поуже той, что развела их сегодня, и тогда уж, возможно, без развилочки?



НА ИЗЛОМЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



— А когда же мне, дитятко,
Ко двору тебя ждать?
— Уж давай мы как следует
Попрощаемся, мать!

И. Бунин.

Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

С. Есенин.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Араратов ищешь? Араратов — нету! — Вопрос и ответ были столь категоричны, что ничего уж не требовалось от Дмитрия, как только глядеть удивленно на возникшего перед ним небольшого крепкого человечка с крутым полукружием черных усов на загорелом бритом лице. Между прочим, в треугольнике расстегнутого воротника, мирная, но как бы готовая всплеснуться, дремала синяя полоска тельняшки.

Время было такое, что почти на каждом, кто пришел сюда в садик перед дверьми института, бросалось в глаза что-нибудь от недавней (а в психологии все еще как бы незакончившейся) войны. Парень, подошедший к Дмитрию вслед за морячком, был одет в военную форму, только что без погон.

Дмитрий прямо с вокзала пришел в институт узнать, как его дела, когда экзамены, как с общежитием. Он хотел узнать все это, а затем немедленно позвонить

Энгельсине, обязательно встретиться с ней, ну и... не расставаться до вечера. А так как встреча с девушкой и даже звонок к ней занимали все мысли (ничего не могло быть важнее и долгожданнее), то зайти в институт казалось так себе, между прочим. Он зашел сюда, в садик, в четыре часа дня, а сам весь жил где-то там, в районе пяти или шести часов.

Вопрос насчет Араратов застал Митю врасплох. Но уж повеяло от этого вопроса и от всей решительности в фигуре моряка некоторым беспокойством. Почудилось, что этот-то вопрос и разрушит такие стройные, такие мирные планы Дмитрия на остаток теплого августовского дня.

Морячок и другой, в военной форме без погон, как могли, с двух сторон обступили Дмитрия по праву того, что пришли в садик двумя часами раньше, чувствовали себя здесь хозяевами и даже вроде бы старожилами. Они смотрели на Дмитрия как на новичка. Новичка полагается обступать и расспрашивать. Может быть, рыжий детина в рубахе с косым воротом просто возбудил праздное любопытство, но тогда зачем было спрашивать про Арараты?

Между тем течение событий втягивало Митю в крутую завертину. И как человек, втягиваемый в действительную завертину, с тоской смотрит на близкий и недоступный зеленый бережок, так и Дмитрий с тоской думал о том, что отодвигается встреча, которая, в сущности, так возможна.

Прежде всего эти двое оттеснили Дмитрия в дальний угол сада, где стоял плохонький деревянный диванчик, и морячок приказал:

— Читай два стихотворения.

— Да я... Да что вы, ребята... Мне надо бы зайти... Принимают ли...

— Читай, и я тебе скажу, будешь ли ты учиться в этом институте.

Дмитрий откашлялся. По мере того как он читал, морячок все больше и больше оживлялся, а под конец даже стал нетерпеливой рукой отбивать такт Митиного стихотворения и притопывать ногой, как если бы ему хотелось подтолкнуть течение ритма, не совпадающего с его собственным темпераментом.

— Так. Порядок. Теперь можно знакомиться. Игорь

Ольховатский. Это мой друг Миша. Так вот, чтобы ты знал: если тебя не примут, мы этот дом возьмем вот так, за водосточные трубы,— он показал на Дмитриевом воротнике, как будет взят дом,— и потрясем его вот таким образом.— Дмитрий, хотя моряку и не удалось его потрясти, отметил, что руки у того цепкие и твердые, а моряк, в свою очередь, не мог, наверно, не оценить остойчивости парня, держащегося за землю широко и спокойно поставленными подошвами.

Новоявленные знакомые повлекли Митю в институт, хотя настойчивое непререкаемое покровительство смущало и вроде бы даже тяготило. Ну, не то чтобы обезволивало (это было бы сказано слишком сильно), но вызывало все же смутное недовольство собой, и, оставшись один, Дмитрий, наверно, вздохнул бы с облегчением.

— Это мой лучший друг Золушкин,— заявил моряк девушке-секретарше.— Я хочу знать, что вы с ним собираетесь делать.

— Золушкин? — секретарша встрепенулась, как от сна.— Что же вы, Дмитрий Васильевич (не обошлось без легкой иронии), уехали, не оставив адреса? В общем хорошо, что вы наконец появились. Скажу вам по секрету — особенно волноваться не нужно... А ваше дело, товарищ Ольховатский,— она перевела свои серые с темноватым дрожанием в глубине глаза,— пока неясно. Папка у директора, и думаю, что вам как раз нужно волноваться.

— Эт-то мы еще посмотрим. Я в своей жизни волновался только дважды. За пять минут до первого десанта около мыса Керкенес и за пять минут до первой женщины.

Дмитрию не удалось остаться одному. Втроем они дошли до угла улицы.

— Так. Определим ресурсы. У меня есть двенадцать рублей.

— У меня,— ответил Миша,— три. Но зато вот.— На ладони, схваченной недавним розовым швом, возникло три кубика концентрированного какао с сахаром.

— Если ты думаешь, что водку и пиво я буду заедать твоим патентованным порошком...

— Зачем? Я сейчас продам по пятерке за штуку. Я уж третий день питаюсь на эти кубики.

— Итак, у тебя будет восемнадцать рублей.

У Дмитрия тоже было восемнадцать рублей по мелочи. Про сторублевую бумажку, лежащую отдельно, он решил не говорить. Нельзя же оставаться совсем без денег.

В заведение, которое потом будет даже очень хорошо знакомо Дмитрию, входил он впервые. Входил не стремясь, вроде бы даже подневольно (на ходу делал пересчет времени: «Теперь начало шестого, если мы пробудем здесь ну хоть час, то все еще можно будет позвонить»). Дымом и гамом встречало заведение новых посетителей.

Все здесь было такое, что трудно было сдвинуть с места (например, стулья). Столы из темно-желтого мрамора — сколько ни стучи кулаком, буде понадобится выплеснуть из души порцию горькой накипи, ничего такому столу не сделается. Тем более опрометчиво бить по нему стеклянной пивной кружкой. Но и то приметил Митя — у одного мраморного столика выразительно надтреснут угол. Какова же была порция горечи?

Кругом в равномерном устоявшемся гуде грызли багровых раков, вырывая у них зелено-розовые капающие потроха, обильно макали в горчицу лопнувшие от кипячения сосиски, крупные щепотки соли кидали в белую пену кружек (вспыхивало пиво белым облаком), жадно, на полкружки зараз, присасывались губами к толстому кружечному стеклу. Под белой пеной в бесчисленных кружках и на столах у питоков, и на подносах у подавальщиков, и на буфете около разливальщицы вкусно, аппетитно мерцала золотая влага, возникшая из хлеба и хмеля.

В конце зала — ступеньки вниз — и в некоторой глубине небольшой уютный подвальчик. Там-то и бросили якорь три друга.

О раках друзьям и мечтать было нельзя. Но пиво в кружках и водка в конических стопках вскоре появились перед ними. Через четверть часа они стали разговаривать так же громко, как и все сидящие вокруг.

— Нет, ты понял?! — вопрошал Игорь собеседников.— Они ко мне приходят и говорят: «Дай нам хорошую хохму, мы тебе заплатим, как за стихотворение». Нет, ты понял?! Стихотворение можно написать, а хохму

ни с того ни с сего не придумаешь. Но я даю им хорошую хохму...

Дмитрий не знал, что такое хохма. К этому времени он понял, что звонить к Энгельсине сегодня нельзя. Как же он придет к ней выпивши?..

Игорь читал стихи. Одной рукой он брал Митю за воротник и так как не мог подтянуть его к себе в силу очевидной разницы масс, то подтягивался сам к Митиному лицу и, отбивая такт другой рукой, перед самыми глазами Мити, захлебываясь в собственных словах и собственном темпераменте, читал то свое, то чужое. Впрочем, больше чужое.

Я знаю и сказки неведомых стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя...
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман
И верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

Миша при этом оставался в сторонке. Может быть, Игорь все вычитал ему раньше. У Миши в уголке глаза (немного приопущено веко) постоянно выступала большая слезина. Когда она скатывалась, на ее месте появлялась другая.

— Это от контузии,— пояснил Миша, заметив, что Дмитрий разглядывает слезу.

Мишу тоже заставили читать. Он читал о своем сиротстве, как в поле на дороге умерла его мать. Были там простенькие завершающие слова:

И пошел я по осенним селам,
Отбиваясь палкой от собак.

Тут никак нельзя было не выпить еще по кружке.

Хмель вступил в такие свои права, когда подспудные желания становятся главными и реальными, а все реальное отступает в дымку, чтобы не мешаться, не путаться под ногами.

(Но отметим про себя, что хмель не принес самозабвения Мите Золушкину. Напротив, еще больше обострил желание немедленно, теперь же увидеть Энгельсину. Стало казаться совсем нелепым, что он сидит здесь, вместо того чтобы быть там. А все это очень просто. Прийти к ней прямо домой: «Здравствуйте. Осень. На юг улетают птицы. Осень. Грусти, погибай и сетуй.

Девушка проходила по жизни, собирая цветы, опустив ресницы».)

Подавальщик принес бумажку, из которой явствовало, что у друзей не хватает трешницы, чтобы расплатиться за выпитое. Дмитрий поколебался, прежде чем лезть за сторублевкой. Главное колебание происходило оттого, что если разменяем, тогда уж, конечно, не уйдем отсюда, пока не прикончим всю. Игорь между тем, бросив друзьям: «Минуточку», вскочил и исчез в дверях. Он вернулся минут через десять и положил на стол тридцатку. Положил и придавил пустой кружкой.

— Где взял?

— Одолжил у капитана первого ранга.

— Знакомый?

— Если бы он был знакомый, он теперь сидел бы с нами, и дело не обошлось бы одной тридцаткой. Остановил на улице. Моряки умеют выручать друг друга... Значит, у нас теперь двадцать семь рублей свободного капитала. Но, я думаю, мы сделаем иначе. Мы купим пол-литра и пойдем в один дом... Здесь неподалеку, в тупичке. Выпьем в человеческих условиях.

Пол-литра нес Дмитрий. Он держал бутылку за горлышко, как гранату. Детина в косоворотке с пол-литром наголо, моряк с выглядывающей тельняшкой, солдат в форме без погон — эта группа выглядела живописно. Прохожие расступались, обтекали целеустремленный острый треугольник.

Знакомой Игоря, у которой собирались разливать по стаканам зеленую поллитровку, не оказалось дома. Дмитрий в глубине души обрадовался, думая, что теперь все кончится. Но рядом с подъездом притулилась торговая палаточка. Улица тихая. Тупичок. Продавщица бездействовала. Трое молодых людей внесли в ее жизнь желанное разнообразие. Очень охотно она дала им пустые стаканы и даже бесплатно пожертвовала большой соленый огурец, разрезав его на три части.

Стакан водки подействовал на Дмитрия больше, чем все предыдущее выпитое в баре. Он стал еще грустнее и отрешеннее. Игорь заметил наконец, что новый его друг чокается с ним, а сам витает в иных сферах.

— Расскажи мне про эту женщину.

— Я ничего про нее не знаю. Писала письма. Но ведь получаются ножницы.

Игорь посмотрел вопросительно.

— Ну да, ножницы. У каждой переписки есть своя логика. Свое развитие. В переписке мы, знаешь, куда ушли... После этих писем надо бежать к ней и схватывать ее на руки. И она вроде тоже должна если не бросаться на шею, то, во всяком случае... А на самом деле мы виделись пять минут. Здоровались за кончики пальцев. А как теперь? Откуда начнется дальнейшее? От последней встречи или от последнего письма?

— Я знаю только одно.— Игорь обо всем говорил, будто другого мнения уж не должно быть на всей земле.— Если ты к женщине бежишь, запыхавшись и грудью разрывая кусты, нельзя вдруг остановиться перед ней и вежливо поцеловать руку. Если же ты, учтиво поправив «бабочку» и сняв пушинку с лацкана, заходишь к ней в гостиную, то нельзя ни с того ни с сего хватать ее и подымать к звездам.

— Но ведь можно бежать, а наткнуться на ледяную стену.

— Смотри в глаза. Хочешь, пойдем к ней. Я тебе сразу все скажу. По тому, как она будет вести себя в первые пять секунд. Потом — ерунда. Потом она успеет надеть на себя кованые железные доспехи. В первые пять секунд — вся раскрыта, вся обнажена, вся вывернута наизнанку, можно заглянуть до самого дна. То, что можно увидеть в первые пять секунд, не узнаешь потом за всю жизнь. Но встречаться — без предупреждения. И сразу — глаза в глаза.

Митя в таких подробностях вымечтал грядущую встречу, что нельзя было и помыслить о приходе к заповедной двери трем подвыпившим парням, да еще с откровениями Игоря. Однако соблазн хотя бы поглядеть на улицу (был ведь известен подробный адрес), взглянуть на окна, стараясь угадать, которое окно ее, этот соблазн, исполненный тайной сласти, изменил маршрут дружной компании.

Улица по сравнению с другими была тихая, почти безлюдная. Свернув с шумного перекрестка, сразу вступили в некое, особым знаком отмеченное место, переступили некий незримо начертанный круг. Вместо пылающих окнами перенаселенных московских домов пошли тихие полуосвещенные особнячки с большими цельными стеклами, с деревьями под окнами.

Милиционер, стоящий почему-то не посередине улицы, а на тротуаре, проводил компанию долгим, изучающим взглядом. С другого тротуара так же внимательно поглядел на друзей человек средних лет в штатском. Но друзьям все это было нипочем. Они по табличкам отсчитывали дома, дожидаясь нужного номера.

Больше всего теперь Митя боялся, чтобы возле дома не повстречалась Энгельсина. Этого он боялся больше всего. В остальном — ничего страшного. Волнение, охватившее его, удалось скрыть от друзей. Все трое вроде бы одинаково равнодушно походили вдоль тротуара. Для того чтобы бросить взгляд на окна, пришлось перейти на другую сторону улочки, но никто не мог бы подсказать друзьям, на которые именно два или три окна нужно теперь смотреть. (Впоследствии оказалось, что окна Энгельсины выходят в маленький глухой дворик и с улицы, естественно, не видны.)

Тем не менее друзья не спешили покидать наблюдательный пункт. Игорь даже присел на краешек тротуара возле дерева и закурил. Откуда ни возьмись появился милиционер.

— Гуляйте, гуляйте отсюда! — сказал он, впрочем, довольно тихо и мирно.

— Да мы...— запнулся Дмитрий.

— А, собственно, в чем дело? — разгорячился было Игорь.

— Товарищ милиционер...— неизвестно что хотел сообщить милиционеру Миша.

— Гуляйте отсюда! — Странная нота послышалась в голосе милиционера, так что никто из друзей не успел уж высказать ему своих сокровенных мыслей.

За углом другой милиционер (словно дожидался) загородил дорогу. Человек средних лет в штатском (руки в карманы) как бы между прочим тенью стал за плечами.

— Документы прошу предъявить. Кого вы здесь ищете?

— Знакомая здесь живет,— Игорь умел петушиться, но, значит, умел и трезво оценить обстановку.

— Ваша?

— Его...

Милиционер мельком, лишний раз взглянул на Митю, и даже тот, что стоял сзади — руки в карманы, заглянул парню в смущенное излишним вниманием лицо.

— Гуляйте!

Друзья не могли видеть, что за углом, как раз там, где они только что околачивались, появился в это время, выйдя из особняка, человек лет пятидесяти, лицо которого наверняка показалось бы знакомым всем троим, хотя, может быть, и не сразу удалось бы вспомнить, где они этого человека видели. На обратном пути Игорь подсказал Мите:

— Я бы тебе советовал держаться подальше от этого места. Тут что-то не так. Поверь интуиции старого разведчика.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первые-то пять секунд не мог использовать Митя, чтобы заглянуть в глаза и высмотреть там все до самого донышка, на всю остальную жизнь. Сознательно или нет, Энгельсина не предоставила ему этих пяти секунд.

Дело в том, что, когда, едва сдерживая нервную дрожь, Дмитрий позвонил у нужной двери, когда ему открыла пожилая женщина (а вернее сказать, старушка), когда он, разглядываемый коммунальными жильцами, преодолел все же длинный коридор и, не помня себя, постучался в последнюю дверь, и когда донеслось оттуда: «Да, пожалуйста!», и когда он переступил порог и остановился, не выпуская сзади дверной ручки,— дело в том, что комната оказалась пустой.

В растерянности схватил Митин взгляд все сразу. И темно-красные стены, и темно-красный буфет с темно-красным мерцанием хрусталя в глубине, и темно-красный диван с узенькой полочкой, на которой плотно уставлены золоченые корешки книг, и темно-красную оправу высокого зеркала, в котором отражалось все темно-красное, в том числе и темно-красная с золотистым шитьем скатерть стола.

Лишь пианино было черное. Но и то благодаря своей благородной зеркальности оно вбирало в себя окружавшую его темную красноту.

Пианино стояло посреди комнаты, деля ее вдоль. За ним поднимался до потолка, темно-красных тонов, тяжелый ковер. Значит, как бы отдельная комнатка образовалась там, за пианино и ковром. Значит, именно там-то и затаилась хозяйка комнаты.

— Вы раздевайтесь пока и располагайтесь где-нибудь,— было приказано из-за ковра н пнаннно.

Мнтя снял мокрый от дождя плащншко, робко, чтобы не тронуть хозяйской одежды, прнстронл его на темно-красную стоячую вешалку с завитушкамн, сделал три шага и прнсел на днван, заранее страдая от того, что скоро на темно-красном паркете появятся две маленькне лужнцы грязноватой воднчкн. Натечет с потрепанных башмаков. А как же быть? А как вообще нзбегают людн этих лужиц? Игорь Ольховатскнй сказал категорическн: «Галошн — это архаизм, н ннкто теперь во второй половнне сороковых годов двадцатого столетня нх не носнт». И чтобы он, Митька, не смел надевать галош, идя на свнданне к девушке. Но если все другие порядочные люди не носят галош, значнт, и у ннх под ногамн должны образовываться маленькне грязные лужнцы. Митя, конечно, вытер ногн как следует, но в швах и складках все равно задержалась вода. Теперь она предательскн выступнт н появнтся на паркете.

Вторая задача — деть куда-ннбудь большне красные рукн. Митя взял с днвана вышнтую думочку с васильками, положнл ее на колени и стал гладнть, наподобне кошкн. В это время хозяйка комнаты (точнее сказать, молодая ее хозяйка), как в театре нз-за кулнс, вышла нз-за пианино.

Она сделала вроде бы порывнстый шаг навстречу Дмитрию, н он тоже сделал вроде бы порывнстый шаг навстречу ей, но потом они остановилнсь, поздоровалнсь за руку.

Дмнтрнй опять сел на диван, но уже в сторонке, уступая место Энгельсине, которым та не воспользовалась. Она села на круглый вертящнйся стул лнцом к пианнно н резко, вместе со стулом, повернулась к Дмитрию.

— Ну, рассказывайте.

Что ж рассказывать?! Как будто он зашел, чтобы рассказать о чрезвычайном пронсшествии н уйтн. Не начнешь ни с того нн с сего рассказывать про град, про сенокос, про Сергея Белова. Каждое слово хорошо ложнтся в строку. Надо, чтобы была строка. Дмнтрнй почувствовал, что окаменел и не может сказать двух слов. Все же он сказал, в свою очередь:

— У вас в Москве, наверно, больше новостей. Что

нового на литературных студиях? Или вы там давно не были?

— Как, вы не знаете главных литературных новостей? Чудовище! Сейчас я дам вам газету за двадцатое августа. Внимательно прочитайте, а я пока что-нибудь изображу.— Геля открыла пианино.— Между прочим, поэтический подвальчик закрыли.

В газете было напечатано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Часто упоминались имена Зощенко и Ахматовой. Некоторые рассказы Зощенко Дмитрий хорошо знал, потому что еще до войны, когда разыгрывали какую-нибудь пьеску, Вася Пономарев во время антрактов очень смешно читал эти рассказы, подражая Хенкину. Васины номера вызывали дружный смех самойловской публики. Но если Зощенко оказался клеветником, как о том написано в газете, то что уж тут скажешь. Пусть исправляется. По наивности Дмитрий думал, что если в газете упоминаются Зощенко и Ахматова, значит, только их и должна волновать эта газета.

Что касается Ахматовой, Дмитрий знал наизусть несколько строф, написанных ею. Но теперь ему стыдно было признаться, что он считал Ахматову где-то там, около Блока, Гумилева, Андрея Белого и Бальмонта, в другом мире, в другой эпохе. Но вот, оказывается, она живет в Ленинграде и чуть ли не занимается вредительством.

— Ну, каково? — Геля смотрела на Дмитрия, стараясь увидеть, понял ли тот что-нибудь из прочитанного и что именно понял.

— Да. Здорово их пропесочили.

— А вы не думаете о том, что вам теперь будет гораздо труднее писать стихи?

— Мне? При чем тут я?

— А при том, что...— но ответить Геля не успела. Дверь отворилась, и в комнату вошла тоже высокая и тоже красивая, но уже пожилая женщина — мать Гели, как тотчас догадался Дмитрий. Он вскочил и принял основную стойку, как делал это четыре года подряд, если возникал перед ним генерал или полковник.

Женщина мучительно долго (для Мити мучительно долго) снимала плащ, словно нарочно запуталась в рукаве, никак не могла петлей попасть на рогульку вешалки, а Митя стоял рядом и сознавал, что что-то требова-

лось от него в эту минуту, что допускает он теперь непростительную оплошность, но боялся пошевелиться, чтобы не сделать еще хуже. Повесив наконец плащ, женщина, не взглянув на Дмитрия, как если бы его не было, прошла за ковер и пианино.

Дмитрий не знал, что дело тут вовсе не в его оплошности. В конце концов воспитанный человек, если захочет, может вовсе не заметить промашки. Но полагалось с улицы пройти в свои «внутренние комнаты», привести там себя в порядок, а потом уж (не в уличном же платье!) выйти к гостю. Беда состояла в том, что у Елизаветы Захаровны не было внутренних комнат и не было гостиной, а была одна-единственная комната. Только поэтому пришлось прибегать к такой уловке, как отделение части жизненного пространства при помощи пианино и ковра. Именно поэтому в комнате соседствовали вещи, которым не полагалось бы соседствовать. Так, например, рядом с квадратным обеденным столом, место которому в столовой, стояло зигзагообразное, латинской буквой «S» кресло tête á tête, которому стоять бы где-нибудь в укромном тенистом уголке обширной гостиной; близ книжного шкафа — обязательной принадлежности рабочего кабинета — висело будуарное зеркало. А рабочий стол Елизаветы Захаровны негде было поставить, кроме как в непосредственной близости от кровати.

Через некоторое время Елизавета Захаровна вышла из-за укрытия, приветливо улыбаясь, как будто только сейчас увидела гостя. Она смотрела на него сквозь свою приветливую улыбку слегка прищуренными, настороженными, изучающими глазами и между тем говорила:

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Геля мне рассказывала о вас, но я почему-то представляла вас иначе. Чем же вы собираетесь заниматься?

— Со вчерашнего дня я студент. Попробую немного поучиться.

(Слово «студент» похоже на айсберг. Неизвестно, что скрыто под водой. Нельзя судить по маленькой, выступающей над поверхностью части. Приходит в дом человек, называет свою профессию и должность, и вот уж из одного слова возникает целая характеристика: сержант, а не полковник, помощник мастера смены, а не

директор комбината и тем более не член коллегии министерства, фельдшер, а не профессор медицины, сотрудник многотиражки, а не Шолохов... Тут уж сразу ясны просвещенному обывателю твой масштаб, твое место в жизни, высота твоего полета.

Другое дело — студент. Все еще скрыто под волнами житейского моря. И Менделеев, и Тимирязев, и Козловский — все были студентами. Родственникам и сослуживцам не стыдно признаться, что ухаживает за дочерью не счетовод строительной конторы, а студент. Совсем хорошо, если студент гуманитарного вуза. Не беда, что стипендия пока двести двадцать рублей,— вы студент. Вот окончите институт, устроитесь на работу в заводскую многотиражку, будете получать девятьсот рублей или даже тысячу... Но тут-то и появится ледок и в голосе и в глазах приветливой доселе старшей хозяйки дома — видно сокола по полету...)

Студент гуманитарного вуза Дмитрий Золушкин сидел на диване и смотрел, как на столе перед ним возникает множество разнообразных тарелок. Две тарелки мелких, тарелка глубокая и еще сбоку, слева, совсем маленькая тарелочка, и так перед каждым человеком. Справа от тарелок легли столовая ложка, столовый нож и непонятная тупая вилка, слева — две вилки. Маленькая вилка и маленький ножичек заняли место чуть подальше тарелок, причем полагалось, значит, им лежать поперек.

По солдатской привычке Дмитрий суп ел так: сначала сцеживал всю жижу, а потом уж съедал оставшуюся гущу — казалось сытнее. Теперь он впервые спохватился, что так есть некрасиво, но спохватился поздно. Еще он ел так, что, пока нес ложку от тарелки ко рту, подставлял под ложку кусочек хлебца. Это была даже и не солдатская, а древняя крестьянская привычка, перенятая от отца и дедушки. Из одного блюда хлебает крестьянская семья. Далеко таскать суп через весь стол. Если образуется дорожка на столе из пролитого супа, дедушка стукнет по лбу тяжелой кленовой ложкой или дернет за вихор. Да и жалко ронять на стол жирные суповые капли.

Ложка Дмитрия громыхала по тарелке. В полной тишине, беззвучно, без стуканья, без шумного всхлипывания, ели Энгельсина и Елизавета Захаровна.

Дмитрий чувствовал, что хотя и не смотрят, а наблюдают, хотя и не слушают, но слышат. Оттого и еда показалась тяжелой принудительной работой. Предательские горячие капельки появились на лбу, и он в конце концов решился смахнуть их скомканным, свернутым в плотный комочек носовым платком. Платок был чистый. Можно было бы и не свертывать его в плотный комочек, но неуверенность в себе была теперь сильнее Мити.

Кусочек мясца, поданный вслед за супом, Митя сначала измельчил, изрезал на небольшие кусочки, и опять попал впросак. Геля и Елизавета Захаровна ели постепенно, держа вилку в левой руке, а ножик в правой, ловко нашлепывая гарнир на отрезанный кусочек (Мите левой рукой ни за что бы не донести до рта), ловко навивая на него немножко картофельного пюре, немножко тушеной капустки.

Надо полагать, что промашки легко простились бы Дмитрию, может быть, они даже позабавили слегка, развлекли после трудового дня Елизавету Захаровну. Может быть, ей даже было бы приятно потом следить, как научается этот рыжий медведь держать вилку левой рукой или есть рыбу при помощи двух вилок. Но тут последовала иная, серьезная промашка.

Расставляя чашечки для кофе, Елизавета Захаровна мельком упомянула, что чашечки из севрского фарфора. Наверно, она упомянула об этом для того, чтобы Дмитрий обращался с чашечками поосторожнее. Дмитрий же машинально повернул чашечку вверх дном (никогда не видел севрского фарфора) и прочитал на чашечке синими буквами начертанное: «Дулево». Мало того, что прочитал, еще и поднял вопрошающие глазищи свои на Елизавету Захаровну.

Между тем обед продолжался как ни в чем не бывало. Убрали со стола. Елизавета Захаровна ушла за отгородочку. Геля села к пианино. Дмитрий почувствовал, что ему, в сущности, пора уходить из этого дома. Но никак не могло совместиться в его душе все то, что представлял и вымечтал, все то, что он уже заранее знал о первой встрече своей с Энгельсиной, с тем, что получилось на самом деле.

Лучше бы не приходить сегодня сюда. Лучше бы жить окруженным той светлой сказкой, которая возникла от мимолетных весенних встреч, а потом от писем, от туман-

ных намеков в письмах, которые, возможно, чудились там, где их и не было, или которые, шутя, из шаловливого кокетства, разбрасывала Геля по страницам писем.

В тяжелом молчании шли по коридору. Не покидало ощущение, что почти выдворяют из темно-красного уюта на осенний дождичек. Да еще нужно было заметить, как смотрела Елизавета Захаровна, когда Митя надевал плащ. А плащ он надевал так, что сначала вешал его на голову, а потом уж просовывал руки в рукава.

Но в самых дверях, где было совсем темно, прощаясь, Геля вдруг шепнула Дмитрию:

— Все это ерунда. Приходите завтра днем. Мама будет на работе, и мы поболтаем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В позднем возрасте человеку, резко изменившему свою жизнь, непривычной и удивительной покажется перемена. Не просто решиться на нее, нелегко привыкнуть к новизне, и уж, во всяком случае, будет представляться резкая перемена либо ошибкой, либо подвигом.

В молодости все кажется просто и естественно, все получается само собой и разумеется само собой же.

Дмитрия поселили в общежитие, и был он в комнате шестнадцатым жильцом. Это немного приближалось к казарме, из которой он недавно ушел, но была ведь и существенная разница.

Общежитие помещалось в полуподвале того же дома, что и сам институт. Предусмотрительная администрация устроила так, чтобы звонок, зовущий на лекции, оглушительно дребезжал не только там, наверху, в учебных коридорах, но и внизу.

Дмитрию звонок был не нужен. По солдатской привычке он просыпался рано и вставал за два часа до лекций. Садик перед домом был очень удобен для утренней гимнастики, иначе пришлось бы бегать по тротуару, лавируя между прохожими. И хотя ко всему привыкла Москва и ничем ее не удивишь, все же парень, бегающий без рубахи, заметно выделялся бы из толпы деловитых, поднявших от зябкого дождичка воротники москвичей. И без того перед решеткой сада, как перед вольером в зверинце, собирались любопытные зеваки, особенно

позже, в декабре, когда резвиться приходилось во время медленных бархатных снегопадов.

От тела, растираемого снегом, шел парок. Так с парком и вбегал Митя в душную после ночи, продышанную шестнадцатью человеками, застарело-прокуренную комнату. Иные его сотоварищи уже начинали вставать, а иные нежились под ветхими казенными одеялишками.

Тот самый Матвей, который входил, бывало, в подвальчик литобъединения как бы под звон литавр, оказался теперь соседом Дмитрия по койке. Матвей-то и спал дольше всех. Обыкновенно по его сонному, неумытому лицу (небрито оно еще с прошлой недели) бродило выражение душевной муки, острой внутренней распри, борения с самим собой, заблаговременных угрызений совести.

Остальные сновали мимо Матвея то в умывальник, то за кипятком. Все быстрей и быстрей становилось снование: приближалось время звонка. Сидя на койках возле тумбочки (стол завален черновиками, книгами, окурками, пеплом, крошками табака), пили чай с тонкими ломтиками хлеба, намазанными комбижиром.

Еще и та у Матвея причина не вылезать из-под одеяла, что свой хлеб по карточкам он выкупал и съедал на четыре дня вперед.

С приближением девяти часов борение достигало душераздирающей силы. Матвей был совсем готов встать, как вдруг раздавался звонок. Лицо просветлялось. Мучительная гримаса разглаживалась. «Теперь все равно опоздал»,— обрадованно говорил Матвей и с головой укрывался одеялом, погружаясь, может быть, в сон, может, в новые поэтические замыслы.

Поэтические замыслы воплощались ночью. Почти на каждого желающего творить доставалось по отдельной аудитории. Тихо в коридорах института, полутемно. Ковровые дорожки скрадывают шум от шагов. Пусто в аудиториях. Не нужно бежать каждый раз, когда снизойдет вдохновение, куда-нибудь на берега пустынных вод или в широкошумные дубравы — достаточно выбрать себе аудиторию, закрыться изнутри, задвинув в дверную ручку ножку казенного клеенчатого стула.

Вскоре зыбкие горизонты дыма начнут колебаться над праздными учебными столами. Поэт то посидит за своим столом, где разложены у него бумаги, то походит

между столами, то распахнет окно в осеннюю московскую ночь и, прислонившись к косяку, замрет, слушая вздохи и шорохи, конвульсивное, лихорадочное биение пульса большого ночного города.

Прозаики, те уживчивей. Те могут работать и двое и трое в одной аудитории. У них и характер совсем другой, и поведение, и разговор, кажется, даже самый склад ума — все другое, непохожее на поэтов.

Стоит сойтись трем поэтам, как тут же образуется тесный кружок, тотчас отходят они в сторону, в самый темный угол. Немедленно один из них берет другого за лацканы и начинает читать стихи. Чтение прерывается короткими возгласами слушателей: «Гениально! Хрестоматийные стихи! Настоящая поэзия!»

Не то у прозаиков. Спокойно рассядутся, закурят, потолкуют о том о сем и постепенно начнут выдавать друг другу «детальки». На детальках держится обыкновенно весь их разговор, весь их прозаический интерес, все их прозаическое существование.

— А вот деталь,— заранее предвкушая наслаждение слушателей, изрекает один прозаик: — убитый лежит, к губе прилип окурок. И еще дымится.

— Потрясающе. Вся война в одной этой детали.

— А то еще кошка. Старушка пошла в кино и сначала смотрела спокойно. Вдруг на экране — кошка. Тут она сразу вспомнила, что забыла покрыть сметану, и уж ей кино не кино. Так и ушла, не доглядела.

— Л... любопытная деталька. Психология.

— А у кого это я встречал: командир смотрит на часы, чтобы подать сигнал к наступлению, а часики у него дамские.

— Надуманно.

— Так ведь Толстой еще сказал, что можно выдумать все, нельзя выдумывать только психологию.

— А кто помнит сон, Горький Толстому рассказывал?

— Ну как же... Поле, снег, а по полю шагают валенки, одни валенки, без человека. Жуть!

— Надуманно.

— Так ведь Горький.

— Ну и что? У Горького половина надуманного. Самоубийством Илья кончает. Разбежался, как баран, и головой в каменную стену. Не может быть, не верю.

Тут уж кончался разговор о детальках, находились

рьяные заступники покойного писателя, и разгорался спор.

Днем иа лекциях пригоршиями черпали знаиия. То вбегал в аудиторию шустрый седенький старичок и иачииал рассказывать про древнюю Трою. Имеино этот профессор заплакал одиажды на экзамеиах, когда студеит ие ответил, что изображеио иа щите Ахиллеса.

То грузиый старик фольклорист бросал иа кафедру свою клюку и, прихлопиув ее сверху засалениой фетровой шляпой, иачииал рассказывать про скоморохов. В середине лекции ои вдруг, очиувшись, спрашивал: «Голубки́, а где я, в педагогическом?» Ему говорили, что не в педагогическом. «Ну, тогда хорошо»,— и сиова продолжал про скоморохов. Этот не плакал иа экзамеиах, ио заключал:

— Что ж, голубо́к, ие знаешь ни уха ни рыла. Больше четверки я тебе поставить ие могу. Хочешь обижайся, хочешь иет.

Правда, жило предаиие, что одии студеит ухитрился получить у фольклориста тройку, ио про это уж и рассказывали как про иебывалый случай.

Изящный, с блестящими манерами, профессор-языковед учил, как ассимилируются звуки, как оии выпадают, оказываясь в слабой позиции, как оии чередуются. Тут добирались до самых корней слов, до изначальиой таииствеииой сути их, обнажая их сердцевину, освобождая их от шелухи всевозможных суффиксов и флексий.

На экзамеиах лиигвист был суров. Можно было вызубрить его предмет и получить двойку. Профессор любил, чтобы работала голова. Опять же, как легеиду, передавали, что однажды студеиты столпились у дверей экзаменациоииой комнаты и никто ие хотел заходить первым. Подождав пять мииут, профессор появился иа пороге:

— Ну что же вы? Кто же самый храбрый? Тому, кто зайдет первым, обещаю повысить оцеику иа одии балл против заслуженной.

Тогда выступил вперед застеичивый юиоша:

— Я первый. Поставьте мие тройку.

После лекций пытались пообедать. В общежитии появился еще один моряк, которого все на другой деиь стали трогательио иазывать Ваиечкой. После иеуютиого, растрепаииого, колючего, составлеииого из одних только крайиостей Игоря Ольховатского Митю потянуло к спокойиому, ровному Ванечке, и они сдружились. Свои

карточки на крупу, комбижир, хлеб, скудный сахаришко и прочие продуктишки они сложили вместе, и Ванечка (вам, поэтам, доверять нельзя!) хранил их.

После лекций начинался у Мити с Ванечкой ответственный и, может быть, даже ярчайший период дня — процесс изготовления похлебки. Это было священнодействие. Жгли главным образом разбросанные всюду черновики Матвея да кое-какие щепочки, подобранные на улице. Ванечка, правда, был так искусен поддерживать именно самый экономный огонь, что брался сварить похлебку на одном карандаше, если исщепать его помельче. Щепочку за щепочкой подкладывали друзья под кастрюлю.

— А теперь экстативный толчок,— энергично командовал Ванечка.

Тут-то и подбрасывались черновики. Обильный огонь охватывал кастрюлю со всех сторон, и она закипала.

— Ну что же? — говорил спокойно Ванечка.— Я считаю, операция проведена блестяще. А ты, конечно, после похлебки отправишься к товарищу?

Так всегда теперь трунил Ванечка над своим другом.

— Ты куда? — спросил он однажды у Дмитрия.

— К... одному товарищу.

С тех пор и пошло. Митя краснел, улыбался, но и правда сразу же после похлебки надолго исчезал из общежития.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Геля пыталась объяснить просто и вразумительно:

— Вы не смущайтесь. Скорее всего вам сегодня будет скучно. То есть вы, наверно, не все поймете. И нечего обижаться. Это все равно что... Ну как бы вам растолковать?..

Геля старалась вспомнить, что́ может быть понятнее и ближе Дмитрию, с чем можно было бы сравнить симфонию. И решила остановиться на лесе. Уж лес-то этому медведю должен быть знаком.

— Понимаете? Симфония — это как лес. Когда человек ни разу не видел леса, ну, например, из степей или из пустыни, он увидит только бессмысленные скопления мохнатых деревьев, чащобу, переплетение сучьев, буреломом и может не понять, не почувствовать его красоты.

Если же человек любит лес и ходит в него почти каж-

дый день, для него это не просто деревья, но каждое дерево он знает в отдельности и чуть ли не в лицо. Каждая тропинка, каждая поляна ему хорошо известны. Но дело в том, что все равно, как я понимаю, этот влюбленный в лес человек в своих знакомых деревьях, сочетаниях их, полянах и тропинках будет находить что-нибудь новое. Во-первых, меняется немножко и сам лес, во-вторых — настроение. В-третьих, ни леса, ни музыки нельзя исчерпать до дна. Человек, который приходит в лес как к самому себе, может не тратить сил на узнавание леса, на привыкание к нему, на постижение его красоты. Он ее уже постиг. И теперь следит за оттенками, за нюансами, за тем новым, что появилось и в самом лесе, и в восприятии его человеком. Тут уж важны подробности. От подробностей-то и происходит главная радость.

Ну вот, я совсем заговорила вас и, наверно, все без толку, потому что и двадцать лекций не научат слушать музыку. Это вы сами. Потом. Все будете сидеть, скучать, считать оркестрантов или трубы органа, думать о чем-нибудь своем... Неверно, что, слушая музыку, каждый должен представить себе что-нибудь конкретное: какую-нибудь картину, пейзаж, событие, переживание. Музыке нужно отдаваться целиком, безраздумно и безрассудно. Она не для мозга в отдельности, не для человеческого воображения в отдельности, но для всего. Ей нужно отдаться безраздельно и безрассудно, как если бы вы были невесомой пушинкой и вас подхватил сильный прозрачный ветер. Он будет кружить вас и носить как захочет, и сладко будет подчиняться ему в головокружительном полете, на головокружительной высоте. Но, конечно, когда-нибудь он мягко положит вас на землю, и это тоже будет прекрасно, потому что наступит покой, а каждая ваша клеточка будет все еще лететь, лететь, лететь. Может быть, именно тогда у людей появляются слезы, а не в самой высокой точке полета. Там захватывает дух и кружится голова, а слезы уж на земле, когда полет окончен.

И вот вы все будете думать о своем и считать оркестрантов и вдруг в один прекрасный момент странно услышите, что вас подхватил ветер и понес, и далеко внизу, как в перевернутом бинокле, остался крохотный орган, крохотный оркестрик, дирижер-лилипутик. А потом и это все расплывется, и останется одна стихия. Я уверена, когда-нибудь это к вам придет.

Прежде всего Дмитрий удивился, что у входа в консерваторию стояли люди и спрашивали лишний билетик. Перед кино — понятно: новый фильм, все говорят, каждому хочется посмотреть. Дмитрий поймал себя на мысли, насколько он был бы счастливее, насколько больше получил бы удовольствия, насколько больше был бы в своей тарелке, если бы они шли теперь в кино.

Понятно, почему не бывает билетов в кино. А здесь — Шестая симфония, Первый концерт... Не может быть, чтобы все были такие же новички, как и он. Наверно, слышали по сто раз. В конце концов, можно купить пластинку и слушать дома.

Подъехала черная блестящая машина. Она остановилась у самого порога. Из машины вышла женщина в одном платье (несмотря на холодную осеннюю погоду) и быстро прошла в двери. Дмитрий не успел даже схватить целого. Осталось лишь несколько подробностей. Черный бархат, мех на плечах, белизна шеи, что-то сверкающее в ушах и в вырезе платья. Когда машина двинулась, на радиаторе у нее, расправленный ветерком, обозначился разноцветный флажок.

— Постоим, интересно,— предложила Геля.

Подходили все больше такси, из которых торопливо выпрыгивали в демисезонах тоже красивые, но все-таки боящиеся опоздать и оттого суетливые женщины.

Опять подъехала машина с флажком. Среди осеннего московского вечера, привыкшего к черным и серым краскам, на темном асфальте, среди людей, одетых в однотонные одежды, появилось заморское диво. Дмитрий пропустил момент и не мог представить теперь, что эта женщина выходила из машины, нагибаясь, испытывая неудобства. Она как-то неожиданно возникла в толпе, уже сразу прямая. Тяжелые, ослепительно черные волосы струились назад на плечи. Завернутая в лиловую ткань, с ярким красным кружочком на лбу, со сдерживаемой улыбкой на губах, с бархатной темнотой в разрезах глаз, женщина походкой богини прошла сквозь расступившуюся суету и только легкий звон браслетов оставила на дождливой осенней улице.

Дмитрий перевел взгляд на Гелю, представив себе ее одетой тоже либо в темный бархат, либо в эту яркую лиловую ткань, и увидел, что Геля красивее обеих только что прошедших женщин. Но зачем-то эти нелепые острые

плечики у пальто. Говорят, их называют протезами, эти острые плечики. Называют, а все-таки носят. Из-за них пальто вздернуто кверху. И Геля, сама по себе высокая девушка, кажется сутуловатой.

Но тут Дмитрий поглядел на свои башмаки, представил себя со стороны в поношенном, с братнего плеча пальто, и Геля, в свою очередь, показалась ему нарядно одетой.

В большом вестибюле, где все раздевались, было ярче. Под серыми и черными пальто у женщин и девушек оказывались нарядные платья. Ощущение праздника, возникшее при виде сказочной индианки, не покидало Дмитрия.

Геля была как дома. Ее не смущало, что Дмитрий, вместо того чтобы свободно и непринужденно подниматься с ней по парадной лестнице, то и дело вертел головой, оборачивался назад, разглядывал публику.

Геля тотчас потащила Дмитрия наверх, к портрету Листа. Они постояли там около седого человека с профилем орла, готового одним движением руки не то посеять бурю, не то укротить ее. Потом пошли в буфет. Дмитрий знал уж пристрастие Гели, и шоколадные трюфели были куплены немедленно. Потом они походили по фойе.

К этому времени публика успела образовать этакое круговое течение, все шли группами, кто с кем пришел, в одну сторону, потом поворачивали в конце коридора. Дмитрий взял Гелю под руку. До сих пор брать ее под руку приходилось только, когда она бывала в пальто. Теперь, сквозь тонюсенькую ткань рукава, Дмитрий услышал Гелино тепло и Гелину силу. От неожиданности он чуть было не отдернул руку, но Геля поощрила Дмитрия, легко, почти неуловимо прижав его руку к себе, и он уж ни о чем не думал больше, как только о своей этой руке, пока громкий длинный звонок не пригласил их занимать кресла.

Тут главенствовало ощущение доброго теплого золота или даже скорее мягкой золотистости. Все рассаживались. Многие здоровались друг с другом. Кивали друг другу издалека. С Гелей тоже поздоровались. Сначала один парень, потом через некоторое время другой. Геля радостно улыбнулась им и радостно помахала рукой.

— Кто такие?

В первый раз Геля посмотрела на Дмитрия удивленно и даже неприязненно. Но в ответ не сгрубила: «А тебе, мол, какое дело?» — ответила вежливо:

— У меня, Митя, много друзей. Если ты хочешь бывать у меня, тебе придется видеть их тоже. И слушать. И, может быть, в конце концов тебе это даже понравится. Конечно, если ты один (Митя даже не сообразил, что она неожиданно перешла на «ты») знаешь больше, чем все они, и сможешь один быть интереснее, чем все они, то, конечно... Я, например, пишу работу о Лессинге. Иногда мне нужно поговорить о нем, поспорить, посоветоваться.

«Пресечь! — подумал Митька Золушкин.— Знаем мы этих Лессингов. Тебе-то, может, и правда Лессинг нужен, а им...» Ответить же ничего не ответил. Во-первых, не нашелся, во-вторых, начиналась музыка.

Геля торопливо шептала последние напутствия:

— В симфонии борьба двух начал — света и тьмы, добра и зла. Следи. Есть тема мрака, смерти, и есть тема жизни, победы. Ты увидишь. В этой симфонии побеждает мрак. В концерте же только солнце, только радость, только победа. Это самая радостная, самая солнечная вещь во всей мировой музыке. Следи! (Как будто отходит поезд, и надо все успеть высказать.) Следи! (Как будто уж тронулся поезд.) Следи...

В это время ударили все струны, и два человека, сидящие рядом, оказались отброшенными друг от друга на тысячу километров.

Музыку слушают в одиночку. Это правда. Дмитрий откинулся поудобнее и решил попытаться слушать. Он вслушивался напряженно и добросовестно, стараясь услышать, уловить, выделить каждый звук, и чем больше он старался, тем бесформеннее, хаотичнее, беспорядочнее мельтешили, путались, цеплялись друг за друга, стукались друг о друга, кипели, как в котле, завихрялись, крутились и все-таки рассыпались каждый по одному бесчисленные звуки.

Дмитрию казалось, что больше всего мешает свет. Если бы выключили все люстры (ишь ты, подрагивают от музыки) и стало бы совсем темно, то, может быть, было бы легче вслушаться. Некоторые рукой заслонили глаза и слушают. Некоторые крепко зажмурили глаза.

Геля слушает, открыв свои глаза, но, конечно, не видит

ничего перед собой. Вот она капризио, иедовольно дериула плечом и головой — что-то ей мешает. Может быть, не иужио на нее смотреть. Вот опять поморщилась, как от боли, как от досады, как если бы иад ухом пищал комар. Что же такое ей мешает? Фальшивит какой-иибудь музыкаит? Этого, коиечио, ни за что ие мог бы услышать Дмитрий. Но все-таки он прислушался еще раз. Музыка, музыка, и вдруг... Дзиль-дзинь, диль-звеиь, дииь-звеиь. Что-то позваиивает сзади, будто считают металлические деиьги. Дииь-звеиь, дииь-звеиь. Опять поморщилась Геля. Огляиувшись, Дмитрий увидел, что позваиивают многочислеииые медали у майора, сидящего через одии ряд. Он мигиул майору, показал глазами иа грудь. Звякаиье прекратилось.

После этого рыцарского поступка Дмитрий уж не пытался виикиуть в лад симфонии. Пророчество Гели исполиилось: он начал считать трубы у оргаиа.

Превращеиия в пушиику не происходило. Ветер музыки ие мог ие то что подхватить, ио и поколебать этого увереино сидящего в кресле человека. А Геля, неужели оиа сейчас летает? Выдумала, должио быть, все. Геля, ие оборачиваясь, нетерпеливо дотроиулась до руки Дмитрия: «Не мешай! Не смотри так пристально! Слушай! Следи!»

Дмитрий опять попытался следить. Вот уж и правда бурелом звуков. Ничего. Полезем напропалую. Это вот вроде скрипки. Это вот как будто виолончель... Нет, снова все спуталось, нельзя ничего поиять.

Тут ои решил смотреть только иа дирижера и на его руки. Это оказалось интересиее, чем считать трубы у оргаиа. Если забыть, что перед дирижером сидят оркестраиты, то даже можио принять его за волшебиика. Махиет палочкой — появляются иужиые звуки. Махнет еще раз — звуки прячутся, исчезают, а иа их месте воиикают другие. Вот дерзким движением руки ои поднимает звуки, вырывает из безмолвия, и они взвиваются, как радостный фоитан светлой воды, а вверху рассыпаются иа мелкие звонкие брызги.

Музыка постепенио нарастала. Все больше звуков выпускал из небытия в этот золотистый мир человек в длинном фраке. Ои перебрасывал их с места иа место, заставлял то вздыбливаться, как дикую арабскую лошадь, то замирать и ластиться, подобио ручной паитере, то вкрад-

чиво ползти, как полз бы тигр, приготовившийся к прыжку.

На мгновение Дмитрий подумал: «А что, если дирижер, вызвав бурю звуков, вдруг не справится с бурей и она сомнет его, растреплет, бросит наземь распластанного и побежденного, как это сделала бы всякая буря?»

Наверно, потому так подумалось Дмитрию, что буря близилась, нарастала. В действие включались все новые и новые силы. Они были неведомы и непонятны Дмитрию. Но он ощущал их близость, их возможность разнести все вокруг: и этих оркестрантов, и этого человека с нелепой палочкой, и эти ряды золотистых кресел, и самый мрамор стен.

Но изящная палочка делала свое дело. Буря ложилась в колею. Опять все рассыпалось для Дмитрия на только скрипки, на только трубы, на только флейты. Оказывается, длинная история эта симфония. Сидишь, сидишь... Вот дирижер поднял обе руки и потрясает ими. Наверно, конец. Несколько раз дружно сотрясли воздух все, какие только есть, инструменты. Да. Это конец. В общем-то слава богу! Дмитрий осмелился теперь посмотреть на Гелю. Девушка обратила к нему лицо. В огромных, расширенных глазах ее блестят слезы. Дмитрий рад. Сейчас она опять будет рядом с ним, на земле, а не витать где-то в своей музыке за тысячу километров. Опять можно будет взять ее под руку и смотреть на нее сколько хочешь. Ну, конечно, она уж на земле.

— Хорошо, что ты вовремя сказал этому майору. Его медали звенели ужасно. Хочешь трюфель?

— Я не люблю сладкого.

— Чудовище — вот ты кто! Как можно не любить конфеты?

ГЛАВА ПЯТАЯ

(Было бы невозможно уследить нам за каждым днем, за каждым шагом Мити Золушкина. Было бы скучно каждую новую историю о нем начинать словами: «Прошло полгода...», или: «Вот уж наш герой на втором — или на третьем? — курсе...», или просто написать: «А между тем время шло».

Время, конечно, шло. Оно не спрашивает у нас, идти ему или не идти. Нам кажется иногда, что мы то стано-

вимся поперек незримого его, устойчивого течения, то вроде бы даже опережаем, забегая вперед,— наиболее странное заблуждение,— то как бы даже подгоняем его плеткой, пришпориваем, крича что-нибудь вроде «время, вперед!», и вот уж нам кажется, что оно послушалось нашей плетки и нашего крика.

Жил у Золушкина в деревне один записной чудак по прозванию «Филосо́ф». Тот, бывало, все ходил по деревне и убеждал тетку Пелагею Квашнину, дядю Симеона Зорина, другого ли встречного-поперечного, что он-де в философии своей «над временем превзошел», что время у него сидит в тюрьме и подчиняется ему по секундам и минутам. Причем показывал свои наручные часы образца тридцатых годов. Точно, в те годы выпускали часы с решетками, была такая модель. Ну, все и думали, что он намекает на решетку. А он между тем по-своему, по-философски, думал, что на самом деле «над временем превзошел» и что, как человек с часами, поймал время в железную западню, пригвоздил его остренькими стрелками. Утекло время сквозь его никелированную решетку, как сквозь пальцы вода. Давным-давно нет на свете ни мудрствующего Филосо́фа, ни часов с решеткой.

А может быть, есть все-таки своя «сермяга» в том, чтобы перед какой-нибудь новой историей написать мудрейшую фразу: «А между тем время шло».)

Жизнь поворачивалась вдруг такими своими гранями, приоткидывала такие занавесочки... Впрочем, нет, нет. Не то чтобы занавесочки, хотя и это тоже. Все, чему учила теперь жизнь, было тут же, под руками (может, лучше сказать — под глазами). Нужно было увидеть. Бывают такие загадочные картинки: нарисованы деревья, и спрашивается, где охотник, собака и белка. Сначала ни за что не найдешь. Оказывается, и охотник, и собака, и белка разбросаны по ветвям. Они нарисованы теми же линиями, что образуют ветви дерева. Или корни. Но как только найдешь и разглядишь, невозможно уж вернуться к тому изначальному и, может быть, блаженному состоянию, когда открытие предстояло. Теперь, как ни старайся обманывать самого себя, как ни взглядывай на дерево таким образом, чтобы фигурки спутались с ветвями и потерялись среди них, ничего не выйдет. Вот они: охотник, собака и белка.

У Мити Золушкина было запланировано на вечер важное дело.

На семинаре по советской литературе распределяли между студентами-второкурсниками темы докладов. А как раз за два дня до этого, перед лекциями, Игорь Ольховатский подошел к Дмитрию:

— Ты еще пишешь стихи?

— А как же! Надо.

— Я бросаю. Нет. Я уж бросил. Зачем? Лучше этого все равно не напишешь,— и протянул Дмитрию серенький сборничек.— Нет, я уж все, конец. После этого какие могут быть стихи!

Столь решительное заявление Игоря не помешало ему, правда, на первой же лекции одновременно писать стихи, читать книгу, разговаривать с соседом и бросать реплики профессору. Профессор говорил о взглядах Маяковского на собственную частушку: «Цель частушки — разгром Юденича. Орудие производства — огрызок карандаша». Игорь бросил внятно и четко:

— Бравада!

— Не бравада, а глубокое понимание своей творческой задачи.

— Бравада,— упрямо повторил Игорь.

Дмитрий в это время читал серый сборничек.

Задорные, молодые, яркие стихи о рабочих парнях с заводских окраин, о городском дожде, о городской весне, о любви рабочих парней показались Дмитрию крепкими и сочными. Были тут и стихи о матери. Не одно — несколько. И как-то так получалось, что образ матери-земли, образ матери-Родины и матери просто матери, женщины, соединились в одно, намертво спаянные любовью поэта и к одной, и ко второй, и к третьей. Так что, когда на семинаре по советской литературе дошла очередь до Золушкина, он сказал, что хотел бы сделать доклад о стихах Михаила Ярославцева, а если формулировать тему точнее: «Образ матери в стихах Ярославцева».

Профессор как-то странно улыбнулся и несколько секунд размышлял:

— Имейте в виду. У вас будет недостаточно материала. Стихи Ярославцева вот уж восемь лет не появляются в печати. Но в принципе... в принципе попробуйте. Считаю возможным.

На перемене Митя подошел к Игорю:

— Как ты думаешь, почему профессор замялся?

— Ты что, с луны свалился? Ярославцев восьмой год сидит в тюрьме.

— А как же мне быть?

— Если бы ты спросил у меня часом раньше, я бы посоветовал не браться. Теперь отступать нельзя. Отступишь раз, другой — превратишься в тряпку. Человек состоит из поступков, а не из того, что сам он об этих поступках думает.

Дмитрий еще раз тщательно прочитал сборник. В библиотеке целый день копался в довоенных журналах, выискивая в них стихи Ярославцева. А потом ему пришла в голову мысль найти родных поэта. Ну, там мать или жену. Побывать в квартире. Может быть, это добавит штришок-другой к задуманному докладу. Кроме того, только там можно достать еще какой-нибудь сборник поэта — в библиотеке не было.

На задворках Арбата, в переулочке Дмитрий отыскал нужный дом. Это был дом, каких немало еще в Москве. Но именно на задворках больших, оживленных улиц или внутри глубоких дворов.

Одноэтажный, десять больших высоких окон по улице, с мезонином в три окна, дом этот, возможно, принадлежал раньше одной семье. Какой-нибудь там вдове полковника или генерала. Если не сдавала вдова меблированных комнат, пустовато, наверно, казалось в комнатах с высоченными потолками, с изразцовыми печками по углам. Поскрипывающие дощатые полы, немного книг, старенькое пианино, темно-золотистые московские образа, узенькая скрипучая лесенка в мезонин.

Теперь за каждым окном — семья. Свой муж, свои постирушки, своя теснота, своя зарплата, своя радиоточка, свой звонок у входной двери (звонить четыре раза), свой почтовый ящик. Вот только кухня с умывальником общая. Но и там каждый знает свой столик, свою керосинку, свой обмылочек над эмалированной умывальной раковиной. Впрочем, мыло жильцы предпочитают уносить каждый в свою комнату.

В коридоре пахло керосином и пережаренным рыбьим жиром. Женщина в кое-как запахнутом цветастом халате показала, куда Дмитрию идти: прямо по коридору, а потом — дверь налево. На коридорной стене Митя заметил

общий телефон. Стена вокруг него в радиусе на полметра была исписана карандашом — номера телефонов.

Пока шел коридором, еще две женщины попались навстречу. Они посмотрели на Дмитрия с плохо скрываемой неприязнью. Он на всякий случай сказал им: «Здравствуйте!», но ответа не получил.

«Почему? — думал Дмитрий.— Я не сделал им ничего плохого. Почему бы им не улыбнуться незнакомому человеку, не поздороваться с ним, не спросить для приличия (о, хотя бы для приличия!), идет ли на улице дождь, не переспросить, кого именно я ищу, не показать мне нужную дверь? И я бы тоже улыбнулся им, и всем было бы хорошо. Ведь именно так и должны жить люди».

За дверьми оказалась просторная комната. Наверно, раньше это была главная комната в доме, и называлась она, вероятно, «зала». А потом уж была предоставлена по ордеру молодому советскому поэту.

На диване, покрытом старым, полувытершимся ковром, сидела маленькая седая старушка с добрым печальным лицом. Она протянула Дмитрию белую полупрозрачную руку с резко обозначенными жесткими суставами пальцев, и Дмитрий бережно подержал ее в своей. Пожать такую руку было уж невозможно. А поцеловать... Ни в самойловской школе, ни позднее, в солдатах, не надоумили Дмитрия, что иногда нужно поцеловать руку женщины.

— Что же вы делаете одна в этой комнате? — спросил Дмитрий, когда рассказал, зачем пришел, и вообще немного поговорили.

— Жду,— ответила старушка.— Делать мне больше нечего. Либо он придет, либо я уйду. Одно из этого должно случиться.

На большом письменном столе ничего не тронуто, все как при хозяине. Чистая бумага, книга, папиросы «Норд», фотография Ленина, несколько стальных болванок, фигурно обточенных на токарном станке, расколотый бильярдный шар.

На стене против стола портрет маслом. Немного упрямое, немного обиженное лицо сутуловатого человека лет двадцати пяти. Волосы, небрежно брошенные набок, упали, закрывая половину лба.

Дмитрий не сумел разговориться по душам с утомленной, жестоко обиженной матерью поэта, потому что мало

знал об ее сыне, а она, может, и разговорилась бы, если бы Дмитрий побольше спрашивал. Показала она тот же самый серенький сборник, который у Дмитрия уже был.

Можно было бы считать вовсе бесполезным посещение ярославцевской квартиры, но Дмитрий, оглянувшись на особнячок, был доволен. Маленькая загадочная картинка: идешь мимо — окна, желтая краска поверх штукатурки. Целый день ходишь мимо таких домов. Но тонкая стена отделяет, оказывается, от снующих по тротуару огромное горе, прозрачные печальные руки, для которых нет другой цели на земле, как только коснуться блеклых сыновних волос, поправить прядь на лбу. Дрожащими пальцами ощупать лоб, виски и все прильнувшее к материнскому плечу лицо сына.

Геле он говорил:

— Ну, хорошо, допустим, что рассказал анекдот. Хотя и этого никто в точности не знает. Допустим, что рассказал. Но ведь до этого он говорил с народом, с тысячами людей. Я читал его стихи в журналах, в газетах, в сборнике. Тысячи людей он убеждал, что жизнь прекрасна, что труд на благо Родины прекрасен. У него есть стихи с ненавистью к мещанству, к пошлости. Им он противопоставляет комсомольскую молодость. Каждым стихотворением он агитирует за советскую власть. А что ж анекдот? Анекдот — это юмор, взятый напрокат. Можно было положить на весы этот паршивый анекдот и его светлые песни. Неужели чашка с анекдотом перетянула бы, если бы в нее не ткнули несгибаемым железным пальцем? Тогда-то она, конечно, пошла вниз...

Геля пригубливала черно-красное вино, налитое в старинный темно-красный хрусталь на высокой ножке. Она смотрела на Дмитрия поверх хрусталя, не отвечая на его излияния.

Этому разговору наедине, в темно-красной Гелиной комнате, за темно-красным сладким душистым вином, предшествовала неожиданная встреча на улице. Геля ехала в троллейбусе, а Дмитрий только что вышел из переулочка на Арбат. Он в задумчивости не заметил Гелю в окне троллейбуса, но она сама увидела его. Троллейбус тут едва двигался через перекресточек. Геля застучала монетой о стекло и достучалась до Митиного сознания. Митя встрепенулся, бросился за троллейбусом. Миропо-

нимание студента позволяло ему вскочить на задок и прокатиться двести шагов до остановки. Геля вышла:

— Зайдем. Тут есть интересное место. Я люблю иногда там бывать.

Дело шло к закрытию. Народу было мало. Как в картинной галерее, Митя и Геля ходили по магазину и разглядывали картины. Разница с музеем была та, что здесь на каждой картине значилась цена — можно было купить. Айвазовский — двенадцать тысяч рублей; Клевер — закат в зимнем лесу — четыре тысячи, Альберт Бенуа — синее море и каменная набережная, белая под полдневным солнцем... Тень от лаврового деревца собралась в комочек возле ствола, растущего из белого камня,— шестьсот рублей.

Еще и та разница с музеем, что выставлено не по школам, не по векам. Все перемешано здесь — времена, события, судьбы, вкусы... Интереснее, чем в музее.

Старинный фарфор — собаки, маленькие пастушки, танцовщицы, чашки, тарелки, блюдечки...

Женские украшения: бусы, брошки, медальоны, серьги, колечки, пряжки. Янтарь, яшма, гранаты, бирюза, сердолики, топазы, венецианское стекло...

Скульптура. Наполеон. Данте. Лошади и китайские божки. Мужчины, дерущиеся на шпагах. Женские бюсты и подсвечники. Орел, сидящий над чернильницей. Лебедь, обнимающий Леду... Бронза, дерево, слоновая кость, мрамор...

Уже не за прилавками, а прямо в магазине там и сям расставлена старинная мебель. Конторки, столики, инкрустированные перламутром, художественный секретер, резной буфет. Причудливые канделябры, люстры, подсвечники...

Геля подолгу разглядывала каждую безделушку.

— Нет, ты представь себе. Мы сейчас на берегу океана. Ты же знаешь, что была Атлантида. Таинственная великая цивилизация. Своя архитектура, своя живопись, свой уклад жизни, свой быт... Вдруг вселенская катастрофа. Землетрясение. Материк погружается в море. Теперь мы ничего не знаем, как было там, в стране Атлантиде, какие жили люди, что им нравилось.

Но, говорят, иногда океан выплескивает на берег таинственные, загадочные вещи. Однажды нашли на песке золотую царскую корону...

Дмитрий понял ее аналогию. Существует реальность сороковых годов. Жактовские коммунальные квартиры, обставленные современной мебелью. В них живут современные люди, занимающиеся современными делами: тот работает на заводе в конструкторском бюро, та поет на эстраде, тот бухгалтер, та библиотекарь, те сотрудники Моссовета. Мало ли должностей в Москве! Ходят друг к другу в гости, в кино, иногда в театр, все больше в хлопотах по магазинам.

На все заведен свой порядок. Конечно, по-разному накрываются праздничные столы. Но все же есть и общее у всех столов: не скажешь, что это стол середины восемнадцатого века. Свой порядок в гостях, в кинотеатрах, в ресторанах, институтах, троллейбусах, в детских садах, в универсальных магазинах.

Но еще не успели состариться те люди, которые видели, как огненные, железные волны истории поглотили целый особый мир, называемый старой Россией. Свой уклад жизни, свой быт с церквами, с извозчиками, с цыганами, с пышными балами, с церемонными визитами, с сельскими ярмарками, со своими украшениями, со своей мебелью, со своими нравами, привычками, пристрастиями, вкусами, идеями, в конце концов. Что и говорить: особая цивилизация, вероятно, не менее своеобразная, чем в легендарной (не мифической ли?) Атлантиде.

И вот, если стоять на берегу, выплескиваются из поглощенных глубин некие таинственные знаки — приметы жизни, незнакомой и странной.

— Вот с этим подсвечником в руке Арбенин шел к Нине по неосвещенной анфиладе комнат,— фантазировала между тем Геля.— Этим черепаховым ножом (рукоятка в виде орлиной когтистой лапы, сжимающей черный костяной шарик) разрезали новые книги Евгений Онегин или Пьер Безухов. А эти овальные медальоны! Смотри, на них гусары, красавицы с обнаженными плечами, чьи-то женихи, невесты, дочери, кузены, тетушки, мама́ и папа́. Те, кто носил эти медальоны, наверно, дорожили ими, считали святынями, талисманами, семейными реликвиями. Теперь лежат они под нашими любопытными, но все равно равнодушными взглядами, под взглядами покупателей из нового мира. Я странная, правда, да? Вместо того чтобы толкаться в очереди за чулками, хожу в этот магазин, на этот... берег. Хочешь, пойдем ко мне? Мама

опять в командировке. Только давай купим бутылку вниа н вон тот подсвечник. Нет, нет. Давай так. Вно купишь ты, а подсвечник я. Моя ведь фантазия.

Это было давно. В начале вечера. А теперь Геля пригубливала черно-красное вино, иалитое в старнный темно-красный хрусталь на высокой ножке. Она смотрела на Митю поверх хрусталя, инкак не отвечая на его излияння.

Три стеарнновые свечи, поставленные в только что купленный канделябр, горелн ровно н жарко.

— Ты очень громко говоршь.— Геля оторвалась губами от хрусталя.— Сейчас я поставлю музыку н сяду к тебе поблнже. Но сначала допьем то, что в бокалах. Не так. Держн бокал за ножку, ниаче не зазвеинт.

На чнстый, легкнй звон (словио заделн за струну) чнсто н хорошо улыбнулась Геля:

— За нас с тобой.

Поставив огромиую пластинку, Геля устроилась на днване, подобрав под себя иогн н укрыв нх клетчатым пледом.

— Хочешь, я расскажу тебе про моего папу. Слушай.— Геля перешла почтн на шепот.— Мой папа был замечательный человек. Краснвый, смелый и справедливый. Больше всего мы любнли оставаться вдвоем, когда мама уезжала в командировку, как сейчас. Тогда он ходнл по комнате в толстых шерстяных носках и наслаждался этнм. Ведь при маме и прн посторонннх нельзя ходить по комнате в однх носках! Мы с ннм жарили оладьн из сырой тертой картошкн. Почему-то он их любнл. Кажется, однажды в юностн ему прншлось голодать. Тогда по нужде он питался этнмн оладьями. Все, что связано с юностью, кажется прекрасным, даже картофельные блнны. Мне они не очеиь-то нравнлнсь, я предпочла бы конфеты. Но с такой таинствеиностью мы терли сырую картошку, так священнодействовалн над плитой, так нас, двух заговорщиков, это сблнжало, что я вспомннаю об этом как о самых счастливых мнннутах.

У него была большая партийная работа. Он был коммуннст-фанатнк. Знаешь, былн такие, цель которых — мнровая революция, и как можио скорее. Даже меня вот назвали Энгельсиной. Конечио, он уделял мне меньше вннмання, чем мама, но любил больше. Я знаю, что больше. То есть не то что больше, но лучше. Не так эгонстнчно. Его любовь делала меня лучше, свободнее, са-

мостоятельнее. Распрямляла меня, расправляла мне крылья, а не наоборот. Он был настолько правдив, что при нем невозможно было сказать неправду. Я знаю, что, если бы ему велели: «Умри, нужно для революции»,— он умер бы в ту же секунду.

Однажды мы собрались на юг, к морю. Я была тогда маленькая, в третьем классе. Никогда не видела моря. Разговоры о поездке начались чуть ли не с осени. Особенно много и хорошо рассказывал о море папа. Вернее, мы мечтали, как в первый раз он поведет меня навстречу прибою, как в первый раз окунет в соленую морскую воду, какие мы будем коричневые, как будем собирать красивые морские камушки. «Главная задача,— таинственно говорил папа,— найти голубой. Я подозреваю, что голубых не бывает, но ведь тем интереснее». Даже коробку для камешков мы припасли заранее.

Наконец день отъезда. Около вагона, когда папа уж взялся за поручни, к нему подошел человек:

«Вы товарищ Садовников? Вас просят к телефону в кабинет начальника вокзала».

У партийного работника разные бывают дела. Ждем. До отхода одна минута. Ждем. Поезд тронулся. Мы остались на перроне — ждем. Через несколько дней маме удалось выяснить, что папа арестован как враг народа.

Тогда я только ревела, и все. Позже начала думать. Во-первых, я ни за что не верила, что папа на самом деле враг народа или шпион. Потом я думала, почему так воровато, так непорядочно его арестовали. Ты не смейся. Смешно, конечно, про порядочность. Но ведь и это не последнее дело, когда речь идет о живом человеке и его близких. Во все времена арестовывали и казнили людей. Но хоть по крайней мере стояли барабанщики и торжественно били в барабаны. Постепенно я поняла, но и до сих пор боюсь себе признаться, что происходит что-то неверное, неправильное, не может быть, чтобы так-то именно и было нужно.

Через три года папа пришел. Ты знаешь, Митюшка, это был другой человек, как будто что-то хрупнуло у него внутри. Или нет. Как будто погасла некая лампочка, некий свет в душе, и стало холодно и темно. А вскоре он умер.

Теперь я хочу спросить у тебя. Зачем, кому это было нужно? Инквизиторы уничтожали врагов церкви, ерети-

ков, так им казалось. Это бесчеловечно, ужасно, но — враги. Гитлер придумал концентрационные лагеря, куда сажал коммунистов. Говорят, что ад ничто по сравнению с этим. Но когда фашист убивает коммуниста, есть логика. Чудовищная, но логика: фашизм и коммунизм — непримиримые враги.

А здесь, под родным флагом, как бы во имя родного дела... Можно сойти с ума.

Хоть пластинка была большая, но и ее потребовалось перевернуть на другую сторону. Геля не забыла на столе темно-красный бокал и, сидя на диване, подобрав под себя ноги, микроскопическими глоточками держала во рту вкус драгоценной душистой влаги.

— Или мне рассказывала подруга моя, Паризот,— совсем уж заговорщицки зашептала Геля.— Ты не слышал, как было с чеченами?

Митя не знал, как там было с чеченами, но, значит, все же мог кое-что рассказать, если вдруг звонкая, изящная шестигранная ножка старинного бокала беззвучно переломилась в его руке и остатки кровавой влаги облили пальцы, а также и беззаботную думочку с васильками, держать которую на коленях стало привычкой с первого Митиного в этой комнате дня.

Геля не подала виду, что как-никак жалко и что надо бы с хрусталем поосторожнее. Она не могла ведь знать, на каком именно месте, на чем вспомнившемся сжалась помимо сознания и воли Дмитриева рука. Какие такие картины выплыли перед глазами из затаенных глубин души, какая боль полоснула по сердцу. Долго было бы рассказывать, и хоть не чечены, а, допустим, калмыки... «Ну да ладно,— порешил Дмитрий,— расскажу как-нибудь после. Побережем до другого раза».

Дмитрий и Геля молчали, глядя не друг на друга, а именно на бокалы. Надо было дослушать долгоиграющую пластинку. Тем более что там, на пластинке, светлая, добрая тема, пробившись из-под спуда, едва-едва начинала одолевать темные, злые силы.

Свечи горели трепетно. Длиннотелая Геля, сидевшая к тому же подобрав ноги, оказалась лицом выше, чем Дмитрий, сидевший вразвалочку. Вот почему сверху вниз, как в колодец или как в омут, посмотрела вдруг Геля в Дмитриевы глаза. Музыка играла. А они смотрели друг в друга, и Митя слышал, как некая теплая волна

обволакивает его и от этой волны, от этого тепла крепнет тело, собираясь в единый радостный мускул, готовясь не то к прыжку, не то к протяжному трубному крику.

Гелины глаза пошли надвигаться, расти, становясь беспредельными, как ночное небо: истомленная жаждой девушка наклонялась над желанным ручьем.

Обожгла ли струя полуоткрытые горячие губы, жалко ли стало расставаться с привычным чувством затаенной жажды, а более того, с привычной мечтой о ее великом грядущем утолении, но Геля лишь на миг припала к потрясенному Митьке. В то время как, подчиняясь уж не себе, а чему-то воспрянувшему в нем, Дмитрий готов был защелкнуть сзади Гели железные крепости волчьего капкана рук, Геля ускользнула от них, щелчок оказался вхолостую и вполне безопасен.

— Ну, что?.. Хорошо... Успокойся...— тяжело и часто дыша, говорила Геля.— Пока ничего не будет. Положи думочку ко мне на колени. А теперь положи свою голову. Вот так. Ты будешь мой ручной, послушный, добрый медведь.— Рука ее погладила Митины волосы, щеку, горло. Неуверенно проскользнула под воротник рубашки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А между тем время шло. По какому праву мы пробегаем мимо многих событий и происшествий, в которых участвовали действующие лица, а потом вдруг останавливаем наш высвечивающий аппарат на случае, может быть, вовсе незначительном и второстепенном? Вот сейчас, например, Митя Золушкин и Игорь Ольховатский вдвоем будут сочинять стихи. Но, может быть, было бы интереснее, если бы они... сдавали экзамены за второе полугодие второго курса. Впрочем, нет, экзамены, конечно, не интереснее. Ну, может, послать их на станцию Москва-Товарная разгружать вагон с цементом (дополнительные деньжонки к стипендии)? Но смешно и наивно идти им в грузчики, когда они научились зарабатывать деньги при помощи тех же стихов. Ну, может, заставить их присутствовать на студенческом собрании?.. Может быть. Над этим стоит подумать. А пока что, нравится нам или нет, Игорь Ольховатский отозвал Дмитрия в сторону:

— Слушай, хочешь подзаработать? Приходили из Дворца пионеров. У них там будет какой-то слет. По этому поводу срочно нужны стихи. Выйдут, знаешь ли, девочки и мальчики, выстроятся в шеренгу. То один, то другой будут делать шаг вперед и читать наизусть то, что мы им сейчас напишем. Я-то уж взялся, пообещал, но, если хочешь, давай вдвоем.

Друзья закрылись в аудитории. Неизвестно, почему Дмитрий не отказался от этой затеи. Наверно, из надежды, что затея сейчас отпадет сама собой. Можно ли всерьез сесть и написать стихи о пионерском слете, о котором только сейчас узнал, и нельзя сказать, что потрясен или взволновался.

Но Игорь начал вгрызаться. Он заходил по комнате, забубнил. Рука пошла отбивать такт стиха.

— Пролетают самолеты в синеве... (раз слет, значит, должны лететь самолеты). Пролетают самолеты в синеве. Это мы та-та-та-та-та-та к Москве... Мы та-та-та-та торопимся к Москве... Давай, давай, старик, помогай.

Пролетают самолеты в синеве,
Это мы, друзья, торопимся к Москве.

Давай помогай, сейчас пойдет, входи в ритм.

Пролетают голубые поезда,
Нас зовет к себе кремлевская звезда.

Дмитрию сделалось смешно и зло. Для смеха он бросил Игорю две строчки в тон:

А в Москве, у Кировских ворот,
От почтамта третий поворот...

— Почему у Кировских?

— Именно там находится Дворец пионеров.

— Так это же здорово, блестяще!

Игорь быстрее забегал по комнате, бормоча «вороты» и «повороты», чтобы прибормотать к ним две очередные строчки:

— А какая улица, не помнишь?

— «Переулок Стопани» в наш размер не уляжется. Надо что-нибудь вроде «дворец — сердец». Или, например, так:

Мы приехали из разных городов:
— Будь готов!

— Всегда готов!
— Всегда готов!

— Черт возьми! А ведь получается. И такой задорный ритм! Как раз именно для пионеров. Старик, мы с тобой не пропадем!

Дмитрию стало страшно, потому что разверзлась бездна. Значит, что же? Можно сесть и о чем угодно набормотать таких вот строчек двадцать штук, сто штук, тысячу? Может быть, так и пишется многое из того, что люди читают в газетах или слушают по радио? Совсем нетрудно быть поэтом. Нет границ, нет законов, по которым строка «На холмах Грузии лежит ночная мгла» должна считаться лучше строки «Пролетают самолеты в синеве». В самом деле, почему это хуже? Там лежит мгла, а здесь пролетают самолеты.

Человек спит, и человек умер. Оба неподвижны. У обоих есть нос, лоб, брови, печенка, селезенка... Но все же между ними есть и разница. Один из них тепел, в нем пульсирует кровь...

Можно дернуть за руку и узнать, кто из них мертв, а кто просто спит. В конце концов можно сунуть под мышку градусник. Если уж очень трудный случай, подносят к губам зеркало, и зеркало начинает отпотевать.

Как же быть в нашем случае? Градусник стихотворению не поставишь. Не положишь стихотворение на весы, чтобы узнать, сколько в нем каратов истинной, чистейшей поэзии.

Дмитрию четко представилось, что какая-нибудь газета, особенно в канун пионерского слета, с радостью напечатает их сочинение. Почему бы нет?

Мы приехали из разных городов:
— Будь готов!
— Всегда готов!
— Всегда готов!

Напечатано — значит, образец. Значит, эти их строки будут, в свою очередь, воспитывать литературный вкус. Они вызовут к жизни десятки подобных им. Начнется геометрическая прогрессия. За десять, пятнадцать лет паутиной холодных, безжизненных строк можно опутать миллионы умов и душ. Теоретически, конечно. Все же читают Лермонтова, Тютчева, Блока. Вроде бы умываются.

Но страшно, страшно, как перед бездной. Ныне слет пионеров. За два часа заработали пятьсот рублей. Завтра (полистать календарь) можно написать ко дню рождения, ну, хоть... Циолковского. Очень просто: «Планета — ракета», «Темнота — мечта».

И вот, покидая родную планету,
К созвездиям дальним уходит ракета.

Надо бы Дмитрию вскочить, накричать на Игоря, возбужденно бегая по комнате или стуча кулаком по столу. Потом хлопнуть дверью, как полагается в таких случаях, и уйти, крикнув напоследок что-нибудь о священном огне поэзии и о чести смолоду, напомнив также древнейшую народную мудрость, что если ржа ест железо, то лжа — душу. Но Игорь умел пофилософствовать и сам. В своей манере, конечно.

В самую успешную минуту, когда рифмы так и сыпались на бумагу, он вдруг задумался и помрачнел:

— Черт возьми! Разве можно так обращаться с женщиной?

— ??!

— Едва ли не самый сладкий момент, то есть даже самый великий момент, когда женщина снимает сережки. Понимаешь? Все уж решено. Все будет через минуту. Больше нельзя сдерживаться и глушить свое нетерпение. Но вот еще одна добровольная секунда промедления: она снимает сережки и кладет их на тумбочку. Ты понимаешь?

А мы хватаем нашу бедную Музу так, что пуговицы и кнопки разлетаются во все стороны. Закручиваем ей руки, и, в то время как она прячет от нас лицо и губы, мы сворачиваем ей шею и все же достаем до губ и целуем их пополам с землей и травой, потому что за мгновение перед этим она в отчаянии грызла землю.

Ну давай, давай. Что же ты смотришь? Все уж есть. Нужно только добавить про отца. Без этого, сам понимаешь, невозможно. Давай, давай! Еще усилие, и мы победим. Вдвоем насиловать легче. Надави ей на грудь коленкой. Схвати за горло, наконец, черт возьми! Можешь даже наступить на горло ногой. Сейчас она перестанет трепыхаться и обмякнет. Тогда делай что хочешь. Двадцать, пятьдесят стихотворений на любую тему! Ей уж

будет все равно. Два улана, один улан или целый уланский эскадрон. Принципиальной разницы нет.

Теперь Игорь не бегал по комнате. Он сидел на столе, нервно подрыгивал ногой и курил. Все говорилось с той немножко нагловатой и самодовольной полуулыбкой, когда человек думает, что он один более прав, чем все остальные.

— Ты скажешь, это цинизм? Но цинизмом называют иногда нежелание человека скрывать свои истинные мысли. Ладно, ладно. Давай завершать. Кладем последние штрихи. Пиши... Представляешь, каким звонким голоском, с каким возбуждением будет читать эти строки какая-нибудь пятиклассница или семиклассница. А может быть, мальчик. Нет, старик, мы с тобой не пропадем. А теперь мы имеем полное право сходить поужинать. Пусть твой Ванечка сегодня ест похлебку один. Мы заслужили большее.

Хотели захватить и Мишу, чтобы вспомнить тот самый первый день: и кубики какао, и хождение с пол-литром наголо. Но Миши нигде не обнаружилось.

В ресторане все столики были заняты, и только за столиком в дальнем углу сидел один человек. Игорь, как торпеда, нацелился на этот дальний столик. Но, очевидно, сесть на пустые стулья к тому одиноко сидящему человеку было не так-то просто. Он обладал непонятным правом сидеть за столом в одиночестве, никого не пуская к себе в соседи.

На столе стояли бутылка коньяку, бутылка шампанского и бутылка муската. Ну, и всевозможные яства. Несколько тарелок было опустошено. Человек работал неторопливо, методически, а главное, добросовестно, не обращая внимания ни на кого. Было похоже, что он имеет твердое задание съесть все, что перед ним поставили. Или, может быть, на пари? Но тогда где же люди, заинтересованные в его проигрыше?

Случилось, что, жуя, загадочный человек поднял мутноватый взгляд от тарелки с бифштексом, и Дмитрий с Игорем попали в краешек расплывчатого, мутноватого круга. Человек вскочил, бросился через зал навстречу к ним, и друзья увидели, что это бежит самый обыкновенный Миша.

Миша безоговорочно усадил Игоря и Митю за свой стол, повелительным крючочком пальца выудил одного

из группы разговаривающих официантов и потребовал новых блюд, дополнительных рюмок и вилок.

— Ребята, как славно!.. А то я один... Да вы не удивляйтесь. Сейчас мы выпьем и поедим. Думаете, почему я здесь? Думаете, у меня денег полно? А я один пошел и вас не позвал? Я бы так не сделал. Понимаешь? — Тут он начал обращаться только к одному Игорю, стараясь оправдаться только перед ним: — Понимаешь? Они попросили меня сочинить песню, чтобы было трогательно и умильно. И чтобы, если человек выпил одну рюмку, то после песни захотел бы еще.

— Кому понадобилась такая?

— Вон они. Разве не видишь? — Миша кивнул в сторону ресторанных оркестрантов.— Ну, я и написал. Музыка у них готовая была. Наверно, еще из «Яра». Мог бы, конечно, деньгами получить. Но вот предложили натурой. Ужином. Сижу, ем, пью чего пожелаю... Сейчас, сейчас. Что же это я забыл? — Миша сделал знак рукой, и оркестр заиграл.

Вперед выступила пожилая некрасивая женщина в нелепом фиолетовом платье, сцепила пальцы рук на уровне груди и начала петь.

Миша слушал, глядя в тарелку с недоеденным бифштексом. Кажется, ему нравилось, что́ поет и даже как поет нелепая фиолетовая женщина. Лишь обыкновенная, постоянная (от контузии) Мишина слеза быстрее, чем обычно, накапливалась в углышке глаза и чаще, чем обычно, скатывалась по щеке, успевая все же блеснуть на неуловимое мгновение отражением многосветных ресторанных люстр.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Это заседание комитета комсомола было уж тем одним необыкновенно и знаменательно для Дмитрия, что всего-то обсуждалось два вопроса, и вот, высказываясь, пытаясь занять правильную позицию, Дмитрий в обоих случаях попал пальцем в небо.

Это было странно, потому что он обладал редкой способностью говорить на собраниях только тогда, когда ему было что сказать и когда, само собой разумеется, он считал себя правым. Если быть точнее, только тогда он мог говорить на собраниях, когда требовалось свою правоту

распространить на других, выводя их из очевидного заблуждения.

Правда, чаще всего случалось так (особенно на малолюдных собраниях и совещаниях), что председательствующий глядел на Дмитрия и вдруг называл его фамилию. Тяжело тогда приходилось Золушкину. Не умел он говорить по любому поводу. Начинал он мямлить и плести невнятное. Краснел, запинался и в конце концов садился на место с полным конфузом, боясь от стыда оглянуться по сторонам. Но выступал уж другой оратор, и, судя по всему, никто не считал выступление Золушкина неудачным, более того — позорным. Ну, выступил и выступил человек. Больше от него ведь ничего и не требовалось.

Значит, понятно, почему удивился Дмитрий, когда выступил, думая, что прав (и ведь не в единственном остался числе), но начали убеждать его, что он вовсе не прав, особенно по второму вопросу.

(Может быть, все-таки нам не стоило ловить своего героя именно на этом месте и высвечивать, неожиданно включая свет, именно эти минуты его фантастического путешествия по земле, но если мы хотим хоть в маленькой степени проследить пробуждение его души и мысли, то должны остановиться на обоих вопросах, обсуждаемых сегодня студентами. Не то чтобы сразу и совершилось все, но капля, от которой раскололся в конце концов серый тяжелый камень, должна знать, что были капли-предшественницы, от которых камень не только не раскололся, не только не дрогнул, но и малая песчинка не пошевелилась в нем. К счастью, человеческие души все же податливее, слабже тяжелых серых камней.)

Вопрос обсуждался в высшей степени невинный: как бы повеселее провести новогодний вечер. Ну, там... директор сделает доклад — это само собой разумеется. Ну, там... надо пригласить студентов из смежных вузов. Из театрального, из консерватории, из ВГИКа. Гости, конечно, выступят. Получится замечательный концерт. Конечно, и наши не останутся в стороне, почитают стихи. А все же придумать бы еще что-нибудь. Какие-нибудь этакие увеселения. Тогда встал Игорь Ольховатский, вдохнул полные легкие, как делал всегда, прежде чем поведать миру какое-нибудь из своих «бессмертных» изречений. И вдруг предложил действительно забавную вещь:

— Да что мы все капустник да капустник! Не хватало еще «почты»! Вешать на грудь пошлые бумажные номерки. Давайте подключим к совещанию наши мозговые извилины, я уверен, что наше серое вещество на что-нибудь да способно. Я лично предлагаю следующий номер: пусть каждый из нас сделает по крохотной книжечке. Два-три лучших своих стихотворения. Сшить нитками три листика бумаги. В новогодний вечер мы устроим веселый аукцион. Эти книжечки будем продавать с молотка. «Дмитрий Золушкин. Книга «Железное корневище». Три копейки. Кто больше?» — «Пятачок».— «Семь копеек».— «Семь копеек раз, семь копеек два».— «Гривенник».— «Пятнадцать копеек».— «Пятнадцать копеек раз. Продано... Зина Стольникова. «Поцелуй на бруствере». Три копейки раз. Три копейки два...» Я думаю, и нам самим на память о юности, и особенно нашим гостям будет приятно купить два-три моих стихотворения.

Хотя конец речи получился не очень складным (насчет именно «моих» стихотворений), все же идея сама по себе была живая. Вот почему, когда Володя Бабочкин поглядел на Дмитрия и спросил:

— А как думает товарищ Золушкин? — Митя с удовольствием встал, чтобы высказаться:

— Думать нечего. Надо поддержать инициативу.

— Гм, гм...— вроде бы поперхнулся кто-то сзади.

Митя оглянулся и увидел, что сзади, у дверей, на краешке стула сидит Михаил Иванович из партбюро. Он-то именно и поперхнулся во время непространной речи Золушкина. Ну, поперхнулся и поперхнулся человек, подумаешь, какое дело! Однако Володя Бабочкин долгим, выразительным взглядом поглядел Михаилу Ивановичу в глаза и что-то, значит, понял во время этого многозначительного глядения, потому что вдруг встал, словно принял важное решение, и стал говорить:

— Товарищ Ольховатский предложил нам подключить к совещанию наши мозговые извилины. Но, мне кажется, сам он, выступая, их-то именно и не подключил. Это что же предлагает нам товарищ Ольховатский? Кустарщину, самовольщину, «Самсебяиздат». А кто будет редактировать эти рукописные книжечки? Или, может быть, товарищ Ольховатский желает обойтись без редактора? Без редакционного, значит, наблюдения и контроля? Получится, значит, нелегальная вроде бы литера-

тура? И мы сами же с благословения комитета комсомола будем ее распространять?

Получилось, что Игорь и Митя вскочили одновременно. Но Володя Бабочкин первое слово дал Дмитрию.

— При чем тут редактор и редакторское наблюдение? Контрреволюцию, что ли, мы собираемся распространять? Наши собственные стихи. А если очень боязно, можно составить книжечки из стихов, которые были в печати, то есть прошли, значит, это редакторское наблюдение. Почти у каждого найдется по два-три таких стихотворения.

— А у кого не найдется? — вклинился тихим, но железным клинышком голос Михаила Ивановича. Его, как видно, начало раздражать упрямство Золушкина.

— Во всяком случае, найдутся стихи, печатавшиеся в нашей стенной газете. Дело официальное и чистое, как слеза.

— Одно дело стенная печать. Другое — книга. Стенная печать остается в наших стенах, а кто мне скажет, в чьих руках окажется книга послезавтра?

Володя Бабочкин начал говорить о бдительности, об ответственности работников идеологического фронта, о капиталистическом окружении, о происках врагов.

В перерыве Дмитрий и Игорь отошли в сторону покурить. Даже не то чтобы отошли, но как-то остались в стороне одни, вроде как заговорщики. Володя Бабочкин подошел к ним и тихо сказал Дмитрию:

— Пойдем, мне надо сказать тебе два слова.

Значит, Игорь оставался теперь один со своим аукционом. Михаил Иванович тоже оказался в той комнате, куда пригласили Золушкина. Он-то и начал разговор:

— Ты что, ослеп? Не видишь, к чему клонится дело? Не понимаешь, зачем ему нужен этот аукцион?

— Да что в нем плохого?

— А то, что Ольховатский со своим характером в два счета организует некоторых ребят, да и без всякой организации, в силу стихийной солидарности с ним, они взвинтят цену на его книгу, ну, и еще некоторых. А вот, к примеру, его,— Михаил Иванович кивнул на Володю Бабочкина,— никто не захочет купить и за три копейки.

— Дело не в моей книге,— обиженно и весь передернувшись, возразил Бабочкин.— Но можем ли мы допу-

стить, чтобы мнение о тех или иных стихах, о том или ином студенте зависело от случайностей аукциона?

— Да ведь игра же. Новогоднее развлечение.

— Не игра, а политика. Странно, что ты не хочешь этого понять. И мы этого не допустим. Рекомендуем тебе подумать.

— Вторым вопросом,— начал Володя Бабочкин после перерыва,— у нас значится персональное дело. Я уточню. Персональное дело комсомольца Александра Марковича. Суть состоит в том, что товарищ Маркович за последнее время допустил ряд грубейших высказываний, несовместимых с его пребыванием в комсомоле.

— Например? — нетерпеливо взорвался Игорь Ольховатский.

— Например... Он сам расскажет. Товарищ Маркович, расскажите, как было дело.

Саша, маленький, с двумя серебряными зубами спереди, попробовал улыбнуться, отчего и бросились в глаза серебряные зубы.

— Дела никакого не было. Была просто шутка.

— Хорошенькие шуточки! Продолжайте.

— Я готовился к экзаменам по марксизму. Ко мне подошла Эллочка Зельц и спросила, что я делаю и отчего я грустный. Ну, а я пошутил.

— Просим буквально.

— Буквально так: «Да вот классики марксизма не могли написать поменьше, теперь вот сиди учи».

— Все?

— Как будто бы все.

— Нет, не все. Договаривайте до конца. Какие еще слова были вами произнесены в то время?

— Я не помню.

— Напомним. Еще вы сказали: «Какая досада!» Было?

— Я не помню. Может быть, и было. Если вы лучше знаете, значит, было.

— Итак, товарищи, вопрос предельно ясен. Видите ли, большая досада изучать классиков марксизма. Надо учесть, что в это время перед Марковичем лежало не что иное, как том «Вопросов ленинизма». Вы понимаете теперь всю степень святотатства и словоблудия комсомольца, мне хотелось бы сказать, бывшего комсомольца? Я думаю, мы сейчас дружно проголосуем за исключение

Марковича из комсомола. Я уверен, собраиие иас поддержит.

Как-то опять получилось так, что только Игорь и Дмитрий ие подияли рук за исключение.

— Может, вы, Золушкии, объясните свою позицию?

— Мне кажется, что ои сказал не подумав. Без злого умысла. Вот имеиио — пошутил. Неужели из-за одиого этого мы должиы выбрасывать его из наших рядов? Я согласеи, что шутка получилась грубая и отвратительиая, иеуместная, ио можно наказать, внушить, воздействовать, исправить. Если мы его исключаем, зиачит, считаем иеисправимым. А какой же ои иеисправимый?

Вскочил Игорь Ольховатский.

— Я предлагаю послушать новые стихи Марковича. Для меня важнее, что он говорит в стихах, чем то, что ои сболтнул Эллочке.

— Не хватает устроить творческий вечер Марковича с привлечением студентов смежных вузов. У нас есть большинство голосов за исключение. Собраиие покажет.

На другой день Золушкина вызвали в партбюро. Михаил Иванович предложил сесть, улыбнулся.

— Ну ты, брат, вчера поершился на комитете. Это иичего. Многое мы начинаем понимать не сразу. Путаемся, плутаем, как слепые котята. Я думаю, что ты уже осознал. Не будем к этому возвращаться. У иас к тебе просьба. Можешь рассматривать ее как первое партийиое поручеиие. Ты ведь, надеюсь, готовишься в партию? Мы хотим, чтобы имеино ты выступил иа собрании с резкой отповедью и Марковичу и Ольховатскому. Собрание будет не скоро. Продумаешь. Но надо выступить именно так, чтобы ребята почувствовали. Чтобы проняло. Ты это сумеешь. Кроме того, именно тебе поверят студенты. Мы — люди более официальные. Так, дескать, надо. Ну, а ты — от души. От чистого, широкого сердца.

— Я, право, не знаю. Не готов. Во-первых, действительио глупая шутка. Потом при чем тут Ольховатский? Я ведь с иим стоял на одной точке. Так я же теперь буду?..

— Вот имеино. Вот имеино. Поэтому тебе и не мешало бы публично отмежеваться. Блестящий случай. Одиим словом, дело серьезное. Серьезнее, чем ты предполагаешь. Гораздо, гораздо серьезнее.

Михаилу Ивановичу, казалось, сладко было подчерк-

нуть это «гораздо, гораздо серьезнее», или, может быть, ои хотел, чтобы Золушкии уловил иакоиец за простыми словами иной, глубииный смысл, о котором ему, Михаилу Иваиовичу, почему-то ие хотелось говорить открыто.

Золушкии сидел молча. Голову ои опустил, как сердящийся бык.

— Зиачит, все еще ие понимаешь? Ну что же! Придется терпеливо растолковать...

Дмитрий ушел от Михаила Иваиовича через полтора часа. О чем был подробиый разговор, ои иикогда иикому впоследствии ие рассказывал. Правда, когда ои уже выходил и дверь была приоткрыта, автору этих строк, то есть беспристрастиому биографу, как бы даже летописцу Дмитрия Золушкина, удалось услышать последиюю, иаверио, уж иапутствеииую фразу:

— Ну вот, будем считать — договорились. Все, что я сказал, на досуге обдумай.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дмитрий думал, ио в голове у него образовалась сумятица. Необходимость выступать иа собрании превратилась для него в какое-то постояииое иесчастье. Такое, что если человек вспомнит вдруг ночью, просиувшись на секуиду едииствеино для того, чтобы повериуться с боку на бок, то сразу обдает иесчастиого жаром. Сразу трезвеет человек ото сиа.

Дмитрий не мог представить себя выступающим против Игоря или Саши. Не верил он тому, что придется выступать. Случится что-иибудь, что помешает, освободит его душу из-под тихого, но твердого гнета. В то же время свежо и созиательно зиал, что иичего такого не случится и собраиие настаиет. В эти-то имеиио секуиды его и окидывало горячим озиобом: ночью во время короткого просыпа, иа лекциях, когда переставал слышать профессорские слова, в редчайшие мгиовеиия, когда рыжая голова его покоилась иа колеиях — теперь уж без думочки — едва ли ие самой красивой девушки в России.

Не последнее место прииадлежало в Митииых мучеииях тому, что ие кто иной, как Саша Маркович, поддержал его, деревенского парня, иа тротуаре с демобилизациоииым вещмешком и прямо-таки символически, прямотаки за руку привел, можио сказать, к храму науки.

Душа под мягкой, но неумолимой рукой необходимости (нужно отметить, Мите и в голову не приходило, что можно взять и не выступить. Даже намека на такую возможность не появлялось во всех его переживаниях. Тут было, видимо, что-то от обреченности, от общего, пожалуй, даже психологического состояния, притом не одного только Мити) начинала мыкаться в разные стороны, ища уловки. И первая уловка вырисовалась в то, что Дмитрий прибрел на квартиру к Саше Марковичу, на ту самую, где некогда Саша отстукал на машинке девять его стихотворений. Подспудный смысл состоял в том, что если все сказать Саше, предупредить его: «Так и так, встану однажды и употреблю все усилия, чтобы низвести тебя к нулю»,— то вроде бы низводить будет благороднее и легче.

Ничего не изменилось в Сашиной квартире за это время. Та же старенькая машинка с подрисованными клавишами, тот же потертый диван, тот же беспорядок в соседней комнате.

Мать Саши, старушка, сочиняющая детские песенки, на этот раз была дома. Она, правда, судя по всему, не вмешивалась в дела сына. Дмитрий и рассмотрел ее как следует лишь полчаса спустя, когда она вышла из своей комнаты. До этого только знал, что она там, за перегородкой. Оттого, может быть, и не мог начать главного своего разговора. Напротив, речь шла все больше о мирных делах, о последнем семинаре (где Митя прочитал свой доклад о стихах Ярославцева) да еще о предстоящих каникулах. Саша похвалил Митины изыскания о Ярославцеве.

— Ты, старик, обладаешь цепкой и убедительной логикой. Ты будто расплетаешь веревочку по волокну, чтобы каждое волокно было отдельно. А твое простодушие только усиливает впечатление и делает тебя неотразимым.

— Полно, Саша. Говорить очень легко. Надо лишь хорошенько знать, о чем собираешься говорить. А кроме того, иметь страстное желание рассказать людям о том, что знаешь.

— Если это было бы так, все наши собрания были бы в десять раз короче, в сто раз интереснее и в тысячу раз полезнее.

Значит, все слышно было за перегородкой, потому что

как только заговорили, наконец, про каникулы, так и появилась песенная старушка.

— Сашенька такой бледненький, такой слабенький, такой нежненький. Может, взяли бы вы его на каникулы в деревню? Да если бы молочка ему по одной кружечке в день. И воздух там, и движение. Скажите, движение в вашей деревне может быть?

— Движения в нашей деревне хоть отбавляй. Тоже хорошо дрова колоть на морозе. А то и пилить. Что нам? Возьмем пилу. Каждый день часа по два.

— А молочко?

— И молоко. Хочет коровье, хочет козье. Если пить полтора литра в день...

— Что вы, что вы! — серебристо задребезжала старушка.— Ему бы одну только кружечку. Много он не выпьет. Он ведь у меня маленький, нежный. И дрова... Если по два часа пилить, для него многовато будет. Вы уж лучше прогулочку.

Для Дмитрия еще и тот был соблазн, что там, в деревне, исподволь легче будет поговорить о надвигающемся.

Зимняя дорога до Самойлова оказалась нелегкой для Саши, одетого в демисезонное пальтишко (хоть и на толстый свитер) и обутого в кожаные сапоги.

В районном центре, как заранее списались, Василий Васильевич Золушкин дожидался в чайной. Лошаденка, запряженная в сани, мирно похрустывала клевером, хоть бы сейчас и ехать, тем более что Василий Васильевич принял уж свою противоморозную порцию. Но и студентам после открытого грузовика опасно было бы не погреться.

В чайной уютно казалось из-за тепла. Поели без особого аппетита: кусочек обвянувшей селедки на ломтике черного хлебца, жидкая крупяная похлебка с красными томатными звездочками, слипшаяся вермишель с куском свиного вареного жира, впрочем уже подостывшего. Вилки толстые, шершавые, пористые. Почти все с отломанными рожками — вместо четырех три или два,— поотломали при открывании бутылок.

Всегда бывало так, что после Москвы Дмитрий сразу замечал вопиющую разницу, вплоть до шершавых ложек из алюминия. Но потом, на второй, на третий день, ничего не бросалось в глаза. Принималось за должное.

Саша хихикнул, когда поверх пальто пришлось натянуть тяжелую овчинную одежину. У запасливого Василия Васильевича каждому нашлось по тулупу. В валенки Саша переобулся с видимым удовольствием. Завернувшись в тулупы, завалились в розвальни на клевер. Василий Васильевич примостился в передке, и вот уж скрипнуло под санями на повороте.

Теперь каждый сам по себе, со своими грезами.

Василий Васильевич, наверно, думал о том, как бы скорее доехать до теплой постели. Впрочем, кто знает? Ведь и у него была молодость. В то время в селе водили еще хороводы по триста человек в круг. И одежда была другая. Картузы, сапоги, поддевки. Летом — красные рубахи под поясок. Девушки в длинных платьях, как все одно царицы, или, еще лучше, в вышитых сарафанах. Песни знают, куда тебе хор Пятницкого! Паша его с соседкой Марьей, если, бывало, начнут выводить на два голоса протяжное — не наслушаешься. Куда-то все подевалось. Нынешние девки частят частушки. Прислушаешься — ни складу ни ладу. Да и девок-то вовсе не осталось. Разъехались кто куда.

Иль, может быть, вспоминал старик своего Разбойника, вороного жеребца. И как, бывало, захочешь куда-нибудь поехать, садись и поезжай. Вчера пришлось к бригадиру с бутылкой идти. Потому не колхозное дело, если сын на каникулы. Конечно, редкий случай, чтоб отказал бригадир. Не откажет, но все же кланяйся. Не своя, значит, воля. Все время думай про то, как бы с этим бригадиром не поругаться невзначай, все время под ним ходи. Если поругаешься, не поможет и поллитровка. А каково бы теперь им, студентам, в их кожаной обувке пешком до Самойлова? Никак нельзя.

Дмитрий грезил о своем и по-своему. Собственно, он не грезил и тем более не дремал, а все время ожесточенно спорил.

Как и предупреждала Энгельсина, у нее в доме Дмитрий стал встречаться с людьми разными и любопытными. Нельзя сказать, чтобы разговоры ходили там все время по краешку, нет, все больше о музыке, о поэзии, о том, какие были руки у Венеры, или о том, что в искусстве должна быть недосказанность и что будто бы в этом именно основная сила искусства. Лаокоон, например, удушаемый змеями, не кричит. Но сейчас вот, через

секунду крикнет. От этого происходит динамика. Мы видим не только то, что есть, но и то, что будет.

Иногда затевался спор, и Дмитрий, оказавшийся самозабвенным спорщиком, очертя голову бросался навстречу стройным и сомкнутым рядам беспощадных доводов умудренных филологов и эстетов. Самые лучшие доводы приходили к нему потом, несколько часов спустя, когда он оставался один. Кажется, называется это «лестничным остроумием». Вошло в обыкновение, что Дмитрий, придя от Энгельсины, еще три дня продолжал спорить про себя и тут оказывался победителем. Скорее всего потому, что в этом «лестничном» споре противники его не могли возразить и отпарировать.

Приходил полуненормальный математик из университета, по имени Валик, бледный, синенький, как бы изнуренный. Математик-то математик, однако сочиняющий стишки. Говорил он всегда длинно и запутанно, с бесконечными: «Э-э... м-м... э-э...» В горячем споре никак нельзя было дотерпеть, когда он кончит свою тянучку.

— М-м... конечно... Э-э... в чисто утилитарном смысле слова... м-м... с точки зрения... э-э... прикладного, так сказать... э-э... так сказать, м-м... не к быту, так сказать, прикладного... э-э... а к общественному... э-э... или, точнее... м-м... искусства... э-э... прикладного к политическому... э-э... эти стихи никчемны... м-м... или, категоричнее, вредны. Э-э... Цветок, э-э... в казарме, так сказать... э-э... как бы это сказать... м-м... м-может непроизвольно... э-э... размягчить... э-э... сердце... м-м... солдата.

«Эстет» (потому что изучал эстетику) Виктор Столешников, терпеливо дослушав подобную тираду, бросался в бой:

— Да пойми же, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.

Но тут начиналась новая тирада Валика, и спорщики сникали, зная, что это надолго.

Этот самый Виктор Столешников однажды поставил перед Дмитрием вопрос ребром:

— Представь себе следующую картину. Небольшая сначала группа людей, убежденных в своей правоте и в правильности выбранной ими дороги, повела большую группу, прямо-таки массу людей, к теплу и свету. Ну, как это было с Данко. Помнишь? Осветил и повел через глухие дебри.

Все пошли за смелыми вожатыми, надеясь на самое лучшее. Однако вскорости начались непредвиденные походные трудности. Вот теперь мне и скажи: как должны вести себя вожатые и что они должны говорить остальным людям?

— Надо сказать им правду. Разъяснить, что далеко и действительно трудно. Но надо же, надо идти. О чем разговор...

— Есть еще один способ,— не то всерьез, не то с иронией вступил в разговор молодой пианист Аркадий, отрываясь от легкого и бездумного в этот раз пианино.— Можно говорить людям, что за следующим поворотом обязательно откроется обетованная земля. Обязательно уж там райские птицы и райские яблоки.

— А потом?

— А потом до следующего поворота.

— Чепуха! После каждого поворота все труднее будет объяснять.

Золушкин любил иногда употреблять в споре этот излюбленный прием бывшего ротного старшины Стрижкина. Тот, бывало, на любую претензию бойца неизменно спрашивал: «Ну, и что же вы предлагаете?» — чем повергал в смятение и растерянность. Ибо велика мудрость: разрушать легче, чем строить, ронять легче, чем поднимать, отрицание куда беззаботнее любого утверждения.

Дома, в общежитии, вспоминая весь разговор, Дмитрий даже подпрыгнул от простого решения столь нелегкой задачи. Да ведь надо же, чтобы каждый ведомый, чтобы каждый человек в толпе стал по сознательной вере в конечную цель таким же убежденным и сознательным, как и вожатые. Чего уж проще. Тогда не надо обманывать или завязывать глаза, потому что, если однажды все повязки спадут и люди вместо внушенной им травы-муравы увидят месиво, они ведь через эту частичную ложь перестанут верить и в конечную несомненную правду.

Но это был давний разговор. Теперь про него Дмитрий вспомнил мельком, подумав, однако, что надо будет при первой встрече выложить Виктору Столешникову этот свой довод. А не зажмуриваться. И как это он забыл, не сказал. Видел ведь Виктора после этого.

За последнее время у Гели появился еще один новый поклонник. Ну да. Все эти спорщики, как правильно

с первого раза определил Дмитрий, о чем ни спорь, какие умные разговоры ни веди, все они в конечном счете поклонники Гели. Бабочки, летящие на трепетный огонек ее чудодейственной красоты.

Сама Геля горячо возражала Дмитрию, говоря что-то о дружбе между юношей и девушкой, своенравно топала ногой и кричала, впрочем милостиво и ласково:

— Чудовище! Пойми же, в любви нас, людей, друг к другу...

— Не людей вообще — это уж будет христианство! — а мужского и женского начала.

— Ну, пусть. Все равно мы люди, и в нашей любви, то есть я хочу сказать, в основе нашей любви лежит духовное, душевное начало. Остальное прилагается. Его может и не быть. Мы ведь не животные, у которых с этого все начинается и этим все кончается. Мы же люди, Митюшка, люди!

— Чепуха. То есть мы, конечно, люди. Но я утверждаю, что в основе любви, в ее фундаменте все равно лежит физиология. Правда, может быть физиология без любви, но не может быть любви без физиологии. То, что ты называешь «человеческой» частью любви, духовным, так сказать, антуражем, это именно антураж, «идеологическая надстройка», как и на всяком базисе. А базис — физиология. Поэты в течение веков сумели облагородить извечный естественный акт любви. Напустили вокруг него волшебного туману, обрядили его в сверкающие одежды, и в этом их великая заслуга перед человечеством.

— Чудовище! Неужели я встречаюсь с тобой только для того, чтобы целоваться? Представь, если бы не было стихов, музыки, красоты, духовного нашего родства...

— Ну да, согласен. Однако позвольте, Энгельсина Александровна, прямой вопрос?

Геля знала, что̀ могут означать прямые вопросы Дмитрия, и пыталась уклониться.

— Нужно рассуждать, а не задавать прямолинейные, лобовые вопросы.

— Нет, все-таки не будем брать нас с тобой. У нас много еще неясного и ничего еще, в сущности, нет. Возьмем идеальный, классический случай: Ромео и Джульетта. Представь себе, что Монтекки и Капулетти примирились. Представь себе, что любовь приобретает счастливый конец — завтра свадьба. И вдруг выясняется, ну,

как-нибудь, чудесным уж образом, что они, Ромео и Джульетта,— родные брат и сестра. Вот я и спрашиваю: для них это трагедия или еще бо́льшая, чем даже свадьба, радость?

— Трагедия, конечно,— сорвалось у Гели сию секунду.

— Почему? Ведь духовное общение остается. И стихи, и музыка, и все такое прочее. Пожалуйста, общайтесь с утра до вечера. Так, значит, все-таки трагедия?

— Чу-до-ви-ще!

С новым гостем Гели Дмитрий сцепился в первый же день. Странно они сцепились. На теме, которая (считалось) целиком принадлежит Дмитрию как знатоку. Остальные, когда касалось дела, тотчас говорили «пас» и оставляли поле сражения.

Как-то к разговору Дмитрий вставил словечко в том смысле, что, конечно, есть недостатки: и трудодень, и налоги на всякую мелочь, и заколоченные дома,— но зато духовная жизнь деревни поднялась на неизмеримую высоту. Тут нечего возражать, не о чем спорить. Тут сама очевидность и реальность.

Но именно тут-то и врезался в разговор новичок. Был он белокурый, синеглазый, с лицом вроде бы простым и округлым, но вроде бы и не простым. Звали его Володей.

— Вы, насколько я успел заметить, любите задавать прямые вопросы. Позвольте и вам задать вопрос. В чем вы видите неизмеримую высоту духовной жизни деревни сегодня, во второй половине сороковых годов?

Эх, и полетели же щепки!

— То есть как это в чем? Это настолько элементарно, что, право же, неловко и говорить. Радио, газеты, клуб, патефоны, велосипеды, тракторы, комбайны, автомобили. В нашей деревне, например, самолет три раза за околицей садился.

— Наверно, мы говорим о разных вещах. Известно, что у американцев приемников больше, чем у нас (есть даже и телевизоры), и газет, и этих, как вы говорите, патефонов. Патефонов тоже больше. Однако мы все время говорим о нищете духовной жизни американцев. Для ясности дальнейшего разговора я хотел бы задать еще один прямой вопрос: что вы понимаете под духовной жизнью?

— Ну... Понятно. Есть труд, работа, еда, питье, одеяло. А есть духовная жизнь. Не для тела, а для души.

— Значит, велосипед и самолет, а также автомобили с комбайнами — все это для души?

— Сами автомобили с комбайнами, может, и не для души, но они высвобождают время, которое используется для души.

— Как же оно используется?

— Я уж сказал: радио, газета, патефоны, клуб. И для дальнейшей ясности, чтобы в точности определить предмет разговора, может быть, вы тоже сформулируете свое понимание?

— Охотно. Я под духовной жизнью понимаю красоту, которой окружает себя человек, проникновенное понимание этой красоты, глубокое удовлетворение, глубокую радость от ее понимания. Главнее же всего — активное участие в создании красоты. То есть не только восприятие, но и соучастие, а может быть, даже чистое творчество.

— Ну, где ж это вы могли бы видеть?

— Не спешите, я не договорил до точки. Посмотрим теперь, как подходят под мое определение выдвинутые вами духовные категории. Ну, от велосипедов с аэропланами вы отказались сами. Остались радио, газеты, патефоны, клуб. Клуб я оставлю на конец разговора, газету отнесу скорее к информации. Все же это не эстетическая категория. Сказать ли вам, что радио и патефон — всего лишь инструменты духовной культуры, и получается в некотором роде замена одного другим.

— Не совсем понятно,— насторожился Золушкин.— Продолжайте.

— Продолжение напрашивается само собой. Вот, пожалуйста, рассудите сами. Кто создал замечательные, поражающие весь мир своей красотой многоголосные задушевные русские песни? Народ. Крестьяне и крестьянки. Они пели их всякий раз, когда собирались вместе: на посиделках, на свадьбах, по дороге на сенокос. Пели пряхи, ямщики, матери над колыбелями, рыбаки на веслах, бурлаки на Волге, подвыпившие мужички на ярмарках. Мало того, что пели,— сочиняли! Какая музыка, какие слова! То боль и тоска, то разгулье и удаль. Я считаю, в этом заключался активный момент духовной жизни русского человека. Он окружал себя кра-

сотой. Сам ее создавал, сам ею активно пользовался, ибо поет и плачет...

Вместо того чтобы создавать и соучаствовать, то есть артистически, высококультурно, задушевно петь, все слушают патефоны с заигранными пластинками. Вы вдумайтесь только получше в это отнюдь, я считаю, не нормальное положение вещей. Вместо того чтобы воспроизводить красоту самому, превратиться в пассивного слушателя! То есть лишь потребление красоты. А где отдача?

Клуб, да. Клуб мог бы стать истинным очагом культуры, средоточием и распространителем духовной жизни.

Заглянем в теперешний деревенский клуб. Прошлогодние лозунги, призывающие включиться в соревнование. Плакаты о яйценоскости кур и о дойности коров. Надо. На скотном дворе. На птицеферме. На магазине, черт возьми! Но ведь не вешаем же мы в Большом театре либо в консерватории плакаты о жилищном строительстве и о добыче каменного угля!

Итак, плакаты, на которые в колхозном клубе конечно же никто не обращает никакого внимания. С точки зрения красоты, если уж сравнивать с бывшей опорой идеологии, куда им до русских икон, которыми засматривается сейчас весь мир.

В клубе, как правило, неуютно, непривлекательно, некрасиво. Летом в его помещении невероятная духота, зимой холодно. Впрочем, все равно никто не стал бы снимать пальто. Домино. О, непременное коварное домино! Любители «забить козла» ходят в клуб, как на дежурство. Как сядешь — вечера нет. И дешево и сердито.

Радиоприемник. Но он есть теперь в каждом доме, и мы о нем говорили. Лекции на уровне передовой статьи областной или районной газеты. Кино. Но нельзя же свести все к кино. Этакое универсальное средство. Кроме того, тот, кто смотрит кино, называется зрителем. А мы говорим об активном творческом начале.

— Творчество! Можно подумать, что жили одни певцы и поэты. Ну, допустим, песня. И все? В чем же еще проявлялась эта ваша активность?

Супротивник посмотрел на Дмитрия сострадательно.

— Ближе всего к песне можно поставить танец.

Я имею в виду не тот танец, когда под ту же заигранную пластинку, не снимая пальто и валенок, девушки пытаются танцевать фокстрот. То есть нелепо передвигаются с унылыми, безразличными лицами. Я имею в виду те массовые танцы, те хороводы, воспоминаниями о которых до сих пор питаются наши крупнейшие танцевальные ансамбли.

— Допустим.

— Резьба по дереву. Коньки и наличники. Резная изящная утварь, резные орудия труда. Та самая резьба, которая служит теперь гордостью и сокровищем любого музея. Одежда, вышивка, обряд, фольклор... Вот она, активная духовная жизнь. Вот чем питались Пушкин и Толстой. Вот откуда выросли Шаляпин и Есенин. Будьте уверены, от патефонной пластинки Есенин не зародится. Я думаю, что он не зародится даже от автомобиля.

Теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Я не призываю вас ломать приемники и велосипеды. Но за большим строительством мы забываем иногда о сохранении многовековой культуры. А спохватимся — радио! Большое же достижение, раньше не было! К вашему сведению, радио вообще раньше не было. Нигде в мире. Оно изобретено пятьдесят лет назад. При всех обстоятельствах оно все равно пришло бы к народу, в том числе и в деревню. Если бы даже не разучились петь, водить хороводы, вышивать, плести кружева и резать по дереву...

Постепенно все споры-разговоры затуманивались, расплывались, словно растворялись в темноте зимнего вечера. Не то чтобы Дмитрий задремал, но зимняя дорога делала свое дело. Как успокаивается зеркальная гладь пруда или озера, когда перестанут кидать камни, так успокаивалась обычно душа Дмитрия в своей деревне. А ведь что в озере, что в душе. Только тогда и отразится, только тогда и увидит сам себя окрестный мир, когда установится зеркальная гладь. Кинь один камушек — и опять круги, и опять закачались, запрыгали, набегая одна на другую, четкие и в общем-то неподвижные звезды.

Чем меньше становилось кругов, чем тише и спокойнее становилась душа, тем все явственнее, все ярче, все устойчивее прорисовывался для Дмитрия образ Гели.

После споров, в конце каждого вечера они оставались одни. Уходили не все сразу. Но Дмитрий, зная свое, терпеливо пересиживал всех. При людях, когда он смотрел

на Гелю, на ее лицо, на всю ее, прикрытую разными шерстяными или шелковыми тряпками, ему не верилось, что он вчера еще дотрагивался до нее, руками до запястий и плеч, щекой до щеки, губами до закрытого, трепетного, как пойманный в ладони птенец, нежного глаза. Еще больше не верилось в то, что, может быть, сегодня же вечером она, играющая теперь сонату Бетховена и раскрасневшаяся от игры, такая недоступная на людях и оттого еще более прекрасная... Да нет. Не может быть.

С первого раза так и пошло: Геля сама вела рискованную в конечном счете игру. Она ласкала Дмитрия все смелее и опаснее, словно постепенно приучая его к себе, и сама словно стараясь привыкнуть постепенно к его тяжелым, грубоватым, неуклюжим ласкам. Потом вдруг вскакивала и говорила:

— Не надо, Ми́тюшка, успокойся. Пока не надо. Ты же знаешь, я никуда от тебя не денусь. Я ведь твоя невеста. Правда, хорошее слово? Правда, хорошо, когда были невесты? Девушка, ухажерка, симпатия, зазноба, бабец, и вдруг сразу — жена. А разве не сладко хоть немного, хоть годик походить в невестах? Невеста. Ты только вдумайся в слово-то это русское — невеста. Так вот я — твоя невеста.

Не то чтобы под скрип полозьев Дмитрий вспоминал теперь мелочи и подробности, но он стал твердить про себя это и правда дивное слово.

И как, должно быть, у верующего перед иконой при стократном повторении молитвы или даже одного какого-нибудь символа (допустим, «господи») теплеет на сердце и в душе и все пропадает, кроме чего-то главного,— так теперь и Дмитрию при твержении светлого слова «невеста» становилось все теплее.

Между тем что-то мешало, как соринка в глазу. Падала косвенная тень на голубенькие Митины восторги или, если уж возвращаться к устоявшейся озерной глади, то вроде бы кто-то поблизости тревожил, баламутил воду, отчего постоянная зыбь колебала ее. Снова как ошпарили кипятком. Ах, этот Саша! Лучше бы он сподличал перед ним или, по крайней мере, провинился как следует, чтобы по заслугам.

Думая так, Дмитрий и забыл вовсе (вот ведь как можно отвлечься), что Саша сидит рядом закутанный в тулуп.

На раскате сани ухнули влево, ударились полозом о раскатанную колею. Саша вывалился из саней наружу.

— Тпру! — очнулся от дремоты Василий Васильевич.

Дмитрий подбежал к барахтающемуся Саше, помог ему встать.

— Озяб?

— Ноги немного.

— Ничего. Давай побежим за санями с километрик, сразу нагреемся. Скоро дом.

...Пелагея Степановна в материнской нетерпеливости три раза подогревала самовар. В третий раз оказалось кстати. За окнами зашуршало, заскрипело. Облегченно фыркнула и отряхнулась остановившаяся лошадь.

Молочно-белый пар круглым облаком ворвался в открытую дверь, веером, как вода из огромного ведра, расплеснулся до передних углов по выскобленным половицам. Под темно-желтым прикопченным потолком плавал синеватый туманец — напустила Пелагея Степановна, торопя закипающий самовар.

Теперь самовар стоял на столе и бодренько, на две ноты свистел, приглашая к чаепитию. Из-под крышки самовара выглядывала прищемленная крышкой марлевая тряпица — уловка Пелагеи Степановны, чтобы яйца не проваливались в воду, в кипящую глубину.

И хоть был в избе посторонний человек, гость, глазами которого Дмитрий мог бы взглянуть на все вокруг, все же были с ним еще одни глаза, которыми, помимо своих, как уж однажды мы заметили, он привык глядеть на мир. Именно тряпицу-то в самоваре и высветил в первую очередь тот посторонний взгляд.

Дмитрий подумал, что Энгельсине, наверно, неприятно было бы пить кипяток, в котором плавает, пусть хоть и чистая, марлевая тряпка.

Пелагея Степановна поставила на стол большое, все измятое алюминиевое блюдо, полное картошки, а Митя достал из своего фанерного чемодана тяжелую палку темно-красной душистой чесноковой колбасы. Водку разлили по граненым стаканам.

Больше всего на свете Митя любил приезжать к себе домой. Особенно он берег минуту, когда, откинувшись от стола на широченной лавке, свернешь цигарку потолще, и первый, полновесный глоток дыма, затуманивая

глаза, разливая по телу размягчающую истому, этаким почти упругим клубком прокатится через гортань.

Сначала, до стакана водки и до первой этой затяжки, Дмитрий все еще играл в свою игру (будто вот и Геля приехала с ним и смотрит на все вокруг, и как это было бы на самом деле).

И тряпицу, плавающую в самоваре, и мятое алюминиевое блюдо, одно на всех сидящих за столом, и чай из пережженной свеклы, и то, что Василий Васильевич положил кошке рядом с собой на лавке, и поросеночек, обитающий за печкой (откуда остренький, сдабривающий всякую еду запашок), и тюфяк, набитый соломой, и лоскутное одеялишко (без пододеяльника, разумеется), присаленное по краям за двадцатилетнее служение, и уютное шуршание тараканов, когда погасят лампу, и соломенный козий хлевушок на морозном дворе, если понадобится выйти ночью, и добросовестный храп Василия Васильевича — все это по-новому перебрал в уме Митя Золушкин. Но не так, чтобы осудить и устыдиться, а так, что, конечно, невозможно было бы сюда, в деревенскую избу с поросенком, привести блистательную свою, как если бы из заморских шатров, как если бы шемаханскую царицу, как если бы воистину из волшебной сказки — невесту. Иванушка-дурачок, ухвативший за хвост Жар-птицу. Невестка должна помогать Пелагее Степановне топить по утрам печь. Ухваты, чугунок с поросячьим пойлом... Вовремя подоить козу... (Ха-ха! Соната ля-бемоль и трактовка Лаокоона по Лессингу!) Нечего говорить, намертво отрезанный ломоть — крестьянский сын Митька Золушкин.

После стакана водки развеялись все мелочи. Осталось только то, что есть Жар-птица и что она невеста. И что Жар-птице вовсе не обязательно пребывать там, где копошатся мудрые трудолюбивые корни. Место ее на ветвях, где яблоки, вскормленные и вспоенные корнями, вовсе не претендующими на обдувание романтическим ветерком. Была бы земля пожирнее да дождь вовремя... А уж яблоки-то с листьями или там орешки — произойдут. Саша от сытости морозным воздухом и от водки сомлел возле свистящего самовара. Голова его покачнулась на сторону. Какие уж теперь тараканы! Дмитрий подхватил его на руки, унес за перегородку и положил на кровать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дмитрий не мог не выйти на улицу, не пройтись из конца в конец уснувшим без огонька, без шороха зимним селом. Вот уж правда, без огонька, без шороха. Спят крестьяне. Кто на печке, кто на кровати. Чудно́ было бы теперь, в одиннадцатом часу, встретить неспящего, бродящего по улице человека. Разве молодежь? Но и ее не слышно.

В колокольчик около пожарницы начали бить одиннадцать. Дмитрий пошел поглядеть, все ли старик Фадеич сторожит село Самойлово или уж кто другой. Пока шел, успело пробить все одиннадцать раз. Чистый серебряный голосок взлетал высоко в морозное небо, а оттуда опускался, растекаясь во все стороны.

Сторожил по-прежнему старик Фадеич. Он торопливо высвободил руку из мохнатого тулупьего рукава, обрадованно поздоровался:

— Здравствуй, Митя! С приездом в наше Самойлово. Как же, надо свежим воздухом подышать. Обязательно.

«Вот и он чужим, городским меня считает,— горько подумал Дмитрий.— Со своим разве заговорил бы про свежий воздух? Про свежий воздух только с дачниками говорят. Вон Саше воздух нужен, это правда, и молочко по кружечке в день, а для меня, может, сам Фадеич, и колокольчик, и незаряженная берданка его, и столетние самойловские липы над головой, и огонек, засветившийся в крайнем доме,— может, это-то все и есть для меня воздух, без которого не дышать».

— Что-то тихо. Не гуляют, как видно.

— В Калиниху на вечеринку пошли. Сеньку Басурманова в армию берут. Вечеринку собрал. Человек восемь от нас пошло. Теперь, наверно, самый разворот.

Дмитрий обрадовался и уверенно, твердо, не как во время раздумчивой прогулки, захрустел по морозной дороге в сторону Калинихи.

Калиниха — деревушка из одиннадцати домов, вытянувшихся по изгибу крутого холма. Самый последний дом наклонился над рекой напиться, остальные, взявшись цепочкой за руки, держат его, чтобы не ткнулся с глинистого обрывчика в светленький, чистенький омуток. Теперь, впрочем, ни обрывчика, ни омутка — снежная пышная зима. Из одной избы на вздыбившийся, как морская

волна, сугроб из окошка свет — там, значит, и есть вечеринка.

Пока наш герой, как писали в романах в неторопливую добрую старину, идет до освещенных окон, мы успеем рассказать, что такое деревенская вечеринка.

Собрать ее может и парень и девушка. Был бы повод. Сегодня, например, Сенька уходит в армию. Частенько и без повода. Верный способ приманить чужих парней — собрать вечеринку.

Приняв решение и спросившись у отца с матерью (пол в избе, конечно, девки выскоблят на другой день чище нового), рассылают записочки по деревням: «Сообщаем, что пятнадцатого января сего года в деревне Калинихе состоится вечеринка у Басурмановых. Просьба прийти».

Значит, вроде уж деревенский бал. Особая задача — обзавестись гармонистом, еще лучше, если будет и запасной. Без гармониста никакой вечеринки быть не может.

Первыми приходят свои, деревенские женщины — бабы. В передней избе к этому времени — простор. Стол вытащен в сени. Фикусы на кухню. Скамейки и стулья расставлены вдоль стен в один рядочек. Над серединой комнаты — яркая, хотя бы и керосиновая, лампа.

Бабы, пришедшие первыми, не рассаживаются, однако, на свободные стулья и лавки, но, пройдя в горницу, сразу распределяются вправо и влево по стеночке. Весь вечер они будут здесь стоять в полушалках, слушая частушки, глядя на танцы, зорко подмечая, кто с кем танцевал, кто на кого поглядел.

Девки и парни раздеваются, складывая пальто либо на печку в кухне, либо на тот самый стол, который вытащили из горницы, либо, чаще всего, в горнице же за тесовой перегородочкой, на кровать.

Да и нужно раздеться, потому что, хотя и будут всю ночь открыты двери из горницы в кухню, из кухни в сени, из сеней на крыльцо, все равно вскорости сделается так душно и жарко, что потускнеет лампа около потолка, задыхаясь в парном тепле, происшедшем от дыхания множества людей, от их разгоряченных танцами тел.

Иная девушка, протиснувшись сквозь бабий заслон (так и стоят в шубейках), выскочит на крыльцо в безрукавном платье или в легкой беленькой кофточке. Казалось бы, куда ей на мороз, разгоряченной и продувной!

Постоит, охолодает, опомнится — и снова в парную, тесную духоту.

...Дмитрий прошел через раскрытую дверь в темные сени, где толпились ребятишки и подростки, жгя махорку и тем хвастаясь друг перед другом. Сюда из раскрытой кухонной двери вместе с паром долетали обрывки гармоники, шарканье танцующих ног и невнятный гул всеобщего разговора.

В кухне, то есть в самом уж преддверии вечеринки, тоже полно ребятишек. Тут и бабы стоят, не уместившиеся в горнице, и двое пожилых мужиков, усевшись на полу у порога, мирно разговаривают между собой, посасывая самокрутки, пахнущие больше горелой газетой, чем табаком.

Кто-то из мальчишек узнал Митю и толкнул другого локтем:

— Глянь, Митя Золушкин из Москвы приехал.

Дмитрий, как все равно у себя дома, сбросил шинель (конечно, уж без погон), закинул ее за печку и смело протиснулся в переднюю избу.

Танцевали «страдание». Без дроби и без частушек. Так себе, толклись на одном месте все больше девки с девками. Настоящих парней повыбило на войне. Вот и здесь, на вечеринке, на каждого парня сегодня девок по пять, по шесть. Среди баб, стоящих в три ряда по стенке, каждая вторая — вдова.

В парном, румяно-пестром месиве вечеринки Дмитрий сразу поймал глазами голову Шуры Куделиной, да и как ее было не поймать, если она, и без того чуть-чуть повыше других, положила еще поверх головы, и не положила даже, а поставила ребром тяжелую, как кистень, золотистую косу.

Когда Митя протиснулся вперед и стал виден всем над понурыми бабьими головами, Шура танцевала спиной к дверям. Ее подружка, Маруська Зотова, успела шепнуть ей что-то такое, от чего Шура вздрогнула, сбилась с ноги, но вдруг ударила отчаянной дробью о звонкие сосновые половицы, и в два голоса с Маруськой Зотовой они задорно, вызывающе, сразу меняя весь тон вялой, запарившейся вечеринки, запели:

Ой, страданье, ой, страданье,
Захватило грудь дыханье.

И снова дробью. И самолюбиво стало Митьке оттого, что в его честь. Никто, конечно, не догадался. Но он-то сразу понял, что в его честь. И успело еще промелькнуть в голове под дробь и частушку Шуры Куделиной: «А может, здесь-то я и есть дома, а не на собраниях, не среди тех спорщиков — кто умнее, не на экзаменах по Древней Греции?»

Сенька Басурманов, хозяин вечеринки, пьяненький, без разговоров потащил Митю в кухню. А там, в кухне, за печку, где, между прочим, стоял и теленок, на печи стояла коптилочка, чтобы Сенька не лил все же мимо стакана из мутной трехлитровой бутыли.

— На. Свойское! Уважил ты меня. А я завтра в армию.

Сенька пьяненько прислонился и всхлипнул на Митином плече, пока тот чуть не насильно выливал в себя тонкий двухсотпятидесятиграммовый, а по-деревенскому (среди пьяниц) — девятиглотковый стакан.

Теперь, снова зайдя в переднюю избу, Дмитрий обошел всех парней, сидящих на стульях вдоль стен, и с каждым поздоровался за руку. Такой порядок. С каждым парнем поздороваться за руку. А с девками — не обязательно. Тем более что девки стоят толпой среди комнаты, а парни сидят вдоль стен.

Опустившись на стул рядом с гармонистом, Митя мог теперь как следует разглядеть Шуру Куделину. Разглядывать ее было очень удобно, потому что она изо всех сил старалась не смотреть на Митю, но лица не отворачивала.

Дмитрий давно заметил, что если в деревне встречаются вполне красивые девичьи лица, ну, то есть чтобы уж настоящие красавицы, то настоящая, хрустальная, родниковая их красота держится лет до шестнадцати, до семнадцати. Они — девчонки, школьницы в это время. Еще судьба могла бы повернуть их и туда и сюда. Возьми девушку сейчас, в шестнадцать лет, в город, определи в консерваторию, или в балет, или на филологию — начнется утончение красоты, дальнейшая обработка лица, дальнейшее его просветление. Потому что близость искусства неизбежно воздействует на человеческое лицо, накладывая свою печать.

Но если девушки остаются в деревнях, то, Дмитрий замечал, как самые милые, самые прямо-таки ангельски

просветленные личики вдруг годам к двадцати семи начинают тяжелеть и опрощаться. Вдруг появляется взгляд немного вниз и немного исподлобья, а над бровями (фантазия, конечно, что именно над бровями) возникает... трудно даже назвать, но какое-то уж очень характерное выражение.

Дмитрий и глядел теперь на Шуру именно с этой стороны: где царапнул ее беспощадный резец и, главное, заметно ли над бровями-то, над бровями самое неуловимое, но и самое беспощадное.

Снова все пошли танцевать. Гармонист наяривал тустеп. Тустеп — дешевенький мотивчик: «Девчоночка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо, кроме шоколада».

Название-то какое — тустеп. Наверно, все эти деревенские танцы: тустеп, подыспань (так произносят падеспань), краковяк и прочие — составлены из обрывков существовавших некогда бальных танцев, либо сами по себе и есть эти бальные танцы, выродившиеся до трех-четырех однообразных, примитивных движений.

Митя пригласил танцевать Надюшку Краснову. Они долго топтались в толкущейся толпе, передвигаясь и по кругу, пока Дмитрия сзади не хлестнули ремнем поперек плеч. А так как не мгновенно обернулся, врезали и еще раз, удачнее и больнее. Парень, улыбаясь, протянул Мите широкий солдатский ремень, а сам подхватил Надюшку Краснову, до конца исполняя роль кавалера. Митя принял ремень, спросив:

— На двор, что ли?

— В сельник. Мальчишки покажут.

С ремнем — известная вечериночная игра. Значит, парень с девушкой по игре постояли в сельнике в темном, безлюдном месте. Постояли, поговорили. Парню — очередь уходить. Девушка заказывает, кого ей вызвать при помощи этого самого ремня. Теперь вот Митю. Постоят, поговорят. После разговора Митина очередь оставаться в сельнике, Митина очередь заказывать. Девушка пойдет и ударит ремнем, кого он, Митя, попросит. Целый вечер ходит ремень из рук в руки. Норовят ударить погорячее, похлестче, чтобы прикипело: неизвестно, кто ждет в темноте. Может, пожалеет, засластит хлесткую ременную боль.

Митя в сенях чиркнул спичку. Но мальчишки засветили фонарик, показали на дверь. В сельнике было так же холодно, как и на улице, только без ветерка. Пахло

застарелой мукой и пылью. Темень непроглядная, хоть глаз коли. Опять Митя хотел оглядеться, но, как только загремел спичками, по левую руку потихонечку засмеялись. Рука, еще не вытянувшись до конца, наткнулась на теплое девичье плечо. Наугад Митя накинул ремень и ремнем притянул к себе затаившуюся девушку. По смеху узнал — Маруська Зотова.

— Ну что, попалась! — Митя все крепче тянул за концы ремня, так что Маруська вся приникла к нему.

— Пусти, задушишь! Ослабь! — смеясь, старалась оттолкнуться Маруська.— Пусти, замерзла я, давно уж стою. Давай ремень скорее. Знаю, кого тебе надо.

Теперь придет Шура. Сейчас придет. Черт!.. Наверно, мальчишек полно в сельнике, спрятались, чтобы подслушивать. Со спичкой полез за ларь. Вытащил за шиворот одного. Другой выскочил сам, бросился к выходу. Мальчишки, хоть и храбрецы, знают: парням в таких случаях не попадайся — ногой так ногой, кулаком так кулаком... Очень не любят парни, когда подслушивают. Спичка высветила над ларем черные, просвечивающие краснотой и золотцем иконы, выставленные на полке в рядок. От близкого, неожиданного взгляда богородицы легонькая жуть пробежала по спине. Но спичка уж погасла, обожгя кончики пальцев. Секундой позже скрипнула дверь.

— Кто тут? — с обычной своей хрипотцой спросила Шура.— Митя, где ты, Митя?

Митя затаился около ларя, ждал, что будет. Шура не спрашивала больше, но и не уходила. Тогда он позвал:

— Иди сюда, не бойся. Здесь ничего нет, не споткнешься.

Шура подошла и зябко поежилась.

— Ну, где ты? Прямо хоть в жмурки в этой темноте.

И вдруг в разные стороны озорно полоснула ремнем. Но, оказывается, Митя в это время был так близко, что Шура попала по нему не ремнем, а рукой, не самой рукой, а выше локтя. За локоть он и поймал Шуру. Только и всего, что поймал за локоть (как раз в этом месте кончался рукавчик платья), а Шура задышала, как будто в гору или после бега.

Смешно и совестно было бы парню теперь-то, в темноте, не обнять и не поцеловать девку. Митя облапил и поцеловал. Крепко сжатые губы девушки как-то ускользали от Митьки, и хоть Шура прижималась к нему креп-

ко сжатыми губами, все же они как-то нелепо ускользали, и вот Митя оторвался без сладости.

— Городские небось лучше целуются, слаще? — дрожа, как в болезни, спросила Шура.— Поучил бы нас, деревенскую темноту, где нам...

— Полно... Шура... Чепуху...— хотел погладить ее волосы, но рука наткнулась на крепко сплетенную бесчувственную косу.

— Озябла я вся, дрожу, пойду я. Не надо.

— Постоим.

— Озябла. Позови мне кого-нибудь для блезиру. Ну, хоть Витьку Топорищева.

— Постоим.

Стакан водки, выпитый без закуски за печкой у Сеньки Басурманова, туманил и дурил Митину голову. Шура полушутя, полувсерьез отводила тянущиеся к ней полупьяные руки, а руки все тянулись и тянулись как заводные, касаясь то ее голых рук, то шеи, то одежды. Но ведь и за одеждой была все она же, вздрагивающая при каждом прикосновении.

Митя распахнул пиджак и притянул Шуру к себе, стараясь крыльями пиджака захлестнуть девушку с боков, чтобы было ей потеплее и поуютнее, но крылья пиджака оказались коротки, хоть Шура крепко прижималась к сатиновой Митиной груди и даже руки, просунув под пиджак, завела к нему за спину.

Так они стояли, тяжело дыша, то целуясь, то вовсе боясь пошевелиться, и так продолжаться вечно не могло, кто-то должен был на что-то решиться, чтобы вынырнуть из-под тяжелой теплой волны, захлестнувшей обоих.

Решилась Шура. Она ловко, как это умеют только женщины, выскользнула из полупьяных, полубредовых Митькиных лап и скрипнула дверью сельника.

Выйдя из сельника, Митя обнаружил у себя в руках (они еще дрожали) ненужный теперь ремень и шагнул в избу, чтобы найти его хозяина.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Саша оказался неважнецким компаньоном Мите Золушкину в разнообразных развлечениях. С утра пораньше Дмитрий, гремя длинными городскими лыжами, выходил

на морозное, розовое от скользящего зимнего солнца крыльцо. По-деревенски, на валенки, приходилось надевать лыжи. Но ремешки были впору, а от ремешков назад, за валенки, крест-накрест крепкие, затвердевшие от стужи бечевки. По розовому утреннему насту нежной голубизной разбегались ветвистые тени яблонь. Задний тын вовсе замело. Не нужно перелезать или перешагивать. С этого снежного бугра лыжи все время скользили под уклон, вплоть до реки, где нужно было карабкаться на высокий холм, сулящий несколько протяжных мгновений до звериного визга пронзительной радости.

То лесенкой, то елочкой, то зигзагами петляя по склону холма, Дмитрий забирался все выше, и вот, оглянувшись, можно было удивиться, какими маленькими сделались кусты, и деревья, да и сама речка — вроде как бы на географической карте — видны каждый ее изгиб, каждая петля.

Толща воздуха между Митей и речкой — красновато-морозной, осязаемой красноты. Вся она, эта толща воздуха, населена мелкими ледяными иголочками, которые играют, поворачиваясь к солнцу разными своими гранями, поблескивают мгновенно и остро. Пожалуй, на километр в глубину вселенной можно различить вспыхивающее и гаснущее поблескивание ледяных кристалликов, а дальше все сливается в красновато-седую мглу.

В красноватой, с седым оттенком стихии неподвижного морозного воздуха за рекой, в деревеньках вздымаются лиловые кудрявые дымки. Каждая деревенька обсыпана инеем, как сахарная игрушка, и вообще все игрушечное, сделанное из разноцветного хрупкого стекла. Даже сам воздух казался настолько звонким и хрупким, что ударь какой-нибудь великан палкой по синему звонкому колпаку — и все разлетится на мелкие осколки.

С детства, с коротеньких, чуть ли не одним топором вытесанных лыж, знакомо Мите чувство трепета, когда верхушка горы начинает выскальзывать из-под ног, и упираешься палками, и становишься лыжами поперек крутизны, чтобы оттянуть неизбежное. Потому неизбежное, что не было случая, когда забрался бы на гору, а потом испугался бы, раздумал и не поехал. Чем сильнее робел перед горой, тем тверже знал, что поедет, и, между прочим, тем сильнее отталкивался палками, страгиваясь с

места, когда надоело упираться и зло брало на самого себя.

Наверно, все-таки когда-нибудь человек летал. Иначе почему же так сладостно это приближенное к полету скольжение, стремглав, как ласточка, которая, скользнув из июльского поднебесья, задевает крылом дорожную пыль или тихое зеркало пруда?

Хорошо кататься одному. Упадешь — ни перед кем не совестно. Снова забирайся наверх. Снова полет. Снова странное онемение в ногах. А потом, внизу, когда летишь по ровному месту и знаешь, что не упал и теперь не упадешь,— обильные слезы на глазах, высеченные ветром скорости.

Сначала, когда выходил из дома, зябли кончики пальцев в рукавицах, на каждом вдохе щипало в носу, застуженно деревенели колени, нужно было распускать треух.

Едва ли не самая большая радость от лыжного катанья состояла для Мити в том, что теплота его тела преодолевала остекленелый холод вселенной. Неприятно было на первых порах хватать озябшими руками снег и растирать его. Теперь падаешь, снег в рукавицах, снег на лице, снег за воротником, одежда вся в снегу, но от этого не зябко, а только приятно. Соприкасаясь с Митиной кожей, снег мгновенно тает, будто попал на что-нибудь разогретое на огне, только что не шипит.

Не меньше катанья с гор любил Митя ходить на лыжах по ровному месту. Нашелся и предлог для дальней прогулки. Из села, что в семи верстах, неведомая Мите старушка, вдова учителя, прислала записочку, наказывала прийти.

Дорогу он выбрал такую, чтобы подальше и поинтереснее: пошел руслом реки.

Зеркальный ледок реки давно запорошило снегом, но если хлопнуть лыжей, то крупнозвездный пух разлетается в стороны до самой ледяной черноты. Палки звонко чертили по льду, и нужно было ставить их круче и тверже, чтобы не соскальзывали на каждом шагу.

Над узким извилистым руслицем с крутых бережков нависали ольховые и черемуховые деревья. Они почти встречались ветвями над Митиной головой, ясное синее небо глядело через сетку заиндевелых ветвей и сучьев.

Русскому зимнему лесу, русскому зимнему пейзажу, вообще, как ни удивительно, не повезло в живописи.

Шишкин писал все больше лето, Левитан — все больше весну и осень. Поленов, Куинджи, Саврасов, Васильев, Нестеров, Васнецов... Вспоминается либо весенняя суета грачей, либо июньское кипение цветов около старого забора, либо прудик, затянутый ряской, либо привольные русские дали то с рожью, то с лесом, то со свинцовой рекой и свинцовыми же облаками над ней.

То ли трудно схватить и передать, то ли простейшие житейские трудности: зябнут руки, густеет на морозе краска. Да и художникам зимой предпочтительней в шумных больших городах.

У старушки, учителевой вдовы, оказался желтенький, прямо-таки охристый домик в три окна, низенький, аккуратный, с палисадником. Заиндевевшая теперь сирень покоится ветвями на железной крыше. Летом из-за сирени, наверно, и не увидишь домик. А в горнице, наверно, в самые жаркие дни темно-зеленая сумеречная прохлада. Ну и геранька на подоконниках, и развесистый фикус в углу, и половичок, и по праздникам красненькое мерцание лампады.

Так оно все и оказалось, когда Дмитрий вошел в переднюю горницу. Да еще не учтенное воображением — покривившийся самоваришко на столе.

Теперь трудно было бы по вещам, по атмосфере угадать, каким был покойный хозяин домика, сам сельский учитель. Годы вдовствования милой Аграфены Ивановны уж наложили на все свою печать. Женский старушечий уют. Кошка, чтобы погладить. Спицы с клубком шерсти — связать себе душегрейку. Банка варенья — побаловаться чайком.

(Впрочем, о старых учителях у Дмитрия давно сложилось (после Чехова, что ли?) определенное нелестное мнение. Засосанные, как тиной, провинциальной жизнью, грубые, невежественные, бьющие учеников линейкой по рукам (так рассказывали в школе), они (почему-то представлялось Дмитрию) чаще всего либо спивались, либо кончали самоубийством. Чему они могли научить деревенских ребятишек, если у самих у них, пользуясь нынешним уж, современным выражением, не было никаких культурных запросов?)

— Как вы быстро отозвались! — мягко говорила между тем Аграфена Ивановна.— А я прослышала, что в наших местах объявился... поэт или... человек, готовящий

себя к поэтическому поприщу, и послала записочку с оказией. Вы знаете, после Леонида Федоровича осталось много книг. Они теперь в беспорядке, в чулане. Жалко, если вовсе пропадут, когда меня не будет. Может быть, вы покопались бы. И если вас что-нибудь заинтересует... Нет, вы не подумайте. Я не на предмет продажи. Просто так, чтобы попали в хорошие, понимающие руки.

В чулане Митя сначала обманулся небольшим укромным помещением (показалось тепло), но скоро пальцы онемели от холода. Приходилось время от времени дуть на них, а потом снова приниматься за книги.

Книги все были свалены в большой сундук. Многие без обложек, многие без начала и конца. Дмитрий жадно вглядывался в каждую страницу и узнавал то Толстого, то Короленко, то Щедрина. Попался листочек, выпавший из Фета; стихотворение отчеркнуто жирной карандашной чертой по полям.

Учись у них — у дуба, у березы:
Кругом зима (жестокая пора!) —
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый, —
Они стоят, молчат; молчи и ты.

Но верь весне! Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша,
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

Пониже, на этой же странице, стояло стихотворение «Угасшим звездам». Но оно уж не было отчеркнуто карандашом, в то время как в первом стихотворении неведомый читатель подчеркнул некоторые строки и слова. Например, в третьей строке чем-то понравилось слово «напрасные», чуть пониже читателю потребовалось выделить для себя, что скрываются именно «последние листы». Четыре строки в конце стихотворения подчеркнуты, каждая от начала до конца. Значит, человек ждал какой-то своей, одному ему чаемой весны, и, значит, болела душа, и, значит, была вера, что все-таки настанет пора для ясных дней и для новых откровений.

Дмитрию начали попадаться тонкие, в бумажном пе-

реплете, выпуски сочинений Тютчева. Приложение к «Ниве». Сначала попалась стопочка — четыре выпуска, потом отдельно одиннадцатый, потом десятый. Страстно захотелось, чтобы все двенадцать выпусков были целы, потому что во всем Дмитрий любил полноту и законченность. Теперь нельзя было бы уйти, не переворошив сундука до последней странички. Пока выискивал Тютчева и складывал его отдельной стопкой, попалось несколько книжек сочинений Спенсера, «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, а также «Эстетика» Гегеля: эстетика поэзии, эстетика прозы.

На Дмитрия, читавшего по эстетике лишь диссертацию Чернышевского, пахнуло с замороженных страниц чуть ли не извечной сладостью запретного плода.

Пластами лежала и сама «Нива». От страниц ее, от картинок, от заглавий, от шрифтов веяло такой стариной, будто прикоснулся к эпохе тысячелетней давности. А ведь, в сущности, если ценить трезво, и всего-то прошло от выпуска этой самой «Нивы» каких-нибудь тридцать пять — сорок лет. Разное, значит, бывает время.

Тютчев собрался полностью. От Фета сохранилось четыре выпуска, но в том числе и первый с заметками о Фете некоего Страхова, а также с портретом русского лирика.

Книги раскладывались по стопам: «Философские повести» Вольтера — в одну стопу, журналы — в другую, допотопные (но тем и интересные) учебники — в третью. Попалось под руки и евангелие с дарственной надписью: «Дорогому Леониду Федоровичу в день тезоименитства. Будь так же светел и мудр». Ни подписи, ни даты не было.

Дмитрий подумал, как он будет рассказывать Геле об этих интересных находках. И о том, что это будет очень скоро, через какую-нибудь неделю. Представив все это, он почувствовал себя вовсе счастливым человеком.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вечерами Дмитрий садился писать стихи, а Саша рисовал большой портрет Карла Маркса. В разговоре с самойловским избачом Мишей Ляпуновым Саша проговорился насчет своих живописных способностей и теперь

расплачивался за это. Впрочем, работа была приятна для Саши. Он расчертил на клеточки портрет, вырванный из учебника, потом на клеточки же расчертил большой лист бумаги. Теперь его вечера были заполнены с толком. Но был он все равно неспокоен, непоседлив, каждый час нужно было ему менять занятие, словно некий бесенок сидел внутри него и время от времени щекотал, побуждал к действию.

— Давай, старик, писать буриме,— говорил он, отрываясь от роскошной Марксовой бороды.— Интеллигентная, литературная игра. Не пренебрегай.

На листе столбиком писали первые попавшиеся рифмы:

село
кусок
зело
висок

Каждый по очереди сочинял строку к рифме, но так, чтобы другой не знал сочиненного. Строчка Сашина, строчка Митина; строчка Сашина, строчка Митина. Получалась бессмыслица, несусветная чертовщина. В этомто и состояла вся забава. Когда открывали друг другу написанное, хохотали над бессмыслицей:

Уснуло зимнее село.
Собаке бросили кусок.
Напился пьяница зело.
Ее серебряный висок.

Иногда получалось посмешнее, в особенности если длинное стихотворение.

Неожиданно разыгралась буйная, прямо-таки классическая метель. О такой пишут в книгах, что в поле как в котле кипит и что свету божьего не видно. Саша пристал к Мите:

— Своди меня в поле, покажи настоящую метель.

С крыши над крыльцом стремительно текли туманные струи снега. Они, не долетев до земли, начинали завихряться, метались в стороны, как языки большого белого пламени. Потом налетал ветер из-за угла, перепутывал их еще больше, срывал и уносил вдоль по улице.

Увязая и барахтаясь в пышном снегу, пробились к дороге, где нога не вязла выше колена. Отворачиваясь от

ветра, побрели за околицу. Было темно, как в сумерки. Постояли немного у крайнего овина. По гладкому, утрамбованному ветром снегу текли, извиваясь, огибая бугорки и неровности, обильные снежные ручьи. Текли они со скоростью метельного ветра, то есть очень быстро, и здесь, у овина, где стояли друзья, вдруг вскидывались на дыбы, на крутой высокий сугроб, а с верхушки сугроба пылили в разные стороны, как мякина из веялки.

Понизу струился самый плотный, самый тяжелый снег. Но оставалось его и на то, чтобы мчаться по воздуху над землей. От горизонта до горизонта катилась по равнине со свистом и гиканьем сумасшедшая белогрудая конница.

Снег клубился в своем горизонтальном полете, взвихрялся вверх. Удавалось подняться ему до высоты телеграфного столба. Вот какая лавина неслась по пустой равнине! Отошли в поле, чтобы овина не было видно за метелью. Чтобы уж ничего вокруг, кроме снега и свиста. Постояли, послушали, Митя из гостеприимства: «Угощайся, на здоровье!», Саша из приличия — сам напросился на экскурсию. Постояв, побрели обратно.

— Теперь всем буду говорить, что видел метель,— отряхаясь от снега, порадовался Саша.

За полубездельем подкралось событие, мимо которого нельзя пройти, рассказывая о Дмитрии Золушкине.

Какой-то особый бесенок щекотнул Сашу (без него, без Саши, ничего бы и не было). Зимние вечера, которые ложатся на землю с четырех часов, долги и для непривычного человека утомительны. Мите хотелось посидеть дома, пописать или почитать. Саша, с его характером, тянул в клуб, где Миша Ляпунов зажигал по вечерам, так сказать, огонек культуры.

На огонек шли сначала сельские ребятишки. В бревенчатом помещении было пусто и холодно. Миша, правда, топил печку казенными березовыми дровами, но в клубе почему-то не держалось тепло. Впрочем, все равно никто не стал бы снимать пальто. Для одетых людей температура была вполне терпимой.

Помещение — пять на десять метров — уставлено разнокалиберными (с бору по сосенке) скамейками. На стенах — художественное творчество Миши Ляпунова. Лозунги, плакаты и графики. Лозунги на красной материи ближе к потолку. Прошлогодние, позапрошлогодние. Но

не все ли равно, если Миша отдал бы обе руки на отсечение, что никто из сельских жителей не знает, что там написано. Впрочем, не помнит этого (разбуди ночью) и сам Миша Ляпунов.

В плакатах нет уж того обобщения, как в лозунгах. Они более конкретны: «Озеленим наши города и поселки!», «Засуху победим!», «Все на великие стройки коммунизма!». Но если старик Фадеич и посадил перед своими окнами три ветлы на место остаревших и рухнувших, то вряд ли все же он сделал это под непосредственным воздействием плаката «Озеленим наши города и поселки!»

Графики должны бы касаться каждого. И ведь как оформлены! Допустим, вырезана из журнала симпатичная картинка со свиньей. Тут же написано, сколько свиней колхоз должен вырастить к отчетно-годовому собранию. То же с коровами, овцами. Эти животные, правда, не назывались уж больше просто коровами или просто овцами, но единственно — поголовьем то крупнорогатого, то мелкорогатого скота. Графики должны были бы интересовать каждого колхозника своей конкретностью и целенаправленностью. Но так как они никогда не выполнялись, то на них перестали смотреть, и они несли тут в основном декоративную функцию.

Стенную газету Миша Ляпунов выпускал два раза в год: к Первому мая и к седьмому ноября. Называлась газета «Колос». У Миши были в запасе готовые бланки для стенной газеты, которые он заполнял. Сначала шла передовая статья, переписанная из районной газеты и посвященная событию. Потом зоотехник и агроном (интеллигенция села) призывали к трудовым успехам. На последнем столбике Миша рисовал большой почтовый ящик с письмом, стремящимся в щелочку.

В конце «зала» устроен помост, заменяющий сцену, на нем в одном углу радиоприемник «Родина», в другом — коричневый шкаф, где Миша держит шашки, шахматы, домино, гармонь, гитару, мандолину, свернутые в трубочку плакаты, бутылку канцелярского клея, коробку с гвоздями, молоток и клещи.

На гитаре и мандолине не было ни одной струны. Митя это хорошо знал, потому что, когда однажды ему понадобилась струна для щучьей удочки, они с Мишей перекопали весь шкаф — не нашли.

Из игр каждый вечер шло в ход домино. Алексей Николаевич, бывший председатель сельсовета (и основоположник советской власти в селе Самойлове), ходил в клуб как на дежурство. Собирались и еще пять-шесть любителей. Четверо играли, а двое-трое «болели». Алексей Николаевич, как самый ярый игрок, разумеется, никогда не оставался в стороне.

Здесь не было городской или курортной манеры хрястать по столу что есть силы, именно «забивать козла». Самойловские мужики играли тихо, степенно. Заскорузлыми пальцами кропотливо и неловко выставляли очередную фишку. Другой игрок ее обязательно поправлял.

За кулисами, оклеенными зелеными обоями, был еще один шкаф, хорошо знакомый Дмитрию. В том шкафу помещалась, занимая три с половиной полки, немудреная самойловская библиотека.

Итак, сначала приходили мальчишки, потом бывший председатель, потом его партнеры. Потом уж собиралась и молодежь: семь-восемь девчат, трое-четверо парней, подростки. Девушки лениво танцевали под Мишины пластинки, ухватившись друг за дружку и равнодушно глядя по сторонам. Парни курили махорку. Клуб наполнялся едучим махорочным дымом, с сильным привкусом жженого лошадиного копыта.

Саше полюбилось бывать в клубе. Его общительный характер располагал к себе и упрощал отношения. За четыре дня он успел переухаживать за всеми самойловскими девчатами, растерявшись и не зная, на которой остановиться. А те весело и беззаботно принимали его ухаживания, не видя в них ничего серьезного.

Потом Маруська Зотова, чернобровая, румяная, невысокая, но крепкотелая девушка, острее других царапнула беззаботно-любвеобильное сердце Саши. Царапнуть-то царапнула, но и бровью не повела. По-прежнему равнодушно шелушит в горстку каленые семечки.

Задетый за живое, Саша начал стремиться к популярности и славе. Портрет Карла Маркса, как ни странно, не поколебал Маруськи Зотовой. Тогда Саша договорился с Мишей Ляпуновым устроить в клубе вечер с чтением стихов (не без Дмитрия, разумеется).

Всегда надо верить первому безотчетному движению души. Дмитрий испугался, когда Саша сообщил ему о вечере. Но Саша уговорил и успокоил:

— Даже странно, что ты до сих пор не устроил вечера. Земляки. Односельчане. Широкие народные массы. Рядовой советский читатель. Одним словом — народ, для которого у нас все — и композиторы, и художники, и мы, поэты.

Дмитрий застыдился после этих слов и согласился участвовать в вечере, хотя и пробурчал:

— Одно дело — вообще народ. А когда конкретно — Васятка Петухов... Надо, чтобы было полное взаимопонимание.

В этот вечер Дмитрий и Саша пришли в клуб раньше обыкновенного. Миша включил «Родину». На сцене за столиком (не играя еще в домино) сидело трое парней, в полутемноте зала притаилась стайка девушек. Они смеялись чему-то своему, но все же нарочито громко.

Саша не волновался ни капли, а Дмитрий (странно!) волновался больше, чем где-нибудь в Москве, в педагогическом, к примеру, институте перед аудиторией в восемьсот человек. Чтобы отвлечься и забыться, он сам стал крутить настройку приемника.

Тотчас попалась грузинская музыка, и Дмитрий остановился, чтобы послушать. Женский голос вел песню на высоком волнующем трепетанье. Немного гортанное протяжное пение по неизвестным таинственным законам воссоздавало теплую южную ночь с отдаленным шумом хрустальной горной реки.

— Эх, батюшки! — врезался в песню голос Юрки Горямина.— Тянет, как слепого за одно место.

— Скулит, как голодный волк на луну,— подхватил Васятка Петухов.

— Наверно, еще деньги платят.

Внутри у Дмитрия все похолодело и оборвалось: «Боже мой, что же им теперь прочитать, чтобы не показалось нелепым, вроде этой красивой и лиричной грузинской песни?» Заметался по углам в памяти. «Что я писал все эти годы, если теперь, перед лицом родного села... А если бы читать им «На холмах Грузии»? А если Блока? А если «Прелюды» Рахманинова? Где граница? «Буря мглою» — давно уж народная песня. Иносказанье рябины и дуба вполне понятно. Но Пушкин как философская и эстетическая категория... Но Блок, впервые назвавший Россию не матерью, а женой?»

Народ пошел густо. Дверь не успевала захлопываться. Шумно, с разговорами, рассаживались по местам:

— Концерт будет или чего?

— Протаскивать нас будут, не иначе.

— Приезжий-то, говорят, востер.

— Чай, и наш не уважит. Который год все учится. Чему-нибудь научился.

— Про Теркина будут рассказывать.

— Не ври.

Миша-избач, оказывается, заранее приготовил вступительную речь. Он, когда все уселись, вышел на трибуну, обтянутую кумачовой материей, и вдруг, неестественно изменив голос, как если бы перед ним были не сорок человек в маленькой комнате, а городская площадь с морем голов, пошел заливаться на высокой певучей ноте.

— Товарищи! Прежде чем передать слово нашим дорогим студентам, я должен охарактеризовать международное положение Советского Союза.

Слушали терпеливо и молча. Потом Миша перешел на внутреннее положение в стране. Посыпались тонны стали и нефти, пуды зерна и даже хлопка, которого вовсе уж никто никогда не видел в селе Самойлове.

Рябь оживления пробежала по слушателям, когда Миша перешел к традиционным лозунгам, которыми, как и полагается, должна заканчиваться каждая речь. Четыре «Да здравствует!», и под аплодисменты Миша сошел с трибуны.

Дмитрий испугался за Сашу. Трудно будет ему переходить от такой высокой ноты к задушевному разговору или к чтению простеньких стихов. Но Саша не терялся ни в каком положении. Дмитрий и не заметил, как аудитория начала шевелиться, потом все засмеялись громко и дружно.

Саша рассказал, как он служил в армии, в тыловом запасном полку. Как начальнику сказали, чтобы подшутить над Сашей, будто тот умеет рисовать, и как начальник приказал Саше нарисовать его, начальника, портрет.

— Моей рукой водил страх,— заливал Саша,— и, хотя я никогда до этого не рисовал, начальник получился как вылитый. Я, конечно, прибавил ему героизма, грудь нарисовал колесом, на груди — ордена.

Поговорив таким образом с полчаса, Саша, нисколько не сомневаясь ни в себе, ни в слушателях, начал читать стихи. Стихи были обыкновенные, Сашины, в меру тепленькие, в меру гладенькие, текли без сучка без задоринки. К тому же все знали, что полагается под конец аплодировать.

Положение Дмитрия осложнялось с каждой минутой. Скоро ему выходить на трибуну, а он не знает, ни что ему читать, ни что говорить. Сидят его земляки: тетя Прасковья, у которой с войны не вернулось трое сыновей, сорокалетняя вдова Капитолина с четырьмя ребятишками на руках, дед Егор с бабкой Дуней (домишко у них совсем завалился на передний угол)... Надо бы что-то сказать им. Но какая-то странная пустота в голове, и не приходит ни одного необходимого слова.

Были у Дмитрия в стихах тончайшие наблюдения. Была и сила. Почему лист на дереве держится прямо, не повисает, как тряпка, не никнет? Потому что существует напор соков. Дерево нагнетает соки под давлением. Давление соков делает упругим каждый лист. Дмитрий чувствовал в себе, как в листе, душевный напор, идущий, должно быть, из глубины поколений. Или, может быть, от этих вот мужиков и баб, от необъятного родного народа.

Стихотворение — сложный нервный организм. У него есть нервные центры, как у всякого живого существа. Не надо кромсать и коверкать стихотворение, чтобы его убить. Зачем? Достаточно ужалить в нервную точку. Стихотворение мгновенно парализуется, повиснет, как тряпка. И все-то жаленье состояло в переделке одной строки. Стихотворение очень легко убить, нужно только знать, куда клюнуть.

И потом ведь у каждого поэта должен быть свой мотор. Стихотворение должно сначала, как самолет, разбегаться, а в определенной точке переходить на свободный полет, парить. Самолету, чтобы разбежаться, нужна бетонированная площадка, но, чтобы лететь, ему нужно небо. Так и в стихотворении. Разбегайся на точных конкретных деталях, на зримых и ярких образах, оттачивай рифмы, подпусти юморку, задень за живое резким сопоставлением — это все твой разбег. В воздух же, в небо поднимут только крылья отвлеченной и чистой мысли. Вспоминается строфа Луговского:

Мальчики играют на горе,
Сотни тысяч лет они играют.
Умирают царства на земле,
Детство никогда не умирает.

Блестяще! Для разбега понадобилась одна строка.

Все это мелькало в голове у Дмитрия, но мелькало и то, что подобные соображения (хватило бы на трехчасовую лекцию) не нужны ни деду Егору с тетей Дуней, ни Маруське Зотовой, ни даже избачу Мише Ляпунову. А того, что им нужно, у него, должно быть, не было.

Правда, еще и то нужно учесть, что чем сильнее человек любит, тем труднее ему говорить о любви. Если же так себе провести время, сложно ли наговорить с три короба! Как же получилось, что ни разу до сих пор не задумался Дмитрий над тем: а что же им нужно? Приезжая на каникулы в село, встретится с кем-нибудь, скажет «здравствуйте», но — жизнь своя, интересы свои, иное течение времени. Искупаться на рассвете, уйти подальше в лес, написать стихотворение о том, как молния сокрушила в лесу тяжелый дуб и все деревья жалели и плакали, одна лишь березка захлопала в ладошки и рассмеялась: она впервые увидела солнце. Дуб загораживал солнце, держал березку в тени. Теперь она радостно потянулась к свету.

Большая радость от каждого написанного стихотворения. Он идет по деревне, весь напоенный солнцем, здоровается с дедушкой Губиным, вовсе не задумываясь над тем, что́ в голове и на сердце у дедушки Губина, в то время как у него, Дмитрия, в голове и на сердце стихотворение о сокрушенном дубе.

Теперь подошла расплата. Дмитрий стоял на трибуне и видел, что все от него чего-то ждут. Они ждут еще и потому, что этот вечер для них вроде бы соревнование: «Приезжий, говорят, востер, но и наш не уважит».

Состояние в точности такое, как много лет назад на гулянье. И знает, что нужно сейчас шагнуть за уходящей Шурой, догнать ее, и все понятно, все известно, что̀ нужно делать, но секунды уходят, а он остается на месте.

(Да, пожалуй, все-таки про дуб. Неужели трудно понять? Или над каждым из них не распространилась некая темная и хмурая крона? Или каждому из них не стало бы светлее и легче? Постой, постой, но разве ты это самое и хотел сказать?)

По рядам пошел недоуменный шумок. Кто-то громко вздохнул. Слегка хихикнул.

— Я сейчас не готов,— начал говорить за Дмитрия его собственный приглушенный голос.— Я потом. Когда-нибудь потом...

— Он послезавтра! Стишок из головы выпал.

— Нет, я позже... Лет через восемь. Нужно собраться с мыслями.

Слушатели дружно засмеялись. Саша вскочил, чтобы все взять в свои руки.

— Я думаю, мы попросим все же Дмитрия Золушкина прочитать хотя бы одно стихотворение,— и первый стал аплодировать.

Дмитрий понял, что все равно придется читать, и прочитал стихи про дуб и березку. Торопливо ушел с трибуны, не глядя в зал, где люди начали подниматься со скамеек. Обострившимся слухом поймал два или три словечка.

— Оплошал.

— Куда уж нашим в калашный ряд.

— Про какой-то дуб написал.

— Наверно, про тот, что в Дерябе.

— Там вовсе не в дуб ударило, а в сосну. Она и сейчас там лежит расщепленная.

— Значит, наврал.

— Слышал звон, а не знает, где он.

— Через восемь лет приходите, он приготовится...

На другой день Дмитрий шагал рядом с отцом вдоль села. Они шли в лес, чтобы напилить дров,— одному Василию Васильевичу несподручно.

Прошли почти сутки с позорного выступления в сельском клубе, а все живо, как в первые полчаса. Он не знал еще, что и через три года воспоминание будет так же ярко и никуда от этого теперь не уйти.

«Ну да, ну да,— цеплялся он за разные теоретические соломинки,— многоступенчатое влияние и воздействие культуры. Я понимаю Блока и Вийона. Значит, я — передаточное звено. От них к народу, к Юрке Горямину и Васятке Петухову. Но что я могу им передать? Значит, что же я есть и зачем я? В университете студенты мне аплодируют и просят читать еще. Я читаю. А этим людям, с

которыми я вырос, которые меня породили, мне нечего сказать! Позор! Позор и позор! Один ли Блок должен спускаться до них всех, они ли все должны подниматься до него, или такие, как я, должны уходить от них к тончайшему пониманию и ощущению Блока?»

Вспомнилась хлесткая фраза Матвея: «Они думают, что вышли из народа, а на самом деле они ушли от него». «А что же делать? Сколько лет еще мы не сможем с Васяткой Петуховым или с дедушкой Губиным обсуждать стихотворные опыты Брюсова или ощущение космического в творчестве Тютчева? Как думать одинаково и об одном?

Вот я и родной отец. Мы идем за дровами. Он несет топор, я — пилу. Я думаю о многоступенчатом воздействии культуры на широкие народные массы. А о чем думает он сейчас, сию минуту, сию секунду?»

Совпало так, что Василий Васильевич в сию-то секунду и высказал вслух то, что думал:

— На Миколавке,— сказал он,— хороша́ береза растет. Давно я на нее прицеливаюсь. Только подъезжать неудобно — за оврагом.

— Можно заехать со стороны Дерябы.

— Пожалуй, так.

До самого леса шли молча. Вопрос с березой обсужден. Василий Васильевич не любил говорить попусту.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дмитрия вызвал к себе директор. Надо сказать о нем несколько слов, потому что он был примечательный человек, так, по крайней мере, казалось всем студентам. Уж одно то, что он мог пойти со студентами «на угол» и провести там с ними вечер за тяжелым мраморным столиком, не лишено выразительности и характера. Пива он, правда, пил немного, ссылаясь на возраст и печень, но стихов поневоле приходилось принимать ударную, едва ли не токсическую, порцию.

Василий Сидорович слушал каждое стихотворение истово. А ведь были и никчемные, и вовсе пустяковенькие стихи. Выслушав, нужно сказать если не директорское (в условиях пивного бара), то, во всяком случае, свое старшее мнение. Сказать без ущемления поэтического са-

молюбия, с одной стороны (педагог!), без фальши и лжи — с другой.

— А что, а что? — начинал он своей обычной скороговорочкой.— Сочные стихи мужик-то пишет. И мысль... Очень интересная мысль. Вспоминаю по какой-то странной аналогии одно стихотворение Анненского «Из кипарисового ларца...».

И тут же начинал читать вспомнившееся «по странной аналогии» стихотворение (Анненского, Цветаевой, раннего Тихонова, раннего Прокофьева, Луговского), и вдруг все забывали о только что прослушанном стихотворении студента, и сам студент понимал, что высунулся с пустяком. Как если бы архитектор выставил свое здание — три кирпича, положенных друг на друга, а ему показали бы Покров на Нерли, или Кельнский собор, или Эйфелеву башню, или здание парламента в Будапеште. Положение Василия Сидоровича сложное. Поэты, прозаики, драматурги, критики, хотя бы и будущие, народ более беспокойный, чем студенты-химики, или медики, или металлурги. И то сказать, все студенты во все времена — беспокойный и неугомонный народ.

Если выразиться по-старинному, то был Василий Сидорович неисправимый либерал, которыми во все времена изобиловала русская интеллигенция.

Дмитрий хорошо помнил, как еще на втором курсе (дело прошлое) захотелось ему среди зимы, среди учебы, за месяц до экзаменов, уехать в свое Самойлово и как пришел он к Василию Сидоровичу.

— Так. Цель, значит, ясна. Писать стихи. Я понимаю, понимаю. Там, в деревне, располагает. Верю. Напишешь, не подведешь. Ну, а основание?

— Какое основание?

— Основание, по которому я, директор учебного заведения, отпускаю вас в неурочное время?

— В урочное как раз,— мрачновато улыбнулся Дмитрий.

— Каламбурить мы тоже умеем. А суть?

— Нет, Василий Сидорович, никаких оснований. Писать стихи. Разве это не основание?

— Идеализм. Сейчас я ваше желание — писать стихи — подошью к делу, в папочку, передам секретарю,— и, видя, что Дмитрий собрался уходить, зачастил еще более: — Ты вот что. Представь мне справку... Ну, какую

бы справку...— Начались конкретные инструкции, как ловчее обмануть директора института и на законных основаниях уехать в деревню за месяц до сессии.

Через две недели Дмитрий сидел на квартире Василия Сидоровича и читал ему новые, только что написанные стихи. Василий Сидорович помешивал в стакане чай и потихоньку ворчал:

— Стихов ты написал. Вот погляжу, как будешь сдавать экзамены. Если явишься не подготовившись, «зарежу» с улыбочкой. Да, да. С моей же улыбочкой и зарежу. И стипендии не дам. Точно так.

Теперь Василий Сидорович зачем-то сам вызвал Дмитрия, поздоровался за руку, усадил в глубокое кресло.

— Как самочувствие, Митя? (Было принято называть студентов по короткому имени.) Слышал, трудишься над поэмой. В чем же нерв?

Дмитрий замялся. Мог бы сказать, что стихи нельзя пересказывать словами, как, впрочем, и любое другое, вплоть до огромного романа. Ну, что там «Анна Каренина», в чем содержание? Жена ушла от мужа к любовнику, а потом бросилась под поезд. Толстого будто бы попросили пересказать содержание «Анны Карениной», но мудрец ответил, что если бы он мог пересказать содержание романа короче, чем у него написано, то и роман был бы короче.

Но Дмитрий понимал, что́ у него спрашивают, и постарался сформулировать как можно четче:

— Нерв такой. Жалко? Жалко. Надо? Надо. Тут и конфликт, тут и главное содержание.

— Так. На каком же материале?

— Точно еще не отстоялось. Материал может быть самый разнообразный. Например, озеро Севан. Есть проект спустить его, устроив каскад гидростанций. Через пятьдесят лет озеро исчезнет. Одно из самых красивых озер земли. Заздравная каменная чаша с голубой влагой, поднятая в небеса. Серебряная форель. Армянские песни. Хрустальные родники по склонам гор... Но зато пятьдесят лет оно будет вырабатывать электроэнергию. Жалко? Жалко. Надо? Надо. Конфликт неразрешим. Мое дело поставить. Можно взять что угодно, кончая судьбой одного какого-нибудь маленького человека, винтика, как учит нас...— Дмитрий замолчал.— Когда заменяют вин-

тик, та же проблема. Жалко? Жалко. Надо? Надо. Это и есть наиглавнейший нерв.

— Да, да. Конечно. Разумеется. Я-то хотел поговорить с тобой насчет диплома. Я сейчас с каждым из вас об этом говорю. Ты конкретно что собираешься представить в качестве дипломной работы?

— Может быть, как раз и закончил бы поэму.

— Разумеется, разумеется. Но я бы все-таки посоветовал пока что перевести ее на параллельные рельсы. Ты — мужик двужильный. Что тебе стоит! А для диплома, допустим, цикл стихов. Но ударное что-нибудь. Ты же сам понимаешь. Диплом. Государственная комиссия. Дело в высшей степени официальное. Для твоей же пользы. Хотелось бы выпустить тебя первым сортом. А? Ну, подумай, мало ли близких тем! Грандиозные лесозащитные насаждения. Это же твое, земное. Идет такое преобразование земли. Каналы. Гидростанции. Искусственные моря. Я понимаю, понимаю,— даже руками отстранился, ибо Дмитрий хотел ввернуть словечко.— Я понимаю, что и у тебя то же самое. Но все же оттенок трагизма. Не правда ли? И потом сама нерешенность конфликта... Я не против этой поэмы, не думай. Я буду рад по-отцовски. Но диплом! Впоследствии пиши себе, решай конфликты, ворочай... Значит, подумаешь? И еще одна маленькая просьба. К нам приехали учиться ребята из стран демократии: три румына, двое болгар и полька. Они будут жить в общежитии. Так уж вы с ребятами возьмите... ну, не шефство, не в полном смысле... Но все-таки...

Был день стипендии — самый благодатный день для того, чтобы собраться, познакомиться и повеселиться. Ванечка и Митя возглавили и повели дело.

Румыны, рослые, гибкие ребята, которым играть бы в баскетбол, а не писать стихи, ни слова не знали по-русски. Только один из них мог с трудом выговорить и понять: товарищ, здравствуйте, спокойной ночи. (Через несколько лет они будут говорить по-русски безупречно и без акцента.)

Болгарин и болгарка, напротив, с первых минут, с первых слов начали все понимать, и отвечать на вопросы, и поддерживать разговор — настолько близкими оказались языки. (Через несколько лет они будут говорить по-русски примерно так же, как и в первые дни.)

Полька умела говорить по-русски.

Чтобы все было на глазах, Ванечка и Митя повели новых друзей в самый большой московский магазин, где и было куплено несколько бутылок, три банки маринованных огурцов и несколько килограммов сосисок.

В общежитии не было серванта с красивой и дорогой посудой. Стояли то на окне, то на тумбочке разнокалиберные, все больше граненые, стаканы. Кроме того, кто же предполагал, что там у них, за границей, своя, особая манера пить водку — отхлебывать небольшими глоточками, растягивая одну рюмку по возможности на целый вечер.

Когда Дмитрий недрожащей рукой налил всем по стакану, это было принято как веселая шутка. Гости дружно захохотали, радуясь остроумной выходке Дмитрия. Смешно, а выпивать до конца, надо полагать, не обязательно да и невозможно без того, чтобы тут же, на месте, не умереть.

— Дорогие друзья! — начал Дмитрий торжественно и проникновенно.— Мы были разрозненны и даже иногда воевали друг с другом. Сложными были наши отношения с боярской Румынией, с панской Польшей и царской Болгарией. У нас у самих когда-то было самодержавие, и мы это хорошо помним и знаем. Сейчас вы вместе с нами на новом пути. Не забывайте же, что мы были первыми, что нам было труднее всех. Не забывайте, что и вам сейчас было бы труднее без наших первых пятилеток, без нашей коллективизации, без нашей победы над внутренним и внешним врагом. Теперь нас много. Мы все время говорили о капиталистическом окружении. Что ж? Теперь неизвестно, кто кого окружает.

Я предлагаю выпить за человека, которому мы обязаны и пятилетками, и коллективизацией, и разгромом внутреннего врага, и победой в великой войне. За человека, который собрал нас всех в одну семью и научил великому слову — дружба. Я пью за строителя самого гуманного общества на нашей планете. За человека, с именем которого мы ложимся и с именем которого встаем, с именем которого мы бросаемся на амбразуры дзотов или идем на воздушный таран, с именем которого мы боремся и побеждаем. Я предлагаю выпить до дна за великого Сталина!

Все вскочили, держа стаканы в руках. А когда сдвинули стаканы над серединой стола, румын Георгий начал

скандировать, дирижируя левой, свободной от стакана рукой:

— Друж-ба, друж-ба, друж-ба!

И все подхватили, и Дмитрий почувствовал знобящий, ликующий восторг, который не оставлял его почти до конца вечера.

Странно, что только после стакана водки Дмитрий увидел, какие они красивые — и золотоволосая синеглазая Станислава, и по-южному темная Цветана.

Заграничным парням пришлось, конечно, выпить по предложенному стакану, и было это у них впервые в жизни. Румыны вскочили, обнялись за плечи и запели марш ударных бригад, где был припев, удобный для подхватывания остальными:

Хей-руп, хей-руп,
Цу-гип, цу-гип!

Хохоча, все взялись за плечи, пошли вокруг стола и пели марш ударных бригад. Выпивали за Берута, за Червенкова, за непредвиденные встречи в грядущих боях. Не менее огнеглазый, чем землячка, болгарин Богомил, сидевший рядом с Дмитрием, шепнул, поднимая чару:

— За встречу в Константинополе! — и Дмитрий понимающе кивал и улыбался, не вникая в смысл: почему в Константинополе? Надо так надо.

Как всегда, Дмитрий и теперь состоял из двух человек. Один пел песни, ел сосиски, наливал в стаканы. Другой как бы сидел внутри, и хватал на лету впечатления, и лихорадочно рассовывал их какие куда, и, отвлекаясь, витал в своем. Мелькали ситуации всевозможных стихотворений. Из темноты выплывали разноцветные видения и светящиеся строчки, которые (если тут же не схватить и не пришпилить к сознанию) снова проваливались в темноту.

«А черт с ним, с конфликтом! Жалко — надо. Написать что-нибудь обо всем об этом. О ликованье и дружбе. Например, я, советский солдат, в немецком плену. Меня везут через Болгарию. Я проломил дно вагона. Или разбомбили состав. Стучусь в затемненный дом. Девушка, как эта Цветана, прячет меня, небритого, немытого, в тайной комнате. Отец ее, седовласый профессор, лоялен по отношению к немцам. Монархист. Все тайна. С Цветаной,

конечно, любовь. Потом болгарские партизаны. Тема дружбы народов, как за этим столом».

— Какие есть красивые болгарские имена? — кричал захмелевший Дмитрий захмелевшему Богомилу.

Богомил, улыбаясь, отвечал:

— Цветана, Лиляна, Блага, Ваня, Багряна, Снежана.

— А как Снежана уменьшительно?

— Снежа.

— О, лучшее из земных имен! Да, да. Она будет Снежана. Снежа. Я хочу написать поэму о Болгарии.

Богомил радостно кивал, улыбался, тоже не вникая в смысл Дмитриевых слов или принимая их за дань гостеприимству.

«Какая сила,— думал Дмитрий сквозь ликующую, как бы даже солнечную (при лампочке-то в сорок свечей) хмельную дымку.— Какая мы все-таки сила! Все боятся нас. Мы — никого. Мы сильны потому, что мы знаем слово. Маленькое слово, которое для нас закон. И хорошо, что оно у нас есть. С ним проще и тверже. Нет размягчающих колебаний и раздумий. Это коротенькое слово — надо. Вот о чем должна быть поэма. Все остальное — размазня. Даже Болгария — не то. Воспеть. Гимн. Трубы. Быка за рога. И е г о. Средоточие наших помыслов, носителя железного всемогущего слова «надо». «И если он скажет: солги — солги, и если он скажет: убей — убей». Как жалко, что эти слова написаны уж до меня. Багрицкий понимал... Говорят, во время Сталинградской битвы катерам невозможно было переплыть с того берега Волги на этот. Ну, невозможно, и все. Как невозможно, например, одному человеку подбежать вплотную к работающему пулемету. Тогда доложили ему. И он, помолчав, сказал: «Передайте волжским морякам — надо!» Надо — наш закон. Норма нашего поведения. Да скажи хоть мне, прикажи мне что-нибудь — надо. Надо идти на войну? Надо на лесозащитные полосы? Надо на Колыму? Надо написать патетическую поэму? Надо выступить на собра...»

По странности стакан оказался недопит более чем наполовину. Ни на кого не глядя, вылил водку в себя. Пляшущие огоньки в глазах у Цветаны на мгновение повисли в неподвижности. Говорят, женщины, словно самые тонкие приборы, ощущают малейшую перемену в душевном состоянии мужчин.

Пировали в маленькой комнате, отведенной румынским студентам. Спать же Дмитрий спустился к себе в подвал. Не зажигая света, пробрался к койке, разделся, лег. Долго не мог уснуть. А когда поплыла темнота, заполняя, как разлившаяся тушь, самые извилистые, самые затаенные уголки сознания, кому-то понадобилось включить свет в комнате. Дернулся, привскочил, чтобы выругаться, и... онемел. В дверях стояли майор, двое в штатском, участковый милиционер, а сзади, в тенечке темнела путаная со сна дремучая раскольничья борода дворника Серафима.

— Товарищи студенты, прошу всех оставаться на своих местах. Проверка документов.

Милиционер, один штатский и бородатый Серафим остались в дверях. У штатского правая рука в кармане. Майор с подручным пошли по рядочку от койки к койке.

Студенты копались, ища паспорта, кто в штанах, брошенных перед сном кое-как, кто в курточке. Может быть, движения каждого хозяина штанов были бы точнее, если бы днем да не стоял бы над тобой невозмутимо строгий майор с ангелом-хранителем за плечами.

Майор делал вид, что тщательно прочитывает все, что написано в паспорте, переводил глаза то с паспорта на студента, то со студента на паспорт, словно бы нехотя возвращал тоненькую потрепанную книжицу, отпуская вместе с тем и душу на покаяние. Торопиться ему, как видно, было некуда. Вот он посмотрел документы Аркаши Рыбина, вот Игорь Ольховатский с подчеркнутым небрежением (а побледнел) принял из рук майора милостивое соизволение снова укрыться одеялом. Вот Матвей отдал свой, весь в телефонных номерах и поэтических заметках, паспорт.

Майор только и ждал этой секунды. Казалось, еще глазом не успел он коснуться первой страницы документа, как вдруг выпрямился, резко протянул руку к Матвею и громко скомандовал:

— Ваше оружие!

Игорь Ольховатский потом хорохорился, что он бы де на месте Матвея торжественно протянул бы авторучку.

Но, во-первых, Матвей растерялся, а во-вторых, и ручки у него могло не найтись в нужную секунду.

— Нет у меня оружия,— Матвей беспомощно похлопал ладонями по грязной исподней рубахе и потянулся к ящику тумбочки.

— Руки!

Но оказалось, что Матвею нужно было взять очки.

— Оденьтесь и сядьте на стул посреди комнаты. Вы арестованы. Положите все ваши личные вещи. Будет обыск.

— Только жизнь-то хорошая началась,— бурчал Матвей, устроившись на стуле, в отрешенности от стен, от коек, от стола и от всех лежащих на койках. Под хорошей жизнью он, несомненно, подразумевал отмену карточек на хлеб и продукты, потому что карточки были главным бедствием в его жизни: он их всегда терял.

Наверно, ни у кого из этих людей, исполняющих высшую волю, не было такого необыкновенного обыска. Рукописи Матвея — листы, исписанные крупным школьным почерком, были рассеяны всюду по общежитию и институту. Хорошо еще (для облегчения обыскивающих), что Ванечка с Дмитрием пожгли ворох этих листов, ежедневно варя похлебку. Полезли в урну — там обнаружились скомканные бумаги с почерком Матвея, заглянули в печку — половина ее забита такими же бумагами. Один сотрудник догадался проверить ящичек в мужской уборной и принес несколько листиков (скорее всего и в женской уборной поиски увенчались бы успехом). Особенно много бумаг было под матрацем самого Матвея. Собственно, там хранились его основные архивы. Бумага лежала спрессованными, слипшимися слоями: внизу трехлетней давности, сверху — свеженькая. Черновики поэмы, которую Матвей бормотал про себя последние полгода и которая была еще далеко не закончена.

Обыск оказался длинной и скучной процедурой. Скорее всего он казался длинным и скучным только тем студентам, которые оставались лежать на койках.

Ни у кого из ребят (как потом выяснилось в разговоре) не было мучительных раздумий: за что берут, за какое такое государственное преступление? Где-нибудь что-нибудь не так сказал: или рассказал анекдот, или перехлестнул в горячем споре, или, может быть, промелькнула двусмысленность в стихах, этакая неточность, когда мож-

но истолковать по-разному. Дело обычное. Не он первый, не он последний. В последнюю минуту, перед самым уходом Матвея, когда ему сказали: «Вставайте!», получился мимолетный крохотный экзаменчик. Матвею позволили попрощаться с друзьями как уж он хочет. Мог крикнуть с порога: «Прощайте, братцы!» Мог поклониться, мог не кланяться. Но все получилось по-другому. Матвей пошел от койки к койке, от человека к человеку и на первого попал на Володю Бабочкина. Тот и глазом не успел моргнуть, как Матвей наклонился к нему и поцеловал на прощание. Бедный Бабочкин привскочил и, побледнев и заикаясь, объяснил майору:

— Это не я его поцеловал. Это он сам. Сам.

— Разрешается,— обронил майор, поморщившись, словно наступил босой ногой во что-нибудь мягкое и расплывчатое.

Матвея с наволочкой, куда он положил свои вещички, вежливо пропустили вперед. Последним вышел дворник Серафим. Он же затворил дверь за ушедшими. Машина под окнами фыркнула, раздался звук, словно чиркнули по асфальту огромной спичкой.

— Ч-черт возьми! — сообразил, заикаясь, староста комнаты Аркаша Рыбин.— А к-как же отчитываться п-перед к-комендантом за унесенную им нн-наволочку?

Игорь Ольховатский, не глядя и не целясь, пустил в Аркадия тяжелый флотский башмак.

Что-то случилось с Игорем. Не понять такой наивной, такой безобидной шутки!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

А между тем время шло.

Надо было бы пропустить две-три папиросы, отдохнуть от курения полчаса или час, хотя бы для того, чтобы снова ощутить медленную, тяжелую сладость затяжки.

В юности, когда только еще начинал курить, иногда баловались с мальчишками, напускали табачного дыма в пустую холодную бутылку. Дым стоял там белый, плотный, как молоко, с ядовитым зеленоватым оттенком, оседал на стенки тонкой никотиновой пленочкой. Из бутылки отвратительно воняло.

Дмитрию казалось, что теперь сам он весь, как холодная липкая бутылка, переполнен плотным табачным дымом. Что внутри на каждой клеточке — в легких, в гортани, во рту, в желудке — тот самый вонючий коричневый осадок.

Надо бы хорошей щеткой отмыть все внутри. Тогда чистота и ясность наступят и в голове, где тоже все застлано сизой дымкой, заволокнуто тонкой унылой болью.

Ну, если не щеткой, то хотя бы идти теперь час, и два, и пять часов по осеннему безлистному лесу, по ночному сырому городу и вдыхать бестабачный холодный воздух, пока закружится голова, но уж не от тяжелого смрада, а от чистоты и ясности.

И как это раньше: начнешь писать, сами выпрыгивают рифмы по нескольку штук на одно вакантное место, сами собой возникают сочетания слов, самые точные и самые нужные сочетания слов, о которых и не подозревал за минуту до их появления, что они могут быть на земле.

Сначала все шло хорошо. Он решил начать новую поэму с широкой, как бы даже планетарной запевки. Своего рода киноприем. Когда аппарат берет широкой панорамой, допустим, город, потом плывет, укрупняя и укрупняя план. Вот уж улица на экране, вот дом, вот окно во весь экран, а вот уж ничего нет, кроме лица, допустим, спящей женщины или телефонного аппарата, который сейчас зазвенит, и тогда-то, с этого звонка, и начнется действие.

Хотелось ему охватить взглядом всю землю, темную, морозную, с игрушечной, вспыхивающей огоньками линией фронта на ней. Потом все ниже, все ниже — Россия, Москва, Кремль, светящееся окно в Кремле...

С войной и присущей планете погодой
Летела земля сорок третьего года
И, плавно кружась в золотом хороводе,
Несла по вселенной декабрь на исходе,
И линию фронта в завьюженной мгле,
И красный флажок на Московском Кремле...

Все как будто шло хорошо, пока продолжался этот вот наплыв крупного плана, то есть пока развертывалось патетическое вступление. Но постепенно пошел снижаться накал, медленнее стали коловращаться в сознании слова, видение того, что держишь перед глазами

и что должно лечь в строку, постепенно меркло, и наконец машина остановилась вовсе.

Точно так начинает меркнуть вдруг под потолком электрическая лампочка. Во тьме краснеется волосок, не способный осветить не только отдаленные углы, но хотя бы и стол, стоящий под лампой, хотя бы и полметра окружного пространства.

Упало напряжение в цепи. Горынский как-то раз обмолвился: «У меня есть замыслы. Требуют двести тысяч вольт. Напряжения же такого, увы, у меня больше нет».

Ну да, ну да. Чтобы лампочка горела, нужно напряжение в сети. Иначе все меркнет, остается красненький волосок. Может же быть, что не хватает напряжения в цепи человеческого организма. Тогда не получаются стихи. Тогда чади, копти небо, а если думаешь, что после каждой папиросы напряжение вспыхивает, то это ошибка и заблуждение.

Нельзя было подумать, что иссякла у Дмитрия нервная физиологическая энергия. Отчего же не хочет гореть ярким светом проклятая лампочка? Отчего мертвеют слова, не успев проступить на бумаге? А те, что успевают проступить, все равно уж мертвы. Мертворожденны. Он не знал того, то есть знал, но не думал о том, что цветок должен раскрываться сам. Тогда все происходит легко и просто. Вот собраны в плотную крепкую щепотку белые лучики будущей ромашки. Много силы в человеческих руках. Что стоит распрямить лепестки, на день или на два поторопив события. Но как ни распрямляй, хоть каждый лучик отдельно, хоть все их сразу, не получится по-настоящему цветущей, свежей, полнокровной ромашки. Лучики пружинят, стремятся занять прежнее положение.

А между тем, когда приходит пора, вдруг таинственная неведомая сила заставляет дрогнуть каждый лепесток, и все они тихо, но неуклонно начинают распрямляться, образуя ромашку. Яркое неповторимое украшение земли.

Хранилась в памяти и еще одна история. Как старик на углу невдалеке от Арбата продавал водяные лилии. Он запозднился с продажей. Дело клонилось к вечеру, а в ведре у старика все еще плавали нераспроданные цветы. Оно бы и хорошо. Чем ближе к вечеру, тем больше спроса на такой товар, но лилии в ведре начали тихо закрываться, сворачиваться, превращаясь из цве-

тов в нераспустившиеся бутоны. Старик обозлился. Корявыми, но все еще крепкими пальцами он стал разгибать прохладные глянцевые лепестки. Цветы не хотели подчиниться. Тогда старик схватил ножницы и отрезал от бутона остренькую верхушку. Потом у другого, третьего. В обрезанном месте виднелась белая сердцевина цветка. Обезображенные лилии старик кидал обратно в ведро. Он понимал, что ничего не добьется, но злился от собственного бессилия и вымещал свою злобу на безвинных цветах.

— Подожди до завтра,— сказал ему тогда Дмитрий.— В десять часов утра они распустятся снова.

Старик поглядел на Митю злыми зелеными глазками, неожиданно выплеснул цветы и воду на асфальт около тротуара, подхватил пустое ведро и зашагал по улице.

Дмитрий подобрал несколько неиспорченных тяжелых лилий и отдал девушке, остановленной любопытством:

— Возьмите, поставьте в воду, завтра они расцветут. Возьмите, не бойтесь, я ведь вас не обманываю.

— Я бы взяла, но я иду в театр. За это время они задохнутся и умрут.

— Попросите гардеробщицу подержать их в воде, в умывальной раковине. Надо же спасти цветы, жалко.

Девушка улыбнулась и взяла лилии из Митиных рук.

Значит, наука пошла не впрок. А трудно ли было догадаться? Но нет. Чем больше противились не созревшие, не дождавшиеся своего часа, своей великой минуты слова, тем упрямее тащил их Дмитрий из своего сознания, пытаясь распрямить, распластать на странице, распять их на ней, чтобы не загибались краями, не сворачивались в трубочки, не теряли цвета и сочности.

И точно, слова оставались на странице, но были это либо обрывки, лоскутки, либо сохранившие благопристойную форму холодные и мертвые слова.

Нет приборов, чтобы отделить мертвые слова от живых. Разве что человеческое сердце. Если забьется оно хоть немного почаще, значит, попало на живое, кровеносное, трепещущее слово.

Впрочем, может быть, лучше опять сравнить с цветами. Китайцы так научились делать цветы из шелка и воска, что и вблизи, при самом пристрастном разглядывании и будешь знать, но все равно усомнишься. Зна-

чит, могут быть такие же точно подделки и в другом: в стихах, в романах, в живописи, в музыке и на экране. Химическим способом можно подделать доброе виноградное вино. А разве во время войны сахарин не сыпали в чай и тесто вместо сахара? Правда, говорят, сахарин не задерживается в человеке и как вошел, допустим, в количестве грамма, так точно в количестве грамма и выскакивает наружу. Хорошо, если без вреда.

Точно ли так же бесследно проходят через человеческое сознание искусственные слова и сочетания слов? Или постепенно от множества, от обилия их может накапливаться в сознании некий, хоть и слабенький, яд, действие которого на живую человеческую душу остается неисследованным и даже непредполагаемым?

Дмитрий знал, впрочем, что раскрытие лепестков тоже не происходит без мук, но то особые, сладкие муки. Уж слышишь и чувствуешь, что девять единственных слов встали на свои единственные, предназначенные им места. Не хватает одного только слова, без которого, правда, и девять найденных пока — ничто. Сорок претендентов рвутся, прыгают на бумагу, чуть ли не расталкивая, не оттесняя друг друга. Но особым чувством (которое называется талантом) Дмитрий знает, что должно появиться сорок первое. Или семьдесят первое. Или сто первое. И когда оно приходит, оказывается, что оно самое простое, самое близкое из всех остальных. Кажется странным, что оно не появилось сразу, самым первым, а заставило перебрать целую гору ненужных слов. Для того чтобы мог лучше оценить его, такое простое и такое нужное. Поиски его — муки творчества. Появление его — творческая радость, выше которой не бывает радости у человека.

Теперь сотворилось другое. Дмитрий ищет его, нужное, единственное, заветное словцо, а сам чувством (которое называется талантом) слышит, что все остальные, уж вроде бы найденные слова — не те. И оттого, что они не те, пропадает желание искать пока еще не найденное слово. Перо не хочет двигаться по бумаге, а пальцы снова тянутся к папиросам и спичкам.

Ошалев от курева и черновиков, шел в другие аудитории к друзьям. Ванечка в пиджаке, накинутом на плечи, встречал, приоткидываясь на спинку стула от страницы, исписанной мелким без наклона почерком, улыбался:

— Ну, ты, наверно, закончил одну поэму и вышел проветриться перед тем, как начать другую.

Мите становилось смешно. Он любил, когда Ванечка трунит над ним. А трунил Ванечка беспрерывно:

— Ну, как же. Помнишь, как работала Жорж Занд? Она писала романы в тетрадках. Если роман кончался, а в тетради оставались чистые листы, она ставила точку и, не разгибая спины, выводила заглавие следующего романа, тотчас начинала его писать. Ты, значит, все же вышел проветриться, прежде чем начать новую поэму?

— Мне не до трепа. Дело не идет, хоть плачь. Мне интересно, что тебе удалось сделать за целый вечер.

Ванечка добросовестно отвечал:

— Всего-навсего за сегодняшний вечер я зачеркнул те пятнадцать строк, которые написал за вчерашний вечер.

— Опять ты шутишь.

— Как это шутишь? Хорошенькие шутки, милый мой.

— Но все же о чем? Что ты сейчас сочиняешь, что?

— Это ты рубишь слова прямо на бронзу или мрамор, а мы что... Всего-навсего зарисовочка о комбайнере. Уж очень колоритного комбайнера я знал. Хочу написать.

Васютка Лобиков (был и такой дружок у Золушкина) бегал из угла в угол в ядовитых клубах папиросного дыма:

— Ты знаешь, я решил. Я теперь знаю, почему у нас бывают плохие, отстающие колхозы и что нужно, чтобы их не было.

— Ну?

— Председателя. Нужно, чтобы в каждом колхозе появился хороший, трезвый, хозяйственный, умный председатель. Ты понимаешь — пьяницы! А если он хватил стакан водки, он перестал соображать. Опять же нужны деньги на этот стакан и на опохмелку. Знаешь, я решил. Напишу повесть. Трагедия председателя. Напишу, как он был сначала хорошим председателем, а потом... коготок увяз — всей птичке пропасть. Дружки-пособники. Бухгалтер жулик или счетовод. Девка-надомница. Знаешь, какую трагедию разведу.— Он вскакивал, тер ладонь о ладонь и бросался к листу бумаги.

Нужно было посоветоваться всерьез с человеком, который знал бы в этом деле все, мог бы понять и показать правильную дорогу. Дмитрий вспомнил, как по-отечески

говорил тогда в подвале о его стихах Александр Александрович Горынский. Конечно, кто же, если не он. С ним можно обо всем. И о том, как оказался беспомощным в клубе, перед жителями своего села, и о том, что отложил задуманную, уже выношенную, просящуюся на бумагу поэму, а начал вместо нее новую, а новая не пошла... Он может, конечно, довести ее до конца, зарифмовать. Рифмовать-то он умеет. Но если уже сейчас, заранее, что-то говорит ему, что не то... Как тут быть и в чем секрет ремесла? Послушаться тайного голоса или вопреки ему продолжать и все-таки построить слова в шеренги и колонны строк и строф? Дисциплина или порыв? Или дисциплина, умноженная на порыв? Но если дисциплинированный батальон взял штурмуемую высоту, какое кому дело, был там порыв или порыва не было. Победителей, как известно, не судят.

Сложность состояла в том, что Дмитрий не мог дописать поэму, но не мог и бросить. Не шла эта поэма, но теперь, вероятно, не пошла бы и та, другая. Потому что сознание его четко говорило. Никакой трагедии быть не могло. И формула «жалко — надо» не годится для нашего стального времени. Сердце же Мити кричало наперекор сознанию и ему: «Жалею, жалко!»

Прийти, припасть на одно колено, склонив буйную голову: «Учитель, расскажи! Вразуми и наставь на путь истинный. Не отвергни меня, учитель, но расскажи».

Телефонная трубка холодна, как зимой, хотя на улице дождливые сумерки. В трубке послышалось рычание, словно проснулся и потягивается сытый, довольный лев. Торопливо Дмитрий назвал себя.

— Александр Александрович, извините. Вы, наверно, меня помните. Обсуждали стихи... Рекомендовали... Посоветоваться.

Бархатное мурлыканье сделалось громче. Из мурлыканья проступили слова:

— Мой мальчик... Весьма... Немедленно... Секретная просьба. Захвати маленькую... Понимаешь? Хорошенько спрячь. Ну, золото. Ну, золотая моя голова. Лети!

Попалась на глаза пятидесятишестиградусная водка, решил удивить. Насчет закуски ничего не было сказано. На всякий случай захватил десяток ядовито-зеленых и не менее ядовито-кислых помидоров. Отшибать пятидесятишестиградусную крепость ничего не придумаешь лучше,

чем эти жесткие рассольные помидоры. Но все-таки почему такое странное поручение?

Ольга Владимировна, все такая же, как и в первый раз, блистательная, открыла дверь. Увидев Дмитрия, сбросила с себя этакую холодную величавость, но зато глаза ее сразу посуровели:

— Здравствуйте. Что у вас в папке?

— ...Стихи.

— А больше ничего нет? Разрешите проверить.

Пол-литра Дмитрий нес в кармане, в брюках. Сверток с помидорами, пока снимал плащ, положил на подзеркальник. Взять его — нечего и думать. Затаить хотя бы бутылку.

В кабинете пахло постелью. Корешки антикварных книг соблюдали все тот же беспристрастный порядок. Сабли и шпаги, боевые шлемы и топоры ничего не могли пояснить о состоянии духа хозяина. Рабочий стол говорил больше. Беспорядочные стопки книг-новинок рассыпались одна на другую. На огромном столе едва-едва оставалось места положить два локтя и лист бумаги.

В хрустальной вазе, так примерно литровой емкости,— мумии трех ромашек. Вода высыхала постепенно. Прежде чем высохла, успела настояться на ромашковых стебельках — осадок остался на хрустальных стенках и четкая граница, где раньше была вода. Что-то, значит, ромашки напоминали ему, если он не хотел их выбрасывать.

Хозяин кабинета сидел в кресле, не откидываясь на спинку и не облокачиваясь на стол, сидел неестественно прямо, как могло бы сидеть чучело, восковая фигура, окостеневший труп. Лицо поэта показалось Дмитрию страшным. Оно сильно постарело за какие-нибудь три года и отливало голубизной. Резкие морщины бороздили голубизну синими глубокими бороздами. В голубизну некогда проницательных глаз добавилось жиденького молочка, а веки красны и набрякли от бессонницы. Было еще впечатление, будто и голова, и лицо, и руки старого поэта в обильном прилипшем пуху, хотя, приглядевшись, Дмитрий не нашел ни единой пушинки. Либо всклоченная и жидкая седина, щетинка, местами совсем седая, создали ложное впечатление о пухе, либо, может быть, общий измятый вид в подспудном сочетании с крепким постельным запахом.

Получилось в начале разговора не все так торжественно красиво, как заочно. Не то чтобы на одно колено и: «Учитель, расскажи!»

— Извините, Александр Александрович, я по творчеству. Закавыка. Мучаюсь — а ничего.

— Трубы трубят,— неожиданно возвестил Горынский.— Пора, мой мальчик, трубы трубят!

Воровато оглянувшись на дверь, Горынский протянул к Дмитрию тоже голубую, тоже в синих извилинах (но уж не от морщин, а от вен) дрожащую руку.

— А где совершенно секретное?

— Александр Александрович... Я, право, не знаю, Ольга Владимировна так меня напугала. Может, в самом деле нехорошо?

— Ты мужик или баба?!

Теперь и губы у Горынского тоже задрожали. Пожалуй, синее всего на его лице были именно губы.

Дмитрий достал бутылку. Горынский молниеносно вытряхнул из вазы ромашки, неуловимым движением содрал с бутылки железку и, опрокинув бутылку вертикально, стал лить. Жидкость захлебнулась в узком зеленоватом горлышке, громко всхлипнула, шлепками полилась в тяжелую хрустальную посудину.

— Александр Александрович, что вы делаете?..

Дмитрий бросился силой отнять бутылку, из которой успело вылиться около половины. Но Горынский резко повернулся спиной, пробормотал:

— А я меньше никогда не пью,— и начал судорожно выливать ужасное зелье себе в горло.

Значит, все же он не успел разглядеть этикетку и был готов психологически к восприятию лишь сорокаградусной. Иначе не поперхнулся бы на предпоследнем глотке. Поперхнулся он громко, рыкнул по-львиному, и как только рыкнул, распахнулась дверь и на пороге появилась Ольга Владимировна.

Поэт нацелился грудью на дверь и прямыми шагами, стремительно вышел из кабинета.

Ольга Владимировна походила вокруг стола и увидела, конечно, и вазу и бутылку, но из тактичности сделала вид, что ничего не нашла, потому что и без того готовый провалиться сквозь землю Дмитрий, пожалуй, не выдержал бы прямых улик. Получилось, что все всё поняли, но никто ничего не сказал. Еще можно свести

на то, как если бы ровно ничего не произошло. А Горынский просто так, мало ли зачем, вышел из кабинета. Но тут опять все переменилось, потому что Ольга Владимировна вышла, а хозяин вошел. Он сел за стол, весело, как с мороза, потирая руки.

Горынского нельзя было узнать. Лицо его раскраснелось, в глазах появились живость и блеск, руки и губы перестали дрожать. Это снова был живой человек, с которым можно разговаривать.

Дмитрий не удержался от заученного:

— Вы — мой учитель. Я хочу вам многое, многое рассказать,— и спохватился.— Ну, не так уж много, я не отниму никак больше часу. Можно?

Учитель благосклонно кивнул.

Дмитрий заговорил сначала о своем позорном провале в клубе:

— Ведь если принять теорию многоступенчатого влияния высокой культуры на широкие народные массы... Я поясню. Влияют ли Данте и Вольтер на культурный кругозор нашего деревенского маляра Никиты Кабанчикова? Не может быть, чтобы для Никиты вовсе бесследно существовали такие Эвересты человеческого духа, как Гете, Шекспир, Мильтон, Кант, ну или там Рафаэль, Бетховен и Вагнер. Но в том-то и дело, что Никита как таковой не слышал ни одного из этих великих и славных имен, а если и слышал при упоминании по радио, конечно, не представляет себе философской сущности, ну, хотя бы того же Вагнера. Зато всех мыслителей и художников знал, к примеру, Толстой. Не только знал — вобрал в себя, переработал, выработал на основе всемирной культуры свой взгляд на мир божий. О Толстом мог слышать мой Никита. Мог даже читать. Ну, пусть он не освоил в полной мере во всей глубине и тончайшей тонкости. А тут я между Толстым и Никитой. Вот тут и должен быть я как связующее, как передаточное звено. Толстого я взял для примера... Не обязательно он. Тут и Тютчев, и Пушкин, и Блок, и Врубель с Рерихом, и Рахманинов, и Скрябин... Так как же должно быть мне горько, что я не могу включиться в эту закономерную цепь...

На этом месте голова Горынского покачнулась на правое плечо, а с плеча соскользнула на грудь. Громко скрипнули зубы.

Вошла старушка домработница. Она тряхнула поэта за плечи и добилась, что голова его снова поднялась.

— Нет, нет!.. У нас программная встреча, ответственный разговор, один раз в биографии.

— Полно хорохориться-то. Биография... Али я тебя не знаю. Теперь тебе спать. Ну, значит, ложись и спи. Вот так... Вставай... Помогли бы. Под правую руку бери. Вот так. Ног не переставляет, а туда же... Биография. Спать ложись, вот и вся биография. Али я тебя не знаю. Расхорохорился.

Уж завалившись на диван, Александр Александрович стал ловить руку Дмитрия. Всхлипывая, он причитал:

— Прости... Мальчик мой. Я понимаю. Свинство... Прости. Откровение. Но одно я все-таки скажу. Самое главное скажу. На всю жизнь. Учителя оправдать... звание. Мальчик мой, что бы ни случилось, как бы ни жилось, голову под топор — проходи мимо временного...

Шел за легкостью, а сделалось еще тяжелее. То есть, если бы даже перед этим было очень легко, сплошная радость и паренье от радости, этакое беззаботное порханье и в душе и в мыслях, хватило бы уж одного этого вечера отяготиться и почувствовать неуютную зябкость в мире.

Дмитрий чувствовал, что чернота нагнетается по восходящей. И если верить в то, что существует закономерность обстоятельств, то надо ждать чего-то еще более неприятного и злого, может быть, даже чрезмерно неприятного и злого. Ждать и готовиться к встрече. Утешение разве лишь в том, что в силу тех же (мифических, впрочем) закономерностей за очень большим злом, за последней глыбой мрака должен забрезжить свет.

Бульвар, по которому шел теперь Дмитрий, был совершенно пуст. Дождь какой-то странный, мелкий, как через решето, к тому же сквозь холодный ноябрьский туман. В то же время вместе с водяной равномерной мелочью летели на землю редкие, крупные, по горошине, капли. Будто шло в одно и то же время два разных дождя. С деревьев, потерявших теперь листву, тоже обильно капало. Около фонарей — черные, как тушью нарисованные, ветви сплошь осыпаны дождевыми каплями. Капли бежали одна за другой по черным веткам.

Дмитрию представилось, что в Самойлове над речкой тоже идет такой же дождь, но, конечно, в полном, вот именно непроглядном мраке. Вода над кустами черная, как деготь, и земля черная, как деготь. И черный дождь, и черный ветер рыскает в черных кустах ольхи. Бродят в черной воде, около самого дна, оживившиеся теперь в холодную непогоду налимы. Только дождь шуршит, только ветер свистит в ветвях, но не видно ни дождя, ни листвы, ни ветра.

Сам не знает, за что любит Дмитрий Золушкин сырые черные осенние ночи. И чтобы черный ветер рыскал в черной траве.

Оказаться бы сейчас в избушке в саду, зажечь лампу. Мрак отодвинется на полметра от оконного стекла и впустит на освободившееся место голую ветвь рябины. Дождик шумит по крыше, мокрым пахнет земля. Много ли человеку надо...

По желтым лужам бегали от ветра частые блестки. Желтый дождь рябил желтую воду. Только ветви деревьев, несмотря ни на что, оставались черными.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

А между тем время шло. В подвалишке института, освободив просторное помещение, заваленное дотоле разным хламом, устроили для студентов буфет. Четыре столика, где можно съесть на скорую руку тарелку щец или кусок отварной трески с картошкой.

У Мити и Ванечки наибольшим успехом пользовалось некое молочное суфле — что-то вроде жидкого мороженого, разлитого по бутылкам. Они тотчас прозвали напиток сначала «напитком Олимпа», потом пищей богов, а потом стали называть его амброзией. Буфетчица Зина, упруго и мощно распиравшая белый халат всеми своими формами, весело хохотала, когда друзья требовали две бутылки амброзии.

На этот раз Митя и Ванечка не успели перейти к божественному напитку, они ели перловый суп.

— Золушкин, тебя там какой-то человек спрашивает. Он стоит у входных дверей.

Митя оставил еду: может, кто из деревенских оказался в Москве, может, кто из полка, из бывших у него

в отделении солдат? Они изредка навещали, стеснялись среди студентов, а Золушкина называли по-прежнему «товарищ сержант».

С третьего порожка подвальной лесенки Митя увидел, что ждет его незнакомый человек в черном пальто и в черной каракулевой шапке. Казалось бы, ну, что особенного в этом обыкновенном человеке? Напротив, весь он был вместе со своей одеждой словно нарочно приспособлен, чтоб не выделяться из толпы, оставаться незамеченным, неприметным. Тогда почему же с первого взгляда на него у Дмитрия похолодело под ложечкой и слегка онемели ноги?

— Не вы спрашивали Золушкина? Это я.

— Хорошо. Вам придется пройти со мной.

— Но у меня там суп... Почти целая тарелка.

Незнакомец усмехнулся на этот наивный суп.

— Вы меня не поняли. Вам придется пройти со мной сразу, сейчас. Где ваше пальто? Быстренько оденьтесь. Предупреждаю, никому не говорите, что пойдете со мной.

Дмитрий ждал увидеть у подъезда автомобиль, но автомобиля не оказалось. Буднично, как в магазин или на базар, ехали в обыкновенном троллейбусе. Дмитрий хотел было заплатить за билет, но его вожатый опять усмехнулся:

— Не беспокойтесь, проезд оплачен.

От остановки шли некоторое время пешком. Причем не то чтобы Дмитрия держали под руку либо все время заставляли быть впереди, на глазах. Случалось, лавируя среди прохожих, и приотстать на шаг или на два. В том-то и беда была, что, если бы даже отстал на десять шагов, если бы даже потерялся в толпе, все равно искал поверх голов, бегом догонял бы черную каракулевую шапку.

Коридор, по которому шли, когда кончилось уличное путешествие, тоже оказался обыкновенным, будничным коридором. Как в каком-нибудь другом учреждении. В одном месте висела газета «На посту», в другом — самодельный плакатик, извещавший, что вечером будет демонстрироваться фильм «Жизнь Рембрандта».

Дмитрия больше всего поразило именно это объявление о кинофильме. Ведь было впечатление, когда лязгнули сзади входные двери, что наглухо захлопнулась западня, и миг переступания порога был, в сущности,

мигом прощания со всем, что оставалось позади, мигом перехода в некое царство теней. Коридор для Дмитрия вытянулся в длину его жизни, потому что не было в его предыдущей жизни события, которое не промелькнуло бы в мозгу, пока шли то и дело загибающимся коридором. Но все вспоминалось теперь, как давно прошедшее, если даже случилось сегодня или вчера. И вдруг этот неправдоподобный плакат, это странное объявление о трофейном кинофильме «Жизнь Рембрандта». Значит, что же, там, наверху, поверх захлопнувшейся западни все осталось по-прежнему? И люди будут смотреть кино, и жизнь ни на минуту не остановится и не переменит своего течения?

Комната, куда его ввели, была маленькая и квадратная. Стол с черным телефонным аппаратом, человек за столом, против стола тоже будничный клеенчатый стул. На него-то и пришлось присесть Дмитрию.

Мелькнуло при этом, что, конечно, не он первый оказался тут на стуле. И сколько человек пересидело на нем, и что это были за люди, и где они все теперь. Вот если бы стул мог вести дневник, а потом написал бы свои воспоминания. Впрочем, стул — вещь. Человек мог бы сделать это за него. Но только тот человек, который сидит теперь за столом, а он этого делать не будет. Напротив, он, наверно, стремится к тому, чтобы забывать, чтобы все забыть, чтобы даже и во сне не мерещилось, не дрожало. Но именно во сне-то, наверное, и мерещится всякий раз... Вот он снял с аппарата черную телефонную трубку.

— Товарищ пришел. Слушаюсь.

Между тем он что-то писал, вовсе не обращая внимания на Дмитрия. Прошло полчаса. Дмитрий не осмеливался напомнить о своем, так сказать, существовании. Телефон звякнул.

— Да. Не может быть! Как это не говорит? Не хочет? Да нет, не может быть. У меня еще не было случая, чтобы человек не заговорил. Я, конечно, помогу, но сначала... В общем, у меня тоже тут человек. Да нет, он, я думаю, будет говорить сразу. Ну, а тебе я советую употребить мое средство... Ты же знаешь. Желаю успеха.

И снова стал писать. И писал еще с полчаса, наверно, для того, чтобы Дмитрий со всех сторон (и в глубину) осмыслил предыдущий телефонный разговор. Но Дмитрий продолжал думать о простом канцелярском стуле и

о своих предшественниках, побывавших на нем. Вспомнилась и строка: «Они садились на этот стул, садились и рушились в пустоту». Час или два спустя сядет кто-нибудь другой и не будет знать, что здесь сидел Митька Золушкин. И что любит этот Митька солнечные росистые утра и черные осенние ночи. Но осенние туманы, пожалуй, пуще того. И дождь. Теплый дождь. И чтобы встать под водосточную трубу, под дождевую капель в одних трусах. А вода припахивает железной ржавчиной... Тому, конечно, не будет дела до Митькиных июльских капелей. У него найдется свое, что вспомнить.

Следователь за столом наконец отложил свою писанину и даже убрал в стол все, до последнего листочка. Из стола вынул и положил чистые бланки и впервые пристально посмотрел на сидящего перед ним на стуле. Сначала шли вопросы, на которые Дмитрий отвечал даже радостно, радуясь и тому, что может так точно, исчерпывающе отвечать, и тому, что человек теперь кое-что узнает о Дмитрии. Вроде как некоторое знакомство. Когда родился, где родился (по новому административному делению и по старому административному делению), потом пошли родственники. Родственников у Дмитрия в деревне было много. Отделившиеся старшие братья, повыходившие замуж сестры, дядья, зятья, снохи... Беда состояла в том, что Дмитрий не помнил в точности, кто из них в котором году родился, а это ведь могло не понравиться сидящему за столом. И так он все больше нахмуривает брови.

Самое главное — догадаться, зачем и за что сюда привели. Догадаться, в чем провинился и о чем будет главная речь. Тогда сразу станет все яснее, а значит, и легче. Как ни перебирал Дмитрий все свои поступки последнего времени, не за что было зацепиться, не на что было подумать. Бывало, в самом начале службы старшина Стрижкин тоже любил поманежить. Вызовет к себе в каптерку: как дела, как здоровье? А уж знаешь, что неспроста. Ломаешь голову: зачем, за что, в чем провинился? Потом смилостивится старшина, поведет к личному ящику, откроет: «Ваши сапоги?» — «Мои».— «А грязь на сапогах тоже ваша?» (Прилипла на подошве в углышке каблука.) Отляжет от сердца. Господи! Ну и что бы могло там быть? Ну заставил бы старшина подмести курилку в наказание. Раем показалась сейчас в

воспоминаниях каптерка ротного старшины. На сопоставлении с каптеркой понял всю голую суть теперешнего своего положения. Подметанием курилки не отделаешься.

Между тем мельтешили за вопросом вопрос. Дежурные, не требующие напряженного раздумья (хотя бы и в долю секунды) вопросы. Когда взят в армию, кто был командиром полка, каким образом демобилизовался, кого из сегодняшних друзей встречал тогда, на литературных объединениях...

— Матвея...— И вдруг ослепительно и облегченно вспыхнуло в мозгу: не по Матвею ли сюда привели? Может быть, и всего-то лишь привели сюда по Матвею! И уж прозвучал следующий вопрос, подтверждающий радостную догадку:

— Так, значит, с какого времени вы знакомы с Матвеем?

— Можно сказать, что с сорок пятого.

— Точнее.

— Что считать знакомством?

— Кто кого спрашивает, вы меня или я вас?

Но Дмитрий упрямо повторил:

— Что считать знакомством? Я его увидел впервые в мае сорок пятого года. Он читал стихи, но меня он тогда не знал, не подозревал о моем существовании, какое же это знакомство? Фактически...

— Какие стихи он тогда читал?

— Это трудно вспомнить.

— Постарайтесь.

— Одно я помню. О капитане и о моряках.

— Читайте.

— Не знаю, помню ли наизусть. Может быть, несколько строчек:

Появлялся в аварийных пунктах,
И тогда, завидев командира,
Моряки вытягивались в струнку
И телами затыкали дыры...

— Как вы думаете, о ком идет речь?

— Тут и думать нечего. Это стихи о Сталине, о его непреклонной воле, обеспечившей нам победу.

— Что он говорил о Сталине в общежитии?

— Он говорил, что «Вопросы ленинизма» — самая гениальная книга двадцатого века.

— Может быть, он говорил это для отвода глаз, а думал иначе?

— Этого никто не может знать. Не знаю и я. Могу сказать только, что его обыкновенная непосредственность... не может быть... я не думаю.

— С какими людьми он встречался вне общежития и института?

— Я не знаю.

— Он уходил из общежития надолго, иногда на целый день, иногда с ночевкой?

— Уходил.

— Куда?

— Я не знаю. Вероятно, девушка...

— У Матвея — девушка?!

— Ну, друзья.

— Вот я и прошу назвать его друзей вне общежития и института.

— Я не знаю.

— Не упорствуйте, Золушкин. Вот вам листок бумаги, я пойду помочь своему товарищу.— Снял трубку.— Ну как, по-прежнему молчит? Я иду.

Почему-то Дмитрию показалось, что в трубке был еще гудок, когда э т о т задал вопрос насчет молчания, почему-то показалось Дмитрию, что пойдет этот человек не помогать товарищу, а просто в буфет или, может быть, в соседнюю комнату, где с приятелем обсудят, идти сегодня вечером на трофейный фильм «Жизнь Рембрандта» или не идти. Однако лист бумаги лежал перед Дмитрием и нужно было на нем что-нибудь написать. Прошло полчаса. Одиночество начало томить Дмитрия. Он вспомнил, как однажды Матвей обмолвился, что пойдет на квартиру к режиссеру театра... Фамилия не точно запомнилась, не то Машель, не то Машаль. В другой раз он сказал, что провел вечер как будто у художника Зарского. Конечно, все это можно написать на листке.

Но лист оставался чистым. Во-первых, Дмитрий не был уверен в своей памяти, во-вторых, он действительно не знает ни одного из знакомых Матвея. Мало ли что слышал. А вдруг Матвей похвастал. А может быть, они вовсе не его друзья и он бывал у них однажды, случайно. И вообще, как можно говорить здесь о вещах (о людях), если сам ничего не видел и не знаешь?

Следователь появился снова. Скользнул глазами по чистой бумаге.

— Зря упорствуете,— потянулся к трубке.— Товарищ полковник? Да, я. Упорствует. Конечно, странно. Слушаюсь.

Через полминуты в комнату вошел полковник. Высокий, пожилой, с мохнатыми седыми бровями, со значком «Почетный чекист» (должно быть, за выслугу). Он сел небрежно одной половиной на стол — другая нога касается пола. Пришлось для этого отодвинуть широким движением черный телефон.

— Так отчего же вы не хотите сказать нам, с кем встречался Матвей вне общежития и института?

— Я не знаю.

— Ну, были же какие-нибудь разговоры? — Между тем он взял со стола протокол и быстро пробежал глазами то, что Золушкин успел наговорить.

— Насчет «Вопросов ленинизма» правда или сболтнул?

— Неужели я не понимаю, что здесь, у вас, нельзя болтать, что болтовня может стоить человеку...

— Ну, как же насчет фамилий?

— Я не знаю.

Полковник и следователь переглянулись.

— Подумайте еще. Последний раз советую: не упорствуйте.— И вышли оба.

Снова потянулось время. Дмитрий боялся встать со стула, пройти по комнате, размяться. Несколько раз начинал звонить телефон: три-четыре звонка — и отключение. Значит, знали уж, что если не снимают трубку сразу, то снять ее некому.

Дмитрий понимал, что в этом учреждении не любят упорства. Кое-что слышал то там, то тут о методах, коими упорство сламливается. Но что-то закаменело или, может быть, возмутилось внутри него. Он сидел час за часом, а лист бумаги перед ним был девствен и чист, как в самом начале.

(Тут, конечно, явная психологическая загадка. Если Дмитрий умел оказаться таким упрямым в максимальных условиях испытания характера, то почему не набрался он этого упрямства раньше, когда нужно было хлопнуть дверью и крикнуть уже из коридора: «Не хочу я выступать на собрании против Саши Марковича, не

хочу и не буду!» Неужели теперешнее молчание рассматривать как начавшуюся реакцию на ту непростительную слабость? Игорь Ольховатский на другой же день после собрания прошел мимо Дмитрия, не поздоровавшись. Но еще раньше, тотчас после своей, в общем-то спокойной и, по мнению многих, убедительной речи, можно сказать, даже во время ее произнесения Дмитрий начал прозревать и увидел вдруг... Ну да. Он считал по-солдатски, что если так надо, значит, следует принимать как задание, как долг. Чем труднее исполнить долг... То есть оборачивалось все чуть ли не самоотверженным, чуть ли не жертвенным поступком. Мало ли что душа? Мало ли что движение сердца? Может быть, когда из деревень вывозили сотнями тысяч на Соловки и на Урал, тоже было по-человечески жалко, особенно если с грудными младенцами на северный-то мороз... Мало ли что движение сердца? Движение сердца безотчетно и даже неразумно, как малое дитя или... как песня. Но ведь когда еще было сказано, что нужно себя смирять, становясь этой самой песне ногой на горло. Но если все было так, то есть если высокая мораль и исполнение долга, почему не пришло потом глубокого успокоения и удовлетворенности? Напротив, чем больше проходило дней, тем все беспокойнее, неуютнее и раздраженнее становилось где-то возле сердца, поближе к середине груди. Брезжило, пробивалось, проступало смутными очертаниями ощущение чего-то ненастоящего, временного, необязательного и, может быть, вовсе даже ненужного. Геле ничего не рассказал тогда, побаивался даже, не узнала бы стороной. По этой боязни легко ведь было бы проверить праведность либо неправедность поступка. Чуяло сердце, что не может одобрить Геля.

Отчего же не предположить, что началось и нарастало, беря постепенный, но устойчивый разгон, некое супротивное движение? Тут уж одно из двух: либо — поступившись раз — поступаться все дальше и дальше, либо упереться на каком-нибудь крутом пригорочке, устоять, а устояв, преодолевая чуть ли не сразу все земное притяжение, шагнуть вперед. Тогда хоть и крохотный шажок, все равно, в плане дальнейшей жизни,— победа. Пригорочек, на котором уперся теперь Дмитрий, был так крут, так подходил к случаю, что лучшего не придумать бы и нарочно.)

Полковник и следователь возвратились в комнату. Младший взял чистый лист бумаги из рук Золушкина, повернул его лицевой стороной к старшему.

Полковник сказал:

— Да... Ну ладно, нечего с ним возиться, нечего тратить время. Тоже мне великий молчальник. Герой. Не герой, а молокосос. Не понимает внутренней, глубочайшей сути происходящего в государстве. Подпишите ему пропуск на выход. Он уже свободен.— И уж обратясь непосредственно к Дмитрию: — Мы вызывали вас как свидетеля. Но вы никому не должны рассказывать, где вы были. Ясно? Никому. Это наше правило, наш закон. Желаю вам не возвращаться в этот дом как можно дольше.

И опять дорожка мимо плаката о трофейном фильме. Но теперь уж все по-другому. Черт возьми, нужно сегодня же, сейчас же сходить в кино. Какое-нибудь. Все равно. Первое попавшееся. Нет, сначала в общежитие к Ванечке. Он, наверно, удивился, куда я убежал, оставив в тарелке суп. Нет, сначала все-таки к Геле. Нет, сначала оказаться на улице, на обыкновенной московской улице. Идти пешком. Ехать в троллейбусе. Толкаться среди прохожих. В тихий дождичек бродить по желтеньким полуночным переулкам.

Коридор давно кончился, и началась действительно обыкновенная московская улица, но Дмитрий не видел еще ничего вокруг себя. В сознании копошился расплывчатый образ железной, без лязга и шума работающей машины — шестеренки, валики, щелкающие, удерживающие устройства. И он, попавший в эти шестерни и колеса. Шел мимо, зацепило за край пальто. Ванечка был рядом — не зацепило. Жизнь. Судьба. Но машина расслабилась, разжала свои железные пальцы, и Митя выпал из шестеренок, из зубцов. Собственно, он даже не может сказать, что детали машины были жестки или остры. Обыкновенно, тактично, даже вежливо. Другое дело, что могла не разжаться горсть.

И совсем уж другое дело, что никто бы, ни один человек на земле не удивился бы, что ни с того ни с сего исчез с лица земли рыжий веснушчатый парень Митька Золушкин. А и удивился бы — про себя, ни глазом, ни вздохом не выдавая своего неуместного и в некотором роде крамольного удивления.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Каждый апрель приносил с собой тяжелое, томительное брожение в крови. Дмитрия вдруг тянуло на улицу. С улицы — в переулки, наиболее глухие, безлюдные, изогнутые. Не соображая, куда и зачем, он брел час, другой, третий, проходя десятки километров. Потом садился в трамвай и ехал обратно. Тихий, с легким кружением головы и с тревогой в душе, вовсе не слабевшей от физической усталости.

— Если я когда-нибудь покончу с собой,— вдруг говорил он Геле,— то это случится только в апреле, самом страшном месяце из всего года.

Геля смеялась, подходила вплотную, брала его за рыжие длинные волосы, смотрела в глаза и говорила:

— Чудовище! Придет время, когда ты будешь называть апрель самым дивным, самым сказочным месяцем.

Впрочем, с некоторых пор они боялись дотрагиваться друг до друга. Нельзя было дотронуться до ее руки просто так. Рука вздрагивала. Из-под Митиных пальцев переливалось в нее требовательное дрожащее тепло. Рука начинала тянуться к Мите. К его щеке. К его шее. К его коже. Губы — рука. Губы — глаза. Губы... Начиналось исступление, доходящее до последней черты, а потом — едва ли не ссора. Поэтому однажды они решили: «Надо прекратить эти пытки. Эти сладкие пытки. Что мы, дети?»

— Прекратить их можно двояко.

— Нет, пока что только однако. Ну кто я буду тебе? Любовница? Покорно благодарю. Знаешь, Митюшка, я никогда в жизни не стану ничьей любовницей. Должен радоваться. Я ведь буду твоя жена.

— Но когда, когда это будет?!

— Давай подумаем. Это уже серьезный разговор. Жить нам, во-первых, негде. У тебя — общежитие. У меня — одна комната вместе с мамой. Снимать комнату нам не на что. А если и наскребем из наших стипендий, не на что будет жить. Хоть чуть-чуть приличная комната стоит пятьсот рублей в месяц.

Сидя у Патриарших прудов на скамейке, они часами смотрели на тысячеоконные громады домов. Дмитрий чуть ли не скрипел зубами от горячечной близости Энгельсины. Она клала ему на плечо душистую голову.

— Хоть бы одно окно! Представляешь! Стол, два стула...

— Тахта.

— Тахта. И один. Неужели это будет только через два года? Надо что-то придумать.

— Перестанем себя пытать. Будем ходить в концерты, в Большой, в Третьяковку.

— Идеализм.

— Ну, хорошо. Два года действительно невозможно. Давай поженимся этим летом. Уедем в Крым, снимем хорошую комнату. Я хочу, чтобы все в нашей жизни было красиво. Тем более начало начал.

— Но придет ведь и осень.

— Ну и что же? Я буду давать уроки языка или музыки. Ты опубликуешь поэму. Как-нибудь проживем. Сейчас начало апреля... Май... Меньше двух месяцев. Пятьдесят четыре денька. И тебе будет хорошо навсегда, на всю жизнь.

— А тебе?

— Не надо. Это, в сущности, те же пытки.

Геля ждала Дмитрия, как земля ждет прохладного светлого ливня. Пусть ветер, и гром, и град. Пусть как бедствие, как стихия.

Она, конечно, знала (не два по третьему), что, в сущности, все это у людей очень просто. Но это-то и противно. Потому-то и хотелось, чтобы — великий праздник. Высшее проявление любви: не брать радость у любимого человека, а давать ему. Только при этом условии сама любовь (прав же Митя со своим физиологическим фундаментом) превращается в категорию духа.

Придя домой после решительного разговора с Дмитрием, Геля всерьез задумалась. Не то чтобы она никогда до этого дня не думала о будущем, о том, что должно же когда-нибудь, неизбежно должно произойти: свадьба, замужество, отдельная самостоятельная семейная жизнь. Ведь когда трехлетний мальчишка хватает из груды игрушек молоток и гвозди, а трехлетняя девочка из той же груды непременно выбирает куклу либо игрушечную посуду, тогда уж проявляется заложенное в них природой своеобразное распределение именно семейных, а не каких-нибудь там иных обязанностей.

Геля, конечно, думала и раньше, но все в ее думах было очень неопределенно и смутно, брезжило вдалеке,

расплывалось за дальностью. Когда она познакомилась с Митей Золушкиным и когда они стали встречаться, у нее и в мыслях не было, что это и есть ее будущий муж, ее судьба. Напротив, если бы кто сказал ей тогда об этом, она рассмеялась бы от души, и самое большее, что шевельнулось бы в сердце,— чувство, скорее всего похожее на жалость: когда-нибудь придется огорчить этого добродушного чудака с огромными красными руками, с медвежьей силой в объятиях и с доверчивостью младенца.

Об этом можно с уверенностью говорить, потому что в первое время Геля несколько раз ловила себя именно на чувстве жалости, точно и определенно предвидя ранний или поздний конец отношений с Митей. Поэтому она и не восставала и не бросалась в бой с Елизаветой Захаровной, когда та чуть ли не каждый вечер начинала то увещевать, то требовать:

— Чтобы ноги этого мужика, этого конюха не было в доме!

— Мама, ну что ты волнуешься, как будто я выхожу за него замуж? Мало ли у меня друзей? Пусть один будет такой. Кстати, он интересней многих моих филологов, а уж талантливей — подавно.

— Ну, конечно, самородок. Поэт-самоучка! Пойми, у него никогда не будет внутренней глубокой культуры. А без нее не может быть и настоящей поэзии, то есть настоящей красоты. Где-то я недавно читала: «На кой нам, плешь, твои богатства, гнилой проклятый Уолл-стрит? Наш лозунг равенство и братство...» Представь себе в устах Пушкина это изящное выражение: «На кой нам, плешь». Фу, гадость! Даже говорить не хочется.

— Мама, но ведь это не Золушкин. Зачем ты действительно безвкусной и действительно безобразной строкой хочешь бросить тень на Золушкина? Он никогда не напишет ничего подобного.

— Ах, ты его уже защищаешь! Имей в виду...

Но Геля с младенчества, с детской выучки знала, как нужно ладить с матерью. Когда Елизавета Захаровна бывала в Москве, Геля и Митя встречались, назначая свидания друг другу в каком-нибудь скверике, а встретившись, шли либо в консерваторию, либо — иногда — в Большой театр, либо в Третьяковку, если был день, а не вечер. Но Елизавета Захаровна очень часто и надолго уезжала в командировки, чаще всего в Ленинград. Дми-

трий подозревал, что именно благодаря этим командировкам его будущая милая теща легко несет бремя одинокой женщины здесь, в Москве, на глазах у дочери. Но с Гелей ни разу на этот счет не заговаривал.

А Геля стала замечать, что Дмитрий все прочней входит в ее жизнь, и то, что сначала казалось игрой, забавой, этаким развлечением, превращается в поведение. Многочисленные друзья ее, приходившие в дом, постоянно менялись. Какой-нибудь канцелярист, наверно, сказал бы, что состав ее друзей был текуч. Геля думала, что то же самое будет и с Дмитрием. Походит-походит, потом реже, потом еще реже и постепенно вовсе исчезнет с горизонта. А стало получаться иначе, и как-то очень энергично, основательно, угрожающе-прочно. Друзья — все эти Георгии, Аркадии, Алики, Бори, Миши — мельтешили и проваливались, как мука сквозь сито, а Дмитрий все был тут, наверху, на глазах, словно тяжелый крупный камешек, случайно попавший в муку. Мало того, круговорот друзей при нем как-то незаметно убыстрился. Они быстрее начали исчезать: то ли побаивались интимных объяснений с Дмитрием где-нибудь за углом в переулке, то ли чувствовали, что тут дело серьезней, чем у них, и что против настоящей пушки с пугачом не годится.

— Он окружает тебя пустотой! — кричала Елизавета Захаровна во время очередного объяснения с дочкой.— Ты понимаешь, что он окружает тебя пустотой. Вот погоди, он разгонит всех и останется около тебя один. Тогда поневоле...

— Мама, не будем об этом говорить. Я рада, что перестал ходить Алик. Я не сожалею о Георгии. Мне абсолютно не нужен Аркадий. Я сама, сама... Понимаешь?

Некоторое время она и к Дмитрию применяла метод, вырабатывавшийся годами. Сходит в кинотеатр с Аркадием и не скажет об этом или расскажет о фильме, но будто бы ходила одна. Но постепенно лгать становилось все труднее, не потому, что боялась разоблачения со стороны Мити, а вот именно потому, что очень уж был доверчив. Всего больше она ценила в Мите именно то, что медленно, но упрямо, из месяца в месяц (а накапливалось — из года в год), он учил ее утраченной или, скажем, частично утраченной прямоте.

Потом руки стали привыкать к рукам, губы к губам, да и время не последнее дело. Стало казаться, что Митюшка был всегда и будет теперь всегда и не может быть, чтобы без него. Все превратилось в само собой разумеющееся, неизбежное, необходимое. Но зато все чаще и чаще появлялись приступы беспокойства: рано или поздно придется объясняться с мамой. О, это будет ужасно! Это, просто говоря, невозможно. Поскорее отогнать эту мысль! Что-нибудь произойдет, что избавит, освободит... Что-нибудь непредвиденное, как-нибудь все образуется, не может не образоваться. А как же иначе?

Дело усложнялось и тем, что Геля убеждала все время свою мать, будто у них с Митей все уж почти разладилось (лишь бы не слышать ее длинных, замораживающих душу, отупляющих ум нравоучений); Дмитрию же, напротив, внушала, что беспокоиться не нужно, все уладится, мама почти смирилась и грозы, вероятно, не будет. Так себе, мелкий дождичек.

Теперь, придя домой, она, во-первых, точно представила, что вот сейчас и нужно разговаривать с матерью, а во-вторых, еще и то представила она, будто сегодня уж вечером нужно навсегда уходить из дому, от этих привычных темно-красных стен, от этого зеркала, которое видело ее и ребеночком, и в расцвете красоты, от этих книг в заманчивых золоченых переплетах, от этого инструмента, которому столько поверено и печалей и радостей. Да и от стен, наконец, в которых прошла вся ее жизнь и которых она никогда не покидала дольше чем на месяц.

И что же будет там? Какая-нибудь тесная проходная комнатенка. Обязательно проходная, потому что придется искать подешевле. В лучшем случае — ходить через хозяев. Да, да, она знает. Люба Лосева снимает комнату, Геля у нее была. Вечно угрюмая хозяйка, на кухне — не повернись, через комнату хозяев ходи на цыпочках. А ребеночек пищит, каждое утро хозяйка грозит, что выселит. Пеленки сушатся прямо в комнате. Нелепые бутылочки с молоком. Нелепая очередь за ними в детской консультации. Пальцы начнут отвыкать от клавиш. Дышать горелым дымом, стоя над сковородкой.. Гелю передернуло, как в гриппозном ознобе. Поглубже завернулась она в старинный клетчатый плед, подобрала ноги, оглянулась по сторонам. Было точь-в-точь как проснешься от

кошмарного сна и с радостью скажешь себе, что это только сон. Как хорошо, что это только сон! Боже мой, сон! Можно повернуться на другой бок, одеяло теплое, нежное. Господи, только сон!

Но здесь проснуться было нельзя. Еще неизвестно, что теперь более реально: эта красивая темно-красная оболочка, из которой она вылупливается, словно бабочка из куколки, либо тот зябкий неведомый мир, в котором придется летать, расправив непривычные крылышки. «Митя, конечно, способный человек, но пока что пишет себе только в тетрадь, или, кажется, у него отведена под рукописи старомодная, похожая на сундук корзина. Ну, хорошо, пусть в корзину (при воспоминании о корзине потеплело на душе, дрогнуло сердце: милый Мѝтюшка, милый!). Пока что за душой пяток напечатанных стихотворений. Ни имени, ни этой... материальной стороны. Поэма ему не удалась. Хорошо, что не удалась. Это говорит о его внутренней честности. Ну, а дальше? Вдруг не удастся и вторая поэма, и третья? То, что удается, идет в корзину — вот в чем вопрос.

Но тут она спохватилась вдруг: что это я заговорила точно мамиными словами? Неужели и правда яблоко от яблони недалеко падает? Или копилось в душе капелька по капельке мамино повседневное воспитание? Или зря они с Митей давным-давно взяли на вооружение знаменитый чеховский принцип самовоспитания о выдавливании капелек рабской крови?

Стены? Но разве с самого детства она не рвалась из них куда бы то ни было, лишь бы куда-нибудь: к Зое, на улицу, в Ленинку, в кино. С деньгами будет трудно. А как же все? Как же начинают все остальные? Да и Митя... Митя сильный человек, не может быть, чтобы они вовсе уж не справились, вовсе уж оплошали... У Гели опять дрогнуло и потеплело возле сердца, потому что «оплошали» было Митино словечко. Сначала он говорил «зайцéй» вместо «зайцев» и «пальцéй» вместо «пальцев». Горячился, спорил, доказывал, что так и нужно говорить, потому что от народа. «Ха-ха! Пальцей, зайцей, и вдруг — мой жених. Почти муж. Пятьдесят четыре дня. Боже мой!» А в коридоре послышались уж быстрые, энергичные, как бы даже вечно спорящие с кем-то или с чем-то, как бы даже заранее против всего протестующие шаги Елизаветы Захаровны.

Она вошла с мороза, бодрая, зарумянившаяся, яркая, молодая для своих сорока с небольшим лет, тотчас заходила по комнате за тем, за этим, тотчас заходил по комнате ветер от ее движения. Она ставила на стол чашки. На кухне в это время закипала вода для кофе. В портфеле у нее оказалось три сорта восточной халвы и бутылка малаги. Почему-то она любила малагу — это искусственное, в условиях Москвы, пахнущее жженой пробкой, приторное вино.

— Геля, иди пить кофе. У меня сегодня удачный день. Выпьем по рюмочке малаги.

— День еще не кончился,— глухо, чужим голосом (значит, на все уж и до конца решившись) произнесла Геля.

Елизавете Захаровне непривычным показался тон дочери. В глухоте, в напряженном дрожании тембра сразу почувствовала недоброе. Может быть, потому сразу, что, наверно, ждала этого разговора, ждала и держала порох сухим.

— А что такое?

— Мы с Митей все решили. Я выхожу за него замуж. Через пятьдесят четыре дня я буду его женой.— Почувствовав, что мгновение, что следующее мгновение, может быть, решит все, рванулась было к матери, чтобы прильнуть, припасть, и уже, как в провидении, увидела себя рыдающей у матери на плече, и будто бы мать гладит ее, и тоже плачет, и обе они умиротворяются в слезах, и все в мире оказывается легко и просто. Либо ждала уже сразу крика и топанья, тогда бы и в ответ можно было доказывать, волнуясь и горячась.

Елизавета Захаровна захохотала.

Правда, в первом уже, так сказать, аккорде, в первой руладе ее хохота послышалась некоторая трещинка, некоторая истерическая, что ли, нотка. Но все же хохот был наименее ожидаемой реакцией. Вот отчего Геля не пробежала и половины расстояния до матери, остановилась — и хорошо: плед запутался в ногах, еще бы шаг — и могла бы упасть на какой-нибудь острый угол.

Елизавета Захаровна хохотала. Можно было бы тоже захохотать, и все бы, глядишь, сошло на шутку, рассыпалось в этом хохоте. Тогда бы и кофе с малагой, и все честь по чести. Но Геля испуганно смотрела на мать. Через секунду она, вероятно, закричала бы и выскочила из ком-

наты, но и этого не успела сделать. Елизавета Захаровна вытерла глаза полотенцем — висело у нее на руке, шла с ним на кухню, чтобы прихватить горячий кофейник. Все-таки, значит, растерялась Елизавета Захаровна, если и за полминуты хохота не нашла еще единственно нужных и точных в этой последней, решительной схватке слов и сказала самое банальное и наружное:

— Уморила.

— Мне, мама, не смешно. Я думала хоть раз в жизни поговорить по-хорошему и серьезно.

— Ах, так? Значит, всю жизнь было не по-хорошему и не всерьез? Ну, давай, давай, я согласна. Очевидно, ты его любишь?

— Люблю.

— А меня, свою мать, ты любишь?

— Мама! Ну, как ты можешь? Это же само собой. Об этом не спрашивают.

— Нет, если раз в жизни-то, могу я спросить? Так как?

— Разве есть человек... или даже неразумная тварь, которая не любила бы матери? Давшей жизнь...

— Кого же ты любишь больше?

— Мама, это разные вещи.

— Нет, допустим, один из нас должен сегодня вечером погибнуть... Или нет, допустим, оба мы тонем в реке. К кому бы ты бросилась в первую очередь? У тебя в руках веревка. Одна. Дело решают секунды. Кому бы ты бросила веревку? — Почувствовав, что напала на верную струну, Елизавета Захаровна азартно возвысила голос: — Отвечай теперь раз в жизни по-хорошему и всерьез! Кому бы ты бросила веревку?

— Я думаю, если бы вы оказались в одной реке, Митя спас бы тебя и...— Но шутки явно не получилось. Атмосфера была не та, чтобы в ней могла вспыхнуть и осветить лица добрым светом немудреная шутка.

— Ладно, я допускаю, что ты любишь нас одинаково сильно, допускаю. Именно поэтому тебе трудно сделать выбор с веревкой. Одинаково. Хорошо. Теперь скажи, перед кем у тебя больше (при равной любви) обыкновенного жизненного долга? Я — мать. Я, вскормившая и вспоившая тебя, я, смеявшаяся каждым твоим смехом, улыбавшаяся каждой твоей улыбкой, плакавшая каждой твоей слезой, болевшая каждой твоей болезнью и болью,

я, одевавшая и обувавшая тебя, я, научившая тебя языкам и музыке, я, поседевшая за четыре ночи, когда ты была в дифтерийном бреду... Дочь моя! Неужели чужой, посторонний человек... эта рыжая бестия... Милая, оглянись! Должны появиться дети. Ты только прости меня за грубость, но, если породистая арабская лошадь и мохноногий, похожий на слона битюг... извини, но получится то, что называют ублюдками. И потом, если говорить по-хорошему, и всерьез, и один раз в жизни, ты должна, ты обязана, ты не имеешь права... Ты обязана помнить и знать, что ради тебя, ради тебя одной я, женщина в силе и, говорят, не последняя уродка, живу, как монахиня, как затворница. Ты видела в своем доме хоть одного мужчину за все эти годы? Думаешь, это легко? А ради кого? Отвечай, ты видела хоть одного мужчину в своем доме за эти годы?

— Я видела здесь отца.

Елизавета Захаровна схватилась за сердце и, обмякнув, сползла сначала на стул, а потом на пол.

Геля бросилась сначала к матери, потом на кухню за водой. Успела крикнуть соседке: «С мамой плохо, сердце! Вызовите, пожалуйста, неотложку!» Опять вбежала в комнату, кое-как уложила больную на диван, дала ей под язык синевато-белую лепешку валидола, опустилась перед ее лицом на колени и все говорила, говорила, гладя ей волосы около виска, а в другой руке держа увлажнившуюся тяжелую руку.

— Мама, прости, не хотела. Я больше не буду. Мама, родненькая. Я тебя люблю. Скажи что-нибудь, не молчи. Милая, единственная!

— Мне плохо, дочка, я не знаю... Последнее слово мое: я или он.

— Да, мама, да. Ты, родная, единственная, ты. Только открой глаза, только не молчи. Ты, ты, ты!

Через полчаса приехала «Скорая помощь», и Елизавету Захаровну увезли в больницу.

Оставшись одна в пустой комнате, еще пахнущей после врача лекарствами, Геля всю ночь пролежала поверх одеяла, не раздеваясь. Мать потребовала ужасной жертвы. Можно по-разному относиться к ее поступку. Можно даже осуждать ее за то, что потребовала. Но уж если потребовала — нельзя. Геля чувствовала, что в голове у нее все перемешалось, в висках стучит, а по телу

разливается липкое, ознобное безразличие. Мать есть мать. Но что же делать и как быть с Дмитрием? Сказать. что больше не будем встречаться,— рассмеется. Обезоружит. Подчинит своему влиянию, своей голубой, как небо, но твердой воле. Уехать в другой город? Господи, да он найдет и на Луне, и на другой планете. Надо что-то придумать, чтобы сразу, сразу. О, это будет чудовищно! А впрочем, я устала, к черту все! Теперь чем хуже, тем лучше.

Но сон не шел и после этого, казалось бы, четкого и недвусмысленного определения.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Два окна Гелиной комнаты выходили в глухой, пустынный дворик. Двадцать шагов в длину, десять в ширину. Против окна — кирпичный забор, Мите как раз по грудь. Митя заскакивал на него обычно одним махом. Если с земли можно было увидеть в Гелиной комнате только потолок и люстру, то с забора просматривалась вся комната, как небольшой, хорошо освещенный аквариум. И люди там немы как рыбы, ходят, жестикулируют, а слов не слыхать.

У Мити с Гелей был давний уговор: перед тем как звонить в квартиру, посмотреть с забора, дома ли Елизавета Захаровна.

Забраться на забор сегодня легче, чем в другие разы: свалили машину каменного угля — черная, мерцающая от оконного света куча, почти до половины забора.

Под тяжелой Дмитриевой ступней уголь заскрипел, осыпаясь, сдвигаясь книзу. Но Дмитрий уж оттолкнулся от него, ухватившись за мокрые холодные кирпичи и, балансируя, повернулся на заборе лицом к окнам. Он не успел еще растратить своей армейской доминутной точности.

Было ровно девять часов, минута в минуту. Геля сидела на диване, как раз напротив окна, и, гибко извернувшись, целовала какого-то мужчину. Оторвавшись от поцелуя (Дмитрий так и не разглядел, кто там за ней из спорщиков на высокие темы), она неторопливо расстегнула у мужчины на рубашке верхнюю пуговку и приникла к ямочке, где кончается горло. О, Дмитрий точно

знал, что к ямочке. Он сам вроде бы услышал в это мгновение Гелины губы на этом месте. Голова у него закружилась. Он полуупал, полуспрыгнул с забора и бегом, не соображая, куда и зачем, бросился со двора, а затем и вдоль улицы.

Он ломился сквозь улицу, как, наверно, ломился бы сквозь лесную чащобу или джунгли смертельно раненный зверь, чтобы упасть как можно дальше от охотника. Вина! Сначала только вина. Потом будет видно.

В шашлычной, пропахшей луком, уксусом и табаком, он сел, не выбирая, за столик в углу и все пытался размять папиросу. Жесткие, как камушки, папиросы разминались плохо. Он их ломал и бросал в пепельницу.

Вокруг люди усердно жевали жареное маринованное мясо. Разговаривали все вместе, получался тихий галдеж. Но Дмитрий как-то странно не слышал ничего вокруг, как бывает, если уши заткнуть ватой или когда сильно ударят по голове.

Он попросил у официантки бутылку водки, но та, женщина уж пожилая, сказала, что может подать в одни руки сто граммов, а остальное — вином.

— Хорошо. Литровую бутылку кахетинского № 8.

Вино вошло в Дмитрия не теплом, как можно было бы ждать, но неприятным ознобом. Даже передернуло, и лязгнули зубы о край фужера.

Торопливо выпив бутылку до конца, Дмитрий выбежал из шашлычной и только у Патриарших прудов вспомнил, что забыл расплатиться с официанткой. «Наплевать. Сейчас вернемся туда же».

В переулке, примыкающем к Патриаршим прудам, жил приятель Дмитрия (старше курсом), сибиряк Федор. Идти в общежитие, где Ванечка сейчас, добродушно прищурившись, спросил бы: «Ну, как поживает товарищ?» — у Дмитрия не было и мысли.

Федор сразу понял состояние Дмитрия, хоть Дмитрий не бросался на шею и не бил себя в грудь.

— Можешь пойти со мной, чтобы я напился?

— А мне уж будто и не дозволено. Напьемся ноздря в ноздрю.

Вскоре они оказались за тем же столиком, откуда Дмитрий убежал, не расплатившись по счету.

— Ну-у? — протяжно спрашивал Федор.— Не может быть, померещилось. Да точно ли она была в комнате?

Может быть, подруга. А что, если сходить и все проверить?

У Дмитрия чем сильнее он пьянел, тем все ярче металась мысль пойти еще раз. То есть он только об этом теперь и думал.

Шли торопливо, почти бегом, как опаздывали.

Тот же двор, та же куча угля, тот же ослизлый — будь он проклят! — забор. Но лезть на него не нужно. Окна Гели темны, как и вся кирпичная стена дома, и даже еще темнее стены. Они настолько темны и черны, насколько можно быть темными и черными.

— А, погасили! — взревел Митька.— Совестно!

— Брось ты. Может, и нет ничего. Может, спать легла. На вот, кинь монету.

Дмитрий взял гривенник и бросил его в стекло. Гривенник ударился глухо. Попал по оконному переплету.

— Дай-ка еще. Погоди, у меня у самого мелочь.

Трехкопеечная монета звякнула бойко и пронзительно. Несколько секунд друзья ждали: загорятся, засветятся окна. Либо белое проглянет за черным стеклом. Теперь уж Мите вроде бы и не надо никаких оправданий, лишь бы загорелись окна и Геля была бы на месте, и все было бы хорошо, хорошо.

Но окна никак не отозвались на звон монеты.

— А, ты так?! Вот тебе пятачок.

Пятачок тоже ударился о деревяшку.

— А! Твою мать... Спать легли, затаились.

Сначала Дмитрию под руки попался кусочек антрацита величиной с грецкий орех, но и его хватило, чтобы стекло звякнуло и осколок тенькнул о подоконник.

— Зажжешь! Неправда!

Дзынь, дзынь, дзынь! Федор тоже брал теперь с земли увесистые кусочки угля и тоже вместе с Дмитрием кидал их в черные, упрямо (или трусливо) не желающие освещаться пролеты окон.

— Зажжешь, неправда!

Дзынь, бум. Дзынь, дзынь, трах!

Начали торопливо загораться окна справа, слева и даже в других этажах. Пьяные друзья перевалились через забор и чужим зазаборным двором пробежали на совсем уж другую улицу.

Митя прислонился к стене горячим лбом и вдруг весь затрясся, пронзительно скрипнув зубами.

— Брось, Митя, пойдем. В «Аврору» пойдем. Подсоберись. Подумаешь, свет клином сошелся! Хорошо, что вовремя открылось.

Мучительно было сидеть на лекциях в неподвижности, слушать длинные рассуждения по теории драмы, лекцию о Ромене Роллане и складывать примитивные фразочки из французских слов. С середины лекции он ушел.

Взглянуть бы в эти часы на Москву откуда-нибудь повыше, чтобы не только физическая (тысячу метров) высота, но и высокая трезвость, не исключающая восторженного удивления, вроде того, когда мы смотрим с высоты человеческого величия на жизнедеятельный копошащийся муравейник.

Взад-назад, взад-назад снуют крохотные черненькие существа, где скопляясь до жирного густого пятна, где рассыпаясь на бесчисленные юркие точечки. Ученые кисточкой окрашивают муравья, ставят на спинке яркую (белую, синюю, желтую, красную) крапинку и потом следят за крапинкой, стараясь уловить целесообразность, закономерность, разумность в передвижениях. Что уводит муравья от родной уютной норки? Какая цель, какие (пусть инстинктивные) помыслы? А оказывается, ему нужно было найти сухую сосновую иголку. Вот он ее нашел. Сейчас поволочет к дому. И точно. Поворачивается рыженькая тварь и, припадая под тяжестью, ковыляет в обратном направлении. А у того своя, иная цель. У третьего — совсем иная.

Если бы (с тысячи-то метров) пометить хотя бы одного человечка в толпе, тоже ведь, наверное, узнали бы немало любопытного. В чем целесообразность, закономерность, разумность? Где пружина и механизмы, перемешивающие, перетряхивающие всю массу, все эти миллионы индивидуумов, иногда вдруг мчащихся в одном направлении, иногда вдруг разбредающихся каждый сам по себе, иногда вдруг толпами, массами налетающих, набрасывающихся друг на друга?

А что же делали Шекспир, Бальзак и Толстой? Они ставили крапинку на отдельном человеческом существе и уже не упускали его из виду, куда бы оно ни пряталось, как бы ни скрывалось от беспощадных, бестрепет-

ных глаз исследователя. Крапленое существо превращалось в личность. Одиссей. Гамлет. Гобсек. Наташа Ростова. Алеша Карамазов. Григорий Мелехов. Иван Денисыч Шухов...

Самосветящиеся точки — поэты. Следите за мной. Следите за мной. Изучайте. Сочувствуйте или смейтесь. Вот я люблю. Вот я ненавижу. Вот я весь на виду. Я сам зажигаю свой факел. Сам ставлю на себе отличительное опознавательное пятно. Теперь вы не спутаете меня с десятками моих же собратьев. Свою любовь, свои страдания я выворачиваю наизнанку, на всеобщее обозрение, может быть, для вашего восторга, может быть, для моего позора. Но иначе я не могу. Каждый изгиб своей души, каждый порыв своей души я делаю вашим, невольным может быть, достоянием. Да, я таков: «Я не люблю пустого словаря». «Одна мне осталась надежда смотреться в колодезь двора». «Я тварь дрожащая, лучами... озарены коснеют сны». «Я медленно сходил с ума у двери той, которой жажду». «Я в четырех стенах, убитый земной заботой и нуждой». «Прижмись ко мне крепче и ближе, не жил я, блуждал меж людьми». «С вечерним озером я разговор веду высоким ладом песни». «Слышишь колокол? В поле весна. Ты открыла веселые окна». «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле». «Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, всходишь ко мне на крыльцо?» «И пусть другой тебя ласкает, пусть множит дикую молву, сын человеческий не знает, где преклонить ему главу». «Пусть день далек, у нас все те ж заветы юношам и девам. Презренье созревает гневом, а зрелость гнева — есть мятеж».

Так распахивает сердце свое поэт, отдавая нам самые глубинные, самые потаенные, самые сокровенные, еще трепещущие чувства.

Может быть, наш незадачливый герой (поскольку поэт) и сам рассказал бы когда-нибудь о своих радостях и печалях? Но ждать нам, право же, недосуг. Вот почему мы тоже пометили его легонькой рыжей крапинкой и теперь с какой хочешь высоты найдем блуждающую точечку среди суетливой городской толпы.

Трудно было бы разглядеть хоть какую-нибудь целесообразность и разумность в замысловатом движении Дмитрия по переулкам и улицам. Из переулка в пере-

улок, из переулка в переулок (куда глаза глядят, что ли?) он шел, бормоча под нос, размахивая иногда руками, задевая иногда даже и за редких, даже и за случайных прохожих. Но если бы не полениться и понаблюдать подольше, все же можно было бы заметить, что общий его маршрут все время замыкался в круги и что каждый новый круг все у́же и у́же прежнего.

Почти дойдя до воображаемого нами центра (то есть до дома с кирпичным забором в глухом дворе), помеченный нами человек вдруг бросался по радиусу вдаль, чтобы снова плести круги.

В конце концов он угомонился на квартире своего однокурсника Глеба Пригородова. У Глеба сидел уж и другой Митин однокурсник, Виталий Солодов. Как-то так получилось давным-давно, что, если выпить под настроение, именно под настроение, а не просто со стипендии или в праздник, всегда сходились Виталий, Дмитрий и Глеб.

Глеб единственный москвич из этого триумвирата. У него и книги в шкафах, и радиола с множеством интересных пластинок. Комната прокурена до горечи. Горечь застарела, накопилась годами. Для окурков огромная (почти ведро), обрезанная наискосок, гильза снаряда.

Дмитрий сам начал копаться в пластинках, выбирая то, что ему казалось по сердцу.

— Подожди,— остановил его Глеб,— редкая пластинка Вертинского.

Полустертая запись издалека, из-за тысячи верст, из другого, невероятного мира, доносила притворные ли, истинные ли страдания и жалобы певца: «Одному не поднять... А другим — не понять... Остается застыть и молчать».

Пока звучала стонущая мелодия песенки, Дмитрию казалось, что никакие слова, никакая музыка не могут точнее выразить его теперешнее состояние. Но когда всю комнату наполнил голос знаменитого итальянца и когда итальянец подпустил слезу в свое знаменитое «Смейся, паяц» (хотя бы и на итальянском языке), у Дмитрия перехватило горло, и, пожалуй, именно в эту минуту он почувствовал приближение следующего (после стекол) сотрясающего внутреннего толчка.

— Нет, нет,— предлагал между тем Глеб.— Вот интересная пластинка. Поет хор Соколова из «Яра». Про него песенка есть: «Соколовский хор у Яра был когда-то

знаменит». Тот самый. «Позарастали стежки-дорожки».— Глеб любил многозначительно поднимать палец около виска.— Пустяковая песенка. А что надо-то? В ресторане. Что надо-то? Надо, чтобы душу разбередить. Идет человек со службы, зашел на полчаса. Выпил сто грамм, задумался. И вдруг — цыганская воля, разгул, тоска. А, трын-трава, пропадай все пропадом! Вот зачем нужна ресторанная музыка. А когда в ресторане играют «Катюшу», такая скука возьмет, последние сто грамм не выпьешь, так уйдешь. Вот пустячок ведь «Позарастали стежки-дорожки», они ее переделали, конечно, слова свои. Ну, и трактовка... Слеза, надрыв, трагедия.

С каждым словом Глеб все выше поднимал многозначительный палец.

— В каждом человеке сидит трагедия. Важно ее разбередить.

Пластинка зашипела под иголкой. Нелепые, пошлые слова. Знакомый примитивный мотивчик:

За стеначка̀ми, за дверачка̀ми
Стоит кроватка с подушечками.
На той крова-а-т-ке Ол-ля лежала,
На правой ручке Колю держала.

— Почему? — вскочил, протестуя, Виталий.— Почему такая чепуха бередит мне душу?

Идет мой милый, с утра он пьяный.
Открой мне двери, моя кохана,
Открой мне двери и-и-ли оконце,
Люблю тебя я, ты мое солнце...

— Хулиганство! Наваждение и ложь! Но, пожалуй, нет ведь другого случая, где настолько уж пошлые и пустые слова пелись бы с такой надрывной тоской и болью.

— В этом фокус. Соколов был артист. Все идет вроде бы на улыбке. На чепухе. Он улыбается, певцы улыбаются, слушатели улыбаются. А потом вдруг всем хочется плакать. Неизвестно отчего.

— И выпить.

— Сейчас дозреем...

«Позарастали м...о-хом, травою...» — мощно выдохнул хор, прежде чем остановилась пластинка. Друзья переглянулись.

— Пошли.

Началось с тяжелого, символического может быть, Дмитриева падения. Мать, Пелагея Степановна, когда сыночек уходил на чужую сторону, передала ему на сохранение (и вроде уж получилось, как талисман) золотой николаевский червонец, доставшийся от бабушки Василисы. «Береги,— говорила мать,— рази уж с голода помирать станешь...»

И деньжонки были ведь для начала. Так что вполне загадочно явилась вдруг к Мите мысль продать золотой, разменять на ничтожные потрепанные бумажки. Значит, внутренне он готовился и, в сущности, был готов лететь так низко, как позволят, ну, что ли, обстоятельства.

Прежде чем падать, всегда бывает нужно переступить что-нибудь заветное, чистое, светлое. Плюнуть этому светлому в глаза, выругаться как можно сквернее, по-матерному. Тогда уж человек может все. Легко и свободно падает он в любую помойную яму. Не заметит, что измазался.

(Можно бы упрекнуть героя, а более того рассказчика, что очень уж легко такая нелегкая плавучая снасть, такой, можно сказать, тяжелый и остойчивый корабль дал крен и черпнул забортной воды. Говорят, что тяжелый корабль только тогда поколеблется и осядет, если поразить его одновременно в несколько разных отсеков.

Но и то правда, что по времени почти совпали и трагическая, для Дмитрия (хотя сам виноват), история с Сашей Марковичем, и неудача, постигшая поэму, и теперь вот самое личное и больное... Словно три бикфордовых шнура подкрадывались, дымясь, к трем вот именно смежным, хоть и разным, отсекам его души. Посмотрим еще, найдется ли что-нибудь попрочнее и поосновательнее, что в конце концов удержало бы на плаву.)

Говорили потом, что ночной (главный) Митин поступок созрел случайно. В конкретном виде, в деталях, может быть, и так. Но не тогда ли он уж в общих чертах все решил, когда разворачивал из застиранной деревенской тряпочки не потускневший за десятилетия материн золотой? Вспомнилось потом, что время от времени, пьяно озираясь вокруг себя, Дмитрий истерически вопрошал:

— Где она, с гордо посаженной головой?!

На что Виталий неизменно, с каким-то даже восторгом, говорил:

— Араратов ищешь? Араратов — нету.

Начали друзья с «Арагви», чтобы все же хорошеиько поесть. Коиьяк и сочащееся кровью мясо, ядреный лук и обжигающий губы перец, возгласы насчет гордо посаженной головы и несуществующих якобы Араратов — все это будоражило молодую кровь, высвобождая такую энергию, что, наверио, хватило бы иа километровый пробег тяжелому товариому паровозу.

Поздио вечером перекочевали в «Узбекнстаи».

Напротив Митиных глаз (через два порожннх столика) прямо и гордо сндела молодая длнниотелая женщина. Ее плешнвый кавалер показывал Мите жнрную спнну с поннкшнмн жирнымн плечамн. Лысина у него была белая, а шея (в две складки) красиая, как кирпич.

Глеб и Виталий убеждали потом, что в «Узбекистан» компання перебралась в состояинн почтн что иевесомости. Дмнтрий увереино говорил, что он, напротнв, почтн отрезвел к этому временн. Впрочем, какому пьяному не кажется, что он трезв, бодр н в состояинн отвечать за свои поступки?

На столе (там, где женщииа) стояли две пустые бутылки нз-под коньяка. Третья — наполовнну. Не трудно было заметить, что женщнна пьет вровеиь с плешнвым компаиьоном. Оттого и побледиела, оттого н дрожат напряжеиные красивые иоздрн.

Дмнтрнй, прежде чем выпить, вежлнво прнподнял коньячную рюмку: «За ваше здоровье, ваше велнчество!», и та ответила своей, около губ пасущейся рюмкой. Тогда Дмитрнй вопросительно кивнул иа лысниу.

Женщнна состроила гримасу: «Не очень прнятно, ио так уж случилось, что поделаешь».

Потом была мнвута, когда Дмнтрий и женщииа глядели в глаза друг другу. Будто бы в это время Дмитрий н прочнтал, что возможио все.

— Я хочу сегодня уехать с этой женщнной.

— Брось, ие чудн. Во-первых, она с мужиком.

— Я хочу сегодня уехать с этой женщиной.

— Это, конечно, было бы красиво и интересно. Но давай лучше выпьем еще по маленькой.

— Я хочу сегодня уехать с этой жеищнной. Но вы должиы мне помочь. Во-первых, ты, Глеб, дашь мне ключ. Во-вторых, когда онн будут выходнть и она пройдет в иа-

ружные двери (должен же он пропустить ее вперед), вы на несколько минут задержите его за дверями.

— Пустой номер. С чего ты взял, что она уйдет от своего мужчины? Они выпили три бутылки коньяку и еще бутылка у нее в сумке.

— Ну, черт возьми! Можете вы задержать его на три минуты перед дверьми, когда она пройдет уж сквозь эти двери?

— А где будешь ты?

— Я буду на улице. Собственно, я уже пошел.

На свежем воздухе (апрельский сладостный холодок) у Дмитрия было время образумиться и прийти в себя. Но он думал только о том, чтобы она вышла первой и чтобы мужчину задержали на три минуты.

Дмитрия била дрожь. Надвигалось невероятное, неизведанное, неотвратимое.

Внутренние двери тяжело вздохнули. Но это была не она. Совсем другие посетители. Они подошли было к такси (дверца машины точно против дверей ресторана), но счетчик уже работал. Такси остановлено Дмитрием.

Снова тяжелый вздох дверей. На улице женщина поглядела на небо. Все-таки были звезды. Потом увидела парня, который в ресторане сидел напротив нее. Парень резко распахнул дверцу автомобиля:

— Ваше величество, карета ждет вас,— и тихо добавил: — Скорее, не бойтесь. Его задержат мои друзья.

Женщина усмехнулась, выпрямилась еще больше, подошла и вдруг быстро нырнула в машину.

— Трогай! — закричал Дмитрий.— На улицу Веснина.

— Жаль, что это всего лишь автомобиль,— с улыбкой, но тоже и с дрожью сказала женщина.

— А вы бы хотели?

— Я бы хотела... тройку с бубенцами и колокольчиками.

Больше они не произнесли ни слова. Ни пока ехали (каждый в своем углу), ни пока поднимались на четвертый этаж. В комнате женщина (шедшая впереди) обернулась, выронила на пол сумку (стукнула об пол запасенная бутылка) и опытно, сразу всем телом приникла к Дмитрию. Он хотел пошевелить руками, но женщина остановила его шепотом, какой бывает у женщин только в эти минуты:

— Не надо. Не люблю. Я разденусь сама... Свет... Скорее!

(Ах, Митя, Митя! Помнишь ли нелепую (но и святую ведь) робость, когда светлокосая девушка Шура уходила в безмолвную лунную ночь? Уходя, спиной, затылком, всем существом своим слушала, не догонишь ли ты ее, ждала, вся певучая, как струна. Но ты не принял в широкие бережные ладони девичьей любви. Подскочил дружок Гришка, схватил впопыхах, рассмеялся... Дрались тогда с Гришкой. Да что уж толку... Потом к амбару звала. Спала она в том амбаре. Мог бы отложить отъезд на один-то день. Но что-то уводило от тоскующей Шуриной любви. Старики сказали бы: «Не судьба!» И сам ты все время думал, что недаром... Что куда-то дальше, какой-то белоснежной невесте несешь свою тяжелую, мрачноватую силу.

Как же вышло, что лежишь теперь впотьмах, боясь пошевелиться? Голова болит от похмелья. Во рту сухо и нехорошо. А рядом чужая, неизвестная (даже имени друг у друга не спросили) женщина, невольная соучастница твоего дикого, бессмысленного бунта.

Все же, несмотря на похмелье, Дмитрий чувствовал непривычную зыбкую легкость в себе: не причудились в ослепительных и пронизывающих тело молниях ночные часы.)

Он пошевелился и понял, что лежит на кровати один. Встал, покачнувшись, отдернул штору, но дня еще не было. Пришлось зажечь свет. На столе, рядом с неоткупоренной бутылкой коньяку беленький квадратик записки: «Меня не было, ничего не было. Не ищи!»

По рассветным, но еще не утренним улицам Дмитрий шел к общежитию. Он вымыл рот, освежил лицо, глотнул (чтобы омылась и кровь) из пресловутой бутылки.

В конце концов, действительно ничего страшного не произошло. Ну, женщина. И что? Как будто всякий приходит к свадьбе... Да и надо ведь помнить, почему все случилось. Не он пустил первую стрелу. Не он бросил пригоршню грязи в подвенечные одежды невесты. Она сама окатила себя из поганого ведра... (В этот миг жесточайшего осуждения Дмитрий будто бы услышал в себе, что невеста его чиста. Это прозрение могло бы и вовсе владеть им, и он бы помчался к ней сию же секунду.

Но все же картина, увиденная с забора, ее реализм оказались сильнее тончайшего таинственного импульса.) «И потом, за что казниться? — рассуждал он, идя и идя.— Как будто я не тот же, не вчерашний. Кто докажет мне, что я не тот? Что изменилось во мне? Кто смеет утверждать!..»

Из-за поворота навстречу Дмитрию вышел небольшого росточка, пожилой, пухленький, без шапки человек. Его зимняя еще (пора бы и снимать) шуба распахнута. Прохожий шел и размахивал десятирублевкой, держа ее за уголок.

— Мм-олой человек, а мм-олой человек! Кто меня может научить, где в этот час в столице нашей Родины Москве можно пропить десятку?

— Я думаю, вам нужно идти на вокзал.

— О! — вскинул человек указательный палец.— О! Гениальная идея. На! Вок-зал!

Спившийся актер, как точно определил Дмитрий с первого взгляда, возбудил жалость:

— Стоит ли вам идти на вокзал? Хотите?

Дмитрий достал из кармана початый коньяк и пока еще издали показал жаждущему.

Актерик театрально упал на колени и воздел к бутылке дрожащие пухленькие ручки: «О боже мой, слезы волненья мешают мне видеть тебя!»

Они уселись на тротуар и дружелюбно выпили, Дмитрий три, а человечек четыре глотка.

— «Ты отошла, и я в пустыне, к песку горячему приник». Друг, я тебе прочитаю... Милый... «Цветите, юные, и здоровейте телом...» Я ведь Блока видал. Я ведь Любови Дмитриевне в некотором роде ручку... Все равно не поверите. Но я прочитаю. Артист Барцев умеет платить долги.

Коньяк укрепил бродягу. Или осталось машинальное профессиональное мастерство. Читал он, не заплетаясь языком, не сминая и не проглатывая слов, как можно бы ждать от похмельного и снова пьяного человека.

Забавно, наверно, было бы смотреть со стороны. Два человека сидят на тротуаре. Между ними стоит бутылка. Один, привстав на колено и обратив голубенькие застиранные глаза к золотисто-синему небу, читает нараспев и чуть не плача.

Читал артист только Блока. Дмитрий все стихи тоже знал наизусть. Но теперь они странно, каждым словом открывались по-новому, точно лежала на них некая мутная пелена (ну хотя бы как на детской переводной картинке). А теперь этот нелепый человек в распахнутой, подвытертой лисьей шубе стирает пелену, и слова загораются яркими, свежими красками. В самом конце стихотворения «Сон», прочитанного с особым воодушевлением и блеском, артист поперхнулся, видимо от спазмы в гортани, и зарыдал.

Дмитрий протянул бутылку:

— Как же вы... Такое мастерство.... Почему же?

— Черта! Нельзя переступать черту.— Собутыльник оправился от плача и говорил отрывисто. Слова и мысли его скакали, прыгали, образуя золотистый пунктир вместо непрерывной и плавной линии.— Табу. Завет. Нельзя нарушать завет. Думаем — ни черта! Отмирают клетки. Необратимый процессс. В душе, конечно.

— Выходит, вы переступили?

Артист поглядел на Дмитрия долгим и, как показалось, наиболее осмысленным за все время и трезвым взглядом. Слова же, наоборот, пошли самые заплетающиеся и пьяные.

— Че-пу-ха. Барцев пьян. Кто против? Единогласно. Но Барцев несет зер-но! Нет! — Погрозился пальцем.— Ни-ни-ни! Свет во тьме, и тьма его не объяла.

И вдруг трезвым, жестковатым даже голосом заключил:

— Слушайте, юноша, подарите мне эту бутылку. А вам я советую крепко спать.

— То есть?

— Мерещится глубина? Просто выспитесь. У вас синяки под глазами. Мне можно. Мне все равно. А вам предлагаю спать. Кто против? Е-ди-но-гласно.

Когда он уходил, доносилось некоторое время проникновенное бормотание: «Ты, как младенец, спишь, Равенна... Поет на плитах, как труба...»

Дмитрий отряхнулся и, зябко вздрогнув плечами, быстро зашагал к общежитию.

Дворники разметали тротуары.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Один Митя знал, что в чемодане у Игоря Ольховатского, под студенческим бельишком, под блокнотом и тетрадями, завернутый в портянку, а потом вместе с портянкой затиснутый в драный носок лежит тяжелый трофейный, с бездонным черным зрачком парабеллум.

Никто и не должен был бы знать. Потому что, хотя и «подарок контр-адмирала» и «снят с немецкого офицера», убитого Игорем же во время десантной операции, но теперь, если бы узналось, все равно бы были большие неприятности. Перед Митей Игорь однажды похвастался, вполне доверяя спокойному, не очень-то разговорчивому товарищу.

Дмитрий закрыл комнату общежития на ключ изнутри. Выдвинул чемодан Игоря из-под кровати, засунул руку глубоко под белье и безошибочно нашарил там, в глубине, плотный тяжелый сверток.

— Оружие люблю,— полубредово бормотал он, уходя все дальше от общежития. Наверное, был полубред, если о краже (а тоже ведь преступление) даже и не думалось. Как, допустим, во время тифа смешно беспокоиться о насморке. «Оружие люблю!» Как давно не слышала ладонь уверенной, успокаивающей тяжести железа, затаившей в себе смертоносный огонь. «Ты силен. Ты поверг меня, лилипутика, к своим ногам. И даже ногой наступил на грудь. Ты хохочешь, ты издеваешься, ты злорадствуешь, ты презираешь меня с высоты своего величия. Но я стреляю тебе в живот, и на лице твоем вместо злорадства — гримаса ужаса. Ну что?»

(Странно, что обращение это было, в сущности, ни к кому. Не могла же вся эта бредовая патетика относиться к тому неизвестному — даже лица не разглядел,— которого Геля целовала в губы... При чем тут лилипутик и нога на груди? И зачем так торжественно и сложно? Того он мог бы встретить за углом переулка: «Разрешите на короткий мужской разговор». Нет, смешно было бы даже предполагать, что это относилось к тому. Но тогда к кому же?)

Оружие люблю! Конечно, оно вполне нейтрально, пока лежит в чемодане, завернутое в портянку. Беспристра-

стно, бестрепетно-нейтрально. В руках злодея и убийцы оно — источник горя и слез; в руках не ведающего добра и зла оно — опасная игрушка, может убить сестренку, брата и даже мать. Но если оно как молния Пророка... если оно — карающий меч справедливости, если оно возмездие... Оружие люблю!»

Ради правды нужно сказать, что даже в таком патетическом бреду Дмитрий не знал все же, что он с этим оружием будет делать.

Пусть бы Дмитрий упал в бою, это было бы честно. На этом словечке и пришло главное-то отрезвление. Он даже рассмеялся вслух. И вся его воспаленная мечта: как стоят у барьеров (с абстрактным-то воплощением зла?), и как он бьет, и как вся боль и весь гнев воплотились в пулю...

Смех был, разумеется, невеселый (ближе к визгу), но — слава богу! — отрезвление пришло.

Круг по переулкам, замкнувшись, привел к институту, где давно закончились лекции. Выбрав аудиторию поглуше, Дмитрий забаррикадировался изнутри двумя столами и стулом, просунув ножку в дверную железную скобу.

В стеклянной плоской пепельнице с изображением толстенькой, кургузой балеринки на дне Дмитрий развел небольшой костерик. Он отрывал от листов бумаги узкие полоски и подкладывал их в бойкий, жадненький, капризный от жадности огонек. Полоски скрючивались в кольцо, желтели и вспыхивали. Сжигалась рукопись недописанной поэмы. Горело в огне и еще что-то, чему не сразу подберешь название: не может же быть, что было бы все в душе то же самое, если бы он отрывал не от рукописи, а так себе, от оберточной бумаги.

Оружие лежало на столе.

Да, вот и оружие, а выстрелить, собственно, не в кого. «Все как-то незримо и неуловимо в этом мире.— Вспомнилось, что писал ей когда-то в самом первом письме: ...и нужно, чтобы среди миллионов окон (так, кажется, писал он тогда) было одно освещенное окно, в которое всегда постучишься, и метнется тень, и звякнет защелка, и будет тепло после холодного сентябрьского дождя... И если почувствую, что сожмется вокруг меня некий круг, не в кого будет метнуть копье, чтобы разорвать его. Боже мой, какое светлое было лето! Из форса, из жела-

ния поразить и блеснуть придумал тогда про этот круг. И что же? Напророчил, накаркал.

Как зверю, кошке например, становится тягостно перед грозой (но не понимает же она, что упало атмосферное давление), так и Дмитрию... Так и он слышал над собой постоянный душноватый гнет, и вот, наконец, сгустились тучи. Или, может быть, существовало в нем вечное предчувствие, что все равно ускользнет из рук ослепительная Жар-птица (и это таинственно угнетало душу), или... Впрочем, все тут одно к одному, одно к одному. И не в кого метнуть копья.

Как-то так все устроено и распределено, что человек сам делает то, что ему не нужно было бы делать. А раз сам, то и вини сам себя. В конце концов, сам ведь, не вели ведь на трибуну под руки, не было ведь очевидного физического насилия, сам вышел вперед и убедительно говорил, и остались, врезались в память удивленные, ничего не понимающие глаза Саши Марковича. Если бы можно было когда-нибудь забыть их, эти глаза! Но ведь сам, сам, отчего же и хныкать?

И с поэмой — сам. Василий Сидорович только посоветовал, пожелал. Мог бы и пренебречь его советом и сделать по-своему, иначе. Отчего же не смог? Что же это за психология такая, что и знаешь — не надо делать, знаешь, что можно не сделать и не хочется делать, но, в конце концов, делаешь? Что за кара?

Куда бы ни мыкнулся Дмитрий сейчас своим внутренним взглядом (то есть, значит, в какой бы ни заглянул душевный отсек), везде плачевное положение: течь, ледяная хлюпающая вода.

Сломалась, хрупнула немудреная линия крестьянского рода (хорошо было рассуждать об этом тогда, сидя на зеленом бережку реки), и совпало, что излом, самый что ни на есть разрыв вековых волокон, пришелся как раз на Митю. Новая стихия жизни не хлебом с солью, не материнской, любую боль утоляющей лаской встретила деревенского парня Золушкина. Она, эта новая стихия, воплотилась для него в сказочный, неправдоподобный образ девушки Гели и через него же насмеялась над ним. Но ведь еще раньше смеялись и земляки.

«— Оплошал.

— Куда уж нашим в калашный ряд!

— Про дуб какой-то написал.

— Наврал.

— Через восемь лет приходите, он приготовится...»

Опаздывало трезвое темно-синее апрельское утро. И выходило в полночном, переутомленном последними ночами бреду, что вроде уж некуда деваться (во всех отсеках ледяная вода) и осталась одна-единственная в глухой стене выходная калиточка. Ключ от выходной калиточки — тяжелый и черный — покоился на столе.

Дмитрий дернул за ствол, отпустил его и положил пистолет снова. Теперь ключ был даже и в скважине. Оставалось медленно повернуть... Между тем за раздумьями, да и не за раздумьями даже, а в некоем нравственном оцепенении проходила ночь. Вдруг спокойно и ясно, как будто стихотворение давно знал наизусть и оставалось только нанести на бумагу, записал:

Ну вот и все. Пружина на пределе.
Ты не повернешь. Вздрогнешь. Замолчишь,
И не узнать, на сколько не успели
Разбить капели мертвенную тишь.

Все цель да цель... А тут не нужно целить.
Но цель и тут не так еще близка.
О, как он долог, этот путь до цели,
Путь от стола до правого виска!

Неопытный самоубийца, он не знал даже, что записка бывает нужна прежде всего юристам и что обязательно стали бы доискиваться: кто не поверит, кто вздрогнет, кто замолчит? То есть кто, по существу, послужил, хотя бы и косвенной, причиной совершившегося?

Каждое написанное стихотворение всегда вызывало в нем вспышку бурной радости. И даже сейчас, после такого стихотворения, он почувствовал нечто вроде удовлетворенности собой. Подошел к окну и толкнул высокие узкие створки.

Апрель стоял на земле. Где-нибудь на глинистом сыром обрыве, на краю оврага, где в одновременном соседстве теперь тающий снег, талая вода и обтаявший лоскут земли, зародилась та струйка ветерка, которая впорхнула в раскрытое окно в то самое мгновение, когда оно гостеприимно раскрылось. А может быть, сначала это вовсе была не струйка, а целый огромный ветер, напитавшийся

там талой водой, сырой землей и последним снегом. Может, был он сначала широкий и сильный, но, наскочив на гигантский город, процеживался сквозь бесчисленные прорехи, щели, переулки, кирпичные ущелья, глухие, похожие на колодцы дворы. И вот уж от ветра, процеженного сквозь город, как сквозь решето, остались обрывочки, лоскутки, клочочки, слабенькие трепещущие струйки. Одна такая и впорхнула в окно в тот самый миг, когда его раскрыл Дмитрий Золушкин.

Точно ли пахнуло снеговицей и парной землей или это только одно воображение, навеянное всего лишь температурой и влажностью апрельского ветерка? Но сердце дрогнуло и заколотилось.

«А, какого черта! Обязательно ли продырявливать себя в этой скучной прокуренной аудитории? Может быть, там, на родной земле, наглядевшись последний раз на светлые бойкие ручейки и на синее небо? А и кровь, уж если на то пошло, впитается в русскую землю или, подхваченная весенней водой, хоть каплей, хоть молекулой, хоть неделимой частицей домчится до великого океана».

Взгляд невольно скосился на пол, на затоптанный узенький половичок в проходе, на котором должна была собраться через пять минут липкая, густая лужица. Мусоринки плавали бы в ней, пыльца. Вон тот обрывочек бумажонки, вон та измочаленная спичка (наверно, Петька Куликов ковырял свои редкие желтые зубы)...

Обиженного сына своего позвала земля.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Над крохотным полустанком сияло огромное синее небо. У вокзальчика, окрашенного в тоскливый коричневый цвет, привязанная к столбу дремала заезженная лошаденка. Розвальни. Дмитрий подошел к розвальням, выдернул горсть грубого стеблястого клевера, поднес к лицу и длительно, глубоко втянул запах. Вещей у него никаких не было. Ведь по замыслу, по тому толчку у открытого окна, нужно было только дойти до хорошей теплой проталины.

На выходе из пристанционного поселочка (по правде говоря, тут уж была настоящая деревня), возле огородного тына мужичонка в военной фуражке с авиационной кокардой рубил дрова. Фуражка велика ему, да и по виду — какой он летчик! Наверно, с сыновней удалой головы.

— Бог в помощь! — громко, внятно произнес Дмитрий.

— Спасибо на добром слове. Присядь, покурим.

Топор с маху вонзился было в чурак, но дровосек, раскачав, вынул его опять, смахнул с чурака древесную крошку. Садись!

— Забыли ноне словечко-то. А ты, гляянь-ко, молодой, а знаешь. Мудрили, мудрили: и те привет труду! И те успех труду! И те физкультпривет! И те чтó — не прививается. И вышли мы теперь без того и без энтого. Без слова в общем. Так ли я говорю?

— Сидеть мне некогда («Чепуха! — мелькнуло в голове.— Почему некогда?»), вырубил бы ты мне хорошую палку.

— Это можно. Без хорошей палки в дорогу нешто можно? Хорошая палка в дороге — перво дело! — А сам дергал из кучки то одну лозу, то другую и, наконец, выдернул длинный ровный ореховый побег. Прикинул глазом, тяпнул два раза, где нужно, один конец заострил, по другому прошелся вокруг, обнес фасочкой, чтобы мягко было руке.

— Как ловко вы орудуете топором!

— Хм. Я, мил человек, топором могу спичку на восемь частей расколоть. Сызмальства приучен, так чего ж.

— А работаете?

— Семеро наваливают, а я ношу.

— Не плотничаете почему?

— А ты видел на сто деревень в наших местах хоть один новый сруб? Окна заколочены, дома брошены — это есть. Куда-нибудь на сторону, знаем идти — может, там и строют дома — не имеем полного права. А палку ты береги. Видишь, как струна. А уж крепка — износу не будет. Известно, орех — благородная древесина. Идти-то далеко или нет?

— Да как сказать? До вечера обязан дойти.

— Дальние, значит. Теперь овраги играют, не везде и пройдешь. Резиновы бы вам сапоги...

Еще шагов через сто, совсем уж у крайиих домов, старая женщииа проводила Дмитрия вглядчивым долгим взглядом.

— Или счастье к кому идет?

— Какое же счастье, бабушка?

— Я мол: ие с войиы ли кто — вот и счастье.

— Войиа давно коичилась.

— Не все вдруг домой ворочаются. Можа, безвестный какой объявился, и так бывает.

За крайиим домом от огородиого тыиа, от развалин бревеичатого сарая, от прясла в две осиновые темиокожие слеги, иачииалась российская земля.

Узкая дорога (саииый путь), укатаниая широкими полозьями и утоптаииая лошадииыми копытами, трудиее поддавалась апрельскому солиечному теплу, чем рыхлый снег по стороиам от дороги по широким перелесчатым полям. Дорога осталась лежать иа обтаявшей, в общем, земле ослизлой, витиеватой, ледяиой змеей. Размокший коиский иавоз покрывал ледяной бугор раскисшей плеиочкой, оттого еще сильиее скользила на дороге нога. «То-то»,— вспомиил Дмитрий мастерового мужичка, в одну секуиду соорудившего острую ловкую палку.

Но ие столько мужичок, сколько вот имеино бабушка со своим возгласом о счастье, будто бы шествующем к кому-то, будто бы уж твердо предопределеиием одной из бесчисленных русских матерей, иезримо увязалась за Дмитрием в это страииое иетороппливое путешествие. Дмитрию представилось, как шел бы настоящий-то, объявившийся вдруг солдат, и что он иес бы в душе, и что были бы для него всякая оттаявшая былинка, всякое зеркальце весеиней воды, всякий ледок и всякое облачко. Душе бы крылья, а иоги словио онемели и не идут. Как сильная вольиая птица, схваченииая за одиу ногу, рвалась бы тогда душа. Покажи бы ему тогда то чериое и тяжелое, что иеудобио оттягивает Дмитрию правый кармаи... Как?! После четырех лет беспрерывиой пальбы по нему, по солдату, после всего, когда еще два-три перелеска и откроется с холма совсем уж родиое приволье?!. М-да, коиечио, диковато и даже похоже иа иелепость. Но бывают и иелепые случаи. В Мечеиосове пришел демобилизоваииый солдат, а через иеделю выиули из веревки иа чердаке, хорошо еще, отходили. Жена, говорят, ие до-

ждалась. Мало ли в жизни случаев, а тоже, наверно, трепыхалась душа, как птица, неожиданно схваченная за ногу.

Шура Куделина, наверно бы, дождалась. Вопрос — кого. С Гришей, правда, у них тогда же, сразу все разладилось: Гриша тут не пример. А меня бы, пожалуй, дождалась. Теперь-то горькое ее дело. Ровесников перебило на войне, у пожилых мужиков свои семьи, а мальчишки еще не подросли. А и подрастут — у них своя, девчоночья, ровня. Пока растут, не будет и для Шуры стоять на одном месте время. Шур таких по России остались миллионы. Двадцать четвертый, двадцать пятый года рождения — много ли их уцелело, русоголовых, синеглазых парней? Миллионы обездоленных любовью и материнством Шур. Только и вспомнится десяток довоенных лунных ночей.

Шура, пожалуй бы, дождалась. Как в калейдоскопе, перетряхивались и перегруппировывались не мысли — какие там мысли! — невеселые, сумеречные грезы Дмитрия. То вспыхивало общежитие и Ванечка с вечной своей дружелюбной насмешкой: «Дорогой мой, хорошо тебе жить. Ты похлебки поел, шинелью укрывшись, поспал — и к товарищу. А тут вот сиди, двигай вперед великую русскую литературу».— «Ты, Ванечка, очень круто месишь,— отвечал иногда Митя.— У тебя рассказ, как гороховая лепешка. Откусишь с орех, а разжуешь — полон рот».— «Ну, конечно,— не оставался в долгу и Ванечка.— Гораздо интереснее приготовлять десерт по-французски: одно яйцо, немного сливок, совсем мало сахару и как можно дольше взбалтывать».

То вдруг поднимался, нарастал, заслоняя собой все, седовласый старик Горынский. Вот он, встав коленом на стул, басовито рокочет о его, Митьки Золушкина,— первого чтения — стихах: «Романтики, вот чего не хватает часто. Скоро мы будем бояться сочетания слов «упала звезда», потому что в наш рациональный век точно известно: падают не звезды, а метеориты, куски железа. Ну да, звезды не падают. Ну да, папоротник не цветет в ночь на Ивана Купала. Ну да, русалок не существует. Ну да, цветы не разговаривают между собой, деревьям не снятся сны, человек произошел от обезьяны... Нет, пусть неумело, пусть коряво, пусть, пусть и пусть! Я приветствую, когда поэт, когда этот зеленый, едва лишь начинающий

лепетать поэт не просто говорит, но воюет за то, что падают все-таки звезды и что стóит загадать желание. А ведь зачем бы его загадывать перед куском обыкновенного железа, разогретого трением о земную атмосферу?..»

Надо было так и понимать. Все, кого бы ни вспомнил теперь Дмитрий, протягивали к нему за закраину хрупкого льда добрую руку помощи. И с аспирантами недоспорил. И в клуб к Мише Ляпунову надо бы — хоть через восемь лет — прийти. Да разве дело в том, что Васятка Петухов не читал и не понимает Блока? Блок-то Васяткину душу видел и понимал. И Толстой понимал, и Лермонтов, и Шаляпин (поющий Мефистофеля по-французски), и Рахманинов, и Стасов, и Левитан. Привыкли, что Васятка Петухов — народ. А Рахманинов вроде уж не народ. А что, если народ един? Цельное. Неделимое. Не может же быть человека без головы. Ты кто, спросили бы у меня в Америке или в Париже. Я — Василия Васильевича Золушкина сын. Чепуха. Я — Пушкин. Я — Лермонтов. Я — Достоевский. Я — Толстой. Я — Станиславский. Я — Шаляпин. Я — Чехов. Я — Менделеев. Я — Репин. Я — русский. Слышали? То-то вот и оно.

Чем шире круг захватывало Митино воображение, тем меньше и мельче становился он в этом круге сам, со своим горем, со своей болью, со своим полуночным решением.

Кроме того, и вокруг была все она же, бескрайняя русская земля.

Время самых первых ручьев, когда снеговица собирается сначала, как в губке, в нижних слоях глубокого рыхлого снега; когда потом она начинает там, в снегу, сочиться по капельке под какой-нибудь свой уклон; когда, сочась, она промывает там себе тонюсенький сначала проток (а может, попадет на подснежный мышиный ход и обрадованно побежит по нему); когда над подснежным ручьем обваливается верхний снег и ручей становится открытым, встречается с солнцем; когда, добравшись до крутого уклона и соединившись с десятком своих братишек, ручей мчится, шумя и бурля, и уж провидится ему привольное ложе реки (бессмертие или смерть в том, что он потеряет себя как личность, растворится в большой воде?)... Время этих вот самых первых ручьев прошло.

По сторонам дороги лежали обширные озера, темно-синие зеркала скопившейся, не нашедшей путей воды. Иногда ледяной бугорок дороги не выдерживал, вода промывала его и соединялась с водой по другую сторону, преграждая пешеходу путь широкой текучей полосой. Дмитрий отходил на три шага, разбегался и ловко перепрыгивал водяное пространство.

Ну и, конечно, главное украшение черной еще, неприглядной еще апрельской земли — песня жаворонка. Рыженький комочек вспархивал шагах в двадцати от дороги, расправлял трепещущие крылышки и вдруг на некоторой высоте рассыпался, брызнув во все стороны, на пригоршни золотых, серебряных, малиновых звуков.

Песенка поднималась все выше в голубизну, до того, что сам трепещущий колокольчик сливался с голубизной. Но чем выше поднималась песенка, тем слаще, тем радостнее казалась она, тем больше ликования рождалось навстречу ей в душе очарованного человека. И ведь настолько она щедра, что не нужно бояться, будто уйдешь и ничего не будет. Прошел сто шагов, километр, а песенка по-прежнему над твоей головой. Она идет вслед, непременная, как точка зенита. Куда бы ни ушел, всегда над головой зенит. Воображение охватывает сначала зримую глазом округу, потом на двести, на триста верст вдаль и вширь. Над всей землей, над всей вселенной Россией, куда бы ты ни пошел или где бы ни оказался чудом,— всюду сейчас одновременно (одновременно ведь, черт возьми!) звенит золотая жавороночья песня. Сколько же золотых колокольчиков подвешено сейчас в голубизне над всей-то землей? Это сама земля поет, само небо поет, само солнце поет. Это их вечная весенняя песня. И что этой песне до тебя, забаррикадировавшегося в прокуренной аудитории? Песня жила, когда тебя не было и в помине, когда не было не только прокуренной аудитории, но и каменного дома того, и каменного города того. И если пройдут века и снова вдруг не будет никакого города, золотые колокольчики все равно затрепещут над землей в урочное апрельское время.

Дорога уходила влево, в объезд. Прямо вела тропа. Дмитрий знал, что она приведет к оврагу и что этот овраг придется преодолевать. Но... можно ведь и не преодолевать. Не обязательно. Посмотреть же на гуляющий овраг непременно стоит.

Настоящее, значит, наступило тепло, если принялись таять лесные глубокие снега. Овраг выходил из ближнего елового леса. Оттуда текла вода. Картина была такова. Эта сторона оврага, с которой подошел Дмитрий, хранила еще снег. Даже снежный карниз еще не сполз пониже, держался там, где соорудили его февральские и мартовские метели. Снег устилал весь этот склон и самое дно, самое ложе оврага, чуть-чуть поднимаясь и на ту, противоположную, сторону. Дальше за снегом начиналась обтаявшая, та, противоположная, сторона — прижатый к горячему припору красноватый глинистый косогор.

Получалось, значит, что вода мчалась вдоль оврага в снежном русле, в снежных разрыхленных теплом берегах. Попробуй подойти теперь к ней, к воде, чтобы переступить,— не подойдешь. Нога станет проваливаться, черпать подснежную воду. Надо еще и то предполагать, что поток подмыл оба снежных бережка и они обрушатся под тяжестью и от содрогания. Окажешься по пояс в ледяной снеговой воде.

Все же побрел, палкой протыкая снег, осторожно уминая снег под ногой, прежде чем перенести на ногу всю свою немалую тяжесть. Снег зернистый, крупный, сыпучий. Он не продавливается под ногой, а раздается в стороны, как рассыпчатая крупа. Но все же слой его был достаточно толст, чтобы подпустить к обрывистой кромке, к весело, переливчато, самозабвенно мчащейся мутноватой воде.

Вода легонько шуршала о снежные берега. Но главный шум происходил не от этого. Сталкивались друг с дружкой торопливо текущие струи, то ныряли вглубь, то выныривали, образуя бугор. Почему-то их мотало от одного бережка к другому, почему-то их перекручивало, чуть ли не заворачивало назад. А потом они все теснились, где сужался поток, пузырчато толпились перед узким местом и устремлялись в него ускоренно и летяще. А потом все вместе прыгали с приступка, который им подсунула на пути земля, и там был особенный дружный шум.

Перешагивать через поток — широко. Нужно прыгать как можно сильнее. Оно и удобно бы — тот бережок пониже, но под тяжестью обязательно обвалится подмытый снежный край. Тогда Дмитрий решил перепрыгнуть-

то перепрыгнуть, но приземлиться на том берегу не на ноги, а шлепнуться плашмя — и грудью, и животом, и коленками, и раскинутыми в сторону руками.

Разгоряченное ходьбой лицо приятно ткнулось в рыхлый зернистый снег, и сам успел ощутить сладковатую негу неподвижной, расслабленной распластанности. Перевернулся на спину, полежал. Взгляд упал в небесную глубину, как огромный камень в синюю бездну, когда секунда... и уж не камень— горошина, а вот уж и нет ничего. Поглощен, растворен, потерян. Золотые колокольчики перекликались в поднебесье. Рядом очень близко и очень сильно пела вода.

Пополз по снегу вверх к земле, к красноватой, обсохшей, прогретой солнцем глине. То есть именно только отсюда и мог прилететь тот ночной, позвавший Дмитрия ветерок. Кончился снег. Прошлогодняя обсохшая травка. Красное глинистое обнажение земли... Дмитрий даже приотпрянул назад во внезапном восторженном удивлении. У него перед лицом, в тридцати сантиметрах от глаз, из трещинки в красной глине поднимался крохотный золотой цветок. Его ворсистый матовый стебелек высотой в обыкновенную спичку стоял крепенько, поддерживая ослепительное (на фоне неприбранной весенней земли) лучистое солнышко.

«Милый, чудо из всех чудес, живой золотой цветок!» В глазах у Дмитрия залучилось, задрожало и расплылось. Он уронил голову щекой к нагретой земле и безобразно громко, облегчающе заплакал.

Бывает — вокруг пышное и яркое цветение земли, земная великая благодать, а живое существо, капелька, некий сосудик, обретающийся посреди великого и безбрежного цветения, наполнен мраком и ядом. Капелька черноты посреди голубого сияния. Оболочка сосудика непроницаема для внешней, ну, что ли, среды, для, именно, благодати, изолирована от нее, как стеклом, держит, копит черненький яд, что в конечном счете приводит к духовному самоотравлению.

Но иногда оболочка чудесным образом перестает отделять и изолировать, а капелька (оставаясь все же отдельной капелькой — и в этом главный величайший секрет) вдруг сливается с огромной солнечной синевой, с беспредельностью цветущего мира. В этом слиянии, в этом растворении, в этом единении капельки со все-

ленной и состоит единственно великое, единствеиио реальиое счастье человека. Стеики сосуда хрупиули (но именно ведь ие хрупиули, а чудесным образом перестали отделять), и апрель (то есть то, что действительно происходило на земле, а ие то, что принималось за происходящее) до краев иаполиил сосуд.

Мать-и-мачеха — золотой цветок! Дмитрий, теперь притихнув, так и лежал иа земле щекой, глазами к цветку. Оттого, что было близко, цветок казался большим на фоне чистого иеба.

«Как же так? Меня теперь могло бы не быть (пыльная лужица иа истоптанном коврике), а ты бы цвел, как цветешь, и нет тебе иикакого дела?»

«Но все-таки я позвал тебя. И ты пришел. Видишь, как я могуч. Пока ты любишь меня, ты сильнее всех, с тобой иичего не случится».

«Ты — иичтожество по сравнению со миой. Сейчас протяиу руку — и тебя уж нет. Остается голая земля».

«Я мал, ио вечеи. У каждого, кто смотрит иа меия, пробуждается великое чувство любви к родиой земле, к солицу, к жизии. Ничем ие могу доказать, но было: воин одиажды залюбовался миой, дрогиуло сердце воииа, и ои, иаклоиившись надо мной, прошептал слова укоренившейся мысли освободиться от чужеземиого ига. Я цвел иа поле Куликовом и иа обожжеиной курской земле, где лязгала и гремела сталь и огонь сжигал все живое. Я буду цвести и миого лет спустя, и иеизвестио еще, сколько сердец загорится жертвеииой любовью, увидев меня на сыром глинистом косогоре. Ты думаешь, истииа там, где ваши едучие шашлыки, заспаииые простыии, табачиый дым, злые мысли и иичтожиые, мелочиые мечты?»

«А ты хочешь сказать мие, что истииа только в тебе (то есть иебо, вода, земля и все цветущее доброе на ией)? Ты хочешь сказать, что цветеиие человеческого духа бедиее и жалче твоих, пусть и солиечиых, лепестков? Нет, золотой цветок. Спасибо тебе, что ты разбудил меня от тяжелого сиа. Но я сиова уйду туда, в камениые, железиые ущелья, к заколоченным деревенским избам, иа пристаии и вокзалы, иа проселки и большаки. Ведь и воин твой ие вечно же умилялся, но препоясал

чресла мечом, благословленный на великую смертельную битву.

Да, на вечности твоей, на бессмертии твоем я примерил свои человеческие дела».

«Ступай, теперь тебя нельзя победить. Это я говорю тебе, золотая травинка, вобравшая в себя соки родной земли. Маленький горьковатый символ ее... Мать-и-мачеха».




рассказы



КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА



По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были иичуть не хуже тех, что стояли возле иаших коек,— такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему ои ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла». Понимаете теперь, как мы дорожили каждой крупицей этого драгоценного, этого чудесного иечто, которое называется теплом!

Обречеиная тумбочка втаскивалась в комнату. Оиа иаклонялась с угла иа угол, и по верхнему углу иаиосился удар тяжелой чугуииой клюшкой. Операция была

проста и изящна. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густокрашеные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы зябли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой дровяного тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей — это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло — шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой ломоть запеченной в тесте баранины. Все это помещалось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не отличалась от четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку (пусть и бесприютно показалось бы ему там!), а на Мишкиной висел замок, которому по его размерам и тяжести висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как

ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

— Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных оргиях. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок...

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже

сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречь ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь и идешь... И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девчонка Оксана, по взгляду которой ты привык мерить, однако, все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на поднятие руки не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как та же самая поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку — человеческий ли, лошадиный ли след — давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться — такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что, хотя бы и за плотными тучами, должны были брезжить последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, силы тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек — высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и чувствовал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я из-за этого могу обессилеть раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне после него еще идти двадцать километров.

Да... наверное, самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если есть звездочки и если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст, и для того, чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда во время еды с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Также продавали до войны сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль, что надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, может, даст. Если есть дом — значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда...

«Значит, что же, вроде милостыни получится? Как, бывало, дурачок Костя просил: «Подайте христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...»

— Война, брат, переживать надо! — говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверно, мой вид, мои подшитые валенки, мое демисезонное пальтишко, моя усталость, мой голод — наверно, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

— Теперь все переживают. На фронте переживают — смерти ждут каждый момент; здесь матерям да женам за своих страшно — опять переживания. А у кого уж убили, кому «похоронные» пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем к себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим. Значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» — зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время разобрался: «Сердиться мне на него за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь,— думал я,— как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит — ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы мужчина к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

— Ну, бывай здоров! Не падай духом, ничего...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе, мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами дорогу перемело так, что шагов десять приходилось идти по переметанному, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую дорогу. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело.

Впрочем, дорога была не узка в этом месте. Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна военных машин, и

хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое — мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, начинаю потеть. Неприятная липкая испарина выступила по всему телу, и, словно бы вместе с ней, ушли, испарились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорей всего спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, сразу бы заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и ноги мои механически переступали с места на место, приминая рыхлый снежок и почти не подвигая меня вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я, в конце концов, здесь погибну. Не может быть, ну не может быть, что я здесь погибну! Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь случится, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и

мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно ведь только дойти — и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай пачка папирос. Но что же все-таки случится такое волшебное, чудесное, что поможет мне дойти? Что? Что?..

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасывают некую тень да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет от фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично — главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой нелепой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я вежливо отошел в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого — не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, подобрав последние крохи сил, побегу, а потом буду карабкаться, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И не удивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда начало там мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Воображение подсказало, как люди вышли из кабины и осматривают колеса и ту яму, в которую эти колеса провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихло, снова замелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темный, чем сама ночь.

Когда я подбрел к задку автомобиля, людей около него уж не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня — так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь зацепочку, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся в даль от моих рук задок автомобиля, только бы не дернулся теперь, когда я почти ухватился за него!

Идти лишних три метра к кабине и спрашивать разрешения мне было невозможно. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то там по дороге, подпрыгнул и сдернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше переступать ногами и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова и от которого до нашего села четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине

так и не знают, что подвезли случайного попутчика, и мало того, что подвезли, вероятно, спасли от замерзания.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне было нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня другого выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но все же зачем-то я брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра избяного тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца и вскоре достиг успеха. Что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

— Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

— Да не мужик я, ну, вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?

— Из Владимира.

— Чай, не из самого Владимира пешком?

— То-то из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вы-

таскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, разморило окончательно. Я сидел на лавке без желания пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят, пятьдесят пять, значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом,— небольшой чугунок.

— Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Ну то есть сбывалось все точь-в-точь, как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

— Сколько исполнилось-то? — наконец спросила она.

— Семнадцать.

— Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь... И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда, единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она, конечно, прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Так что как тетя Маша на него взглянула, так будто бы и поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние...

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника — кружку молока: «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если женщина сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о всех дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого лучшего коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

— Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?

— Успел,— ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него)

стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: «Вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у ней мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси».

...Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Ночевав дома одну ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям по студеному, голодному общежитию.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги — нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в

реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое; безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что, если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно даже сказать редчайшим, грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

— Ну, куда тебе? — грозно спросил шофер, выйдя из кабины.— Спирт есть?

— Нету, какой может быть спирт?

— Табак, папиросы?

— Нету.

— Сало? Э, да что с тобой разговаривать! — Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

— Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

— Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что, может быть, шофер соблазнится, отрежет от него часть и за это довезет меня до Владимира.

— Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

— Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак

не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

— А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарев.

— Был,— удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками.— А ты как узнал?

— Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

— Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? — вдруг догадался Генка Перов.— Хоть бы краюху отломил от того каравая.

— Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски... С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

— Слушай,— обратились к нему ребята.— Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

— А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже, как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая и бесстыдная ложь — все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали

глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

— А вот я и проверю!..— твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку с угла на угол (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия, мой Зимний дворец и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

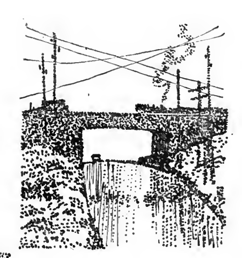
Я поднял клюшку и раз и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

— Приказываю все это съесть, а тумбочку сжечь в печке,— будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.



СВИДАНИЕ В ВЯЗНИКАХ



Я несколько раз подряд произнес вслух название этого городка:

— Вязники... Вязники... Вязники...

Странно, что сердцебиение мое по-прежнему осталось спокойным. Но все же какой-то легкий сковывающий холодок послышался около сердца. Что-то слегка сжалось там, какая-то, значит, хотя бы и одна, хотя бы и последняя, хотя бы и вконец перержавевшая, струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звучание этого слова: «Вязники»...

Мы с приятелем лежали каждый на своей койке в душном номере гостиницы и размышляли, каким образом нам поскорее уехать в Москву: то ли на поезде, то ли пойти на площадь и «голосовать» проходящим машинам, то ли дождаться рейсового автобуса. Мы могли бы немедленно выбрать любой вид транспорта, но нам было лень выходить на жару, и вот мы лежали и думали.

Мой приятель — художник. Путешествуя, бродя по земле, мы пришли в городок, расположенный на высоком берегу Клязьмы и весь утонувший в зеленых, главным образом вишневых, садах.

Я первый раз попал в этот городок, хотя услышал о нем впервые двадцать лет назад. В те времена для меня, шестнадцатилетнего подростка, он не имел ни одной конкретной черты: ни вишневых садов, ни бойкого базара, заваленного грибами, лесными ягодами и деревянными ложками, ни главной площади с толпящимися по ее краям пропыленными автомобилями, ни изогнутых улочек, то карабкающихся вверх, в гору, то сбегающих с крутой горы, ни широкого вида на Клязьму, размашисто брошенную в зелень поймы, ни туманных далей заклязьминского Ярополческого бора.

Это все я увидел в последние три дня. Тогда, двадцать лет назад, город не имел для меня ни одной конкретной черты. Но было слово. И была девушка. И было ее певучее имя. И она была из Вязников. И каждый раз, когда кто-нибудь говорил слово «Вязники», мне казалось, что все тотчас поворачиваются ко мне и смотрят на меня пристально и всем ясно, что я день и ночь, день и ночь думаю только о ней.

Нет, не думаю — это не то слово... Что я день и ночь... Ну что? Ну что? Живу ею? Дышу ею? Мучаюсь? Болею? Страдаю? Казнюсь? Ну какие там есть еще слова? Вернемся к самому точному и единственному: мне казалось, что всем сейчас станет ясно, как я день и ночь, день и ночь ее люблю.

Да, вспомнил: курить я начал из-за нее, вино начал пить из-за нее, в карты играть — из-за нее, стихи писать — из-за нее. Кажется, собраны все главные человеческие пороки, а между тем не было любви светлее и чище, чем моя мальчишеская любовь.

Ромео все же целовал свою Джульетту, дотрагивался до нее, и пение жаворонка заставало их в объятиях друг друга. Если бы тогда все получилось так, что она подошла бы и поцеловала бы меня или я поцеловал бы ее... Да, конечно, из-за нее же у меня в жизни не было первого поцелуя.

Настоящего первого поцелуя, а не такого, что я когда-нибудь полушутя-полувсерьез схватил на гулянье, к примеру, Надюшку Балдову да и поцеловал при всех, а она

засмеялась и вдогонку звонко шлепнула меня ладонью промежду лопаток.

Не было первого поцелуя. А между тем, может быть, когда я буду помирать и всю свою богато и радостно прожитую жизнь, с ревущими поездами и молчаливыми тропинками, голубизной Адриатики и развалинами Самарканда, музыкой и картинными галереями, рыбной ловлей и восхождением на горные вершины, говорливым таянием снегов и безмолвными листопадами, бессонными ночами за рабочим столом и восторгами удач, женской любовью и лепетанием ребенка... Нет, конечно, задним числом теперь я не смог бы отдать всей моей жизни за единственный поцелуй ветреной той девчонки. Но если бы мне представился выбор тогда...

Не было первого поцелуя. Нам всем было по шестнадцати лет (впрочем, к концу учебы стало по девятнадцати), и ей, значит, было столько же. Была ли она самой красивой девушкой из всего техникума? Наверно. Множество старшекурсников, городских, более смелых и находчивых, чем я, деревенский недотепа, всегда окружало ее.

Я таился, но все равно скоро все узнали, что я, Гога (иначе меня не называли на курсе), безмолвно и беззаветно люблю эту девушку.

Сначала ее подруги смотрели на меня с усмешкой, потом с удивлением, а потом, к концу учебы, то есть к концу третьего года, с завистью и грустью в глазах. Как я теперь понимаю, грусть и зависть происходили оттого, что не на их долю досталась такая упрямая, такая единственная любовь.

Если знали подруги — значит, знала и она сама. Мы учились на одном курсе и виделись каждый день по нескольку часов кряду. Невозможно было бы три года не разговаривать, не попросить учебника, рейсфедера, чертежа, совета да и просто решения задачки. Но ни разу мы не остались вдвоем хотя бы на одну минуту. Надо полагать, она не хотела и боялась этого. Да нет, просто она меня не любила. Хотя вспоминаю: к концу учебы что-то оттаивало, что-то теплое стало появляться в ней. Скорее всего, это была либо жалость, либо, может быть, благодарность к своему рыцарю за железное постоянство.

И был один вечер. Она пришла в гости в общежитие к своим подругам (сама жила у тетки на улице Карла Маркса). Я в это время сидел у девчонок в комнате. Постепенно-постепенно, я не заметил, как и Рая Фалалеева, и Зоя Постникова, и Тоня Миронова, и Нина Теплухина — все вышли из комнаты. Мы сидели за столом, на котором лежала большая чертежная доска. К доске был приколот чертеж. Стол с доской и чертежом разделял нас. Мы сидели друг против друга и говорили. Впервые за три года. Это было похоже, как если бы весной все держали и держали морозы, и вдруг однажды утром — южный ветер, влага и теплые дожди, омывающие озябшие ветки деревьев, землю... Еще день-два — и все вспыхнет яркими земными цветами.

Щеки ее горели, глаза... Тепло и сияюще было в глазах. А про себя я ничего не помню. Нет-нет, мы говорили не о наших отношениях друг с другом, а о всякой всячине, что-то вспоминали из детства: она из своего, я из своего — кто любит какие цветы, кто любит дождь, кто зиму... Оказалось, что она любит ландыши.

Два часа разговоров о всякой всячине не так уж много для трех лет. Теплый дождь прошел, но земные цветы не вспыхнули, потому что через день-два всех нас, парней — выпускников 1942 года, увозили из Владимира поезда. И были мы в шинелях...

Учились мы во Владимире, а родом она была из Вязников. Слово «Вязники» было связано с нею. Вот почему я удивился, когда при произнесении слова «Вязники» три раза подряд сердце мое по-прежнему оставалось спокойно. Но все же какой-то легкий сладковатый холодок послышался около сердца, что-то слегка сжалось там, какая-то, хотя бы и одна, хотя бы и последняя, хотя бы и вконец перержавевшая, струнка слабеньким дребезжанием отозвалась на звук этого слова: «Вязники»...

Приятель лежал, водрузив свои длинные волосатые ноги (штаны сбились к коленкам) на железную спинку кровати, а руки заложив за голову.

— Слушай, друг,— сказал я ему.— Давай отложим отъезд еще на один день.

— Пошто?

— Ну, напишешь еще один этюдик. Знаешь, там, с горки... Плетень какой-нибудь, или дворик... или старое

дерево. А у меня есть дело. Я вспомнил, что здесь, в Вязниках, когда-то жил мой знакомый товарищ. Может быть, я нападу на его след.

Итак, ехать нужно в Ярцево — поселок, примыкающий к городу. Я помню, что Ярцево упоминалось в разговоре двадцать лет назад, иначе откуда бы я вообще узнал про Ярцево?

На площади, возле чугунной решетки, стоят столбы. К столбам прикреплены красные железные таблички: тут останавливаются автобусы. Народ сидит в ожидании их вроде как беспорядочно, но каждый знает, к какому столбу ему в случае чего бежать и за кем становиться.

В тесном автобусе нельзя было смотреть из окна, куда именно он везет и какие улицы и дома пробегают мимо. Чувствовалось лишь, что потихоньку лезем в гору, круто поворачивая время от времени.

— Ярцево! — объявил кондуктор.

Я поймал себя на том, что взволнован. Конечно, вряд ли совпадет так, что она живет теперь в Вязниках. Да и вообще, чего только не могло случиться за двадцать лет! Но все равно я узнаю что-нибудь о ее судьбе, увижу, вероятно, ее мать, комнату...

Однако сначала я пошел через поселок на край обрыва (потом оказалось, что это место называется у них Венец) и некоторое время сидел над обрывом, глядя на сады, вздымающиеся клубами зеленого дыма внизу подо мной, на извилистую ленту Клязьмы пониже садов, на зеркальные осколки продолговатых озер, разбросанных там и сям по заречной пойме.

«Гуляла ли она когда-нибудь над этим обрывом? Ходила ли сюда одна? Или все больше на танцплощадку? Ах, какое мне до этого дело?!»

В Ярцеве было только одно почтовое отделение.

— Вы должны знать: Оксана Сергеевна Потапенко. И мать ее Потапенко.

— Это, что же, Татьяна Петровна?

— Вероятно, Татьяна Петровна. Здесь ведь не Полтава, не может быть, чтобы в Ярцеве много Потапенок.

— Потапенко-то есть, но разве мы помним все адреса! Вон идет письмоносица, она вам скажет.

Из окошечка выглядывали любопытные девичьи лица: почувствовали, что тут неспроста, что кроется тут некая сердечная подоплека.

Письмоносица без обиняков пошла проводить меня до подъезда.

— Вот тут и живут Потапенки. Только вряд ли кого застанете. Сама-то теперь на пенсию вышла, все больше у дочери живет, внучку нянчит.

— Да где у дочери?

— Как где? В Давыдкове. Станция такая есть, верст шешнадцать. Зять-то там инженером работает, ну и Оксана там, и Светочка, дочка, значит, ну и сама все больше у них да у них. А здесь, когда ни постучишь, все заперто.

— А как ее... новая фамилия? То есть инженера того как фамилия, который... стал ее мужем?

— Судаков. Судакова она теперь, по мужу-то, а не Потапенко. Судакова Оксана Сергеевна.

— Судаков... Вы его когда-нибудь видели? Черненький? Небольшого росточка? Прихрамывает?

«Ну да, ясно, что он! С третьего курса парень. Мы еще учились, а он уж работать начал. Инструктором в мастерских. Значит, скоро встретимся, Яшка Судаков».

Через тридцать минут я был на вокзале и покупал билет. Всю жизнь мечтал побывать в этом, как его, Давыдкове!

Я надеялся, что, может быть, мне удастся все же избежать встречи с ее мужем. Зачем мне это, хоть он и Яшка Судаков, у которого, помнится, когда мы засели за карты и играли со вторника до четверга, я сорвал большой банк. Хорошо сорвал: остановился на тринадцати (к тузу валет), а он, банкомет, припустил к шестнадцати восьмерку. А рука моя была последняя. Яшка бросил колоду и сказал многозначительно: «Везет тебе, парень, в карты! Мне тебя, парень, жаль...»

Но, в сущности, мы с ним были очень мало знакомы. Может быть, даже и не узнали бы друг друга на улице. А тут придется разговаривать, держать струну. Одна надежда, что инженер должен быть на работе.

Давыдково оказалось таким населенным пунктом, что как только я сошел с поезда да прошел по перрону, так и наткнулся на Яшку — простите, на Якова Яковлевича Судакова.

— Здорово! — сказал Яков, как если бы мы с ним вчера вечером выпивали, а теперь встретились, чтобы опохмелиться.— А Оксаны дома нет, она с утра уехала в Вязники. Ну пойдем, посидишь, дождешься.

Мы пошли вдоль улицы, состоявшей как бы из одних палисадников. Шли почти всю дорогу молча.

— Ты вроде пишешь там в газетах, в журнале?.. Оксана недавно стихотворение из численника вырезала. Где-то у нее спрятанное лежит. «Гога,— говорит,— написал».

— Пишу.

В комнате, или, лучше сказать, в избе (они занимали большую, деревенского склада избу), тоже все больше помалкивали.

— Вот альбом, фотографии. Вот это еще техникум. Вот видишь, и твоя тут есть. А это в Румынии, вскоре после женитьбы. Я тогда офицером был, а служил в Румынии... Это на курорте, в Сочи... Это так себе, любительские...

Оксана сидела в белом полотняном лифчике на постели, среди белых скомканных простыней.

— Контрастно очень вышло. Так нельзя... И света мало. Видишь только белое и черное, а середины нет.

— Ты тоже, значит, балуешься?

— Снимаю, когда понадобится... А это в Вязниках, на Венце. Знаешь, там обрыв? А это уж здесь, в Давыдкове...

— Дай я техникумовские погляжу. Знакомых ребят повспоминаю. Про кого знаешь?

— Почти все погибли. Нас ведь тогда всех вместе забрали, помнишь? Осенью сорок второго. Сразу в огонь. Как все равно пучок соломы в костер подбросили. Ты-то как уцелел?

— Не знаю. В тыловую часть попал. В огонь не бросили. Дело случая. А ты?

— А я просто уцелел. Не всех же на войне убивали. Ну что же, пойдем, пока никого нет. Тут чайная рядышком.

— Жарко.

— Понемножечку.

В чайной не оказалось ни коньяку, ни водки..

— Хотите, открою портвейн? — предложила буфетчица.

Мы поглядели друг на друга. Я поиял, что пить ему в жару не хочется, что ои пришел сюда только ради меня, что вообще ему иелегко развлекать меия, когда полдневиое время почти ие движется. А я и в худшие времеиа терпеть ие мог иикакого портвейна.

— Знаешь, давай отложим.

Мы пошли из чайной обратно по улице к его дому.

В дом вошла женщина, пожилая, худощавая, иекогда очень красивая, с той сдержанностью в движениях, которая происходит от развитого чувства достоинства. Она пристально посмотрела иа меня, и в ее чериых, обведенных коричневым глазах почудилась иасторожениость.

Яков Яковлевич сослался на необходимость сбегать иа завод и оставил меня одного с матерью Оксаны.

Женщина как бы не обращала на меня никакого внимания. Она в сенях делала что-то по хозяйству — кажется, перебирала ягоды на варенье.

— А вы, зиачит, Гога? — вдруг спросила оиа, мие показалось, прямо из сеней.

Но, подияв голову, я увидел, что она стоит иа пороге.

— Гога. Почему узнали?

— Чай, я все-таки мать... Долго же вы собирались иавестить Оксану...

— Завихрения жизни...

— Вам виднее, вы человек высокий.

— Выше колокольни.

Женщина поставила на стол три тарелки пирожков и самовар.

— Давайте чаевничать. Ешьте пироги. Эти — с чериикой, эти — с малиной, эти — с чериой смородиной. Иль, может, холодного молока вместо чаю? Жарко теперь.

— Давайте холодиого молока.

Я все косил глазами иа темно-синий жакетик, висевший иа стуле: иа лацкане горела крохотиая, ио яркая-яркая рубиновая звездочка, как если бы искорка от костра опустилась на лацкаи.

— Звездочку призиали?

— Призиал.

— Давнишняя звездочка...

Некоторое время мы молчали.

— Оиа после техникума в мастерских стала работать и проработала там всю войиу. Вас, конечно, иикого нет. Хоть бы кто-иибудь письмо написал! — Черные глаза впились в меия, сидящего иапротив.— Так, мол, и так, после войиы вернемся... Поскучала она, покручинилась... Яков вериулся самый первый. Ои ие вернулся, правда, а в отпуск приехал. Ну, это все равио. С приездом — вечеринка. Кое-кто из техиикумовских, все больше девушки... Потом опять вечеринка. Это мие сестра рассказывала, то есть тетка ее. Оиа ведь у сестры жила во Владимире. Ну, зиачит, киио, таицы. Отпуск у Якова короткий — все надо успеть. Поколебалась она — скрывать нечего. А к коицу отпуска расписались, да и в Румынию. Да вы пирожки-то ешьте, с чериикой вот, с черной смородиной... А у вас, что же, семья?

— Семья.

— Они тоже хорошо живут — жаловаться нечего. Внучка растет, Светлаиочка... Ну что же вам предложить: может, отдохнуть приляжете? Или в лес хорошо прогуляться. У нас ведь кругом леса. Грибов в ныиешием году пропасть! Уж старики говорят, как бы войиы не было. Яков каждый раз по триста штук одиих белых приносит. А Оксаиа скоро приедет. Она верней всего на четырехчасовой потрафит.

«Да, наверио, скоро придет,— думал я.— Что же, пироги с чериикой вместе есть будем да ледяиым молоком запивать? Мие ведь ие иадо сидеть с ней за одиим столом три часа, да еще мать, да еще муж рядом. Мие ведь иужиы секунды. Глаза ее нужны, когда узнавать будет. А больше ничего. А пироги, бог с иими, когда-иибудь в другой раз! Уж лучше мельком, да одии иа один, чем здесь за столом, за чаем. А мать-то как взглядывает чериыми глазищами! Оиа все поиимает, Татьяиа Петровиа Потапенко... Миогоопытиая, мудрая жеищина!»

Мозг мой лихорадочио стал совершать арифметические действия с часами и миiутами: «Ее поезд в четыре. На вокзал приедет за полчаса. Если я сейчас отсюда уеду, то буду там как раз в половиие четвертого. Встреча иеизбежна. А если оиа ие с четырехчасовым, а с шести? Подожду до шести. А если с восьми? А если с двеиадцати? Подожду до двенадцати».

— Ну что же, спасибо, Татьяиа Петровна. Пироги вы готовите отличные.

— Зять не обижается... Да куда же вы? А Оксана? Она будет жалеть. Я знаю, что будет. Очень будет жалеть, поверьте...

— Оксана жалеть не будет. Поверьте и вы мне. До свидания. Якову привет! Извинитесь, что не дождался его с завода. Да мне, право, некогда.

В вязниковский вокзал, сойдя с поезда, я вошел вроде бы спокойно и равнодушно, а на самом деле весь как струна. В маленьком зале ожидания народу почти не было, так что я сразу увидел ее. Я подошел и встал в четырех шагах. Она сидела в три четверти оборота от меня, почти затылком и кормила девочку мороженым. Девочка, значит, была ко мне лицом.

Заметив, что дочка на кого-то внимательно смотрит, мать тоже вскинула глаза (стоит какой-то тип в лыжных шароварах и клетчатой рубахе!) и снова занялась мороженым. Но клетчатая рубаха осталась в уголышке зрения и не исчезала. Тогда женщина опять вскинула глаза и на этот раз опустила их не в первую долю секунды, а задержала чуть-чуть подольше, как раз настолько, чтобы уж не опускать совсем.

Глаза стали расширяться и темнеть. Глаза залило синевой, а синева сгустилась до цвета июльской грозовой тучи. Но вместо молний, вместо зловещих теней и переливов, предшествующих обычно самому главному, самому страшному громовому удару, как бы легкий трепет солнца пробежал по темной синеве, насквозь пронизал, прогрел, просветил ее. Медленно, помимо своей воли женщина приподнялась с коричневого вокзального дивана и вдруг, шумно вздохнув: «А-ах!», опустилась снова на широкий диван.

— Я знала, я знала, я знала, что мы когда-нибудь обязательно встретимся!.. Никаких, никаких, никаких!.. Поедем обязательно к нам. Один раз за двадцать лет! Разве можно? Вокруг нас густые-густые леса. Пойдем за грибами. Яков приносит по триста штук одних белых. Но, правда, ему некогда, он все больше на заводе.

Мне показалось, что при последних словах женщина смутилась и даже покраснела.

Да, иногда огромным усилием воли мне удавалось посмотреть на собеседницу не через ту давнишнюю, привычную мне Оксану, а как на женщину, случайно сидящую рядом на диване. Тогда я видел, что передо мной

сидит молодая, красивая синеглазая женщина, за которой можно и поухаживать. Вот она приглашает меня в лес по грибы. Не пойти ли?..

Я посадил их в вагон, и ее и Светлану, а сам пошел вдоль поезда вперед по перрону: именно там был выход с перрона на привокзальную площадь.

Поезд долго не трогался. То есть еще минут десять я стоял, прислонившись к стойке ворот, и ждал, когда их вагон проплывет мимо.

Оксана не удивилась (я ясно видел, что не удивилась), увидев меня в воротах, хоть, если попрощались десять минут назад, нечего было мне здесь торчать. Она благодарно помахала мне рукой, и дочка ее тоже помахала, может быть, по детской привычке махать, когда трогается поезд, может быть, ее попросила мать.

...Приятеля я застал все в том же положении, то есть водрузившим длинные ноги на железную спинку кровати, а руки запрокинувшим за голову.

— Возликуем?!

— Отменяется сухой закон?! — Ноги мгновенно оказались на полу.

— Путешествие ведь закончилось.

В столовой № 1, заменяющей вязничанам ресторан, нашелся «Горный дубняк».

— Нет, ты скажи, где ты был и что с тобой случилось?..

Чайные стаканы отбрасывали на скатерть продолговатые золотистые тени. Через некоторое время мы позвонили местному поэту Ивану Симонову, и он немедленно появился. Впрочем, может быть, он пришел не сразу — время для меня стало терять границы.

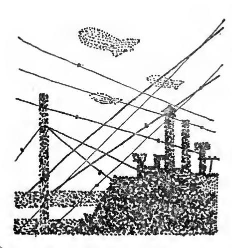
Иван Симонов, успевший быстро сравняться с нами, беспрерывно читал чужие стихи: «Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на подоле...»; «Я вас любил, любовь еще, быть может... То робостью, то ревностью томим...»; «А что мне вокзальный порядок, связавший на миг вас со мной!..».

Потом мне стало казаться, что я — это вовсе не я, тридцатишестилетний человек, имеющий за плечами большой опыт и десяток написанных книг, а шестнадцатилетний мальчишка; и что сижу я не в столовой № 1,

а в студенческом общежитии на Студеной горе, и стоит мне только собраться с духом и преодолеть что-то непонятное и нелепое, и я через десять минут окажусь на улице Карла Маркса и, вместо того чтобы обходить ее дом за три квартала, взлечу на второй этаж, ударю в дверь кулаком, и на пороге появится она, синеглазая и золотоволосая девчонка с крохотной рубиновой звездочкой на груди. Как будто огненная, жгучая искорка прилетела из большого костра, опустилась да так и прикипела к лацкану...



МОШЕННИКИ



Один раз в жизни мне случилось быть настоящим мошенником. История эта небольшая, поэтому хоть в ней нет ничего занимательного и примечательного, а тем более такого, что показывало бы нас, участников этой истории, с выгодной стороны, я ее расскажу.

Мы были на практике в чужом городе, на большом авиационном заводе. Семнадцатилетние пареньки, без пяти минут техники, мы все же мало умели делать полезного и практического для того, чтобы завод обрадовался нам и принял нас как нужных и равных. По правде говоря, заводу было не до этого. Шла вторая весна войны, и, надо полагать, авиационному заводу хватало забот помимо того, чтобы путаться с желторотыми практикантами.

Может быть, и не хватало людей, может быть, даже их трагически не хватало, но мы приехали всего на один месяц и для военного завода не могли считаться людь-

ми. Ставить нас на черную работу (например, разбирать мусор или грузить тяжести) было неудобно — все же преддипломная практика. У станков стоять мы не умели, то есть вообще-то умели, но сделали бы в три раза меньше опытного токаря или фрезеровщика. Для военного времени это была непозволительная роскошь. Заниматься с нами, водить нас по заводу, по цехам, все показывать, обо всем рассказывать, ко всему приучать было попросту некому.

Я рассказываю об этом потому, что, наверно, тут подтвердилась лишний раз древняя мудрость насчет того, что именно праздность является матерью всех пороков. Если бы мы, отстояв свою смену, усталые, пусть даже трижды голодные, приходили в заводскую столовую вместе с рабочими смены, садились с ними за столики, обедали, разговаривая о нашей же работе и чувствуя себя равными среди равных, нам, я уверен, и в голову не пришло бы сделать то, что мы сделали однажды.

На самом деле получилось все очень неприглядно. В первые дни мы побродили по цехам, глядя на все со стороны, как экскурсанты. Потом, заметив, что никто нами не интересуется, стали приходить на завод на часполтора, а потом и вовсе перестали ходить. Так вот и появилась та самая праздность, от которой, как известно, все равно как мокрицы от сырости, заводятся в душе человека самые разнообразные пороки.

И ведь не то чтобы мы были совсем уж неразумные мальчишки, что мы вовсе не понимали, где право и лево. Лучше всего сказать в таком случае — бес попутал, если бы существовали на свете бесы...

Правда, в эти дни, все из-за той же праздности, разгуливая по городу, мы впервые попали в оперный театр. Никто из нас сроду не слышал оперы, не видел оперных декораций, самой постановки оперного театра. Все это произвело на нас такое действие, что мы на другой день перестали разговаривать друг с другом нормально, почеловечески, но обязательно пели:

— О Васька, дай мне ножик перочинный!

— Зачем те-ебе?

— Я зачиню свои карандаши...

— Возьми, пожалуй, он — в кармане, в брюках.

Немудреный репертуар областного театра мы переслушали весь (там шли три оперы), и, пожалуй, больше

всего меня теперь удивляет, как могли тогда в нас соединиться впервые проснувшаяся тяга к искусству и первое (слава богу, что последнее!) мелкое, грязное мошенничество.

Однако надо бы по порядку... Наступал час, когда мы дружно (ведь нас четверо жило в общежитейской комнате) и целеустремленно шли в сторону заводских корпусов. То был час обеда. Нас прикрепили к заводской рабочей столовой, где, отрывая талончики от обеденных карточек «Р-4», мы получали гороховый суп и кашу из мелких прозрачных шариков, называемых сагой. Для того чтобы получить к обеду двести граммов ржаного хлеба, надо было отдать подавальщице другие талончики, но уже не карточки, а продолговатые бумажки, где печаткой было обозначено сегодняшнее число.

В столовой было людно и шумно. Подавальщица подолгу не несла нам суп и кашу, так что мы обыкновенно щипком, щипком успевали съесть весь свой хлебушко, а обедали вхолостую. Но все же это был настоящий обед. По утрам мы завтракали дома. Чаще всего это была еда, приготовленная по рецепту Яшки Звонарева: в миску мы наливали воды и немного льняного масла, солили все это и крошили хлеб.

Известно, что подростки — самый прожорливый народ. Значит, мы еще не вышли из подростков, если могли бы, так нам казалось, есть беспрерывно с утра до вечера. Но увы!.. С завтраком мы справлялись очень быстро, с обедом — тоже (если не считать задержек из-за подавальщицы), а ужин... Ужинать нам не приходилось вовсе, ибо все, что можно было съесть, мы съедали гораздо раньше.

— Если бы хлебца побольше,— мечтательно начинал кто-нибудь из нас,— жить бы можно... Во-первых, оставалось бы к вечеру. Хотя бы с солью. Во-вторых, утром тюря была бы гуще. В-третьих, на базаре можно обменять на масло, а масло вылить в тюрю. Эх, да что и говорить! Известно— хлеб всему голова и основа. (Стоит заметить, что про хлеб мы не пели наподобие оперы.)

Обычно такие разговоры происходили вечером, то есть в самые голодные часы. Но тут прилетали немцы, начинали стрелять зенитки, по крышам звякали осколки от зенитных снарядов, в темноте метались прожекторы. Наконец раза два или три оглушительно ухало... Это от-

влекало, и мы засыпали, разговаривая уже не о хлебе, а о только что закончившемся налете. Все меньше часов оставалось до желанной тюри.

Однажды после обеда Яшка Звонарев вынул из кармана измятый клочочек бумаги и стал тщательно расправлять его на столе. Мы все увидели, что это не просто клочок бумаги, а тот самый талончик, который выдают нам в кассе и по которому мы получаем обеденный хлеб.

— Где взял?

— Откуда он у тебя?

— Ну-ка покажи!

— Где взял, там нету! На полу подобрал. Наверно, кто-нибудь обронил. Или подавальщица. Но не в этом дело. Смотрите, какая простая бумажка — клочок. Таких из одного листа тысячу нарезать можно. Нагибаться лень, чтобы поднять. Однако — хлеб! В этой бумажке содержится двести грамм хлеба. На вот съешь, жуй-жуй — сыт не будешь: бумажка. А в ней — хлеб. Душистый, мягкий. Да хоть бы и черствый — все равно. И даже не написано, что хлеб. Ну хотя бы нарисовано было: буханка, или два кусочка, или там ржаной колосок. Нет. Написано только, что «13 июня 1942 года». А завтра будет написано: «14 июня», а послезавтра — «15-го».

— А позапослезавтра — шестнадцатого,— поддразнил Яшку Звонарева Генка Серов.— Пойдем-ка лучше, пока не поздно, получим по этому талончику двести грамм, а то столовая закроется — пропадет.

— Не пропадет! Можно тройку переправить на восьмерку и получить хлеб восемнадцатого числа. Это ведь очень просто сделать. А знаете что,— обвел нас всех воспламенившимися вдруг глазами Яшка,— знаете что... У нас будет куча хлеба, друзья, братцы,— вот смотрите...— С этими словами Яшка нарисовал на ладони чернилами: «13 июня 1942 года», дал чернилам высохнуть, подышал на них, как дышат в канцелярии на печать, и приложил к бумаге. На бумаге обозначились цифры и буквы. Но были они бледные, а кроме того, читались наоборот.

— Ерунда! — вдохновился Яшка.— Айн момент... Генка, иди подержи зеркальце, сейчас я напишу правильно...

Генка держал маленькое зеркальце, а Яшка старательно рисовал на ладони. Мы с Витькой Рябцовым на-

блюдали. Оттиск на этот раз получился явственнее, читался, как и полагается, слева направо, но все же его нельзя было класть рядом с образцом, настолько он выглядел коряво и кустарно.

Мы, наверно, потому и не обсуждали Яшкиной инициативы и не пресекли ее в нужный момент, что видели всю ее бесплодность и бестолковость.

Но Яшка не унимался. Два дня он беспрерывно рисовал на ладони цифры и буквы, ставя отпечатки на газетах, на каждом клочке бумаги и даже на обоях. На третий день, отчаявшись и вымыв руки, он переменил тактику.

Теперь он не рисовал на своих ладонях, а купил несколько канцелярских резинок, какими стирают неудачные карандашные записи, наточил свой перочинный ножичек и принялся вырезать не дающие ему покоя цифры и буквы на резинках.

Между тем постепенно, исподволь психология наша сама собой приготавливалась к тому, что почему бы и не попробовать, если удастся... Постепенно мы настраивались на Яшкин лад — так сказать, постепенно созревали для преступления. Созревание наше шло главным образом в часы голода, когда хлеб казался наиболее желанным и, значит, наиболее недоступным.

Обедая в столовой, мы теперь тщательно рассматривали хлебные талончики и видели, что действительно в них нет ничего мудреного — число, месяц и год — и что если в ворохе истинных талончиков затерять парочку «наших», то, конечно, и подавальщица не заметит, и женщина на раздаче не заметит, и, таким образом, мы получим четыреста граммов лишнего хлеба. Так просто и так заманчиво! Скорей бы Яшка заканчивал эти свои резинки!

Работа была тонкая и подвигалась медленно. Нужно было кончиком ножа «выбирать» лишнюю резину между мелкими, в сущности, буквами. А попробуйте, например, у восьмерки выбрать резину в крохотных колечках так, чтобы колечки получились ровные и круглые, а не как-нибудь! Кроме того, требовался набор разных цифр, чтобы отпечатывать разные числа: дни идут, за девятнадцатым грядет двадцатое...

Однажды Генка Серов глядел, глядел на кропотливые Яшкины занятия, потом, ничего не говоря, вышел и

пропадал около двух часов. Появился он загадочно сияющий, обошел торжественно вокруг Яшки, как бы не решаясь сразу огорошить нас и наслаждаясь лишь предвкушением своего торжества.

Но все же надолго его ие хватило. Обойдя вокруг стола три раза, он без дальнейших обиняков вынул из кармана и положил иа стол рядом с жалкими Яшкиными резинками замечательиое фабричное изделие. Это было приспособление, при помощи которого в кинотеатрах ставят иа билеты число, месяц и год. Резиновые ленточки с цифрами и буквами передвигались одна возле другой, так что за две секунды можно было составить любую надпись: двадцать пятое так двадцать пятое, двадцать восьмое так двадцать восьмое. Нетрудно было нам уточнить, что в заводской столовой хлебные талончики штемпелюют точно такой стандартной, фабричной, ширпотребовской печаткой.

Яшкина работа потеряла смысл, но зато расцвела его идея. Хохоча, иетерпеливо выхватывая друг у друга из рук печатку, мы клеймили ею все вокруг себя, что только можно было клеймить. Изловчившись, Яшка поставил штемпель даже на лбу у Генки Серова. Отчетливо получилось: «17 авг. 1943 г.».

Вечером Яшка (никто не оспаривал у него эту роль) в иашем тесном и ободряющем окружении начал священнодействовать. На бумажном билетике, точно скопированном с образца, появилась первая иадпись, сулившая нам первые двести граммов незаконного хлеба. Мы так и сяк сличали новоявленный фальшивый талончик с образцом — иикакой разницы между иими не было. Теперь нужно было решить, сколько талончиков сделать. Здравый смысл подсказывал: напечатать для начала один или два талончика и посмотреть, что из этого получится. Впрочем, если рассуждать строже, здравого смысла вообще не было близко возле нас в то время, иначе мы выбросили бы и печатку, и все Яшкины резинки на помойку. Вместо этого мы напечатали сначала четыре талончика — на каждого человека по двести граммов.

— Это мы съедим за обедом,— предложил Генка Серов.— Теперь неплохо бы немного хлеба на утро, на нашу тюрю.

Мгновенно, как в сказке, появились еще четыре талончика.

— Теперь хорошо бы килограммчик хлеба, чтобы обменять его на базаре на подсолнечное масло.

— Тоже и на курево можно там обменять.

— А я видел вчера, как один мужик на кусок хлеба выменял большую селедку. Вот бы нам посолиться!..

Мы рассуждали между собой, мечтали то о подсолнечном масле, то о турецком самосаде, то о селедке, а Яшка, как восточный волшебник, немедленно претворял наши мечтания в жизнь: долго ли было ему надавить печаткой на бумажный билетик! Опомнились мы, когда накопилась гора талончиков. Пересчитали — пять килограммов восемьсот граммов хлеба.

— Нельзя столько сразу. Подозрительно. Как бы не попасться. (Что будет с нами, если мы попадемся, о том мы как-то не думали.)

— Чего бояться! Как же мы попадемся, если талончики не отличить друг от друга? Предъявим подавальщице — обязана принести. Не все равно ей, сколько нести —восемьсот грамм или...

— Да, пожалуй, пять восемьсот все-таки многовато. Давайте убавим для первого раза. Ну хотя бы четыре кило... По килограмму на брата как раз будет.

В столовой в этот день, как нарочно, оказалось народу меньше, чем обыкновенно. То ли мы пришли в своем нетерпении чуть-чуть пораньше.

В кассе мы оторвали от своих хлебных карточек нужные купончики и получили на руки по талончику, точно по такому же, каких полно уж было у Яшки в кармане. Получив эти талончики, мы вышли из столовой и в уборной, закрывшись на крючок, стали сличать законные с фальшивыми. Да, разницы не было! Больше того, смешав, мы не могли уж выбрать теперь из общей кучи те четыре, что только что получили в кассе.

— Ну как, кладем? — обвел нас всех Яшка тревожными глазами, когда мы все снова уселись за стол — Кладем? Рискуем? После не жалеть.

— Клади,— ответил за всех Генка Серов.

Яшка бросил талончики на стол.

Подавальщица — черноглазая, бледная, худая девушка (раньше мы как-то не обращали внимания на то, какая она, эта подавальщица) — торопливо смахнула все наши билетики к себе на поднос и исчезла. Мы переглянулись еще раз, и каждый, наверно, в лице другого про-

читал тревогу. Нет, нет, мы не думали о том, с кого спросится за четыре килограмма хлеба, которые мы сейчас получим: с этой черноглазой и как бы полупрозрачной девушки, или с раздатчицы, пожилой, усталой женщины (не то чтобы усталой, но с какой-то устойчивой усталостью в глазах), или, может быть, с кассирши, которая уже вовсе ни в чем не виновата. Не думали мы и о том, что, может быть, этих четырех килограммов не хватит, в конце концов, двадцати рабочим, отстоявшим у станка десять или двенадцать часов. Но зато впервые мы задумались о том, что будет с нами самими, если нас неожиданно разоблачат: вот та черноглазая подавальщица или вон та — блеклая, усталая раздатчица.

Впрочем, мне трудно говорить за своих товарищей. Что касается меня, то я явственно вдруг увидел, что нас, во-первых, немедленно прогонят с практики, а во-вторых, исключат из техникума. Мало того, нас, конечно, по законам военного времени, будут судить. Много не дадут, но даже одного года в лагерях достаточно для того, чтобы переломалась и на десятки лет вперед вылетела из колен вся жизнь.

Мне рассказывали об этих лагерях. Попадает туда человек, к примеру, опоздавший на двадцать минут на работу. Вполне хороший, вполне порядочный человек. И вот кругом — уголовники, преступная среда. Иной мир, иной быт, иная психология. Некоторым удастся удержаться, в конце концов, на поверхности, то есть сохранить в себе человека, большинство же идет на дно...

Мне вдруг вспомнилось, что после практики я должен на месяц поехать к себе в деревню. Это будет как раз середина лета, июль. В Журавлихе созреет в высокой лесной траве крупная, как малина, земляника; ослепительно белые кучевые облака будут неподвижно дремать над дальним лесом, над ровными лугами, над селом с колокольней, отражаться в спокойной речке, в которой около дна, даже в самую жаркую пору, держится обжигающе студеная ключевая вода...

Вечером прохладная тишина опускается на землю. Будешь замечать воздух, которым дышишь (он станет прохладным и заметным), звезды, бледные сначала, станут ярчеть, разгораться, а вскоре из-за темных былинных холмов выплывет огненная половина луны, похожая на горящий стог сена или клевера. Может быть, в эту

минуту закричит коростель; может быть, заржет в лугу кобылица; может быть, в соседней деревне, за рекой, железной палкой о подвешенный рельс замедленно, с растянутыми промежутками ударят одииндцать раз... А если лечь на землю и смотреть в сторону подымающейся луны, то вся она окажется исчерченной, изрезанной по багровому своему полукружию черным переплетением былинок и трав. Воля...

Лежать на траве и смотреть на звезды — что может быть прекраснее и слаще! Воля...

Или, может быть, развести небольшой огонь. Тотчас исчезнет все: и туман над рекой, и окрестность, освещенная луной и звездами. Мрак сгустится вокруг огня. Можно тогда непрерывно следить, как бойкие красные лоскутки бегают с конца на конец сосновых палочек, как из холодных, твердых, неинтересных, в сущности, деревяшек начнет высвобождаться, выпархивать и тут же тянуться к звездам до поры до времени притаившееся солнце. Каждая палочка — консервная банка с солнцем. Ну не банка, что-то другое, но то, что «солнечные консервы» — факт. И вот солнце обретает само себя — бегают по дровам огненные языки. Тепло и свет распространяются вокруг. Искры взлетают кверху, трепеща и не веря самим себе, не веря тому, что летят. Воля...

Можно ночью уйти с гулянья с той, которая по неизвестным законам кажется несравненно лучше других, сидеть с ней на уютном крыльце заброшенного, «ничейного» дома. И будет шепот, и будут губы, и стыдливое расстегивание кофточки, и грудь, сухим электрическим огнем обжегшая вдруг ладонь, впервые прикоснувшуюся к полному великой тайны девичьему телу. Воля...

Странно! Но я думал о своей деревне и обо всем так, как будто то, что должно случиться, уже случилось, и деревня сделалась недоступной, и все остальное в жизни сделалось недоступным. А разве не случилось? Уже брошен жребий и перейден рубикон. Талончики не у нас в руках, и далека и недоступна теперь моя деревня...

Черт возьми, на что же мы все это теперь меняем?! На четыре килограмма ржаного хлеба. Вся нелепость, вся глупость нашего поступка вдруг стала настолько очевидной, что я чуть было не бросился вслед за подавальщицей, чтобы отнять у нее фальшивые талончики и рас-

топтать их на полу, и уничтожить, и забыть о них. Может быть, каждый из нас думал так же. Но правда остается правдой — никто из нас не шелохнулся, сидя за столом. Все мы напряженно следили за действиями подавальщицы (раздача была нам хорошо видна). Вот она перебрала в руках бумажки, прежде чем отдать их раздатчице. (А может, это все наваждение, что сейчас мы попадемся и нас будут судить и отправят в лагерь или в тюрьму, может быть, сейчас принесут нам гору хлеба, и мы будем довольны и счастливы и будем обедать, есть тюрю, а завтра выменяем на базаре большую жирную селедку и стакан табака!)

Вот движения девушки замедлились. Она снова начала перебирать все бумажки. Раздатчица, пожилая, усталая женщина, вместе с ней наклонилась над бумажками. Они перебрали их раз; начали перебирать снова — видимо, тщательно пересчитывали. Потом раздатчица что-то спросила у девушки. Девушка кивнула головой в нашу сторону, и раздатчица стала искать глазами нас, и нашла, и долго смотрела на нас, как бы обдумывая.

Почему мы не убежали, ясно видя, что дело наше раскрыто? Ведь никто не узнал бы никогда ни наших имен, ни даже, кто мы. А если бы и узнали, что практиканты,— попробуй докажи! Не знаю почему, но мы сидели как дурачки под испытующим и принимающим решение взглядом пожилой, усталой женщины.

Женщины на раздаче о чем-то поговорили и перестали глядеть в нашу сторону, забыли о нас.

Как теперь все будет дальше? Наверно, раздатчица сейчас уйдет куда-нибудь в задние комнаты и позвонит по телефону. Конечно, теперь они будут делать вид, что не смотрят на нас, чтобы не вспугнуть. Ну точно! Раздатчица вытерла руки полотенцем и уходит. Вместо нее на раздаче появляется подмена — другая, тоже пожилая и тоже усталая женщина. А черноглазая как ни в чем не бывало ставит на большой деревянный поднос тарелки с супами и кашами, а также тарелку с хлебом. Хлеба на тарелке восемьсот граммов — это сразу видно. Четыре килограмма образовали бы хлебную гору.

Девушка ставит поднос на уголышек нашего стола и все тарелки быстро переставляет с подноса на стол.

Суп, суп, суп, суп! Каша, каша, каша, каша! Хлеб...

На тарелке с хлебом, на дне, под аккуратными чер-

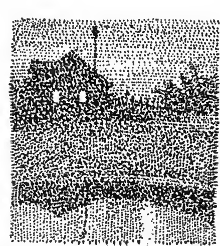
ными ломтиками лежат наши талончики. Девушка ничего нам о них не говорит. И мы ей ничего о них не говорим. Не возмущаемся, почему нам вернули талончики, не требуем вместо них как бы законного хлеба.

Прежняя раздатчица снова появилась в окне. Но мы не смотрим в ее сторону. Нам стыдно. Мы, обжигаясь, не разбирая вкуса, съедаем гороховый суп, обжигаясь, глотаем безвкусную саговую кашу и торопливо, не оборачиваясь, уходим из столовой...

Только сейчас, спустя двадцать лет, я подумал о том, что мы ушли тогда из столовой, не сказав спасибо ни черноглазой девушке-подавальщице, ни пожилой женщине на раздаче, с безнадежно усталыми, военного времени глазами.



ОБИДА



Черкутино было раньше большим торговым селом, куда на ярмарку ли в петров день, на масленицу ли съезжались крестьяне из окрестных деревень. Вот почему и семилетняя школа находилась в Черкутине, хотя село потеряло свое значение этакого объединяющего, притягивающего центра.

Из Вишенок, из Олепина, из Волкова, из Пасынкова, из двадцати или даже двадцати пяти деревень ходили мы, ребятишки, чтобы учиться, кто в пятом, кто в шестом, кто в седьмом классе.

Бывало, встанем потемну (идти как-никак четыре километра), подождем друг друга на прогоне, соберемся все олепинские — и в дорогу.

На подходе к Черкутину видно, как с разных сторон в лиловых сумерках зимнего утра тянутся к селу черненькие цепочечки таких же учеников. Стараемся угадывать: вон бурдачевские торопятся, вон куделинские...

Колька Ланцев был из Куделина, а я — из Олепина. Сидели же мы на одной парте. Колька, бесспорно, был озорнее меня. Можно даже сказать, что он был драчун. Во время перемены нет-нет да и сцепится то с Мишкой Садовниковым из Снегирева, то с Ванькой Жиряковым из Зельников. Лицо у Кольки было круглое, веснушчатое и немного рыхловатое. К такому лицу особенно легко прилипают синяки.

Во время уроков, когда драться никак уж нельзя, Колька либо скатывал бумажные шарики и стрелял ими в девчонок, окунув сначала в чернила, либо палочкой норовил подтолкнуть под локоть впереди сидящего Кольку Макушкина, когда тот выводил слово в тетрадке по чистописанию.

Что касается меня, то я во время уроков чаще всего читал интересные книжки. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Причем подразумевается обыкновенно, что влияние идет от худшего на лучшее, то есть если подружились, например, двое мальчишек — один балующийся куревом, а другой не балующийся, то это не значит, что балующийся бросит курить, а значит, напротив, что начнет курить и второй. На нашей парте получилось иначе. Конечно, читать книги на уроках тоже невесть какая добродетель, но все же, что там ни говори, а лучше уж читать книги, чем кидаться бумажными чернильными шариками!

Началось с того, что Колька из озорства отнял у меня книжку, неожиданно выхватив из рук. Затевать возню было нельзя. Я смирился, хотя и обиделся. А Колька машинально заглянул в книгу, прочитал там фразу, другую, потом страницу, а потом уж не оторвался до конца урока. Мало того, он не сдвинулся с места во время перемены, не заметил начала другого урока (последнего в этот день). А когда кончился этот последний урок, не успел я опомниться, как он схватил свои книжки и, конечно, и мою книгу и убежал из класса.

Если разобраться, моей заслуги тут не было никакой. Все надо отнести за счет Рони Старшего, написавшего свою обаятельную «Борьбу за огонь». Но Колька считал, что именно благодаря мне он пристрастился к чтению, и с тех пор относился ко мне как-то немного по-особенному.

Видимо, книга распахнула перед ним, ввела его в другой мир, непохожий на Куделино или на Черкутино, на престольный праздник с обязательной дракой или на урок по алгебре. Он узнал много нового. А так как он видел, сколько книг я уже перечитал на его глазах, то и познания мои казались ему недосягаемыми, огромными. Превосходство в этом деле было налицо.

Теперь Колька уже не дрался на переменах, а забыв обо всем, забыв даже подчас сбегать по неотложному делу, то дружил с мамонтами (подобно Нао) и кормил их сладкими древесными побегами, то сидел у костра с Дерсу Узала, то плавал по Миссисипи вместе с Гекльберри Финном.

После седьмого класса мы расстались друзьями, а встречаться, конечно, нам почти не приходилось, разве что в том же Черкутине в петров день на гулянье. А потом и произошла эта встреча...

Перед самой войной (я и мои сверстники сделались к этому времени подростками, почти парнями) к нам в Олепино под вечер пришли гулять парни из Куделина. То есть, короче говоря, нам был брошен вызов. И без того с давних времен всегда почти дрались между собой Олепино и так называемая Ворша, то есть деревеньки, расположенные по речке Ворше. За этакого коллективного вождя, или, лучше сказать, за атамана, у Ворши всегда было как раз Куделино.

Теперь воршинские пришли в Олепино сами, пришли в общем-то с мирными целями — погулять, хотя все знали, что куделинский Сашка Матвеев и наш олепинский Шурка Московкин приглядываются к одной и той же девушке и, значит, на одном гулянье им будет тесно. А если взрослые, матерые парни решили драться, подросткам участия в драке не избежать.

Вот уж мы, олепинские, отошли в сторону, и Шурка шепотом отдал нам всем свои распоряжения:

— Куделинских сегодня гнать. Немножко погуляем как ни в чем не бывало. Только смотрите, чтобы виду не показывать. Как только Иван Митрич пробьет двенадцать часов — налетай! Я, конечно, первый на Сашку Матвеева, ты, Юрка, со мной, а то он, черт, здоровый. Ты, Васька,— на Ваньку Лысова. Ты, Витька,— на Кольку Софронова. Вы, Валька и Борька,— на Ваську Зельниковского. Ты (тут наш атаман показал на меня) — на

Кольку Ланцева... Ну, а там война план покажет. Сейчас все по домам, за кольями! Колья спрячем около школьного крыльца...

Мог ли я отказаться, не участвовать в драке и уйти домой, лечь спать? Нет, не мог. Условность, конечно, установившийся порядок вещей. Так же, как когда-нибудь вызванному на дуэль невозможно было не стрелять, не рискуя превратиться в отверженного, в труса, в человека без чести и без лица, так и здесь нельзя подводить своих.

Я стал держаться поближе к своему «подопечному» Кольке Ланцеву, чтобы, когда ударит двенадцатый час, исполнить порученное. Но Колька разглядел меня в темноте и полез ко мне с разговорами. Лучше было бы, если бы он придирался ко мне или ругал меня, если бы мы сейчас поссорились, тогда все было бы проще. А так слишком резкий переход предстояло мне совершить: говорим, смеемся — и вдруг по зубам. К тому же Колька захотел пить, и, значит, пришлось мне его вести домой, поить студеной водой с Кунина колодца. Пока ходили ко мне домой пить воду, я решал задачу: как мне быть, если условный сигнал застанет нас в дороге,— нападать ли на Кольку и драться один на один или, может быть, напротив, задержать его, чтобы все на гулянье обошлось без нашего участия?

Однако мы успели и напиться и, не торопясь, вернулись на гулянье, а Иван Митрич все еще медлил со своими двенадцатью часами. Больше всего я теперь хотел, чтобы куделинские парни (а они ведь очень озорные) сами затеяли драку. Тогда бы нам ничего не оставалось, как обороняться. Но куделинские озорники, чувствуя наше превосходство в числе и силе, гуляли ниже травы, тише воды. Побоище же предстояло серьезное: их пятнадцать, да нас больше того.

Случилось самое непредвиденное. Примерно так в половине двенадцатого Сашка Матвеев свистнул в пальцы, и все наши противники, дружно отделившись от гулянья, пошли домой. Отойдя шагов пятьдесят, гаркнули в пятнадцать луженых глоток:

По деревне пройдем, грянем,
На конце воротимся.
Если девки спят в амбаре,
Ночевать попросимся.

Следующая частушка донеслась издалека, от плотины:

Мы в Олепино ходили,
Ничего не видели.
Только видели одно:
У ведра — худое дно...

Неожиданный уход парней внес некоторую растерянность в наши ряды. Но Шурка Московкин не мог бы успокоиться, если бы так все мирно и кончилось.

— Ну давайте, давайте, разбирай колья, пошли! Как раз в овраге догоним, за мной!

Мне впотьмах и впопыхах достался какой-то легонький, сухонький колишко. Это-то теперь меня и беспокоило больше всего: уж если идти в бой, так с надежным, порядочным оружием.

Настигая, мы изда́ли наш боевой клич, то есть громко заорали по-матерному и, дескать, «бей куделинских!», на что куделинские ответили бегством. Это еще больше подогрело нас; мы бежали по пятам. Но погоня длилась только до конца деревни, до крайнего дома, за которым начиналась обширная луговина. Тоже, значит, знали и куделинские парни, куда идут, если за селом приготовлены были у них свои, из Куделина принесенные отборные колья.

Мгновенно они расхватали свое оружие и встретили нас сплоченной стеной. Но все же у них в первые секунды сохранилась инерция бегства, а у нас — инерция нападения. Я помню, что мы дружно с разгона ударили кольями по куделинским головам (в темноте не поймешь, кто именно по чьей голове), а потом схватка, как и всякая рукопашная схватка, проходила в полубессознательном состоянии: бей, круши, ори что есть мочи что-то бессвязное и несоответственное! Впрочем, главная схватка в такой драке всегда длится недолго. Каждый успевает ударить два, три, четыре раза. Успевают ударить и его.

Мой сухонький колышек переломился от первого удара, так что у меня в руке остался коротенький бесполезный обломок. В это время в голове загудело и еще более потемнело, зубы лязгнули, а уши вроде бы заложило ватой. Значит, кто-то в ответ огрел и меня. Я, ничего не соображая, увидел впереди себя человека с колом, бросился на него, вцепившись в кол обеими руками. Таким образом, я оказался близко, лицом к лицу, со счастливым

обладателем кола, и был это Колька Ланцев. Пока он пытался освободиться от моей цепкой, отчаянной хватки, его ударили в два кола. Он покачнулся, выправился и бросился бежать. Тут побежали и все остальные.

Мы возвращались в село победителями, громко и возбужденно, ликующе обсуждали каждую деталь драки. Каждый, захлебываясь, торопился рассказать, как именно дрался он. Таким образом драка обрисовывалась теперь с самых разных сторон.

— А я его — плесь! А он меня — плесь! А Борька его — плесь! А Сашка Матвеев подбежал — плесь! А он упал, а мы его — плесь!..

Я тоже был возбужден до крайней степени, тоже, стараясь перекричать других, рассказывал, как я его «плесь!» и как меня «плесь!», но все же в глубине души было нехорошо и тошно. Впрочем, это, может быть, оттого, что меня ударили как-никак колом и как-никак по голове.

Но в общем-то это была одна из рядовых деревенских драк, она и так вскоре забылась бы, а тут к тому же началась война. Всех парней забрали в армию. Большинство из них не вернулось к родным берегам нашей маленькой светленькой речки Ворши.

Четыре военных года... Если не побывать в родной деревне в течение четырех обыкновенных лет, и то они покажутся вечностью, а тут четыре военных года... Нужно и то иметь в виду, что меня, например, и моих сверстников разлучили с родной стороной восемнадцати неполных лет. Может быть, кто-нибудь не поверит, но настолько другим был мир, в котором мы оказались, настолько другой предстала перед нами жизнь, настолько каждый день и даже час стоил нескольких лет обыкновенной жизни, что к концу четвертого года службы я стал забывать названия наших окрестных деревень. Это невероятно, конечно! Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне и самому не верится, но было, я помню, что было... Однажды стал про себя перебирать все деревни по Ворше и не мог вспомнить Курьянихи с Демиховом. События же детства и юности, все, что случилось с нами до войны, казалось, все это произошло не с нами, не на этой земле, не в этой жизни. И вспоминать об этом можно только так же, как вспоминает человек о том, что и он был когда-то птицей и широкие крылья умели поддерживать его. Летаем мы,

как известно, во сне, да и то лишь, говорят, когда растем.

Я вернулся в деревню в середине лета. Сиротливо показалось мне без моих друзей, но живой думает о живом — жизнь продолжалась. Тут подоспел петров день, и я решил даже сходить в Черкутино на гулянье: не встречу ли сверстников из окрестных деревень?

Девушки на гулянье почти все были моими сверстницами: та — из одного со мной класса, та — из седьмого «Б», та училась годом младше. Все они теперь стали невестами, на гулянье пришли в лучших платьях, но завлекать им, в сущности, было некого. Вокруг либо пожилые семейные мужики, либо зеленые юнцы, у которых на уме еще не девки, а залезть бы к кому в огород за крыжовником.

Я собрался идти домой, как вдруг, вижу, идет по гулянью, подхватив под руки двух девушек, Колька Ланцев.

— Мать честная! Колька!.. Уцелел! Вернулся!

Колька бросил своих девушек и — бегом ко мне. Обнялись, поздоровались уже по-мужски, не дети.

— Ты как?

— А ты как?

— Вот здорово, черт! А я иду, гляжу — стоишь!

— Да. А я стою, гляжу — идешь! Вот здорово! К тому же лейтенант!

Вдруг радостное, смеющееся лицо Кольки начало сереть, мрачнеть, серьезнеть, в глазах почудилась жестокость.

— Погоди, погоди... Пойдем-ка за угол, мне с тобой поговорить надо.

Я, конечно, пошел за угол церкви, думая, что, может быть, ему нужно попросить у меня денег на пол-литра (так о чем разговор!) или еще какая-нибудь просьба.

Мы теперь только вдвоем стояли друг против друга.

— Ну говори...

— За что ты на меня тогда драться полез, а? Вот уж не ожидал!..

— Да что ты, Николай, опомнись!.. Сколько лет прошло!.. Война... Нашел что вспоминать!

— А как же мне не вспоминать Я тебя своим другом считал, на одной парте сидели, книжки мне читать давал...

— Так ведь все олепинские дрались, как же я мог в стороне остаться?

— Нет, ты скажи, за что ты на меня набросился-то? И, главное, какие книжки читал! Как же после этих книг на человека с колом набрасываться, а?

Я растерянно стоял перед Колькой Ланцевым. С одной стороны, даже несколько смешной и наивной казалась мне эта его в огне войны уцелевшая обида. С другой стороны, он был прав, и крыть мне было нечем.

Мы, конечно, тут же помирились и пошли в магазин. И потом сидели на лужайке в соседстве двух опустевших бутылок. Но нет-нет Колька вдруг опускал голову, качал ею недоуменно и говорил:

— Не ожидал... На одной парте сидели... Книжки... Какие книжки читали!.. Не ожидал!..



СЕРАФИМА



После ужина в незатейливом ресторане мы, трое друзей, решили прогуляться по тихим вечерним улицам этого старинного и все еще в некоторых местах уютного городка.

Вообще-то говоря, мы весь день только и делали, что ходили по городу. Но в нашем дневном хождении была цель: побывать возле каждой старинной постройки, осмотреть каждое архитектурное сооружение, каждый кусочек старины, каждый обломочек некогда процветавшей здесь и во многом непонятной уж нам цивилизации.

Считалось, что я у своих друзей должен быть вроде проводника или экскурсовода, потому что в этом городе прошла моя самая ранняя юность. Но получилось как-то по-досадному наоборот. Оказывается, я, живя здесь с четырнадцати по восемнадцатилетний возраст, вовсе не обращал внимания ни на какую старину, ни на какие монастыри и церкви, и теперь московские художники по-

казывали мне все то, что они давно уже знали из книг, по многочисленным исследованиям и альбомам.

Я постыдно хлопал глазами и лишь показывал дорогу: то к Успенскому собору, то на Козлов вал, то к бывшему Княгинину монастырю. Дороги-то я, конечно, знал, потому что весь город был исшастан некогда и вдоль и поперек, особенно по глухим закоулкам, где во дворах режутся в футбол шустрые городские мальчишки.

Теперь, вечером, мы просто брели по тихой, полуосвещенной улице и молчали. Впрочем, я про себя не молчал. Еще днем ко мне привязались невесть откуда и невесть когда залетевшие в мою память строки. Они, как ни странно, выплывали наверх из таинственной темноты каждый раз, как только я приезжал в этот город и оставался в нем хотя бы на одни сутки:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм.
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.
В этом городе с главной площади
Кругом поле, воля и сушь...

Строго говоря, твердились мной беспрерывно две первые строчки, а остальные так, подразумевались. Идешь-идешь, забудешься, разговоришься с друзьями, и вдруг снова, с какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм...

— А здесь я учился,— показал я друзьям на приземистое краснокирпичное здание. Но здание и само то, что я здесь учился, не произвели на моих друзей никакого впечатления. В самом деле, за всякую память мы должны платить сначала свежими, горячими чувствами. Не израсходуешь чувств сегодня, не будешь вспоминать завтра или через год. Мы проходим равнодушно мимо десятков домов, а ведь каждый из них для кого-нибудь яркая, хорошая ли, дурная ли, память.

Помню, как однажды на московской улице я чуть не налетел (при быстрой ходьбе) на Владимира Александровича Луговского. Матерый поэт стоял среди тротуара,

опираясь на клюшку, огромный, с приоткинутой назад седовласой породистой головой.

Я имел право остановиться рядом с ним и посмотреть, что его так заинтересовало. Ломали дом. Часть его, как бы отрезанная ножом, лежала грудой щебня, разноцветной штукатурки, деревянных обломков. Обнажилась внутренняя стена с ячейками многочисленных бывших комнат, и дверь в одну из комнат, и на обоях светлое пятно от висевшей там раньше фотографии или картины.

— Справа стоял рояль,— поймав меня краешком глаза, начал объяснять Владимир Александрович.— Хозяйка превосходно играла. «Лесной царь» Шуберта — вы понимаете, что это значит? А там, где пятно на обоях, висела моя фотография. В ту дверь я иногда заходил и говорил: «Здравствуйте». Пойдем, пойдем, я хочу снова открыть эту дверь и постоять на пороге.

— Но порог теперь над пропастью, третий этаж. Эта дверь больше никуда не ведет. Она ведет в пустоту.

Поэт слегка улыбнулся, взглянув на меня, и сказал:

— Будь щедрым, мой мальчик.

Тысячи прохожих равнодушно глядели на обломки дома. Для одного это были обломки чувств.

Итак, мы равнодушно миновали здание, где я когда-то учился, и равнодушно, механически пошли дальше по улице, еще более темной, чем были до сих пор.

Что-то начало мне мерещиться, как если бы ночью снился сон, от которого остались одни обрывки. Да нет, вовсе ничего не осталось. А потом среди бела дня заметил бы, что оказался в той, позабытой обстановке и каждый кусочек яви совпадал с обрывочком смутного и забытого сна.

Ну да, конечно. Та самая улица. Как она называлась? Завражная. И как называется эта? Я подошел к дому и сквозь зелень палисадника прочитал на табличке: «Завражная». От этой мелочи, от точного совпадения деталей сегодняшней яви с далеким сном весь сон вдруг вспомнился отчетливо и ясно, до последней черточки, до запаха духов, до цвета обоев, до занавесочек, загораживающих низенькие, начинающиеся прямо от пола окошки. Ведь действие сна происходило в мезонине.

Я ничего не стал объяснять моим московским друзьям. Просто попросил их подождать несколько минут на улице.

Главная дверь, как и прежде, не заперта. От двери налево вход в нижние помещения, а прямо кверху узенькая-преузенькая лестница. Потом площадочка. Неужели и раньше здесь так воняло керосинками? Теперь другая дверь, за ней — кухонька. Керосинки, корыта, впрочем, все чистенько и уютно. Потом с кухни дверь в ту самую, низенькую, о двух окнах мезонинную комнату. Теперь я вспомнил, что это была даже и не комната, а просто что-то невероятно милое, уютное, теплое, чистое — светелка, теремочек, кусочек земного рая.

Я постучался и открыл дверь на кухню. Мне показалось здесь, на кухне, слишком обыденно и даже неопрятно — не сравнить с тем, как было раньше. Впрочем, раньше я, наверно, не глядел по сторонам, а сразу стремился к той, главной двери, которая точно так же и теперь все еще обита голубенькой, закоптевшей от керосинок клеенкой. Пришлось изрядно нагнуться, чтобы пройти сквозь дверь. Женщина, впустившая меня, посмотрела вопросительно: кто я и что мне нужно?

Боже мой! Кособокая, душная клетушка. Обои наклеены буграми. Две узкие койки этакого студенческого образца, стол под бумажной скатертью.

— Вы к кому? — третий раз переспросила женщина.

— Ах да, мне нужна Серафима Доброхотова.

— Но здесь не проживает никакой Серафимы.

— Разве? Она снимала здесь комнату. Вместе с подругой. А подругу звали Клавой.

— Что вы, гражданин, не было этого! Я живу здесь восемнадцать лет.

— Разве? А это было двадцать три года назад.

— Воля ваша. Но теперь здесь нет никакой Серафимы.

— Разумеется. Извините за беспокойство. Не взыщите. Больше я не приду.

Друзья-художники встретили меня шутливо: дескать, наверно, это самое... Так не волнуйся: мы, дескать, гостиницу найдем одни. Вот почему я не стал им рассказывать вспомнившегося мне смутного сновидения, а остался с ним один на один. Думается мне, что рассказать его просто-напросто невозможно. Расскажешь, и получится пустячок, незначительный эпизод из ранней юности. Да вот, посудите сами.

...На перемене между математикой и начертательной геометрией ко мне подошел Колька Рябов.

— Слушай,— сказал он,— давай запишемся в школу танцев. Оказывается, в клубе железнодорожников открывается школа танцев. Я все узнал. Плата — двадцать рублей. Ходить через день, по вечерам. В программе фокстрот, танго, медленный вальс и румба. Ведет артист драматического театра Сероглазов. А что нам? Подумаешь! Все равно проболтаемся в общежитии.

— Так-то оно так... Да как-то чудно... Да и не научимся.

— Вечно ты со своими раздумьями! Насчет того, что научимся,— гарантия. Понимаешь, написано в объявлении — гарантия. Обязательно к концу школы будем уметь. Всего два месяца через день. А лучше, что ли, на каждом вечере мы стоим, как оболтусы, у стены, в то время как все танцуют с девчонками?

О, это было не лучше! Стоя у стены на каком-нибудь техникумовском вечере, я отдал бы не то что двадцать рублей... Чего бы я только не отдал, чтобы вдруг, как в сказке, снизошло на меня умение танцевать и я смело подошел бы и пригласил бы, а она положила бы руку на мое плечо!.. Дальше этого не смела забегать моя самая распаленная фантазия. Дальше этого шло нечто вовсе уж невозможное, как если бы полет над Землей, раскинув руки в стороны, медленное сладкое парение и кружение звезд... А между тем вместо всего этого я стоял обыкновенно у стены среди таких же, как и я, нетанцующих оболтусов. Мы старались показать, что нам весело, разговаривали громче, чем нужно, шутили плоско и невпопад, и все это делалось напрасно. Потому что нам только казалось, что все на нас смотрят, на самом деле все танцевали, и никто не обращал на нас никакого внимания.

Все время стараешься независимо, а на самом деле глупо улыбаться, так что к концу вечера даже болят мышцы лица и уносишь, в конце концов, неприятное, досадное чувство отверженности и неполноценности.

Колька Рябов был, значит, не то самолюбивее, не то решительнее, не то деловитее меня. Мне самому и в голову не пришло бы идти в школу танцев в городской клуб железнодорожников. Не приснилось даже бы и во сне.

Кассирша приняла у нас деньги, выписала квитанции

и сказала, что нужно приходить в четверг к семи часам вечера. В хороших по возможности костюмах, в приличных туфлях, побритыми и «при галстуках». Насчет бритья она беспокоилась зря. Помнится, я еще не брился. Вернее, я не помню, брился я тогда или нет. Шестнадцатилетний возраст — скорее всего не брился.

Надо заметить, впрочем, что ростом и сложением я выглядел постарше своих лет, это мне говорили все, да я и сам знал об этом.

В назначенный день мы, едва дождавшись вечера, начистили гуталином наши ботинки, обстригли ножницами мохонышки на краях широченных (последнее слово предвоенной моды) брюк. Завязали галстуки, как полагается, широкими разляпистыми узлами и ровно в семь часов переступили порог клуба железнодорожников, пройдя между толстенными желтыми колоннами.

Раньше тут было Дворянское собрание. Значит, и бальный зал с лощеным паркетом, с зеркалами от пола до потолка, с настенными подсвечниками между зеркалами, с лепными украшениями на потолке, все более причудливыми к середине потолка, к тому месту, от которого свисала огромная, дрожащая прозрачными стеклышками люстра.

После нашего студенческого общежития, после наших слесарных и токарных мастерских, после того, что мы считали роскошным обшарпанный, весь в рыжих потеках зал кинотеатра «Художественный», большой зал Дворянского собрания показался мне сказочным. Я и представить себе не мог, что могут быть такие блестящие залы, что можно смело ходить по таким блестящим полам, смотреться в такие зеркала, любоваться такими люстрами! А тяжелые занавеси на окнах, а двери от пола до потолка, а стеклянные зеленые ручки у дверей!

В этом-то зале нам и предстояло обучаться фокстротам и румбам.

Словно на тонкий ледок, вступил я в первый раз на вощеный паркет, прошел сторонкой в дальний угол (там как будто было потемнее) да и встал, чтобы никому не мешать. И все собравшиеся — по уголкам да по стеночке, оставляя свободной просторную середину зала.

Драматический актер Сероглазов, длинный, гибкий, вполне владеющий каждым своим движением (не то что мы, чурбаны), как раз и вышел на эту свободную

просторную середину. На нем ладно сидел светло-шоколадный костюм. Он ловко повернулся во все стороны, оглядел нас и весело хлопнул в ладоши.

— Итак, приступим. Сейчас я расставлю вас каждого на свое место. Прошу вас запомнить его, и по моему хлопку в начале занятий (вот так) становиться, куда положено.

Тут наш маэстро чуть ли не за руки развел каждого из нас, и получилось, что мы стоим двумя шеренгами у длинных стен зала, лицом друг к другу. В одной шеренге — мужчины, в другой шеренге — женщины. Все обширное пространство по-прежнему пустовало, только маэстро в светло-шоколадном костюме расхаживал по нему слегка пружинящей походкой и как-то очень уж ловко, очень уж незаметно поворачиваясь то в нашу, мужскую, сторону, то наоборот.

— Сообщаю вам новость,— говорил между тем маэстро,— вы не умеете не только танцевать, вы не умеете просто ходить. Показываю, как вы обычно ходите.

Подтянутый и собранный маэстро вдруг расслабился. Плечи его опустились и размякли. Спина ссутулилась. Руки удлинились и повисли чуть ли не ниже колен. Передвигая ноги невпопад с движениями рук, он карикатурно прошел вдоль зала. Искусному актеру нетрудно было шаржировать нашу, может быть, и в самом деле неумелую походку. Разве нам кто-нибудь показывал, кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ходить нужно по правилам? Стали с четверенек в десятимесячном возрасте, пошли, да так вот и идем, кто шестнадцатый год, кто двадцатый, а кто и больше.

— Вы, конечно, ходите,— продолжал маэстро,— выполняете эту человеческую функцию — ходить на двух ногах. Но можно, кроме того, ходить красиво. Настоящий человек ходит таким образом.

Актер опять собрался, выпрямился (но не напыжился, боже сохрани!) и прошел по паркету так, что... Черт его знает, как он прошел, но это было действительно красиво!

— Значит, сначала мы будем учиться ходить и держать корпус. Красивая походка — основа танца. Сейчас вы положите руки на бедра и под музыку будете делать следующее: левая нога шагает вперед, правое плечо

(заметьте, правое!) тоже резко выдвигается вперед. А потом правая нога и левое плечо. Повернитесь в затылок друг к другу. Музыка! И!..

Мы пошли под музыку, выворачиваясь при каждом шаге, как на шарнирах, то и дело путаясь (правая нога и правое плечо), то и дело выпадая из ритма музыки.

— Да, да! Это одновременно приучит слушать музыку и каждое свое движение подчинять ей. Свободнее! Изящнее! Больше уверенности. Не вижу пластики. Стоп!

Так мы ходили под музыку два или три занятия. Помню, что и на улице теперь и в техникуме (длинные коридоры) я старался идти, подслеживая, а где мое левое плечо в то время, как правая нога делает шаг вперед. Помнится, я сразу почувствовал себя чем-то богаче остальных моих однокурсников.

Кроме того, стало тянуть из неуютных казенных комнат общежития в тот совершенно иной мир, где паркет, зеркала, ритмичная музыка, плавные и красивые, тоже ритмичные, движения. Но все еще было впереди.

Однажды маэстро, выстроив нас, как обычно, в две шеренги, лицом друг к другу, торжественно провозгласил:

— Сегодня в вашей учебе великий и знаменательный день. Сегодня каждый из вас выберет себе партнершу. А каждая из вас, соответственно, партнера. Партнеры закрепляются друг за другом до конца обучения. Чтобы лишить вас излишних волнений по столь щепетильному поводу, я скажу вам, что выбор давно состоялся. Сейчас обе шеренги пойдут навстречу друг другу. Виноват, сейчас кавалеры подойдут к линии дам, и каждый возьмет себе ту даму, которая окажется как раз против него. Так как и дам и кавалеров поровну, то никто не останется в обиде.

Не помню, как я пошел вперед. Глаза мои забегали, ища, к кому именно я должен двигаться. Но, очевидно, линии стояли не строго друг против друга, произошло легкое смещение линий, произошла маленькая путаница, все замелькало у меня перед глазами, замельтешило ярким разноцветным мельтешением, как если бы в калейдоскопе, когда его повернешь и туда и сюда. Потом вдруг как-то странно все успокоилось и рассеялось.

Я оказался лицом к лицу с женщиной в черном бархатном платье. Да, в первую секунду (ну или там долю

секунды) я видел только черное бархатное платье. Не бальное, конечно, так, чтобы до полу и шлейф, а обыкновенное платьице с поясочком и белым кружевным воротничком.

Вторая секунда принесла мне смутный сигнал, что женщина некрасива и гораздо старше меня. Где-то вдалеке-вдалеке, как беззвучная августовская зарница, мелькнула мысль, что я в своей шеренге стоял не очень-то удачно, но радость оттого, что все кончилось и какой бы там ни был выбор пал, погасила далекую зарницу. Да и не все ли равно, с кем разучивать танцы! Не навек же! Не детей же, как говорится у нас в деревне, крестить.

Партнерша смотрела на меня (казалось мне, что сверху вниз, а была гораздо ниже меня ростом) и спокойно улыбалась моему смущению.

— Познакомьтесь,— откуда-то, чуть ли не с божественной высоты, из некоего чуть ли не божественного тумана гремел голос маэстро.— Назовите друг другу имена, протяните друг другу руки.

— Серафима,— сказала женщина.

Я пролепетал свое имя, и мы взялись за руки.

Я думаю, тут нужно прежде всего иметь в виду, что я, шестнадцатилетний юноша, до этого вечера никогда, ни под каким предлогом и видом случайно ли, нарочно ли, в шутку или всерьез не дотрагивался до женщины.

— Будем изучать основное положение танцующих. Встаньте друг против друга.

Мы и так стояли друг против друга. Но, оказывается, нужно было приблизиться друг к другу вплотную.

— Партнер кладет свою правую руку на спину партнерши примерно там, где кончается лопатка... Прекратить смешки! Кто не хочет учиться дальше, может оставить помещение... Следите, чтобы ладонь прилегала ровно, а локоть не отвисал. Не ерзайте ладонью по спине партнерши. Только во время быстрого, стремительного вальса разрешается опустить ладонь со спины на талию партнерши. Но это вас пока не касается.

Партнерша кладет свою левую руку на плечо партнеру. Правая ее рука находится в левой руке партнера. Не отставляйте эти руки далеко от себя. Заденете за чей-нибудь нос. А это неприлично. Во время танца смотреть нужно на партнершу, на ее лицо. Обязательно разговаривать с ней, улыбаться. Стыд и срам отворачиваться

от партнерши. Еще стыднее смотреть на свои танцующие ноги. Простите, я хотел сказать, на свои вяло передвигающиеся ноги.

Маэстро, нарочно шаржируя, показал нам, как не нужно ерзать ладонью по спине, как не нужно отворачиваться от дамы во время танца, как не нужно смотреть под ноги. Все это было очень смешно, и я, пока смеялся, немного справился со своим смущением. Помогла, конечно, и Серафима.

Ей, как я потом узнал, шел двадцать седьмой год. Работала она медсестрой. У нее были темные густые волосы, когда-то завитые на шесть месяцев. Но, значит, кончался шестимесячный срок: мелкие барашки и колечки распрямились, и волосы были теперь не курчавы, а в меру волнисты. Брови подняты как бы в неожиданном удивлении. Губы пухлые и добрые от всегда таящейся в них легкой усмешки.

Если мне лицо моей партнерши показалось при первой встрече некрасивым, то, наверно, виной этому были прежде всего глаза. Они были явно мелковаты для крупного, широкого лица Серафимы. Не служил украшением и нос, слегка приплюснутый и короткий.

Можно подумать, что я тогда же, таким вот образом разложил на части и оценил лицо Серафимы. Это теперь, задним числом, по прошествии более двадцати лет я вспоминаю, какое было у нее лицо. И, наверно, зря это делаю. Я встречал подробное описание лиц у всех писателей мира и никогда не мог сложить внятного лица из преподнесенных мне, пусть и точных, подробностей. Напротив, во время чтения у меня возникает вдруг в воображении свой образ героя или героини. И тут уж все равно, коротковат ли у него нос, с точки зрения автора, или не коротковат. Скажу только, что было в лице Серафимы что-то отдаленно татарское. Но такое отдаленное, что, может быть, прошло сорок или пятьдесят поколений, может быть, сорок или пятьдесят русских лиц ложились на некое давнишнее чисто татарское лицо и все стерли, все заслонили, осталась одна лишь смутная догадка, проблеск, почти мираж.

Я отвлекся на том, что скорее всего именно Серафима помогла мне справиться со смущением в первые, необыкновенные для меня минуты. Как ни объяснял маэстро, что при помощи ладони, лежащей на правой лопатке

партнерши, я должен управлять партнершей, поворачивая ее направо и налево, получилось все-таки, что Серафима незаметно для самого меня управляла мной.

Я вскоре почувствовал себя с ней очень легко и просто. От ее черного бархатного платья, от ее чуть-чуть улыбающегося лица, уж не казавшегося мне некрасивым, излучалось какое-то доброе тепло, которое обволакивало меня и странно грело.

Придя в общежитие и укрывшись с головой одеялом, я услышал, что мои руки источают легчайший запах духов, и в полусне мне мерещилось, что я опять прикасаюсь к чему-то мягкому, доброму, теплому и что мне уютно и сладко от этой темной бархатной теплоты.

В другой раз я сделал большое открытие. Стоит почти что мысленно передать своей правой ладони мое желание повернуться налево, как партнерша в точности исполняет мое желание. Восприимчивость Серафимы была удивительна. Жаль вот только, я не знал еще вовсе никаких поворотов на этих ранних порах и, конечно, не смог бы самостоятельно вести Серафиму, не спугавшись на первых же двух шагах, не сконфузившись и не стушевавшись. Оттого-то почти все в нашем танце зависело от нее. Было ясно, что она взяла меня под свое чуткое женское покровительство.

— Внимание, музыка! — командовал маэстро Сероглазов.— И... раз-два-три! И... раз-два-три! Делаем только правые повороты. Не семените на цыпочках. Протяжнее шаг. Каблуки почти не отрываются от паркета. Не сутультесь. Разверните плечи. Чувствуйте себя кавалерами. Дамы, не отстраняйтесь от своих кавалеров на три версты. Они вас не съедят. И... раз-два-три! И... раз-два-три!

Серафима не отстранялась от своего кавалера.

Теперь я ждал дня занятия (мы занимались по вторникам и субботам) еще и потому (пожалуй, главным образом потому), что скорей хотелось очутиться рядом с Симой — она приказала мне называть ее коротким именем.

Первый час мы всегда занимались разучиванием элементов танца. Стояли разделенными на шеренги, как в самом начале. Ходили гуськом вокруг зала. То одного ученика, то другого маэстро вызывал на середину и заставлял выделывать разные ступенчатые сложные шаги. Выпала эта участь и мне.

Один среди огромного зала, под взглядами сорока человек я немедленно стушевался и выглядел неуклюже. Раздались смешки.

— М-да!.. В паре, молодой человек, у вас получается гораздо лучше. Ну ничего. Главное, вы обладаете чувством ритма.

В конце концов, маэстро любил ободрить даже самого безнадежного ученика.

Однажды, когда мы расставились в шеренги, я заметил, что Симы в зале нет. В этот день мне почему-то сильнее, нетерпеливее, чем в другие дни, хотелось на занятия. С большой радостью я предвкушал, как мы опять будем рядом и я услышу ее голос, и запах духов, и теплоту бархатного платья, и вообще она нужна была мне теперь почти, как хлеб, и странно было, что я когда-то жил, не думая о встречах с нею. А еще страннее, что сначала она показалась мне ужасно некрасивой.

Так вот, ее не было в зале. Я не поверил, несколько раз пробежал глазами по дамской шеренге. Как в полусне, я выполнял упражнения вместе со всеми, слушал команды маэстро, механически слушал музыку. Внутри же у меня все похолодело и онемело, и я не знал, что теперь будет. Почему-то мне казалось, что Сима не придет никогда.

— Разойтись по парам!

В безнадежности я посмотрел туда, где всегда стояла моя Сима, и вдруг черное бархатное платье кинулось мне в глаза через зальную пустоту, и не осталось в зале ничего и никого, одно только черное бархатное платье, и белый кружевной воротничок, и чуть-чуть улыбающиеся губы Симы.

Мы танцевали слаженнее, чем всегда.

— Я не хотела сегодня приходить,— шептала мне Сима.— Я хотела совсем не приходить никогда. Но в последние минуты все же решила. Сама не знаю почему. За пять минут собралась — и бегом... Не наступай мне на ногу. Слушай музыку.

Духами от нее пахло крепче обыкновенного: наверно, и душилась она второпях, на ходу, в самую последнюю минуту.

— Сегодня ты проводишь меня до дому,— сказала Сима, когда маэстро трижды хлопнул в ладоши в знак окончания занятий.

На улице я не знал, как себя вести. В зале все было предрешено и расписано: правую руку на спину, ее рука на моем плече... Теперь вступали в действие иные правила.

Все же я набрался духу, чтобы взять Симу под руку. На ней была беличья шубка. Я чувствовал, как просторно Симиной теплой руке в широком беличьем рукаве. Мы пришли к домику с мезонином.

— Эти два окна. Видишь, освещены? Там я живу. И моя подруга Клава. А теперь до свидания. До субботы!

В субботу в тот же час мы оказались перед тем же самым домиком. Света в окнах не было.

— Походим немного по улицам,— предложила Сима.— Такой тихий, приятный вечер.

Мы ходили по улицам минут сорок. И я все думал, правильно ли я делаю, что держу Симу под руку, и правильно ли я ее держу, с этой ли стороны. А Сима глубже запахивалась в широкую беличью шубку. Иногда взглядывала на меня сбоку и тихо, странно смеялась.

— Теперь зайдем к нам. Ты, наверно, озяб в своих танцевальных туфлях. (Сама она была в белых фетровых ботах.) Выпьем чашку горячего чая.

Окна мезонина гостеприимно светились.

То ли я все видел тогда в несколько радужном свете, то ли с мороза все мне в домике показалось необыкновенно уютным, приветливым, милым. И узенькая шаткая лесенка, и площадочка наверху, и кухонька, и голубая дверь, и, наконец, сама комната с низеньким потолком, с окнами, начинающимися прямо от пола. Занавесочки на окнах, две койки, стол под бумажной скатертью.

В комнате мы нашли подругу Серафимы — Клаву, бледнолицую завитую блондинку (она полулежала на койке), и майора, сидевшего за столом на стуле.

Я стараюсь вспомнить, точно ли в звании майора был тот офицер. Почему-то мне запомнилось, что он был именно майор. Сомнения же мои на этот счет происходят оттого, что офицер вспоминается мне очень молодым, розовощеким, веселым. Вроде бы майоры всегда выглядят постарше и посолиднее. Но, помнится мне, что именно майор.

Нас познакомили. Военный назвался Сергеем. Он поглядел на меня странно оценивающе и начал собираться

домой. Клава встала с койки и надела шубку — проводить майора.

Сима торопливо прибирала на столе: две стопки, пустая бутылка из-под вииа, крошки хлеба, обертка от плитки шоколада.

Я мог бы подумать о том, что еще четверть часа назад в мезонине ие было света, когда же оии успели выпить бутылку вииа? Но куда мне было до таких наблюдений!

— Они давио дружат,— говорила Сима, постилая новую бумажную скатерть и садясь на свою койку.— Чайник закипит через полчаса.

Это вот положение, или, если хотите, расположение, нас в комнате — она сидит иа койке, приоткинувшись на подушку, а я за столом на жестком венском стуле — определилось и укоренилось на много дней и иедель.

Бывало так, что мы сидели в комиате. Потом приходила Клава, а потом вскоре и майор Сергей. Тогда Сима предлагала мне прогуляться, и мы уходили на улицу.

Бывало так, что мы приходили с улицы, заставая в комиате Клаву с майором. Они быстро собирались и уходили, оставляя нас наедиие.

Но при всех случаях, оставаясь наедиие, мы заиимали свои дежурные места: оиа на койке, около подушки, я на стуле возле стола. От меия до нее не меиьше двух метров расстояния.

Теперь, когда мне не шестнадцать, а тридцать девять, я, вспоминая о диях юиости, часто задаюсь вопросом, кто из иас тогда был виноват, ну, ие виноват, ие виноват, конечио, а, скажем помягче, от кого тогда зависело, что это расстояиие продолжало оставаться все тем же и никто из иас не протяиул друг другу руки.

Руку протягивает мужчина. А я им еще не был. Допустим. Но если даже руку протягивает мужчина, то все же сиачала он обязательно и точно чувствует, как будет встречена протяиутая им рука.

И вот я чувствовал, что протягивать руку иельзя. А может, просто боялся, робел, холодел при мысли? Да, боялся и холодел. Но иеужели она, если бы захотела, не сумела бы ободрить меия? Не иаучила бы, как протяиуть руку? Остается одно: ие хотела, чтобы я протягивал. Мало того, теперь я точно зиаю: каждый вечер боролась сама с собой.

А недели между тем уходили назад, как уходят берега от идущего по реке парохода...

Однажды мы пошли в городской театр на спектакль. Правда, не помню, что давали тогда в городском театре. Как будто что-то из Лопе де Вега. Наш маэстро тоже был занят в спектакле, но роль его была второстепенна, и нам было досадно, что мы так мало видим на сцене нашего маэстро.

Да, забыл сказать, что курсы танцев к этому времени давно уже закончились. Мы встречались теперь с Симой не в клубе железнодорожников, а просто я почти каждый вечер, как на дежурство, повязав галстук широким узлом, шел к домику с мезонином.

Я видел: что-то неладно в наших отношениях. Чувство динамики, значит, и в то время жило во мне. Отношения завертелись на одном месте, как бы вхолостую. Я видел это, но сделать ничего не мог и постепенно привык к самому чувству неблагополучия.

Так вот, мы тихо и мирно шли из театра. Вдруг Сима сказала:

— Я решила, что мы больше не будем встречаться. Это нам ни к чему. Когда-нибудь ты поймешь. Только не сердись на меня. Ладно?

И тут же я остался один на морозной завьюженной улице.

Писали в старинных романах, что он-де остановился как пораженный громом. Куда там гром! Если бы меня вместо романтического грома ударили по голове обыкновенным прозаическим кирпичом, то я не был бы поражен так сильно, как при неожиданных и жестоких словах Симы. И полная беспомощность. Теперь уж ни сила, ни мужество, ни храбрость, ни, допустим, нахальство — ничто не могло бы помочь мне, как обычно не помогает ничто, когда женщина решила уйти и уходит. Мужество, сила, храбрость — все это должно быть раньше, пока она еще не решила, не ушла. А теперь все поздно. Дверь за ней наглухо закрылась, мелкая колючая поземка остужает и заметает ее следы. Да и какие следы на утоптанной городской улице!

Было чувство, что меня ударили в левую половину груди каким-то ужасным зазубренным оружием, которое я не в силах вытащить обратно. Ударили не смертельно, но дьявольски больно. Так и придется теперь таскать

это болтающееся, покачивающееся при каждом шаге и причиняющее при каждом шаге свирепую боль (вроде как обломок татарской стрелы) оружие.

Не помня себя, я добрел до общежития. Значит, хватило все же выдержки не подать виду, если ребята ничего не заметили, а Колька Рябов даже начал трунить и острить в меру своей врожденной деликатности и тонкости:

— Ну как? Наверно, целый вечер к губкам прикладывался? Сладко, наверно, прикладываться к мягким губкам? Эх, хоть бы мне кого-нибудь поцеловать! Словно и не доживешь до этого часа.

Я укрылся с головой жестким суконным одеялом. Смутный запах духов, как и всегда после встречи с Симой, наполнил душное пододеяльное пространство. Но сегодня вместо обычной щемящей сладости он разбудил нестерпимую боль, как если бы тот обломок стрелы взяли и повернули в ране то вправо, то влево.

Я укутался еще глуше и беззвучно заплакал. Плакать мне было трудно и неудобно, потому что надо было следить, чтобы ничего не увидели и не услышали ребята: ни всхлипа, ни вздрагивания.

...Дни проходили в полусне. Машинально я делал все, что полагалось мне делать и что делал раньше: умывался, сидел на лекциях, делал чертежи, ходил с ребятами в кино. Вот только по-прежнему не танцевал на студенческих вечерах, хотя и мог бы — даром, что ли, плачено двадцать рублей из студенческой стипендии!

Всякое воспоминание о танцах, всякая мысль о них отзывалась болью. Помню, однажды сидел я в гостях у брата. Вдруг по радио объявили: «Передаем танцевальную музыку. Фокстрот». Ну и что тут такого? А меня словно кипятком ошпарили при первых же звуках музыки. Вскочить из-за стола и убежать на улицу было первым толчком, но я, конечно, остался. Никто ничего не заметил.

Однажды я работал в мастерских в вечернюю смену. На токарном станке я делал из стальной толстой палки этакие легкие тонкие кольца. Работа несложная даже для меня, практиканта. Обточишь болванку снаружи проходным резцом, то есть срежешь, снимешь с нее верхний слой вместе с ржавчиной. Ну и бугорки, неровности, выбоины. Бывает, что из кузницы болванка приходит не

круглая, а приплюснутая, и это тоже нужно убрать. Впрочем, станок знает свое дело — поворачивай рукоятки.

Потом, когда болванка обточена, расточным резцом я выбирал у неё середину, то есть делал ее пустой, вроде как превращал в трубку. Теперь оставалось самое простое — узким отрезным резцом отрезаешь от трубки колечки, которые скатываются одно за другим на плоскость станины, залитую мыльной эмульсией.

Особенно волновала меня первая операция, первое соприкосновение, первое врезание стали в сталь. Ржавая болванка крутится быстро и равномерно. Все ближе я подвожу к ней резец, все ближе, все ближе. Кажется сейчас, как только острый кончик резца дотронется до вращающейся стали, так и полетит все к черту: удар, стук, резец напополам, как бывает всякий раз, когда находит коса на камень.

Но я уверенно, твердой рукой (и это мгновение мне особенно нравится) делаю последний полуоборот рукояткой — и вот уж из канавки резца спиральной витиеватой струйкой течет синяя дымящаяся стальная стружка. Запах окалины, напряженная дрожь станка. Работа. Я режу крепкий металл. Я делаю из него все, что захочу. Кольцо, цилиндр, гайку, болт, круглый шарик... Струйка течет и течет, ломаясь время от времени с легким хрустом. Я гляжу на бесконечную голубую стружку и немножко забываюсь, и тогда затихает боль. Впрочем, к боли я привык. Ношу ее в себе бережно и молчаливо, отчетливо понимая, что любовь — болезнь и что нет другого лекарства, кроме времени.

Колька Рябов идет из курилки ухмыляющийся:

— Тебя к телефону. Приятный такой голосочек. Жми!..

Из трубки после долгого молчания (она не решалась заговорить секунды три или четыре) голос Симы:

— Приходи в четверг вечером. Я все объясню. Я больше не могу. Приходи.

Но встретились мы не в четверг, до которого осталось три дня, а на другой же день. Встреча была случайной.

Всегда в апреле на меня нападает некое смутное волнение, которое не позволяет мне сидеть на одном месте, а заставляет бродить целыми часами по рыхлому тающему снегу. Сырой, не по-зимнему мягкий воздух еще больше будоражит душу.

Городские улицы особенно неприглядны в это время. На них особенно грязно, не прибрано, серо. Но на это как-то не обращаешь внимания, а видишь только, что весна и что снег рыхл, грязен вовсе не оттого, что посыпан солью, а оттого, что весна и сырой мягкий ветер. Не оттепель, а настоящий весенний ветер.

Он, ветер, вырывается из-за каждого угла, из каждых ворот, натыкается на стены, бросается из стороны в сторону, изорванный в клочья острыми городскими углами, крышами, железными столбами, проводами, грузовыми машинами.

Но я знал, что в городе есть место, где ветер без единой царапинки, широкий и светлый, плывет над землей, свободно расплеснувшись от горизонта до горизонта. Это место — высокий обрыв у белой кремлевской стены, а внизу река и заречная плоская равнина.

И вот она тоже пришла к белой кремлевской стене, к реке, к обрыву, и были мы тут вдвоем: она и я. Она сама впервые взяла меня под руку.

— Ты знаешь, я долго мучилась. Хотела звонить — и не решалась. А потом чувствую: больше не могу! Но давай не будем вспоминать. Какой мягкий день! У меня сегодня ночная смена. С одиннадцати. Целый день свободный. А как странно, что мы здесь встретились! Я назначала на четверг, потому что... Впрочем, глупости. Хочешь, пойдем на французскую борьбу?

Я молча покорно повиновался Серафиме.

В ту весну весь город словно свихнулся на этой самой французской борьбе. В парке Пушкина приезжие циркачи натянули свой шатер. После обыкновенной, посредственной, разумеется, цирковой программы во втором отделении выходил к публике пожилой человек, весь составленный из огромных, теперь уж немножко одряблых, бугров мышц. Это был арбитр Храпченко. Он раскланивался на все стороны и громко командовал: «Парад, алле!»

На арену упругой рысцой выбегали борцы. Тут были и пожилые, и огромные, на первый взгляд неповоротливые, борцы, и молодые, гибкие, узкие в поясе, широкие в плечах. У того ноги как мраморные колонны; скупо переступает он ими по арене во время борьбы. Ну и весу в нем сто десять, сто двадцать килограммов — попробуй такого свороти! К тому же в руках железная, неразъем-

ная, как у бульдога, хватка. Тот юрко суетится вокруг своего противника, хватает его, как дворняжка, то справа, то слева, ускользает от роковых объятий, выскальзывает, как угорь, не дается, снова наскакивает и вдруг каким-то никому не понятным образом перекидывает свинцовую тушу через себя.

Во время парада арбитр называл каждого борца по имени и городу, из которого борец якобы приехал. Названный борец делал пружинящий шажок вперед, сдержанно кланялся одной головой и становился на место.

— Юрий Карелин — Урал! Святогор — Киев! Яунзе — Рига! Казаков — Запорожье...

Всего борцов выходило на арену десять — пятнадцать человек. Боролись же ежедневно две или три пары.

Потом я где-то узнал, что борцы в цирке не столько борются, сколько играют, заранее рассчитывая, кто кого должен побороть. Таким образом администрация цирка создает наиболее азартные, наиболее завлекающие сочетания. Например, однажды борец Яунзе поругался на арене с арбитром и вызвал его (арбитр по возрасту не боролся). Назначили день. К цирку нельзя было подойти, не то что проникнуть внутрь. Весь город только и говорил, что о предстоящем поединке. К тому же все видели, как Храпченко в этот день ходил в баню.

Другой раз Храпченко объявил: не желает ли кто-нибудь попробовать свои силы из публики? И вот один нашелся. По фамилии Красавин. Тут уж игра шла на чувствах местного патриотизма. Красавин положил своего противника. На другой день победа опять осталась за ним. Тогда выпустили против него Святогора. Билеты перепродавали втридорога. Потом мы узнали, что Красавин их же профессиональный борец.

У публики и вообще у горожан появились борцы-любимчики, главным образом из молодых. Студентки педучилища и медицинского техникума караулили борцов на каждом шагу, как в Москве караулят знаменитых теноров. Может быть, даже азартнее, чем теноров, потому что голос, он и есть голос, а эти, даже самые молодые и гибкие, походили на породистых, выхоленных мирских быков: те же тяжелые загривки, те же, вроде бы немножко исподлобья, взгляды, те же бугристые, мощные торсы, то же нетерпеливое перетаптывание с ноги на ногу.

Серафима равнодушно проглядела первую половину цирковой программы, но так и впилась глазами, даже подалась вперед, когда дело дошло до борцов. Ноздри ее расширились (может быть, от крепкого запаха мужского пота), взгляд не пропускал ни одного движения лоснящихся, кувыркающихся, сжимающихся, как пружины, и как пружины же распрямляющихся тел. Иногда она тихонько смеялась странным, загадочным смешком, смеялась именно в тех местах, где смеяться было вовсе нечему.

Впрочем, я мало, мельком, искоса смотрел на Серафиму, потому что во всем городе, может быть, не было более страстного болельщика, чем я...

После цирка — это было дневное представление — Сима заметила, что я изнуренно голоден. Это была правда. Стипендия давно кончилась, и я не ел со вчерашнего дня. К тому же под куполом цирка было прохладно, и я продрог. Значит, был еще бледнее, еще синегубее и жальче.

Сначала Сима хотела повести меня в ресторан. Но на пороге ресторана она вспомнила, что плохо, не по-ресторанному одета, и тут же переменила планы. Мы зашли в «Гастроном», купили колбасы, рыбных консервов, халвы и бутылку портвейна.

— Сегодня мы встретились. Пусть,— не то объясняя, не то оправдываясь, говорила Сима,— пусть сегодня все будет по-другому. Сегодня все будет сначала. Сегодня пойдем ко мне, поедим, согреемся. Я работаю в ночную смену, с одиннадцати.

В мезонине после долгой отлучки мне показалось еще уютнее. Вино и согрело меня и опьянило, и мне стало казаться, что я больше никуда и никогда не уйду из этой комнатки. Сквозь легкий туманец я смотрел на Серафиму и вдруг вспомнил, что давным-давно уж не было так, как тогда, на танцах, чтобы ее рука на моем плече, и темная бархатная теплота, и лицо близко-близко у моего лица.

Мне мучительно захотелось, чтобы все опять было так же и еще большего — схватить ее, стиснуть, обнять и чтобы так уж было всегда и вроде бы падать, кружась и задыхаясь на лету от падения, от кружения, от счастья.

Серафима, как и прежде, полулежала на койке. Я, как и прежде, сидел на стуле возле стола.

Было заметно, что она нервничает, волнуется, как бы хочет решиться на что-то и не решается. Она то взглядывала на меня быстрым, но цепким взглядом, то опускала глаза. Я заметил, что рука Симы, держащаяся за спинку кровати, побелела от напряжения.

Помню, что волнение Серафимы передалось и мне. Что-то приближалось, надвигалось на нас, чему мы должны были беспрекословно подчиниться.

Под долгим, чуть ли не гипнотизирующим взглядом Серафимы я как во сне встал со стула и сделал шаг. В то же мгновение Серафима вскочила и выбежала из комнаты.

Вскоре она вернулась, но уже совсем другая, оживленно начала говорить о чем-то постороннем, села против меня за стол и вдруг завела длинную историю о том, как она работала в детдоме воспитательницей, какой сначала это был плохой детдом и как они, воспитательницы, преобразили его. Мелькали в ее разговоре фикусы в коридорах, ковровые дорожки, белые простыни, красные пионерские галстуки.

Она рассказывала, не глядя на меня, боясь остановиться. Рассказывала, рассказывала до самых сумерек. И даже не успела дорассказать всего, как пришел мой старый знакомый — майор Сергей.

Полчаса майор подождал, не придет ли Клава, потом решился уйти. Я тоже собрался уходить. Впервые мы с майором из мезонина вышли вместе.

Серафима на площадке крепко сжала мою руку двумя почему-то холодными как лед ладонями и прошептала:

— Знаешь, ты все-таки больше не ходи, не надо...

По лесенке мы с майором спускались молча. На улице тоже не сразу наладили разговор. Разумеется, первым заговорил Сергей.

— Слушай, гляжу я на тебя и не пойму, почему ты не бросишь всю эту волынку. Она же старше тебя на десять лет. Да и не в годах дело. Ты еще мальчишка, а она — матерая волчица.

Меня немного покоробил майоров тон, но я слушал.

— Найди себе ровню, молодую девчонку, и балуйся с ней в свое удовольствие. Правда, опытность тоже много значит. Пройти такую школу!.. Я понимаю...

— А я не понимаю, о чем вы говорите. У нас с Сера-

фимой чисто дружеские, совсем незапятнанные отношения.

Я и сам чувствовал, что нашел глупое, нелепое слово. Майор же просто расхохотался.

— Незапятнанные! Уморил!.. Ты хочешь сказать, что всю зиму ходил сюда каждый вечер по чистой дружбе?

— Да. А для чего же я должен был ходить?

Сергей рассмеялся пуще.

— Ты, может, скажешь, она тебя и целоваться не научила?

— Да. Мы ни разу не целовались,— твердо ответил я.

Майор перестал смеяться и сделался серьезным.

— Да ты знаешь ли, куда, к кому ты ходил всю зиму?

— К Серафиме, и вы это отлично знаете.

— Знаю. Я-то знаю, что я к своей Клавдии хожу. Да я ведь отдаю себе отчет, к кому я хожу и, главное, зачем я хожу.

— Не понимаю...

— Да ведь они же обе... Высшей марки, понял? Высшей пробы! Нет, не те, которые околачиваются в парке Пушкина и готовы под любым кустом... Эти тоньше. Но, поверь мне, самой чистейшей, самой высокой пробы...

— Вы врете! Врете! — остановился я сам и остановил майора.— Вы нарочно мне врете. Но зачем?

— Ого!.. Еще пять минут — и готова дуэль. На чем будем драться: на пистолетах, на шпагах? Я, конечно, дурак и подлец. Не надо было мне тебя в холодный омут вниз головой. Но я ведь не знал, что у вас одни эти... голубенькие цветочки. Да и на Симку не похоже. Теперь слово сказано — не воротишь. А может, и к лучшему? А я ведь думал, что ты прямо из школы — в другую школу. Она это страсть любит — нетронутых.— Он посмотрел на меня изучающе: — А не врешь ли ты? Не прикидываешься ли?

— Зачем мне врать? Какая такая выгода?

— Очень уж чудно! Ну прямо-таки неправдоподобно. Как говорят, редчайший случай в медицине. Ну, бывай... Мне — по этой улице.— И он стушевался в густом апрельском тумане.

Вот, собственно, и вся история. Пустячок. Незначительный эпизод из ранней юности. Давно пора бы забыть. Я и забыл. Только вот всякий раз, как приезжаю в этот город и остаюсь в нем хотя бы на одни сутки, выплывают из глубины памяти, невесть откуда и когда запав-

шие в нее строчки чужого стихотворения. Хожу и твержу. Отвлечешься, забудешься, разговоришься с друзьями — и вдруг снова с какой-то болью и сладостью, мучительно про себя пропоешь:

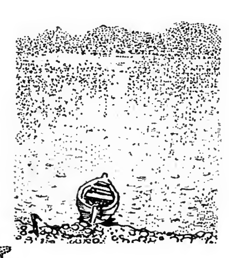
Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм...

Иногда я задумываюсь: прав ли был Сергей? Или, может быть, за что-нибудь он был раздражен на свою Клаву? Или, может быть... (впрочем, это совсем невероятное предположение), но откуда-то берется же несуразная мысль: может быть, майора нарочно научила Серафима?

Не знаю. Ничего не знаю! Помню, что вскорости началась война и медсестра Серафима Доброхотова, по дошедшим до меня слухам, уехала в действующую армию.



И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ...



Мы путешествовали тогда по Киргизии. Мы — это я, начинающий журналист, мой напарник, уж не начинающий, а опытный журналист, фотокорреспондент Романыч и шофер Володя. Четвертым можно было бы назвать наш «газик», к которому мы привыкли, как к живому существу, пока карабкались вместе с ним по невероятным для неискушенного человеческого воображения горным дорогам.

Теперь мы ехали из Пржевальска во Фрунзе вдоль северного берега Иссык-Куля. Мы выехали из города довольно рано, так что могли бы в этот день доехать до цели, но перед нами на каждом шагу открывались такие красоты, Иссык-Куль то и дело показывал нам такие образцы сочетания глубокой морской синевы и ослепительной белизны гор, что Романыч беспрестанно просил остановиться, выскакивал из машины, чтобы запечатлеть. А тут еще понадобится ему, чтобы вот то серебряное

облачко приблизилось вон к той сиреневой горной вершине. Значит, сидим и ждем, когда облачко приблизится. Не удивительно поэтому, что день начал клониться к вечеру, а мы, спохватившись, увидели, что проехали очень мало.

— Пока светло, надо подумать о ночлеге,— скорее распорядился, чем внес предложение Володя.— Скоро будет детский санаторий. Я думаю, там найдут для нас пустую комнату.

Через полчаса мы въехали в ярко разукрашенные ворота санатория.

Директриса, молодая, симпатичная женщина, показала нам комнату, велела в семь часов приходить на ужин, а пока что разрешила побродить по аллеям и дорожкам санатория. Мы побродили немного, читая разные детские лозунги, написанные на фанерных щитах, а потом уселись на решетчатый зеленый диван, чтобы на нем уже и скоротать время, оставшееся до ужина.

Мимо нас сновали пионеры — мальчики и девочки, так примерно пятого-шестого класса. Иногда проходили по дорожке воспитательницы — молодые загорелые женщины. Проходя мимо нас, они почему-то смущенно отводили глаза и густо краснели.

— Почему они смущаются? — вслух подумал я.

— А как им не смущаться! — тоже вслух начал размышлять Романыч.— Их здесь, молодых девушек, наверно, двадцать или тридцать. Живут в санатории: солнце, воздух и вода. Причем какое солнце, какой воздух и какая вода! Опять же — кумыс. А вокруг ведь одни детишки. Если бы были порядочные отдыхающие, конечно, те отучили бы их смущаться. А ты как думаешь, Володя?

Володя любил отвечать категорически.

— А я думаю — это все ерунда,— сказал он.— Просто парней давно не видели, вот и краснеют.

В это время на аллее появилась девушка, не заметить которую, вернее, не выделить которую из всех остальных было бы невозможно. Ее белые (еще, наверно, и выгорели на высокогорном солнце) волосы были заплетены в одну косу, толщиной, право же, не меньше ее собственной загорелой руки в том месте, где кончается коротенький ситцевый рукавчик. Доходила коса как раз до подола. Она, должно быть, была тяжелая, эта коса, оттягивала

голову немного назад, отчего девушка держалась необыкновенно прямо и выглядела бы даже горделивой, если бы не милое застенчивое лицо.

— Девушка, у вас есть библиотека? — спросил я, когда она поравнялась с нами.

Спросил, конечно, не ради книг, а ради того, чтобы хозяйка невиданной доселе косы хоть на полминуты задержалась. Ну просто нельзя было так ничего и не спросить у этой девушки!

— Да, есть. Я как раз библиотекарь. Правда, теперь уж немного поздно. Но если вы очень хотите...

— Не то чтобы очень... Но у вас здесь так скучно! Танцев ведь не бывает?

— Ой, что вы, какие танцы!.. Дети...

— Чем же прикажете заниматься?

— Не знаю. Я, например, по вечерам катаюсь на лодке. Если хотите... И если не боитесь, конечно... Вон причал, видите? Приходите к нему, когда начнет темнеть.

Девушка скрылась за поворотом аллеи, а мы все еще смотрели ей вслед и не могли опомниться.

— Вот это да!..— только и выговорили мы.

Тут вскоре подоспело время ужина, с которым мы расправились за двадцать минут. Снова погуляли по дорожкам санатория. Снова уселись на диван.

— Ну что же ты? — удивился Романыч.— Смеркается. Неужели не хочешь воспользоваться приглашением?

— А ты думаешь, это была не шутка? Ты же знаешь, вечером здесь темно, как в бутылке с чернилами. Неужели ты думаешь, что девчонка действительно катается по Иссык-Кулю в такую темень? Наверно, она пошутила, чтобы отвязаться от нас.

— Может быть, и пошутила. Но если она придет, а ты нет, то получится, что ты испугался. Лучше уж прийти.

— Ты думаешь? Ну ладно, пойду возьму куртку. На воде ночью холодно.

В синих высокогорных сумерках я сидел один у причала. Темная прохладная синева расстелилась по дну долины и поднималась теперь все выше и выше, как будто сам Иссык-Куль, тоже прохладный и синий, пошел подниматься как на дрожжах, заполняя собой огромную каменную чашу. Только края чаши — зубчатые гребни

гор — горели, вздымаясь над синевой, светились где розовыми, где красными, где лиловыми снегами. Последние лучи солнца, уже недоступные нам, микроскопическим существам, ползающим по дну долины, царственно покоились на поднебесных снегах.

Непривычное волнение охватило меня. Теперь мне хотелось, чтобы девушка обязательно пришла, чтобы все не оказалось просто шуткой.

Между тем горящие снега начали покрываться сизым пеплом, холодеть, стынуть, гаснуть. И вместе с тем как они гасли, все темнее и темнее становилось здесь у нас, на грешной земле.

— Вы уже здесь? — весело и непринужденно спросила девушка.— А я думала, испугаетесь. Помогите мне открыть замок, сейчас я принесу весла.

Цепи лязгнули в тишине.

— Грести умеете? Тогда садитесь на весла, а я оттолкнусь. Поехали!

Когда мы уже оттолкнулись, на берегу появился Романыч.

— Садись с нами,— предложил я и начал выгребать одним веслом, чтобы повернуть лодку.

— Нет, нет, я хотел что-то тебе сказать, но теперь ладно. Счастливого пути!

Ничего себе путь! Высокогорная ночь опустилась мгновенно, как будто захлопнула нас крышкой в глухом чугунном котле. Ни близких берегов, ни далеких гор, ни даже воды вокруг лодки — ничего не было видно, одна чернота, в которой невозможно ориентироваться. А я-то знаю, что в темноте, пешком ли, на лодке ли, обязательно будешь ходить кругами, пока окончательно не закружишься. Между тем, судя по времени и по тому, как я греб, мы успели отъехать порядочно.

Я подумал о том, что не знаю, где берег, и что, если бы сейчас остался один, совершенно не знал бы, куда плыть, чтобы причалить к санаторию. Дело, видимо, было еще в том, что мы выехали из бухты и мыс загородил от нас то место, где в темноте спал теперь санаторий, а то какой-нибудь огонек, наверно, светился бы там.

Вдруг и она, эта взбалмошная девчонка, не ориентируется в темноте? Тогда придется ждать рассвета. Какое-нибудь течение унесет на середину озера. Да еще расска-

зывают, что временами налетает внезапный береговой ветер, который уносит и разбивает большие рыболовные суда, а не то что нашу деревянную лодчонку, в которой и повернуться-то нельзя, чтобы не опрокинуться.

Я бросил весла и еще раз огляделся. Нет, нигде ни огонька, ни намека на берег! Одинаковая холодная чернота.

— Что, все-таки страшно? — тихо рассмеялась спутница.— А я люблю. Люблю, чтобы совершенно одна. Чтобы страшно. Чтобы опасно. Прошу вас, гребите еще, гребите подальше от берега, туда, где ходят большие волны и откуда нам, может быть, не удастся вернуться.

Видя, что я не берусь за весла, Маша (а именно так звали девушку) категорически потребовала:

— Гребите, или я сейчас же переверну лодку.— При этом она действительно так начала раскачивать нашу ореховую скорлупу, что борта и справа и слева почерпнули понемногу воды.

Но все же вместо того, чтобы подчиниться ее нелепому требованию и грести, я протянул вперед руку и наткнулся как раз на руку Маши. Рука была теплая и добрая. Я потянул ее на себя, и Маша покорно пересела на мою скамейку. Я тихо обнял девушку за плечи, накинул на нее половину своей куртки. А потом я взял ту самую руку, которая первой попалась мне в темноте, и поднес к губам. Тут мне показалось, что рука от моих губ, как бы зовя их за собой, потянулась к Машиному лицу. Скорее всего, просто Маша хотела убрать руку. Но я это понял именно как зов, остановиться мне было уже трудно. Не успела девушка опомниться, как я поймал ее испуганные дрожащие губы.

Маша ткнулась мне в плечо и расплакалась.

Переход от безрассудного чудачества к этим слезам был так неожидан, что я не знал, что и сказать. Вместо утешения я стал гладить ее волосы, мокрую от слез щеку, ее плечо.

— Ну зачем? Ну зачем? — всхлипывала Маша.— И вы тоже. Неужели это обязательно? Неужели этим всегда нужно платить за что-нибудь необыкновенное, за красивое?.. Неужели и вы, как эти мои подруги или как наша директриса?

— Чем же я похож на директрису, помилуйте?

— Все тем же самым. Они думают, что я каждый ве-

чер беру лодку и езжу к рыбакам. Они не могут представить, чтобы, в конце концов, все не сводилось к этому. Что я ночью, одна, просто так плаваю по Иссык-Кулю! Сначала эти косые насмешливые взгляды, эти намеки, а потом уж стали упрекать в открытую. А что я могла, как я могла их разубедить!

Девушка надолго замолчала, продолжая всхлипывать.

— Я думала, что бывает же что-нибудь, чтобы без задней мысли, без обязательного этого. Ну, просто море, или просто звезды, или просто ночь... Ну, прошу вас, не надо, ничего не надо. Мне тепло, хорошо рядом с вами. Давайте будем молчать и плыть.

Мы молчали и плыли. То есть неизвестно, плыли мы, подгоняемые ветерком и волной, или просто покачивались на месте. Иногда Маша поднимала с моего плеча свое казавшееся счастливым лицо и крепко закрывала свои светло-серые, а в темноте черные глаза.

— Конечно, там, на берегу, никто не думает, что мы рядышком сидим в лодке и можем просидеть так всю ночь. Знаете, что они скажут завтра: «Ну как, Машенька, вчерашний улов?» Страшно противно. Ну, а какой у меня улов?! Сидим — тепло. Бьется ваше сердце... Но если все равно все будут думать, что я с вами целовалась, лучше уж и правда целоваться, не так ли?.. Ну вот... Я думала, что вы мне докажете, что это не так, а вы молчите... Вы знаете, в конце концов, со злости и чтобы не было по крайней мере пустых разговоров, я однажды ночью причалила к рыбачьему шалашу...

После этих слов мы оба молчали очень долго. Наконец Маша продолжала:

— Там никого не оказалось. Рыбаки в эту ночь ушли в море. Я сидела и жгла костер. Вам не понять, как иногда хочется сделать назло. Я ведь не просила их думать обо мне плохо. Я ведь действительно просто каталась по Иссык-Кулю, потихоньку пела, вспоминала стихи. И с вами я поехала назло. Но втайне я хотела проверить: неужели ничего не может быть без этого? Чтобы просто море, или просто звезды, или просто ночь?.. Но вот и вы захотели меня поцеловать.

Теперь здесь получается, что мы беспрестанно разговаривали. На самом же деле между каждой фразой шло время, длилось молчание, проходила ночь. Так, напри-

мер, я не знаю, сколько времени мы молчали перед тем, как Маша негромко запела:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

Пела Маша очень хорошо. То есть она пела вполне безграмотно с точки зрения какого-нибудь там вокального искусства, но как-то очень больно и очень сладко. А вместе с тем чисто и светло.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Случилось так, что как раз под Машину песню начала проясняться непроглядная чернота неба. И прежде всего из безразличной и безграничной темноты проступили вдруг, смутно почудились, забрезжили зеленоватые пирамиды снежных гор. Через какие-нибудь четверть часа они уже полыхали то зеленым, то розовым огнем, хотя подножия, основания гор еще не было видно. Розовые и зеленые шатры висели во вселенной, беспристрастные, невозмутимые, не боящиеся того, что их может запачкать или опорочить дурной ли взгляд, грязная ли мысль, нелепые ли подозрения. Они были выше всего на свете и властно манили человеческий дух к себе, в свою абсолютную, торжественную чистоту...

По дорожкам санатория нам пришлось идти, когда уже рассвело.

— Ну вот, чего, чего мы боимся? — чуть не плача говорила Маша.— Что мы сделали плохого? Ровно ничего. Отчего же нам было бы стыдно и неловко теперь, если бы вдруг попались люди и увидели нас вместе в этот час? Почему сразу же им пришла бы в голову не самая хорошая мысль: «Вот люди вместе слушали море, вместе встречали рассвет, начало нового дня, великое солнце...», а самая плохая: «Ишь, до которой поры проваландались! Ну как улов, дорогая Машенька?»

Попрощавшись с Машей, я тотчас разбудил друзей. Через час-другой мы были далеко от гостеприимного

санатория. Меня клонило ко сну. Конечно, Володя и Романыч избрали это для своих острот и шуток.

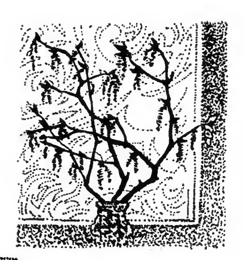
— Кстати, Романыч, что ты хотел мне сказать вчера, когда мы уезжали на лодке?

— Я перед этим разговаривал с директрисой. Она мне описала эту Машу. Я хотел тебе сказать, чтобы ты не тратил время на чтение стихов.

— Ну вот, стихов-то я ей как раз не читал,— ответил я. А километров через пять добавил: — И это единственное, в чем я могу себя упрекнуть и о чем жалею.



НА ЛЫЖНЕ



Я воткнул лыжи в сугроб около тропинки, чтобы они, стоявшие до этого в теплой комнате, немного остыли. Такая уж фантазия пришла мне в голову. Мне показалось, что к теплым лыжам «прикипит» снежок, может быть, даже успеет растаять и намочит их, и тогда они будут хуже скользить, а ведь путь не близок.

Строго говоря, это никакой не путь, а замкнутый круг, кольцо, лыжня, проделанная отдыхающими санатория. Хорошим лыжным шагом можно пробежать часа за два.

В то время когда я ерзал ботинком, стараясь попасть дырочками в подошве на шпеньки крепления, мимо проходила медсестра Наташа, совсем юная, темнобровая, большеглазая девушка. Ее накрахмаленный халатик поскрипывал на морозе. Он был такой же чистый, так же облит солнцем и так же отдавал в складках и затененных местах, как и мартовский снег, лежащий по обе стороны

от тропинки. Глядя на него, хотелось зажмуриться, как и при взгляде на эти лебяжьи девственные снега.

Впрочем, я не знаю, возникло ли бы желание зажмуриться, если бы халатик просто висел на ветке дерева — например, вон той ольхи или вон этого орехового куста.

Итак, когда я запер крепление и распрямился, у носков своих лыж я увидел Наташу. Она не стала обходить мои лыжи — узка и глубока была тропинка,— но ждала, когда я сверну в сугроб. Ее фигурка и весь ее вид выражали капризную повелительность и сдерживаемое нетерпение, а в глазах было то самое, отчего мне и хотелось зажмуриться каждый раз, когда я попадал, ну, что ли, в их свет.

Я случайно оказался в этом санатории, где отдыхали все больше инженеры да ученые, и, видимо, необыкновенность моей профессии (композитор) была удивительна для Наташи. Я был тут залетной птицей. Может быть, даже легкое романтическое облачко окутывало меня в то время, когда Наташа останавливала на мне свои солнца, от которых, как я уже не однажды замечал, хотелось зажмуриться или, по крайней мере, опустить глаза.

Наташа улыбнулась и спросила меня:

— И вы на кросс?

— Не знаю. Культурник вчера очень уговаривал принять участие. Вот уж воистину дела себе ищут!

— Разве плохо — кросс? — удивилась девушка.

Лыжня начиналась тут же, возле тропинки. Я сильно оттолкнулся, низко присел, чтобы проскочить под еловые ветви, скатился в овраг (ветер скорости, пробив куртку и свитер, на мгновение разлился по теплой груди), вынырнул из оврага на противоположную сторону и очутился прямо на старте.

— Давайте, давайте скорее! — уж начал командовать мною культурник.

Я подумал об условности бытия. Вчера этот Федя, умеющий играть на аккордеоне и громко, для публики, рассказывать анекдоты, уговорил меня. Я кивнул головой. Если бы я не кивнул, значит, я поехал бы сейчас, куда мне нужно и как нужно, а теперь вот надо подчиняться команде.

— Давайте скорее! Видите, уж все собрались.

Никакого старта не было. Палкой прочертили снег, и теперь мы выравнивали носки лыж по черте, стараясь

не переступить через нее хотя бы на четверть. Феде удалось уговорить пятнадцать человек. Тут были и вовсе пожилые мужчины, и один доктор наук с длинной бородкой, и долговязый, в очках, сынок профессора, запустивший растительность на лице, чтобы быть похожим на Хемингуэя. Никто, видимо, не воспринимал этого кросса всерьез, так же как и я.

Все рванулись со старта. У кого-то сзади заплелись лыжи. Послышался смех, визг. А я, первым попав на лыжню, не заметил, как пробежал поле и теперь бежал лесом.

Лет пятнадцать назад, в армии, мне много приходилось ходить на лыжах походами и участвовать в кроссах. Бывало, жмешь изо всех сил. Из-под шапки струями льется пот, попадает в глаза. Видишь только лыжню да носки своих лыж. Нет бы оглянуться по сторонам, восхититься торжественной сказкой зимнего леса, полюбоваться деревьями, сделанными из инея,— куда там! — только лыжня да носки лыж.

И в голове тоже не то чтобы связные мысли, а одно мельтешение. Потом сознание зацеплялось за какую-нибудь воображаемую детальку — например, за гороховый суп со свининой, который я любил до армии, и уж не отпускало этого горохового супа до самого конца.

Ни армейская дисциплина, ни железная необходимость не руководили теперь мною. Но выработалась нелепая привычка: если встал на лыжи, то жми изо всех сил, пока не пробежишь замкнутого кольца. Теперь кросс, теперь понятно. Но и в предыдущие дни, катаясь на лыжах, я старался бежать изо всех сил, как будто меня подгоняют, как будто сама цель лыжной прогулки состоит не в том, чтобы прогуляться по лесу, но промчаться сквозь него, ничего не замечая, уткнувшись в носки собственных лыж и обливаясь пóтом.

А вот догоняет меня еще один фанатик. Либо он еще больший фанатик, чем я, либо лучше владеет лыжами. Иначе почему же он меня догоняет? В другое время, лет пятнадцать или хотя бы десять назад, я, услышав за спиной напряженное нарастание погони, прибавил бы шагу и позволил бы обогнать себя только на самом быстром ходу. Теперь что-то новое и непонятное шевельнулось во мне. А я прислушивался к этому новому и не очень удивлялся. Может, и правда, возраст — не просто

слова, или, может, что-нибудь неожиданно перевернулось в моем сознании?

Прежде всего я остановился, а потом сделал шаг в сторону. Долговязый, очкастый, с бородкой под Хемингуэя сынок профессора шел шагах в тридцати. Я подождал, пока он пройдет мимо, и тогда только снова встал на лыжню. Я поймал себя на том, что мне не хочется его догонять, хотя некоторое время без усилий я шел за ним и он от меня ни капли не отрывался. Если это был предел парня, то я смял бы его очень быстро. Но вот мне не хотелось сминать. Пижон, стиляга, интеллигентный хлюпик обошел меня и идет впереди. Красные лыжи перекликаются с красным свитером, на рыжей шевелюре тает снег. Длинные руки бросают и бросают вперед палки. Во всей его долговязой фигуре чувствуется превосходство, торжество победы, насмешка. А я (непостижимо!) и не пытаюсь наступить ему на пятки, властно, неумолимо потребовать лыжню.

Постепенно долговязый стал удаляться от меня, и это значило, что я сбавляю скорость. «Черт с тобой, уходи, мчись, задыхайся, выбивайся из последних сил! Я не вижу, зачем это нужно делать. Тебя уже не видно, ты уже скрылся за деревьями? Тем лучше! Я пойду один, как хочу и даже куда я хочу. Возьму и сверну с вашей нелепой круговой лыжни. Разве мало в лесу простору? Буду идти и смотреть на лес, на белый снег и синее небо. Хватит! Пятнадцать лет я бегал на лыжах, вкладывая все силы, не щадя сердца. В деснах появлялась боль, обильно набегала слюна, в глубине легких было так, как если бы во все легочные пузырьки под давлением нагнетали воздух, и надо было ждать, когда наступит второе дыхание. И надо было не думать ни о чем, смотреть и смотреть себе под ноги, на лыжи, вонзающиеся поочередно в белое пространство, которому все нет и нет конца».

Тяжелое дыхание послышалось сзади, и я снова сделал шаг в сторону. Теперь меня обгонял не юноша с запущенной бородой, а худой шестидесятилетний человек. Раздевшись до пояса и, видимо, побросав одежду прямо в лесу, энтузиаст рвался вперед.

— Очкастый с тарзаньей прической далеко? — крикнул он мне на ходу.

— Не очень, можно еще догнать.

— Так что же вы, черт возьми, не догоняете? Что вы

раскисли? А ну-ка за мной, за мной! Хотите кусочек сахару под язык? Хорошо помогает.

— Я не раскис, просто я не хочу так мчаться. Если вы хотите, валяйте!

Старик не обернулся на мои слова. Может быть, даже он их не расслышал.

Если юноша бежал легко, как бы любуясь самим собой, то этот, войдя в ритм, работал, как машина. С точностью рычагов руки поочередно выбрасывались вперед, и палки через поразительно ровные промежутки времени тяжело, устойчиво ударялись в снег. И ноги тоже двигались, как рычаги машины. И весь он был подчинен ритму движения, и чувствовалось, что ничего нет в мире для этого старика, кроме движения по лыжне, кроме желания догнать очкастого, кроме желания прийти первым.

Тогда дядя Федя, умеющий играть на аккордеоне и громко рассказывать анекдоты, пожмет ему руку, а вечером в столовой объявит, что первым пришел конструктор Салкин. Да, я вспомнил теперь, что старик этот был конструктором Салкиным из второй палаты.

— Ха-ха!..— расхохотался я вслух.

И мне показалось на мгновение, не схожу ли я с ума. Вам хочется быстрее проскочить этот лес? Зачем? Ведь, может, в нем-то и есть вся прелесть и весь смысл. Эх вы, бедняги!..

Чтобы больше никто уж не мог меня обгонять, я резко свернул вправо и тотчас же наехал на лыжню, проложенную отдыхающими другого, соседнего санатория.

Я остановился, снял шапку и вытер пот со лба и лица. Первое, что я увидел, осмотревшись, были снегири, прыгающие по веткам орешника. Птички шелушили что-то на кусте — не то сережки, не то почки, шелушинки сорились на снег, снегири тоже спрыгивали на снег и, перепрыгивая и перепархивая с места на место, собирали корм.

Как ни ярок был день, как ни золотило солнце те места на снегу ли, на деревьях ли, куда оно попадало прямыми лучами, как ни густа была синева там, куда не достигало солнце, как ни розовели вверху безлистные купы берез, как ни ослепительно сверкали иногда крупные кристаллики снега, когда глаза мои попадали как раз на зайчики,

отбрасываемые этими кристалликами, все же ничего не было ярче красных грудочек снегирей.

Снегири! Как же я не замечал их раньше! И вообще, когда я видел снегирей последний раз? Давным-давно, в детстве, когда мы с братом мастерили зимой кормушки для птичек и к ним прилетали ярко-желтые овсяночки и красногрудые снегири, и надо было следить, чтобы не налетела сорока и не сожрала, а более того, не разбрыляла ногами весь корм.

Воспоминания окружили меня, и, предавшись воспоминаниям, я медленно поехал по лесу.

Вскоре лыжню пересек рыхлый глубокий след лося. И я некоторое время шел, раздумывая о том, какое лось редкое и красивое животное и что, с одной стороны, хорошо, что их стало много попадаться в Подмосковье, но что, с другой стороны, животные эти абсолютно бесполезные и даже вредные, ибо объедают верхние мутовки молодых деревьев, губят посадки, а лес драгоценней, чем лось, живущий в лесу, и поэтому вроде бы и хорошо, что развели лосей, но вроде бы и нет в этом ничего хорошего. И вообще в природе существует железная цепочка хорошего, целесообразности, так что, разоймя одно звено, можно получить отдачу где-нибудь в другом месте цепочки десятью звеньями ниже.

Наверно, далеко бы увели меня мысли в этом направлении, но тут я вышел на поляну, и что-то отвлекло мое внимание, что-то удивило меня, прежде чем я мог понять, что же меня отвлекло и удивило. Ну конечно! Взгляд остановился на кустах ольхи, растущих посреди поляны. Не удивиться им было нельзя: среди всего синего (особенно синим было небо, а потом уж и снег, и стволы берез) ольшаник был глубокого шоколадного цвета. Он так и бросался в глаза, и удивительно, что я не замечал раньше, какой шоколадный бывает ольшаник в лесу, освещенный мартовским солнцем!

Тишина запела во мне. От тишины отделился стук. Я закрыл глаза, и музыка зазвучала сильнее. Это было не бог весть что, но все же это была свежая, сильная тема, которая пришла ко мне в лесу. Я мог бы ее запомнить или записать на клочке бумаги, но, дурачась, я веткой стал рисовать на снегу нотные линейки и записывать фразу, только что родившуюся во мне.

Видимо, я увлекся, потому что как же я не услышал

ни скрипа лыж, ни дыхания! Чистый женский голос без фальши спел записанное мной на снегу, и это было удивительнее шоколадной ольхи, удивительнее синего неба, удивительнее воздуха, наполняющего лес. Это было удивительнее всего на свете.

Женщина с меня ростом, то есть роста для женщины необыкновенного, в тонком черном свитере с желтой полосой поперек груди, стояла, опираясь на палки, и смотрела на мою запись. Потом она посмотрела на меня.

Сначала я почему-то отметил лишь ее рост и желтую полосу на свитере. Наверно, это было еще тогда, когда она не подняла на меня своих глаз. А потом она посмотрела на меня, и я больше не видел желтой полосы и не думал о том, что такой рост должны иметь одни только королевы, то есть они должны были его иметь, когда были в цене и участвовали в романах и драмах.

— Что вы здесь делаете? — просто спросила женщина, как будто мы век были знакомы и вот случайно съехались на прогулке.

Мы поехали вместе — она впереди, я сзади, и это не мешало нам время от времени перебрасываться пустяковыми фразами. Но мелодия, случайно прилетевшая ко мне там, на поляне, может быть, звучала уж одновременно в нас обоих.

— Кто это напетлял такими маленькими следочками? — спросила женщина.

— Здесь ночью охотился горностай. Смотрите-ка, что здесь, оказывается, случилось.

В снегу виднелись две ямки, как если бы кто-нибудь дважды глубоко ударил лыжной палкой с широким концом.

— Здесь под снегом сидели тетерева. Горностай учуял их и нырнул к ним под снег. Вот его норка. Тогда тетерева взмыли вверх, подняв снежные фонтаны. Только вот почему один взмыл свечой, а другой прочертил по снегу глубокую борозду? Уж не унес ли он маленького хищника на себе? Так ведь иногда бывает.

— Фантазия! — рассмеялась женщина, и мартовская синева успела полыхнуть на ее зубах.— Фантазия из охотничьих рассказов.

— Подойдите и загляните в ямку.

— Ой, и правда! (В ямке на дне лежали продолго-

ватые ярко-желтые орехи тетеревиного помета.) С вами интересно ехать по лесу.

— Со мной интересно не только в лесу.— Я нарочно сказал так, чтобы услышать дежурное: «Какая самонадеянность!», но женщина сделалась серьезной.

Некоторое время мы шли молча. Начался заметный спуск сначала по чистому полю, а потом по густому кустарнику, так что нам пришлось лавировать, местами спускаться лесенкой, ибо не было простора пустить лыжи прямо с горы.

Наконец меж кустами открылась прогалина. Спутница первая пустила лыжи по ней. В самом конце спуска (снег был там рыхлый и затормозил лыжи) она зарылась в сугроб. Через несколько секунд я барахтался рядом. Снег набивался в уши, за воротник, в волосы. Он оказался совсем не холодным. Он радостно освежал. Он опьянил нас, и мы вели себя, как маленькие ребятишки. Я стал поднимать ее за руки, но, поднявшись, она перевесилась на мою сторону, и мы опять оказались в сугробе. Мы засыпали друг друга снегом, помогали друг другу вставать, снова падали, хохотали и смотрели друг другу в глаза.

Потом она села. Я положил голову ей на колени и затих. И она тоже затихла. Сначала я глядел в синее небо, а потом закрыл глаза. Я не знаю, долго ли было так — может быть, пять минут, может быть, полчаса, может быть, полжизни.

Сделалось так тихо, что журчание ручья подо льдом наполнило весь мир. Значит, рядом бежал ручей, и вот журчание его стало слышимо из-подо льда. В то время как я весь отдался пению воды, женщина наклонилась и поцеловала меня.

...Оказывается, в ручье все же была полынья — небольшая проталинка на быстринке, в которой среди голубого снега переливалась светлая струя воды. Камушки и песок просвечивали сквозь воду.

Мы долго стояли и глядели, как вода, выбегая из-под темного полога льда, встречалась с солнцем и как ее снова утягивало в темноту.

— Эта проталинка — мой сегодняшний день,— сказала женщина.— Солнце, синее небо и песни. Я пойду, а вы идите обратно. Ничего больше не нужно. Было все

самое хорошее, а дальше будет, как всегда и у всех. Не хочу. Прощайте!

Я сломал большую ольховую ветвь с маленькими сережками, плотными, скрючившимися так и сяк.

— Поставьте в воду у себя в комнате. Через несколько дней ольха зацветет. Видите эти сережки? Они скрючены и смотрят кто куда. Потом они сделаются золотыми, большими и все тяжело повиснут среди коричневых ветвей, стремящихся вверх и в стороны. Будут параллельными штрихами свисать вниз тяжелые золотые сережки. Это будет похоже на музыку. Только уборщица совсем заругает вас: по всей комнате будет летать золотая пыльца цветения.

Поднявшись на гору, издалека женщина помахала мне, и я подумал, что никогда больше не увижу ее и даже никогда не узнаю имени.

Когда я вышел на свою лыжню (она оказалась совсем близко), то никто уж не перегонял меня. Только сейчас мне пришло в голову, что там, где Федя, может быть, хватились меня, ждут или даже ищут. Как же так, ушел человек со старта и до сих пор нету!

Издали я увидел, что на горке, откуда мы рванулись, где должен быть финиш, все еще толпится народ. Заметив меня, на горке замахали руками и лыжными палками. Кровь стыда и позора бросилась мне в лицо. Федя не выдержал и побежал навстречу:

— Где же вы? Разве так можно?! Все же коллектив... Перепугались. Трое поехали вас искать.

— Я сбился с лыжни и немного поплутал по лесу,— соврал я внятно и твердо.

— Мы так и подумали. Но очень уж трудно сбиться!

Около входа в корпус мне опять встретилась медсестра Наташа. В ее глазах тревога и даже испуг не сразу успели смениться радостью. Я спросил у нее, чтобы только что-нибудь спросить:

— Ну что, не слышали, догнал ли, в конце концов, Салкин этого рыжего в очках или так ему и не удалось этого сделать?

— У Салкина плохо с сердцем. Он дышит из кислородной подушки, разве вы об этом не знаете?

— Нет, не знаю. Когда он обгонял меня на дистанции, нельзя было и подумать. Старик шел так красиво!

— Вас обогнал Салкин? — недоуменно спросила Наташа.

— Ну да. Я и не старался убегать от него. Зачем? И ему не нужно было бежать через силу. Видите, что из этого вышло.

Глаза Наташи, всегда сиявшие мне навстречу, вдруг превратились в ледышки, как будто они даже сделались меньше. И голосок ее тоже оледенел:

— Это почему же вы не старались?

— Видишь ли, девочка, я пришел к выводу, что когда по лесу на лыжах идешь тихо, то больше видишь, думаешь и чувствуешь, нежели когда летишь через него сломя голову.

— А самолюбие, а борьба, а цель? — вспыхнула девушка, и глаза у нее опять сделались большими.— Интересная у вас философия: «Мне здесь приятно, тепло и сыро» — не так ли?!

— Ну... из пустяка вы делаете слишком далеко идущие выводы.

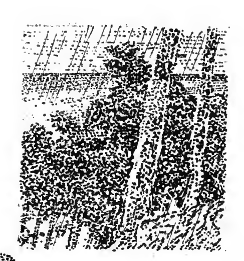
— Д-да-да! — крикнула девушка мне вслед, когда я, уже сняв лыжи, поднимался по ступенькам.— Да, вы эгоист! Это философия ужá, горьковского ужá, понимаете! А у соколов рвутся сердца, и они не жалеют об этом.

Оглянувшись на Наташу, я понял, что больше никогда не засветятся для меня ее глаза, ее милые добрые солнца, в которых было столько восторга и как бы надежды или ожидания.

Войдя в комнату, первым делом я бросился к столу, чтобы записать музыку, которую нашел на лесной поляне.



«НАША ДАМА»



В четвертый раз я приехал в эту большую абхазскую деревню на благословенном берегу благословенного Черного моря. Мне полюбилось бывать здесь в конце сентября, когда там, у нас в Москве, в подмосковных полях и лесах, становится сыро и мгласто, в небе — темные, быстро летящие облака, под ногами — размокшая глина.

Не то чтобы я вовсе не любил этого времени, напротив. Столько настроения бывает в дрогнувшей уже, безнадежно больной природе, что тихо начинает ныть и болеть душа, и сладка, и желанна эта боль, как если бы боль любви, и тогда холодное, серое ненастье вдруг становится дороже пусть красного, пусть жаркого, но все же какого-то бездумного, я бы сказал, пустоватого лета.

Но приходит момент, когда так насмотришься серого неба, так надышишься северным зябким ветром, так на-

сытишься беспощадной осенней болью, что надо уж либо что-то делать, например плакать, падать плашмя на сырую грудь земли и целовать ее в исступлении, либо бежать на время, пока не скует окрестности легким бодрящим морозцем.

Да и, кроме всего, просто так захочется вдруг после серого и черного увидеть голубое с золотом. Да еще и ослепительно белая чайка качнется вдруг в невероятной, неправдоподобной стихии золотого и синего.

Приедешь в эту абхазскую деревеньку, снимешь комнату, договоришься насчет питания. За два дня перезнакомишься с другими такими же москвичами, что живут с тобой в одном доме, а также и в соседних домах.

На пляже с утра до вечера вполне бездумная, вполне растительная жизнь. В Москве кто-то из этих людей — врач, кто-то — дирижер эстрадного оркестра, кто-то — администратор филармонии, кто-то — инженер по нефтеперегонной аппаратуре, а вон те двое — юристы. Ну и, разумеется, жены: врача, администратора, инженера, дирижера, юристов... Здесь все одинаковы, все ходят в пижамах, в цветных халатиках, а то и просто в трусах. Все занимаются одним, в общем-то, делом: жарятся на солнышке, время от времени купаются, играют в карты: в кинг, в преферанс, а то и просто в подкидного дурака. Некоторые запаслись карманными шахматами, некоторые читают книги. Но таких мало. Не потому, верно, их мало, что не любители или что в подкидного дурака интереснее, а потому, что на ярком солнце, на жаре много не начитаешь. Страница бьет в глаза слепящим солнечным зайчиком. Да и мозги, размягчившись, не готовы к восприятию чего-либо серьезного и духовного.

Тут свой быт, свои разговоры, свои сплетни. Так, помню, в позапрошлый год предметом всеобщих разговоров служила одна пара, а именно — директор областной филармонии и его жена. Сам он был нельзя сказать чтобы вовсе плюгавенький человек, хотя и с лысиной, и щеки подушечками, и росточком мог бы быть посолиднее. Но зато она... Это была женщина с жгучими черными волосами, жгучими черными глазами, с широким, как бы даже несколько свирепым, ярко-лиловым ртом. Ноздри ее всегда трепетали и вибрировали, а взгляд выражал одно и то же: «Знаю я вас, мужчин... Все вы ничтожества и хлюпики, неврастеники и слабаки».

Прошел слух, что она бьет своего мужа — директора филармонии. Это-то и служило пищей для разговоров.

Ожидания увенчались успехом. Действительно, однажды, когда муж сильно проштрафился, придя из шашлычной «под шафе», она при хозяйке дома и двух соседях заставила мужа встать на колени, спустить штаны, после чего побила палкой. Самое странное, что муж аккуратно исполнил все ее требования.

Большим развлечением служил также рыбак дядя Павел, живущий по соседству. Не имея детей, дядя Павел привечал всех бродячих собак (а им здесь не было числа); собаки жили у него и не чаяли в нем души. То есть я думаю, что, если бы кто-нибудь тронул дядю Павла, делая вид, что хочет ударить, наверное, был бы разорван дружной стаей. Анекдотом же послужил один случай, когда рыбак, по обыкновению, пробирался к дому на четвереньках, к тому же задом наперед, так что собаки не узнали своего благодетеля и, бросившись на него, начали было рвать.

— Вот это настоящая степень опьянения,— шутили москвичи,— когда собственные собаки не признают.

В этом году стоило мне в первый день посидеть во время обеда за общим столом, как сразу же я уловил, что имеется новый объект для шуток, острот и, что там скрывать, даже насмешек.

— Ну, где же наша дама?

— Что-то не видно нашей дамы.

— Вчера она опять загорала при лунном свете...

— Ха-ха! Это называется «лунные ванны».

— Интересно, если пойдет дождь, она все равно будет спать на пляже?

— Наверно, не пронюхали еще местные парни.

— Ну, это как раз ей не грозит.

Я не знал предыстории, почему все они так не любят эту еще неизвестную мне женщину, почему постоянно смеются над ней. Скорее всего и не было никакой предыстории: не полюбили, не приняли в коллектив — постепенно, словечко за словечком образовалась пропасть. Может быть и то, что отверженная сама не захотела общества: старалась отдельно обедать, отдельно завтракать и даже спала не так, как все,— не в доме, на кровати, а на раскладушке. Раскладушку ставила на пляже, возле самого прибоя, возле самого плеска и трепетания

морской воды, источающей смутное мерцание и тревожные, крепкие запахи.

Вскоре я увидел виновницу пересудов. К концу дня я пришел с моря с уловом. В то время как я потрошил и чистил ярких морских рыб, около меня остановилась женщина лет шестидесяти или даже шестидесяти пяти, худая, седая, смуглая. Она внимательно, неторопливо, я бы даже сказал, несколько бесцеремонно, как будто меня здесь нет, разглядывала рыбину за рыбиной, беря ее двумя пальцами (остальные оттопырены) и переворачивая с боку на бок. Больше всего ее поразила зеленуха — ярко-зеленая, как чернила для вечного пера, с ярко-красными полосами по бокам. Когда женщина взялась за скарпену, я предупредил: «Осторожнее, если вы уколетесь об эту рыбу, будет очень больно. Ее колючки выделяют яд».

Женщина не обратила на мои слова никакого внимания, повертела еще с боку на бок морского карася, потом распрямилась, громко хмыкнула и ушла.

Самое страшное на юге для таких, как мы, отдыхающих — обложные дожди. Все мы ютимся в летних, неустроенных, продувных комнатенках, да других и не нужно в хорошую погоду: весь день проходит на пляже, а в комнату приходишь только спать. И вдруг нужно целыми днями сидеть в чужом, собственно, неуюте. Кроме того, появляется огромное количество времени, которое просто некуда девать. Тут-то, дождавшись своего законного часа, и начинают господствовать картишки и анекдотишки. Соберутся в одну комнату человек десять, да так целый день из нее не выходят. А в карты режутся в две или три колоды. Только и слышно: «Пики... трефы. Пики — два... Пас... Вист... Мизер... А мы ее, голубушку, королем... А мы вашего короля по усам!..»

Тут же примешивается:

— У армянского радио спрашивают: «Что делать, если человеку хочется работать?» Армянское радио отвечает: «Полежите два часа — само пройдет».

— Ха-ха-ха!

В дождливые дни особенно заметными сделались отверженность и одинокость бедной женщины. Она снимала крохотную клетушку, этакую фанерную пристроечку, и теперь проводила там одна целые дни. Иногда я старался представить, что она там делает: читает или,

быть может, умирает от тоски и одиночества. А еще я представлял, как, наверно, надоели ей эти наши анекдоты и эти наши «пики-козыри», которые, конечно, долетают к ней через тонюсенькую перегородку. Самое ее целый день не было слышно.

На третьи сутки дождя хозяйка домика нам доложила:

— Ну, наша дама совсем, видно, спятила: взяла раскладушку, клеенку, зонт и отправилась на пляж.

— Разве дождь прошел?

— Какое прошел! Говорю: спятила! А уж выкобенивается: и это ей не так, и это не так...

— Что же ей не так?

— На кухне, видите ли, грязно, и полотенце, которым посуду вытираю, видите ли, ей грязно...

Мы все неловко замолчали, потому что полотенце было как раз заткнуто у хозяйки за пояс и оно было действительно...

— Тоже мне бела кость!

Ночевать в свою клетушку «наша дама» не пришла, хотя дождь всю ночь шумел, дробясь и ломаясь о звонкую толевую крышу. Не видно было ее и весь день.

Ближе к сумеркам я решил сходить на пляж и посмотреть, что же делает там «наша дама».

Дождь падал с высоких, неподвижно висящих над морем облаков. Был он прямой, теплый, и, сколько бы его ни лилось, весь он как в прорву утекал в мелкую прибрежную гальку.

Галька холодила ноги, не как при солнце, когда нельзя на нее ни сесть, ни лечь, настолько горяча. Зато морская вода рядом с прохладной галькой казалась только что не горячей.

На пляже почти никого не было. Два энтузиаста купались, фыркая и исторгая непонятные междометия, да еще стояла под густокронной сосной раскладушка «нашей дамы».

Я подошел поближе. Женщина лежала, укрывшись одеялом, а поверх него большой столовой клеенкой в голубую клеточку. В изголовье же, закрывая от дождя лицо и вообще все изголовье, распространялся большой черный зонт. Она лежала и спокойно читала книжку.

Черт возьми! А ведь, наверно, это не так уж плохо: лежать здесь, под сосной, около моря, слушая шум дождя

по гальке, по крупным зеленым иглам, по теплой морской воде! К тому же, если интересная книга...

Я подошел совсем близко к раскладушке, чтобы поглядеть, если удастся, что читает женщина. Иногда книга, одно название книги, одна строка, прочитанная из книги, могут сказать о человеке очень много. То есть открывается как бы узенькая щелочка, в которую можно заглянуть за высокий, непроницаемый забор чужой жизни. А там сразу видно, что за забором: мусорная свалка, пустырь, усыпанный щебнем, строящийся дом или, может быть, сад с фонтанами.

Книжку я разглядеть не успел, потому что женщина оторвалась от чтения, но зато (чего никак нельзя было ожидать!) молчальница вдруг заговорила со мной:

— Здравствуйте, голубчик... Хорошо, что вы пришли. Вы знаете, у меня к вам есть дело. Может быть, вы сумеете меня выручить. Вы не поверите, я четвертый день страшно мучаюсь. И что же? Положение мое вполне безвыходно!

— Может быть, простудились и нужны лекарства, так я сейчас. Аптека не так далеко.

— Ну что вы, голубчик, в аптеку я сходила бы сама. Моя просьба гораздо сложнее.— Тут женщина перешла на шепот: — Понимаете, я забыла слово... Ну да, что вы на меня так смотрите? Стала читать про себя стихотворение Пушкина — и вдруг... выпало из головы. Одно только слово. Оно не дает мне покоя четвертый день. Если я его не вспомню, я, кажется, сойду с ума. Давайте попробуемте с вами вместе. Итак, я начинаю:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит...—

тут женщина сделала нетерпеливое движение рукой, нетерпеливо пошевелила пальцами,— ...какой-то держа черепок... А вот какой? Я перебрала все возможные эпитеты, я перебрала десятки эпитетов... Какой?

— Праздный,— выпалил я, как на экзаменах.— Какой же еще, конечно, праздный!..

— Боже мой! — облегченно откинулась женщина на подушку. Даже руки ее повисли в облегченной, блаженной расслабленности.— Голубчик, милый, вы сняли с меня тяжелый груз! Вы сделали меня вполне счастливой. А как это прекрасно:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок...

Надо ли говорить, что слово «праздный» она произнесла с особенным удовольствием, как бы даже наслаждением.

Я отошел немного по берегу и сел на камень. Мне вдруг захотелось самому вспомнить это стихотворение до конца.

Совсем уж смеркалось. Из темноты йодистой, соленой теплотой в лицо мне дышало море. Дождь перемежился, а прибоя почти не было. Ласково, убаюкивающе журчала о гальку вода.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Та-та-та... вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева... та-та-та-та-та... вечно над урной сидит.

Теперь я почувствовал, что не смогу успокоиться и уйти домой, пока не вспомню и не поставлю на место выпавшие из памяти слова. Долго бормотал я эти слова «та-та-та», но проклятые слова не хотели появляться.

— Скажите мне третью и четвертую строки! — крикнул я, наконец, в темноту, зная, что, кроме нее, услышать меня некому.

Некоторое время было тихо. Потом из темноты прозвучало:

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печально сидит.

Да, как это прекрасно — вспомнить нужное слово и как это прекрасно вообще! Какая пластика, музыка! Какой восторг! Почти как это журчание вечного великого моря.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печально сидит.

Дома я разделся, лег, не зажигая света. Ветер шумел в деревьях. Снова начавшийся дождь зашелестел за окном и по крыше. Некоторое время я лежал, открыв глаза и все еще упиваясь так неожиданно нахлынувшей на

меня светлой и чистой красотой. Потом я стал засыпать. Не то во сне, не то наяву через две перегородки доносилось до меня:

— Трефы — два! Пас! Откроемся!..

— Спрашивают у армянского радио: «Может ли муж изменять своей жене?..»

— Ха-ха-ха!

— А наша дама опять не пришла ночевать.

Это было последнее, что я слышал.



ХАРАКТЕР



Стол в нашей деревенской избе стоит таким образом, что, когда обедаешь, смотришь прямо в окно. А так как я садился обедать всегда на свое место, то и видно мне было во время обеда одно и то же: часть церковной ограды — точнее, входная арка в нее, осененная старыми липами, и тропинка, выбегающая из ограды на зеленую мураву лужайки.

Окно было как бы рамой картины, неизменной только по своей композиции, а в остальном очень даже переменчивой, каждый раз новой. Во-первых, времена года: то летняя зелень лужайки и сухая тропинка, то на траву набрасывает желтых липовых листьев, то все запорошит снегом. Во-вторых, и погода создавала картину: то соберется лужа, и взбульки дождя запрыгают по ней, кирпичная ограда намокнет и потемнеет, то снова все высохнет и засветится. В-третьих, освещение: ведь солнце не стоит на месте и, значит, освещает картину то справа, то

слева. И накоиец, самое главное — детали картины: то поднимешь голову и увидишь в центре композиции медичку Люсю, бегущую на медпункт, то старушка бредет по тропинке, то кузиец в валенках, несмотря иа июньскую жару, пошел в магазин купить четвертинку водки, то цепочка белых гусей протянется по траве, то взлетит иа ограду и закричит, захлопав крыльями, троеперый петух.

Ничего ие могло бы удивить меня при взгляде в окно. Что угодио я мог бы ожидать, взглянув в него, только ие то, что я увидел однажды в середине июньского дня, и, может быть, стоит уточнить, дня моего рождения.

Дело в том, что по тропинке, слегка прихрамывая, шел Сашуия. Московский, ииститутский, общежитейский Сашуня иа фоне деревеиского пейзажа. Сашуня, вставлеииый в раму нашего окна, идущий так спокойно, как будто ои каждый день здесь прогуливается,— это было невероятно!

В иииституте и общежитии к Сашуне отиосились двояко: как-то так произошло, что почти все, даже самые лучшие друзья и самые близкие к нему люди, восприиимали Сашуню вроде бы не всерьез, а ироиически, с постояииой скидкой иа то, что это есть Сашуня и так его и надо восприиимать. Одиако иикто не смог бы сказать, что он за что-либо не любит Сашуню. И, помнится, поссориться с иим было иельзя. Даже накричав иа вас, а он это умел делать, даже раскритиковав вас в пух и прах иа собрании, а ои это умел делать в высшей степеии образцово, даже хлопиув дверью и уйдя с такой обидой, выражавшейся во всей его сухонькой прихрамывающей фигуре, что казалось, враги навек,— Сашуия умел потом все перевести на шутку, сам же первый хохотал и острил иад своим поведеиием.

Может быть, именно за то, что ие обижался на подчас обидные шутки, а если обижался, то как-то по-своему, по-сашуиински, больше всего и любили его в общежитии.

— Слушай, Сашуня, прочитал я твою рукопись. Ну, знаешь ли, признавайся, что ты иаписал ее левой ногой.

— Хи-хи-хи! — разоружал Сашуня критика.— У меия ж иа левой-то ноге протез.

Все мы давио окончили институт, разъехались кто куда. У каждого иачалась своя самостоятельная жизнь, поэтому разве ие удивительио было мие, сидящему тогда

в своей деревне и случайно взглянувшему в окно, увидеть на тропинке Сашуню!

Стремглав метнулся я к двери и столкнулся на крыльце сначала не с Сашуней, а с другим своим другом — Федором, тоже однокашником по институту. Значит, Федор прошел на секунду раньше и успел выйти из оконной рамы, когда я туда поглядел.

— Да... Вот... Братцы!.. Как это?.. Какими судьбами?..

— Ты не спрашивай, а ставь что полагается на стол. Тебе сколько стукнуло-то, ровно тридцать? А спрашиваешь, какими судьбами!

— Да как вы доехали, на чем? Как нашли?

— Главным образом на попутных. От повертки приплелись пешком. Тут ведь пустяки. Да ты что, забыл, что я бывал у тебя и знаю дорогу? — удивился Федор.— Позапрошлый же год и бывал.

Московские друзья много слышали от меня про родные места: про речку, про лес, называемый Журавлихой, про Плаксинские кустики, про все, что навеки близко и дорого мне в деревне. Правда, к этому времени, с возрастом я уж начал понимать (а было время — не понимал), что речка наша может вызвать не только восторг, но и улыбку снисхождения и что человеку, выросшему, например, в Сибири (Федор как раз и был сибиряк), Журавлиха наша так себе, неказистый перелесочек.

Но все это я понимал тогда еще не в полной мере. Кроме того, любая земля прекрасна в пору цветения.

Какой-нибудь невзрачный косогорчик, способный в осеннюю погоду навеять одну лишь щемящую грусть (впрочем, для меня это тоже активное чувство), теперь так светится, так горит крохотными огоньками гвоздичек, что самый равнодушный человек не пройдет мимо него с равнодушием, разве что окончательно окаменевший человек.

Так или иначе, но после всякого там необходимого угощения я решил угостить друзей еще и нашими окрестностями.

Выйдя из прогона, нужно пройти метров триста по ровному месту, тогда окажешься на краю высокого крутого холма, спускающегося к реке. Мы бойко сбежали по склону, по переходу, сделанному из длинного елового бревна, перебрались на другой берег реки и оказались на лугу.

Мы, конечно, только иногда приостанавливались, и оглядывались окрест, и любовались красотой земли, большей же частью мы просто шли и разговаривали о всякой всячине. Попадалось ли нам поле, засеянное свеклой, но такое запущенное, что только при тщательном исследовании буйных зарослей сурепки можно было установить, что тут посеяна свекла,— мы возмущались бесхозяйственностью колхозников; попадались ли нам, напротив, пышные тяжелые клевера — мы восторгались клеверами и пробовали ложиться на клевер плашмя, и клевер упруго пружинил и как бы поддерживал нас на весу, настолько был силен и обилен; проходя попавшейся по пути деревенькой, мы присматривались к людям, к их лицам, к одежде, к взглядам, бросаемым на нас, приезжих городских людей. То есть присматривались больше мои друзья, потому что каждого человека в окрестности я знал по имени и отчеству и все знал об их жизни, и присматриваться мне к ним было нечего.

Иногда мы увлекались разговорами, обсуждением какой-нибудь проблемы, связанной с нашим общим ремеслом; забирались в дебри самой психологии творчества; ругали последние стихотворения такого-то поэта, хвалили такого-то и тогда забывали про время и место. Но что бы мы ни обсуждали, на чем бы ни останавливали внимание, мы все время шли вперед, несколько загибая влево, делая размашистый круг, захватывая этим кругом все больше и больше земного пространства.

Иногда Федор говорил: «Не присесть ли?» А я тут же механически ронял: «Подожди». Иногда я предлагал поваляться на траве, а Федор отмахивался небрежно. Один Сашуня ни разу не заикнулся об отдыхе.

Среди леса на берегу реки встречается этаким островком (если лес принять за озеро) или, может быть, этаким озером, если лес принять за сушу, травяной цветочный луг. Над лугом вздымается пригорок, тоже безлесный, с разбросанными по нему редкими широкими пнями, большей частью уж иструхлявившимися. На пригорке стоит избушка лесника, сторожка,— одна-единственная изба на всю Журавлиху. Трудно вообразить, до чего угодное здесь место! Речушка, пусть и небольшая, в пятидесяти шагах от крыльца, лес вокруг, грибов, орехов, земляники, малины, черемухи прорва! Зимой зайцы и лисы скачут под самыми окнами, а посмотрев из окна или выйдя на

крыльцо, невозможно оторваться от любования пейзажем.

Лес напротив окна вздымается на крутую гору и потому кажется многоярусным. Из-за нижнего ряда деревьев выглядывают наполовину деревья второго ряда, из-за этих — третьи, из-за третьих — четвертые. Весной, в пору молодых листьев, осенью, в пору красного и желтого горения, зимой, в пору сиреневых на рассвете инеев, не оторвать глаз от Журавлихи. На фоне многоярусного, стремящегося вверх, стрельчатого, как бы даже готического леса вдоль реки растут округлые и пышные, словно кучевые облака, золотистые ветлы.

— Вот бы где построить избушку,— вслух подумал Федор,— да приезжать бы сюда работать!

— Поставить бы ее, к примеру, вон между двух елей, задом к березнячку.

И мы, как дети, увлеклись вдруг этой несбыточной (каждый понимал, что несбыточной) идеей. Несколько раз лазили на пригорки, мерили шагами, прикидывали, ходили смотреть подъездные пути, выбирали место, где можно перегородить речку плотиной и образовать пруд, высчитывали, сколько кубометров леса понадобится и сколько это будет стоить. Размечтались до того, что хотели уж идти к леснику и лесничихе узнавать, будет ли лесничиха продавать молоко и яйца и присматривать за избой во время нашего отсутствия.

От сторожки мы пошли вдоль Журавлихи по красивой лесной дороге, меж высоченных кряжистых сосен, и вышли к деревне Негодяихе.

К этому времени мы порядочно устали, и я предложил на выбор: или идти по дороге на Негодяиху и делать крюк, или срезать напрямик, но тогда придется переходить поле овса, прежде чем попадешь на луговую тропинку.

Решили пересекать поле овса и пошли напрямик, и овес хлестал нас по ногам, которые то и дело попадали то в ямку, то на твердые комья.

Но в конце концов молодым, здоровым людям, хотя бы и по жаре, пересечь поле овса не проблема, не каторжный труд, не испытание характера, и мы прошли его, и тогда до реки осталось около километра, а там подняться на холм — и будет наше село.

Дойдя до реки, решили купаться. Раздевшись и приго-

товившись в воду, мы с Федором хватились, что куда-то исчез Сашуня.

— Пошел, наверное, в кустики по делам.

— Сашуня!

Никто не откликнулся. Я вдруг вспомнил, что в последнее время, то есть в последние полчаса или, может быть, час, он как-то старался отделиться от нас, приотстать и почти не принимал участия в разговоре. Вдоль берега реки я пошел посмотреть, куда же исчез товарищ.

Шагах в сорока выше по течению за непроглядным ракитовым кустом на кромке берега сидел голый Сашуня и в текучих светлых струях остужал обрубок ноги. Культяпка распухла и покраснела. Протез лежал рядом на зеленой траве. Я отпрянул назад, как если бы увидел нечто интимное. На цыпочках, задом отошел подальше и примчался к Федору.

— Идиоты, грубияны, сухари, кочерыжки, чертовы эгоисты! — ругал я вслух и себя и Федора.

Федор, узнав, в чем дело, помрачнел лицом и только выговорил:

— Ну-у...— и пустил свое любимое словечко «идиотики», в котором за ласковостью и уменьшительностью формы скрывались презрение и ненависть.

— Значит, мы шли, трепались, восторгались красотой березовой рощи в голубом поле льна или розовой гречихи, а он мучился, скрипел про себя зубами и делал вид, что ему весело. Ведь отмахали километров двенадцать! Дернул черт лезть через поле овса! Оно-то, наверно, его доконало.

Мы стали вспоминать, где мы пролезли через буерак, где мы шли по неудобным лесным порубкам, где могли бы отдохнуть, но не отдыхали, где надо бы спрямить, а мы обходили кругом.

— Ну как мы забыли, как могли забыть!.. И он-то хорош! Подумаешь, самолюбие! Мог бы напомнить, не таиться (всегда ведь, когда виноват, стараешься найти, на кого бы свалить вину).

— Постой, постой, Федор, что я тебе сейчас скажу. Ты ведь тоже жил с нами в общежитии?

— Ну да, жил.

— Сколько времени мы жили в одной комнате с Сашуней?

— Четыре года...

— А теперь вспомни: ты видел когда-нибудь, как Сашуня снимал или надевал протез? Ты видел когда-нибудь, черт подери, его культяпку? Мне только сейчас это пришло в голову. Когда, как он это делал? Ночью, когда спим? Как он это делал, что четыре года мы не видели его протеза и даже забывали о нем? Это, брат, не просто Сашуня, это ха-рак-тер!

Из-за кустов в брюках и башмаках как ни в чем не бывало появился Сашуня.

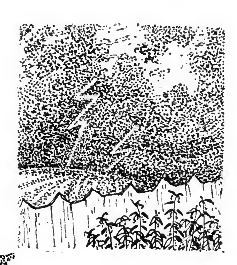
— Ну, книжники и фарисеи, начетчики-талмудисты, что же вы не лезете в воду?

Мы сделали вид, что не догадываемся о тяжелой усталости Сашуни.

Однако в последующие дни я уже не таскал друзей по далеким окрестностям, а ходили мы в ближайший лесок, где сидели до поздней темноты, разведя небольшую ровную теплинку.



НОЖИЧЕК С КОСТЯНОЙ РУЧКОЙ



Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое — поменьше. На каждом — ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно открыть. Пружины новые, крепкие: попыхтишь, прежде чем откроешь лезвие. Зато обратно — только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже еще и щелкнет на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножик превратился в бесценное сокровище. Например, нужно срезать ореховую палку. Нагнешь лозу, выглядишь то место, где самый изгиб, приставишь к этому месту ножичек — и вот уже облегченно раздалась древесина, а лоза висит почти что на кожице. Может быть, не все мне поверят, но палку толщиной с большой палец я перерезал своим ножичком с одного раза, если, конечно, взять поотложе, чтобы наискосок.

Вырезывание свистка требовало, напротив, тонкой

работы. И тут особенно важной была острота. Тупым ножом изомнешь всю кожицу, измочалишь, дырочка получится некрасивая, мохнатая по краям. Какой уж тут свист, одно шипение! Из-под моего ножичка выходили чистенькие, аккуратные свистки.

С 1 сентября открылось еще одно преимущество моего ножа. Даже сам учитель Федор Петрович брал у меня ножик, чтобы зачинивать карандаши. Неприятность как раз и произошла на уроке, при Федоре Петровиче. Мы с Юркой решили вырезать на парте что-нибудь вроде буквы «В» или буквы «Ю» (теперь, во втором классе, мы уже знали все буквы), и я полез в сумку, чтобы достать ножичек.

Рука, не встретив ножичка в привычном месте, судорожно мыкнулась по дну сумки, заметалась там среди книжек и тетрадей, а под ложечкой неприятно засосало, и ощущение непоправимости свершившегося холодком скользнуло вдоль спины. Забыв про урок и про учителя, я начал выворачивать карманы, шарить в глубине парты, полез в Юркино отделение, но тут Федор Петрович обратил внимание на мою возню и мгновенно навис надо мной во всем своем справедливом учительском гневе.

— Что случилось, почему ты под партой? (Значит, уж сполз я под парту в рвении поисков.) Встань как следует, я говорю!

Наверно, я встал и растерялся, и, наверно, вид мой был достаточно жалок, потому что учитель смягчился.

— Что случилось, можешь ты мне сказать?

— Ножичек у меня украли... который из Москвы...

Почему я сразу решил, что ножичек украли, а не я сам его потерял, неизвестно. Но для меня-то сомнений не было: конечно, кто-нибудь украл — все ведь завидовали моему ножу.

— Может, ты забыл его дома? Вспомни, подумай хорошенько.

— Нечего мне думать. На первом уроке он у меня был, мы с Юркой карандаши чинили... А теперь нету...

— Юрий, встань! Правда ли, чинили карандаши на первом уроке?

Юрка покраснел как вареный рак. Ему-то наверняка не нравилась эта история, потому что сразу все могли подумать на него, раз он сидит со мной рядом на одной парте. Про карандаши он честно сознался:

— Чинили.

— Ну хорошо,— угрожающе произнес Федор Петрович, возвращаясь к своему столу и оглядывая класс злыми глазами.— Кто взял нож, подними руку.

Ни одна рука не поднялась. Покрасневшие лица моих товарищей по классу опускались все ниже под взглядом учителя.

— Ну хорошо! — Учитель достал список.— Барсукова, встать! Ты взяла нож?

— Я не брала.

— Садись. Воронин, встать! Ты взял нож?

— Я не брал.

— Садись...

Один за другим вставали мои товарищи по классу, которых теперь учитель (а значит, вроде б и я с ним заодно) хотел уличить в воровстве. Они вставали в простеньких деревенских платьишках и рубашонках, растерянные, пристыженные; их ручонки, не привыкшие к обращению с чернилами, были все в фиолетовых пятнах. Каждый из них краснел, когда вставал на окрик учителя, каждый из них отвечал одно и то же:

— Я не брал...

— Ну хорошо,— в последний раз произнес Федор Петрович.— Сейчас мы узнаем, кто из вас не только вор, но и еще и трус и лгун. Выйти всем из-за парт, встать около доски!

Всех ребятишек, кроме меня, учитель выстроил в линейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, почудилась мне некая отверженность, некая грань, отделившая меня ото всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так просто.

Первым делом Федор Петрович стал проверять сумки, портфелишки и парты учеников. Он копался в вещичках ребятишек с пристрастием; и мне уж в этот момент (не предвидя еще всего, что случится потом) было стыдно за то, что я невольно затеял всю эту заварушку.

Прозвенел звонок на перемену, потом снова на урок, потом снова, но теперь не на перемену, а идти домой,— поиски ножа продолжались. Мальчишки из других классов заглядывали в дверь, глазели в окна: почему мы не выходим после звонка и что у нас происходит? Нашему классу было не до мальчишек.

Тщательно обыскав все сумки и парты, Федор Петрович принялся за учеников. Проверив карманы, обшарив пиджачишки снизу (не спрятал ли за подкладку?), он заставлял разуваться, развертывать портянки, снимать чулки и, только вполне убедившись, что у этого человека ножа нет, отправлял его в другой конец класса, чтобы ему не мог передать пропавшее кто-нибудь из тех, кого еще не обыскали.

Постепенно народу около доски становилось все меньше, в другом конце класса все больше, а ножичка нет как нет!

И вот что произошло, когда учителю осталось обыскать трех человек. Я стал укладывать в сумку тетради и книжки, как вдруг мне на колени из тетрадки выскользнул злополучный ножичек. Теперь я уж не могу восстановить всего разнообразия чувств, нахлынувших на меня в одно мгновение. Ручаться можно только за одно — это не была радость от того, что пропажа нашлась, что мой любимый ножичек с костяной ручкой и зеркальными лезвиями опять у меня в руках. Напротив, я скорее обрадовался бы, если бы он провалился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение провалиться сквозь землю не показалось бы самой большой трагедией.

Между тем обыск продолжался, и мне, прожившему на земле восемь лет, предстояло решить одну из самых трудных человеческих психологических задач.

Если я сейчас не признаюсь, что ножик нашелся, все для меня будет просто. Ну не нашли — и не нашли. Может, его кто-нибудь успел спрятать в щель, за обои, в какую-нибудь дырочку в полу. Хватает щелей в нашей старой школе. Но, значит, так и останется впечатление, что в нашем классе учится воришка. Может быть, каждый будет думать на своего товарища, на соседа по парте.

Если же я сейчас признаюсь... О, подумать об этом было ужасно!.. Значит, из-за меня понапрасну затеялась вся эта история, из-за меня каждого из этих мальчишек и девчонок унизительно обыскивали, подозревали в воровстве. Из-за меня их оскорбили, обидели, ранили. Из-за меня, в конце концов, сорвали уроки... Может быть, им все-таки легче думать, что их обыскивали не зря, что унизили не понапрасну?

Наверно, не так я все это для себя сознавал в то время. Но помню, что провалиться сквозь землю казалось

мне самым легким, самым желанным из того, что предстояло пережить в ближайшие минуты.

Встать и произнести громко: «Ножичек нашелся» — я был не в силах. Язык отказался подчиниться моему сознанию, или, может, сознание недостаточно четко и ясно приказывало языку. Потом мне рассказали, что я, как лунатик, вышел из-за парты и побрел к доске, к учительскому столу, вытянув руку вперед: на ладони вытянутой руки лежал ножичек.

— Растяпа! — закричал учитель (это было его любимое словечко, когда он сердился).— Что ты наделал!.. Вон из класса!.. Вон!..

Потом я стоял около дверей школы. Мимо меня по одному выходили ученики. Почти каждый из них, проходя, задерживался на секунду и протяжно бросал:

— Эх ты!..

Вот прошел Валька Грубов и сказал: «Эх ты!..»; вот прошел Борька Семионов и сказал: «Эх ты!..»; вот прошла Катька Барсукова и сказала: «Эх ты!..»

Не знаю, почему я не бежал домой, в дальний угол сада, где можно было бы в высокой траве отлежаться, отплакаться вдалеке от людей, где утихла бы боль горького столкновения неопытного мальчишечьего сердца с жизнью, только еще начинающейся.

Я упрямо стоял около дверей, пока мимо меня не прошел весь класс. Последним выходил Федор Петрович.

— Растяпа! — произнес он снова злым шепотом.— Ножичек у него украли... Эх ты!..



МСТИТЕЛЬ



Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копание картошки — чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя ни громко высморкаться, ни повозиться с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное дураченье наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный

из земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик — кто дальше. Эти шарики (а иной раз шла в дело и картошка) летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе представить. Иногда в синее небо взвивалось сразу несколько шариков. Они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше.

Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону бежит от меня Витька Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась: так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круглую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки «на любака». «Любак» и есть «любак» — добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку, наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы и в другой раз было неповадно.

Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади — значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос...

В урочный день и час, на большой перемене, я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрыть неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали.

Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

— Да уж... Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

— Что ты, я забыл давно! Просто пожгем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил...

Между тем положение мое осложнилось. Одно дело — нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чье мясо съела, а другое дело — весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А то после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился:

— Ну ладно, тогда пойдем.

«Вот я тебе покажу «пойдем!» — подумал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что ударил меня промеж лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно,

и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, а в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать: значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

— Смотри, смотри! — закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения.— Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем? Может быть, там меду полно.

«Ну ладно, эту норку мы раскопаем,— решил я,— потом уж я с тобой разделаюсь!»

— Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю. Нож-то захватил?

Живо-два мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут был такой плотный, что мы сломали по одной лопаточке, потом вырезали новые, а потом уж добрались до мягкой земли. Однако никакого меда или даже шмелиного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели, только не теперь. А зачем лазил туда шмель, которого увидел Витька, так мы и не узнали.

На опушке леса в траве мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.

Крепкие, красные, боровые росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике в середке стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, да жаль, соли нет. Вот бы славно поели!

— Айда за солью! — предложил Витька.— Далеко ли овраг перебежать. Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить.

«Айда за солью! — думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел.— Только не думай, что все так и кончится. Когда сбегаем за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня не уйдешь».

Мы принесли соль и два куриных яйца.

— Теперь давай ямку копать.

В ямку мы положили яйца, засыпали их землей и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только подержать их в золе около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкуса.

Сначала мы зажгли небольшую сосновую веточку, пушистую, но высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее большая радость, то есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть в нашей теплинке. Она вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице. (Если вдуматься, Витька этот не такой плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно, только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток? Теперь придется ждать, когда кончим жечь теплинку.)

На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и теплинка наша разгорелась ровным сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров.

Тут мы принялись за рыжики. Когда Витька насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел, и я подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузыриками, даже что-то с шипением капало в костер — не то соль, не то грибной сок. А кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще, так они были вкусны и душисты. Да и соль оставалась, не выбрасывать же ее! Пришлось снова идти по грибы.

Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар — настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. (Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает, даром что уши торчат в разные стороны.)

Ну что же, вот и теплинка прогорела. сейчас пойдем домой, и тут я буду должен... Что бы еще такое придумать, очень не хочется сразу идти домой.

— Бежим на речку,— говорю я Витьке.— Помоемся там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненькой. Бежим?

Все под руками у нас в деревне: лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна теперь, в конце сентября, наклоняемся над водой и пьем ее большими вкусными глотками. Разве можно воду из колодца или из самоварного крана сравнить с этой прекрасной водой! Сквозь воду видно речное дно — камушки, травинки, песочек. Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как живые.

Ну вот и попили и умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет впереди. Его уши торчат в разные стороны: что стоит развернуться и стукнуть!

Что стоит? А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто ударить человека, который доверчиво идет впереди тебя.

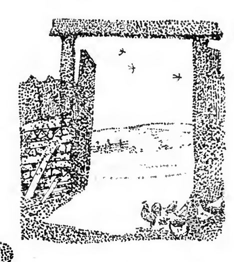
Да и злости я уж не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки! Да и Витька, в сущности, не плохой мальчишка — вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить...

Ладно! Если он еще раз стукнет меня промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу! А теперь — ладно.

Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку. И мы заходим в село как лучшие дружки-приятели.



ПОДВОРОТНЯ



Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски. Это, наверное, потому, что вечером я помогал матери их скручивать. Мы крутили их на зеленой лужайке около пруда. Ведь если солому помочить в прудовой воде, то она делается мягче, лучше свивается в поясок.

Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди высоченной высоты частой ржи будет оставаться ровная соломенная щетка. Местами среди желтой соломенной щетки зеленеет живой еще, значит, по сравнению с созревшей соломой колючий жабрей.

На желтую соломенную щетку, на зеленый жабрей будет мать класть длинные гибкие пряди ржи, пока не наберется их столько, что можно связать в сноп. Тут-то и пригодится поясок, скрученный нами вчера на берегу пруда на лужайке. Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски, лежащие на зеленой траве. К тому же мне очень хотелось с матерью на жнитво, и я боялся, чтобы не проспать, чтобы она не ушла от меня. Кто тогда

вовремя подаст ей поясок, кто тогда с радостью спрячется в тень от самого первого поставленного среди жнивья снопа, кто принесет ей бутылку с квасом, спрятанную у межи в прохладной густой траве!

Но детский мой организмишко не успел, значит, отдохнуть к нужному часу. Ни рука, ни нога не хотели шевелиться. Глаза — как все равно намазаны самым надежным, крепким клеем, а по всему телу — тяжелая сладкая истома. Такая сладкая, что ничего уж на свете не может быть слаще ее, ибо она есть желание сна.

Мать пожалела меня и сказала, перекрестив:

— Ну спи, бог с тобой, я тебя запру снаружи. А когда ты выспишься и встанешь, первым делом умойся, потом выпей молоко, что стоит на столе. Лепешка будет лежать рядом. А потом, если хочешь, сиди дома или приходи ко мне. Дорожку ты знаешь. А на улицу ты вылезешь через подворотню: калитку-то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню. Там хоть и нешироко, ну да ты у меня ловкий, ты у меня обязательно вылезешь.

Тут все закачалось вокруг меня, и я уснул крепче прежнего. Проснулся я уже не в полутемной, а в солнечной, яркой избе. По выскобленным половицам, по желтым, как смола, бревенчатым стенам, по струганым лавкам, по скатерти, пусть застиранной, но все еще белой, по печке, недавно побеленной с добавлением синьки, по разноцветной дорожке на полу — повсюду разлилось солнце. И не какое-нибудь там слабосильное, но солнце самого разгара лета, солнце страды, солнце жнитва.

Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жаждой жить, каждый мускул просит движения жизни. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под босой ногой, еще свежая вода в рукомойнике, а значит, и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в кринке и мягкая пшеничная лепешка.

Я бессознательно (а не то чтобы думать о клеточках своего организма) наслаждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то еще очень интересного и хорошего, что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. Но потом вдруг вспомнил: мне ведь предстоит из дому выйти на улицу, и не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Тут уж счастье

мое подошло к пределу. Однако, значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем.

Я сначала вылил остатки молока в кошачью локушку, поманил кошку из сеней, и та сразу прибежала на зов. Тогда я решил, что раз кошка гуляла на улице, значит, пусть она съест молоко, и я опять выпущу ее за дверь. Присев на корточки, я долго наблюдал, как ловко она розовым язычком лакает белое-белое молоко. Наконец она выпила все, облизнулась, широко раскрыла пасть с острыми белыми зубами и принялась умываться.

Я привязал к нитке бумажный бантик и пытался поиграть с кошкой, как делал прошлый год, когда она была еще маленьким котенком. Однако теперь кошка не захотела носиться по избе за шуршащей бумажкой. Правда, она постреляла за ней справа налево загоревшимися вдруг глазами, резко поворачивая голову, но дальше этого дело не пошло.

И давая кошке молоко, и играя с ней бумажным бантиком, я не переставал думать о том, что ждет меня на улице. Во-первых — солнце, во-вторых — трава, в-третьих — земля под босой ногой. Побегу к матери в поле. Это очень близко, сразу за молотильным сараем. Или нет — сначала найду красивый черепок, или нет — сначала погоняю вокруг церкви железное колесо на проволоке. Вокруг церкви у нас все замощено речным камнем. Значит, колесо, когда его быстро катишь, высоко подпрыгивает и на разные голоса звенит.

Итак, была изба, и была улица. И все это было мое. А между ними, как самое главное, как самое радостное для этого дня, была подворотня, сквозь которую мне предстояло пролезть.

Бегом промчался я сквозь полутемные сени, выскочил на двор и — остолбенел. Ворота были широко открыты, и дедушка подметал возле них. Он подметал истово, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой, благо торопиться ему было некуда, подметай хоть до вечера.

— Дедушка, закрой ворота, мне нужно вылезти на улицу.

Дедушка не понял всей тонкости моей просьбы, а понял только, что «на улицу», поэтому сказал:

— Ступай, я тебя не держу.

— Нет, ты закрой ворота.

— Зачем же их закрывать, если ты хочешь на улицу? Вот она, улица, ступай.

— Нет, ты закрой ворота!..

Тут уж терпения моего больше не хватило, и я горько-прегорько заревел.

— Чего ты плачешь? Кто тебя обидел? — растерялся дедушка.

— Никто... Закрой ворота... Я хочу на улицу.

Так ничего и не поняв, но видя, что я не перестану плакать, пока ворота не будут закрыты, дедушка запахнул сначала одну, потом другую широкую воротину. Со скрипом они сошлись одна с другой, сразу загородив и траву, и солнце, и колодезь, и улицу нашего села с ветлами по сторонам.

— Запри их на запор,— сквозь продолжавшийся рев потребовал я от дедушки.

Дедушка (странно, что при его нраве он все еще медлил распоясывать свой крученый веревочный поясок), кряхтя, просунул в железные скобы тяжелый, гладкий от времени квадратный брус.

— Ну, чего тебе еще?

Мне ничего больше было не нужно. Теперь мне оставалось осуществить то, что целое утро казалось таким заманчивым и интересным. Мне оставалось теперь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного, темноватого двора на зеленую, золотистую улицу.

Но вот беда, отчего-то расхотелось лезть в подворотню. Это вовсе даже неинтересно лезть в подворотню, если ворота широко распахнуты, это неинтересно даже тогда, когда их нарочно закроют и даже нарочно запрут для того, чтобы пролезть в подворотню.

Я почувствовал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще громче.

Дедушка неторопливо начал развязывать свой крученый веревочный поясок...



БИШКА



Иногда случается (и деревенские люди это хорошо знают), что овца, объягнившись, не принимает вдруг одного своего же ягненка. В то время как два уверенно и требовательно лезут к ее живительному, горячему, жирному материнскому молоку, бесцеремонно толкаясь мордочками в черное вымя, третий оказывается отверженным с первых же минут своего на этом свете существования. Овца бьет его лбом, отталкивает и, конечно, в конце концов забивает насмерть, если не вмешивается человек.

Тут все зависит от хозяйки. Есть у нее время возиться с отверженным — возьмет в избу, нет времени — оставит с овцой, то есть, по существу, обрекает на гибель.

Мне было лет пять, а может быть три года, сейчас гадать трудно, достаточно сказать, что я был тогда очень маленьким. Невозможно и уточнить для себя, потому что никто из родных не помнит этого случая. Для них он

был обыкновенный, будничный случай. Если все запоминать, голова лопнет.

Итак, я был очень маленький, когда в нашем хозяйстве произошло это событие: овца принесла трех ягнят и одного почему-то не приняла. Говорят, нельзя дотрагиваться до ягненка человеческими руками, пока мать не обнюхает свое потомство. Если же дотронуться, взять в руки раньше времени — вот и получается эта странность.

Ягненок дрожал мелкой дрожью и валился с ножек, когда его внесли в избу и опустили на пол. Тотчас я тоже оказался на четвереньках. Малыши чувствуют друг друга. Котята или щенки охотнее играют с детьми, чем со взрослыми.

Но ягненку было пока не до игры. Его крохотные черненькие копытца скользили по полу, а в ногах не было никакой силенки. Ведь он как народился, не выпил еще ни грамма молока, откуда же взяться силенкам!

Моя мать налила в чайное блюдце тепленького молочка, окунула в молоко свой весь в коричневых трещинах палец и хотела, чтобы ягненок с ее пальца начал пить молоко. Но палец ягненку не нравился. Черные шелковые ворсинки на его рыльце измочились в молоке, в рот же не попало ни капли.

— Видно, ничего не выйдет,— вздохнула мать.— Видно, уж не жилец!..

Но тут, независимо от своего сознания, я решительно вмешался в судьбу ягненка. Оружие у меня в его защиту было одно — я заревел так горько, как только мог.

Мать открыла маленький деревянный сундучок, в котором у нее хранились нитки, иголки, пробки, тряпочки, наперстки, пуговицы и прочая домашняя галантерея. Покопавшись на дне сундучка, она достала красную резиновую соску, оставшуюся, наверное, еще от моего первоначального возраста и не выброшенную в свое время в силу врожденной крестьянской бережливости: авось когда-нибудь пригодится! Вот и пригодилась.

Я внимательно наблюдал, как мать накалила на спичке конец иглы и раскаленным концом прожгла в соске маленькую черную дырочку.

Соску мы надели на бутылку, ну а в бутылку, нетрудно догадаться, налили тепленького молочка.

Ягненок не хотел брать и соску. Опять черное рыльце его запачкалось молоком.

— Если бы котенок, тот хотя бы облизался,— рассуждала мать.— Все бы капелька попала, а там, глядишь, и понравилось бы. Этот и не оближется.

Мать махнула на все рукой (ей нужно было куда-то по хозяйству), и судьба беспомощного, в мелких шелковых завитушках существа вместе с бутылкой молока перешла в мои руки. Мы остались в избе вдвоем, два малыша. Могли ли мы не договориться?

Полдня я настойчиво преследовал ягненка, беспрерывно держа соску у его рыльца и размазывая молоко по самым губам. Наконец как-то так получилось, что соска все-таки попала к нему в рот, и он, как бы наверстывая все упущенное, жадно, без передышки, захлебываясь, закрыв глазенки, чмокая, начал пить. Временами соска слипалась, склеивалась, приходилось встряхивать молоко, чтобы оно опять обильно текло в соску. Но ягненок уже не хотел выпускать изо рта и слипшуюся резинку. Поворот от смерти к жизни был совершен.

Наши жизни были рассчитаны по-разному. Мне предстояло прожить несколько десятилетий. А ему, значит, гораздо меньше. Иначе почему же я оставался все таким же, а мой четвероногий приятель рос не по дням, а по часам? Теперь он не поскальзывался на своих слабеньких, негнущихся в коленках ножках, а, напротив, скакал и дурачился как только умел. Особенно он любил подпрыгнуть сразу четырьмя ножками на одном месте, а потом уж мчаться, стуча копытцами.

Прыгнуть на лавку, с лавки на стол, со стола опять на пол, с пола на лежанку, с лежанки на табуретку, с табуретки на сундук, с сундука на подоконник — все это было ему нипочем. Звали мы его Бишка. Но откликался он на свою кличку, только если звал я, его постоянный, единственный поилец и кормилец.

Когда я спал, Бишка сильно скучал без меня. Это понятно. Интересно только, как он мог узнавать то мгновение, когда я спускал с кровати на пол свои босые ножонки? Не медля ни одной секунды, Бишка мчался через всю избу ко мне за перегородку и с разбегу ударял кудрявым лбишком в мои колени, как бы упрекая и наказывая за то, что я долго сплю. Стукнет в мои колени, отскочит подальше, разбежится и еще раз стукнет.

Своеобразные ласки Бишки не досаждали мне в первое время. Но вот у него на лбу появились вроде бы как

два ореха. Потом орехи эти заострились, загнулись назад и вскоре превратились в крепкие, изящные рожки.

Тут уж, заслышав стук копыт, мне приходилось прятать ноги, подбирая их под себя или впрыгивая на кровать. Но все равно не убережешься, и временами я носил на коленках хоть и слабенькие, но синяки. Впрочем, чего не вытерпишь от хорошего друга!

Нашел я в рожках и преимущество — можно было привязывать к ним красную тряпочку, что, несомненно, украшало и облагораживало Бишку.

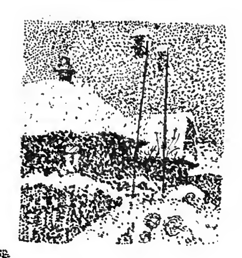
Однажды утром, проснувшись, я, по обыкновению, спустил ноги с кровати на пол. Однако знакомого и нетерпеливого топота не послышалось. Скорее я сунул ноги в валенки (дело было перед рождеством) и пошел узнать, что там такое случилось. Уж не выбежал ли Бишка ненароком на улицу? Простудится. Вон какой мороз, вон какие узорные листья на окнах!

Я побежал к порогу и — остолбенел. На пороге лежала Бишкина голова. Глаза закрыты, язык прикушен оскалившимися зубами, а на черной шерстке красная кровца. Я, конечно, и не подумал бы и не поверил бы, что это именно Бишкина голова (были ведь на дворе и другие барашки), но ленточку, ленточку-то я своими руками привязал к его рожкам. Ленточка была на месте, не было самого только Бишки. И то, что его никогда не будет, не могло уместиться в моем маленьком, несовершенном сознании. Потом я откуда ни возьмись представил, как ему отрезали голову, и покатился по полу в безутешных слезах.

Впрочем, последовательности не было в моих поступках, или я еще не умел связывать явления одно с другим. Отплакавшись и успокоившись, вместе с матерью я вечером разбирал кости на студень, выискивая бабки, в которые потом играл, не вспоминая при этом моего бедного недолговечного приятеля.



ТРУДНАЯ НАУКА



Боязнь темноты перешла к нам, наверно, от тех времен, когда наши что ни на есть дальние предки сидели где-нибудь в пещере у огня, а дикие звери подкарауливали их на каждом шагу, стоило только отойти хотя бы за три дерева. Ночь в те времена была враждебной стихией для человека, ибо она делала его вполне беспомощным.

Всевозможные атавизмы проявляются чаще всего в детстве. Ведь именно в детстве мы летаем во сне, вспоминая, что и у нас когда-то были крылья. Или что, может быть, мы прилетели когда-нибудь на эту песчинку, на этот камешек, где тепло и сыро и где поэтому развилась зелень, с какой-нибудь другой песчинки, с какого-нибудь другого камешка.

Вот и темнота. Бывало, идешь через темные сени, и кажется, кто-то сейчас дотронется до спины. И если бы действительно кто-нибудь дотронулся, наверное, упал бы

без памяти, настолько напряжены детские нервишки. Особенно страшно в последний момент, когда нашариваешь в темноте дверную ручку.

Приведется ли в сумерки идти мимо лесочка, каждое дерево похоже то на медведя, то на волка, то на бабу-ягу. Корявый пень, освещенный луной, вполне сойдет за сидящего человека.

А тут еще суеверие. Что говорить про маленького! Нетрудно было напугать и взрослых, сильных парней. Однажды моя старшая сестра, зная, что парни пойдут мимо кладбища, села на могилу, обернувшись простыней, зажгла три свечки и сидит, тихо рыдает. Некоторые из парней, прибежав в село, не попали в двери, а прыгали в дома через окна.

Однако мой отец, человек сверх меры спокойный и рассудительный, постоянно учил меня: «Если увидишь что-нибудь страшное, обязательно подойди поближе, убедись, что ничего страшного нет, а просто куст или дерево. Раз убедишься, два убедишься, потом ничего бояться не будешь. Я, например, постоянно так».

Я стал поступать по науке отца, и раза два или три это сошло безнаказанно. Среди мальчишек я стал слыть чуть ли не первым храбрецом. Однажды под спор вызвался даже (страшно подумать!) вечером слазить на колокольню. Лестницы тогда еще были исправны, и единственной реальной опасности сломать себе шею из-за гнилой ступеньки тогда не было.

Слов нет, сначала мне было очень страшно. Особенно зашлось сердце, когда что-то зашуршало вверху, там, где колокола. Я прислушался и услышал, что это мальчишки, чтобы напугать меня, кидают снежки. С этой минуты стало легко и даже весело. Я быстро добрался до самого верха и, по условию, тихонько блямкнул в колокольчик (тогда были еще на колокольне колокола).

С каждым разом, следуя науке отца, я делался все смелее и смелее. А следовал я науке ретиво, даже сверх меры: сворачивал, например, с дороги, если что-нибудь почудилось в стороне, хотя бы и за полкилометра. Из-за этой-то ретивости я и пережил однажды, пожалуй, самую страшную минуту в моей жизни. Ну да, конечно, потом было всякое — и настоящая смертельная опасность, но такого острого, такого леденящего, такого пронзительного страха я уже больше не переживал.

Умерла моя старенькая бабушка Василиса. Положили ее в передней избе под образа. Зажгли свечу, лампаду перед образами. Полумрак и таинственность. Сами все в другой половине избы, за глухой перегородкой.

Не помню, зачем понадобилось мне сходить в горницу, где лежала бабушка Василиса: может быть, просто попить водицы, а может быть, за какой-нибудь своей игрушкой. Иду мимо стола, стараюсь не глядеть, а глаза сами косят — в глазах белая простыня, которой покойница укрыта с ног до головы. И вот этим-то боковым зрением я вижу, что руки у бабушки, сложенные на груди, вроде бы шевелятся, вроде бы она перебирает там руками, ищет какую-то пропажу и не может найти.

Я остановился, замер, похолодел. И вперед идти боязно, и назад бежать еще страшнее. Оставалось только, по науке отца, если уж не приближаться к столу, то как следует разглядеть.

Собрал все свои силенки, обернулся, гляжу. Ну так и есть! Ничего не шевелится, все тихо, спокойно. Можно даже подойти вплотную к столу и тогда убедиться окончательно. Раз... два... три... Вот я и у стола. Белая простыня, освещенная тремя свечами, совсем рядом. Вон на груди простыня приподнята, там и есть бабушкины руки. Я сам видел, как их складывали одна на другую, насилу сложили. Куда уж им теперь шевелиться! Стою гляжу, выдерживаю характер. А бугорок под простыней между тем пошел в мою сторону...

Очнулся я в светлой комнате. Мать рядом, сестра, брат. Они прибежали на дикий мой, пронзительный визг.

Теперь мне осталось сказать, что все-таки, несмотря ни на что, и этот случай лишний раз, пусть и жестоко, подтвердил правоту отца. Просто надо было действовать еще решительнее. Если бы я отвернул простыню, то увидел бы там нашего рыжего котенка, который залез попрощаться со старенькой бабушкой Василисой,— ведь когда она была жива, он постоянно спал у нее на груди, как раз там, где обычно складывают руки покойника.



БЕЛАЯ ТРАВА



Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда продерешься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в обособленном, отгороженном от остального земного пространства мире. На самый грубый взгляд, мир теперь складывается, состоит только из двух частей: из зелени и воды. Но и в воде отражается во все ее водяное зеркало все та же сплошная зелень.

Будем теперь по капельке увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом древесные ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное — перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец,

голубое, как н полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня.

В следующую долю вниманя мы уже разлнчнм, что то, что казалось нам просто зеленью, вовсе не просто зелень, а нечто подробное и сложное. И в самом деле, натяиуть бы около воды ровную зеленую парусину, то-то была бы нежиая прелесть, то-то была днвная красота, то-то восклнцали бы мы: «Земиая благодать!» — глядя на ровиую зеленую парусину.

Выставнлась из дерева и внснт над водой старая, черная, как уголь, коряга. Отзвеиела, отшумела свое. Отдрожала дождевымн каплями на весеиних листьях, отсорила иа воду ярко-желтыми гляицевыми лнсточками. Угольиое отражение ее четко лежнт на воде, прерываясь лишь в тех местах, где попадает иа округлые листья кувшниок. Зелень этнх лнстьев не может не совпадать, ие слнваться с отраженной вокруг лесиой зеленью. У черемух выросли до своей велнчины будущне ягоды. Теперь онн гладкие, жесткие, как все равно вырезаны нз зелеиой кости н отполнрованы. Лнстья ракнты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной матовой серебряной стороиой, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятио в общей картине кажется светлым. У кромкн воды растут, наклоияясь в сторону, травы. Кажется даже, что задние травы прнвстают иа цыпочкн, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут н крапнва, тут н высоченные зоитичные, названия которым здесь у иас никто ие знает.

Но всех больше украшает наш замкнутый земной мнрок иекое высокое растенне с пышиымн белымн цветами. То есть каждый цветок в отдельностн очень мал и был бы вовсе иезаметен, ио собралнсь цветы иа стебле в бесчисленом множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку. А так как стеблн этого растения иикогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются, и вот уже как белое облако дремлет средн неподвнжиой лесиой травы. Еще и потому невозможио было бы ие обратнть виимаиия, ие залюбоваться этнм растением, что едва лншь прнгреет солнце, как от белого цветочиого облака поплывут во все стороны иезримые клубы, незрнмые облака крепкого медвяного аромата.

Вообще-то говоря, сидя с удочкой, ни о чем больше ие думаешь, как только о клеве, о поплавке, еслн можио

назвать думаньем сосредоточенное, напряженное ожидание хотя бы легкого шевеления. Страстный рыболов Антон Павлович Чехов не так уж прав, говоря, что во время уженья приходят в голову светлые, хорошие мысли. Ничуть не бывало! Последние жалкие обрывки деваются неизвестно куда. Но все же нельзя, чтобы вовсе в голове было беспредметно и пусто.

Глядя на белые пышные груды цветов, я часто думал о нелепости положения. Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе. Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а замечаю, что выделяю из всех остальных цветов. А вот спроси меня, как они называются,— не знаю, почему-то ни разу не слыхал о их названии и от других, тоже здесь выросших людей.

Одуванчик, ромашка, василек, подорожник, колокольчик, ландыш — на это нас еще хватает. Эти растения мы еще можем называть по именам. Впрочем, зачем же сразу обобщать — может быть, один лишь я и не знаю? Нет, кого бы я ни расспрашивал в селе, показывая белые цветы, крестьяне разводили руками.

— Кто ее знает! Полно их растет: и на реке, и в лесных оврагах. А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить, не на госпоставки сдавать. Нюхать и без названия можно.

Мы вообще как-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле. Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что любим природу: эти перелески, и холмы, и роднички, и огнеперые, на полнеба, летние теплые закаты. Ну и, конечно, собрать букет цветов, ну и, конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных верхах в то время, когда сам лес еще полон темно-зеленой, черной почти прохлады. Ну и сходить по грибы, ну и поудить рыбу, да и просто полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака.

«Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так бездумно и так блаженно лежишь?»

«То есть как это как? Трава. Ну там... какой-нибудь пырей или одуванчик».

«Какой же тут пырей? Тут вовсе нет никакого пырея. Всмотрись повнимательнее. На месте, которое ты занял своим телом, растет десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойст-

вами. Впрочем, это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость. Пусть об этом знают хотя бы специалисты. Но названия, простые названия, конечно, не мешало бы знать».

Из двухсот пятидесяти видов грибов, что растут повсеместно в наших лесах, начиная с апреля и кончая заморозками (кстати, почти все виды съедобны, исключая лишь несколько видов), мы знаем в лицо и по названиям едва ли четвертую часть. Про птиц не говорю. Кто мне подтвердит, которая из этих двух птиц малиновка-пересмешница, которая крапивница, а которая мухоловка-пеструшка? Кто-нибудь, конечно, подтвердит, но каждый ли? Но каждый ли третий, но каждый ли пятый — вот вопрос!

...Встретившись в Москве с моим другом и земляком из соседнего села, Сашей Косицыным, мы начинаем вспоминать наш лес Журавлиху, нашу речушку Воршу, наш Долгий омут, затерявшийся в Журавлихе.

— Больше всего я люблю в Журавлихе запахи,— зажмуриваясь от блаженства, вспоминает Саша Косицын.— Нигде, ни на одной реке, ни в одном лесу я не встречал таких запахов! Нельзя сказать в отдельности, что пахнет крапивой, или мятой, или вот этой... как ее?.. Ну, знаешь, такая белая трава... пышная, ну ты знаешь...

— Знаю, о чем ты говоришь, но я сам сто раз собирался спросить у тебя, как называется эта трава. А ты, оказывается, забыл.

— Ну знал, да забыл,— рассмеялся Саша.— Вообще-то, не мешало бы выяснить. Ты бы спросил в деревне у местных жителей, скажут.

— Разве я не спрашивал? Много раз!..

— Я придумал: надо будет спросить у моего отца. Он лесником четыре года работал, он все знает. Их, лесников, даже заставляют собирать семена деревьев и других растений. Он книги на эту тему читал. Да, да, ты с моим отцом не шути. Он ведь по этой части знает все досконально. А уж эту траву — и говорить нечего. Вокруг сторожки, где мы жили, ее целые плантации.

Как-то так получалось, что летом, когда мы с Сашей встречались в деревне и когда его отец, знающий все досконально, бывал поблизости, а часто даже и сидел с нами за одним столом, мы забывали про нашу душистую траву. Вспоминали же о ней снова зимой в Москве: начинали сожалеть, что вот была возможность узнать — за-

были. На будущий год непременно надо спросить у бывшего лесника. Наше нетерпение обострялось в такой степени, что хотелось скорее написать письмо.

Но вспоминали мы о белой траве обыкновенно поздним вечером не дома, а в гостях, во время ужина, а то и вовсе в ресторане, когда на нас находили особенно лирические мгновения и мы особенно ярко вспоминали о Журавлихе и Ворше. Только этим и можно объяснить, почему мы в течение трех лет не отправили ни письма, ни телеграммы. Однажды наконец-то совпали все желаемые условия: мы были с Сашей вместе, Павел Иванович был рядом, и мы вспомнили про таинственную нашу, про загадочную нашу белую траву.

— Так-так-так,— энергично поддакивал нам Павел Иванович.— Ну как же! Неужели я не знаю эту траву?! У нее еще стебли пустые. Бывало, надо напиться, а родничок в глубокой промоине. Сейчас срежешь стебель метровой длины да через него и напьешься. А листья у нее немножко на малинные похожи. А цветы белые да пышные. А уж пахнут!.. Бывало, сидишь на реке с удочкой, за сто шагов — аромат. Ну как же, неужели не знаю я эту траву?! Да что ты, Саша, неужели не помнишь, сколько ее возле нашей сторожки росло по тому берегу реки, хоть заготовляй!

— Ну так не тяни душу, говори, как она называется.

— Бела трава.

— Мы знаем, что она белая, но вот название?..

— Какое вам еще название? Я, например, так ее постоянно зову: бела трава. Да и все у нас так зовут.

Мы с Сашей рассмеялись, хотя причина нашего смеха, я так думаю, была совсем непонятна для бывалого человека Павла Ивановича. Бела трава — и вдруг смешно! Попробуй догадайся, над чем они тут смеются.



ЛЕТНИЙ ПАВОДОК



Каждый день перепрыскивали дожди. В конце концов, земля так напиталась водой, что не брала в себя больше ни капли влаги. Вот почему, когда образовалась в небе широкая, темная прореха и оттуда хлынула обильная, по-летнему теплая вода, наша тихая, мирная речка сразу начала вздуваться и пухнуть. По каждому оврагу, по каждой канаве наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, словно у них была единственная задача — как можно быстрее домчаться до речки и принять посильное участие в ее разгуле.

Дождь стегал веревками по спинам всех ручьев и потоков, подхлестывая их. Чем сильнее, чем звучнее стегал дождь, тем азартнее, тем проворнее мчались бесчисленные потоки.

Над самой землей, так примерно на полметра, стоял седой дым. Крупные капли дождя разбивались о землю,

превращаясь в пыль и мельчайшие брызги. Точно такой же седой дым виднелся над каждой кровлей. Повсюду, уверенно наполнив окрестности, устойчиво держался ровный напряженный шум. Время от времени резко и оглушительно ударял гром. Было странно слышать его, потому что все небо было серое и ровное, ненастное, а не грозовое, когда черная синева и ветер и все знают, что это сейчас пройдет.

Дождь лил в безветрии, из однотонного студенистого неба. Казалось, не будет теперь ему ни конца ни края. Меньше всего можно было ждать ударов грома, тем не менее удары были, и каждый удар, как бичом, подхлестывал и без того взбесившийся дождь.

Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо. Только обильно капало с деревьев, а если очень чутко прислушаться, то и с трав.

Дождь прошел, а у реки начиналось самое гулянье. Никогда, при самом дружном таянии самых глубоких снегов не было на нашей реке такого разлива, такого водополья, как теперь. Река немедленно сорвала и унесла с собой все лавы, подняла все, что лежало на ее летних, казавшихся безопасными берегах: дрова так дрова, бревна так бревна, копны сена так копны сена, мусор так мусор. Выйдя из берегов, она залила где луга, а где и поле зеленого овса, золотой уже ржи, белой цветущей гречихи. В деревушках, что стоят пониже, она подобралась к огородам.

В Останихе у реки притулились на берегу бани, этакие покосившиеся избушки на курьих ножках. Теперь над водой оставались только крыши этих бань, и все ждали, что их в нужную минуту приподнимет и понесет.

Но все же речка наша слишком мала, чтобы даже в такое половодье всерьез навредить людям. Допустим, разыграется в избе котенок: ну, сорвет занавеску, ну, разобьет стакан или вазу, ну, что еще он может набедокурить? Все-таки котенок, а не слон, не медведь и не тигр.

Напротив, всем было интересно поглядеть на такую необыкновенную для наших мест воду. Одни говорили: «Вот бы всегда у нас была такая река!» Старики вспоминали, когда — пятьдесят или семьдесят лет назад! — они видели такую воду. Богомольные старушки причитали: «Одну ночь лил, а что сотворилось! А если бы сорок

дней и сорок ночей — вот и был бы потоп. Погодите еще, разверзнутся хляби небесные!..» Мальчишки бегали возле самой воды и глядели, как комбайнер Анатолий Ламанов шарит наметкой в надежде поймать голавля или щуку.

Я взял палку и пошел вдоль по берегу, не думая ни о чем, любуясь воистину необыкновенным зрелищем.

Высокие ольховые кусты теперь выглядывали одними макушками. Видно было, как вода пригибает кусты в одну сторону по своему течению, а они пружинят, стараются выпрямиться, пользуясь малейшим послаблением мутных струй, и оттого беспрерывно покачиваются, кланяются как заведенные.

Старую ветлу затопило по самую крону. По ее ветвям сновали, тревожно и жалобно крича, разнообразные пичужки. Наверное, немало уютных обжитых гнезд (по времени так и с птицами) залило этой водой.

В одном месте я остановился, засмотревшись на завертину. Вода в этом месте ударялась о загнутый берег, ходила кругами. По краю завертины движение воды было медленное, как бы ленивое, но ближе к середине оно все убыстрялось и убыстрялось, образуя, наконец, водяную вертящуюся яму, в которую неудержимо тянуло все, что проплывало мимо: солому, сено, щепки и даже пузыри, рождающиеся там, где вода расчесывалась ветвями затопленных деревьев.

До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький писк, настолько слабенький, что сначала я хоть и слышал его, но как-то не обращал внимания, как-то он не мог «допищаться» до меня. Может быть, спутывался сначала с писком и щебетанием птиц, а потом уж и выделился, чтобы завладеть вниманием.

Я прислушался и понял, что пищит не одно существо, а сразу несколько и что пищат они где-то очень близко, чуть ли не у моих ног.

Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался еще раз и тут увидел у носка моего, самому мне показавшегося огромным, резинового сапога крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом. В ямке, сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все детеныши.

Детеныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, с кротов, потому что больше походили на

них окраской своих мокреньких шубок. Их копошилось там штук шесть, причем каждый старался занять верх, так что они вслепую все время перемешивались клубочком, попирая и топча наиболее слабеньких.

Яма находилась как раз на границе земли и воды. Но вода продолжала неумолимо подниматься. Она скопилась холодной лужицей на дне убежища, где два слепеньких существа лежали, не двигаясь, то ли захлебнувшись, то ли их затоптали в слепой борьбе за существование их же «братишки» и «сестренки».

Мне захотелось узнать, чьи это детеныши, и я стал оглядываться. Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы удержаться на одном месте (течение сносило ее), глядела на меня своими черными бусинками выхухоль. Встретившись со мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но невидимая связь с коровьим копытцем держала ее, как на нитке. Поэтому поплыла выхухоль не вдаль, а по кругу. Она вернулась к ольховому кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя на одном месте.

Копытце при нормальной высоте воды было далеко от берега. Значит, можно было предположить, что мать, когда вода хлынула в нору, сумела перетащить детенышей на сухое высокое место. Скорее всего копытце было не первым убежищем. Но все предыдущие тоже заливало водой, как залило теплую сухую нору, как зальет через четверть часа и это студеное, с лужицей на дне копытце.

Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что невероятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверька. Это был героизм, это было самопожертвование со стороны матери, но иначе не могло и быть: ведь детеныши кричали так тревожно и так настойчиво!

Я наконец ушел, чтобы не мешать матери делать свое извечное дело — спасать своих детей. Может быть, она перетащит их еще на новое место, и хоть снова начинается дождь, и, в конце концов, вряд ли ее детеныши выйдут целыми из этой передряги, как уж не вышли те двое, что лежат на дне ямки,— живой думает о живом.

Я шел домой. Поддавшись невольной сентиментальности, я думал о том, что у меня тоже есть дети. Я старался вообразить бедствие, которое по масштабу, по не-

ожидаииости, по разгулу и ужасу было бы для нас, как этот паводок для бедной семьи зверушек, когда пришлось бы точно так же тащить детей в одно, в другое, в третье место, а они гибли бы в пути от холода и от борьбы за существование, и кричали бы, и звали бы меня, а я не имел бы возможности к ним приблизиться.

Перебрав все, что подсказывало воображеиие, я остановился на самом страшном, ио и иа самом вероятном, на самом возможном человеческом бедствии. Название ему — война.

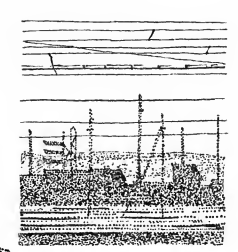
Дождь усиливался с минуты на минуту, он больно сек меня по лицу и рукам. На землю спустилась черная, ненастная ночь. В реке по-прежнему прибывала вода.

В небе, выше дождя, превыше ночной темноты, так, что едва доносился звук, неизвестно куда и неизвестно откуда летели птицы, созданные из огня и металла.

Если бы они и могли теперь взглянуть со своей высоты на землю и на меня, идущего по ией, то я им показался бы куда мельче, куда микроскопичнее, чем полчаса назад казались мие слепые, озябшие детеныши выхухоля, лежащие иа самом краю земли и стихии.



ЗАКАТЫ



В то лето, в те каникулы, мне захотелось пробраться на Украину, в гоголевские и шевченковские места. Дело было вскоре после войны; кто помнит те времена, тот знает, что получить место в поезде было тогда не так-то просто.

Толкаясь на вокзале, я и встретил его, как это раньше говорилось, однокашника, товарища по учению в институте. Мы были с ним не то чтобы друзья, но не было и отчужденности, неприязни и чего-либо такого, что помешало бы нам чувствовать себя друг с другом приятелями.

— Послушай,— сказал он.— Все равно на киевский поезд тебе не сесть двое или трое суток. Хочешь, заедем сначала ко мне в гости? Это, правда, не совсем по дороге, в стороне, но что тебе? Все равно ведь каникулы, и все равно новые для тебя места. А уж из своего города я тебя отправлю в Киев как миленького.

— Да? Но достанешь ли ты билет на свой поезд?

— А вот я и пошел,— сказал он, как бы перед уходом в ночную разведку или, еще вернее, поднимаясь с двумя гранатами, чтобы лечь под гусеницу танка.

Это не я преувеличиваю обстановку, но столько решительного и уверенного в себе, в успехе своего дела, я бы даже сказал, трагической решимости прозвучало в этой короткой фразе: «А вот я и пошел»,— что невольно вспоминалось что-нибудь этакое фронтовое, смертельное.

Толпа перед дверьми вокзала была густа и практически непроницаема. Но он, мой приятель, вошел в нее, как ножик в масло. Минут через двадцать его лысоватая характерная голова мелькала возле самых дверей (в которые никого не пускали), потом двери чудодейственно приоткрылись, и он — единственный из всей толпы! — протиснулся в них.

Это можно было принять за чудо или за галлюцинацию. Но два билета, которые он принес, были отнюдь не волшебными и не бесплотными, а самыми реальными билетами из желтого картона с дырочкой посредине.

Приняли меня в его семье хорошо. Мать, пожилая, рыхлая женщина, врач по специальности, кормила нас помидорами, фаршированным перцем, кабачками, синенькими баклажанами, умело обжаренной курицей. Я чувствовал себя свободно и непринужденно. Правда, немного непривычно было для меня то, что время от времени мать и сын бросались в объятия друг к другу и начинали осыпать друг друга поцелуями, говоря при этом разные ласковые слова. Причем он называл ее «пузик», «мой пузик». Должно быть, это было самое ласковое, самое семейное, самое сыновье, что он мог ей сказать.

Деревенские люди (а я к таковым принадлежу) стесняются ласкать родителей, тем более при посторонних людях, и говорить им ласковые слова. Я не утверждаю, что это хорошо, напротив, надо бы хоть иногда приголубить мать, как она голубила тебя, когда ты был поменьше, поцеловать ее старые, отработавшие руки. Но нет, не сделает этого деревенский человек.

Теперь понимаете, почему я слегка смущался, когда они вдруг садились в обнимку на диване, взглядывали друг на друга взглядами, полными любви и преданности,

а потом чмокали друг друга в губы и щеки, и он говорил ей:

— Ну, пузик мой, ну вот я и приехал. Видишь, какой у тебя сын.

— О мой сын! — восклицала с улыбкой, в свою очередь, мать.— О мой красавец, мой самый храбрый, самый сильный мужчина, ты победишь всех, ты будешь самым первым, ты и теперь талантливее всех остальных!

В общем-то, что же тут особенного? Давно не виделись. Он у матери единственный. Напечатал повесть в столичном журнале, как же им не проявлять своих чувств или стыдиться их проявлений?

Правда, было в этих обнажениях чувств при мне, постороннем человеке, что-то пренебрежительное ко мне, как все равно у римских патрицианок, которые не стеснялись раздеваться перед своими рабами. Но, впрочем, что же это я, это уже явное и нелепое преувеличение, тем более что мать в свободное от кухни и работы время старалась даже занимать меня, задавая разные трудные вопросы: откуда я родом? хороша ли наша деревня? чем я питаюсь там, когда приезжаю на каникулы? есть ли рыночек? какова природа вокруг деревни?

Я отвечал, что природа очень хороша и что особенно хороши в наших местах закаты.

А закаты у нас и правда необыкновенно хороши.

То бывает, что солнце садится за черную тучу, которую не в силах просветить даже оно, само солнце, и делается так, как будто его нет в небе, как будто уже опустилось оно за край горизонта, за зубчатую еловую кайму дальнего леса. Но вдруг, найдя в туче две-три прорехи, ударят тогда в разные стороны ослепительные прожекторы, розовые уж или даже красные, но не менее ослепительные оттого, что красные. Краснота их еще и подчеркнет тревожную темную синеву насквозь пропоротой тучи.

А то бывает почему-то сам закатный край неба так себе, не на что и посмотреть, зато все облака на противоположном краю облиты румянцем, переходящим постепенно в сиреневые, а там и в серые, пепельные тона.

А то вдруг клубятся на горизонте багровые клубы облаков; а то вдруг из-под плоского, как потолок, осеннего серого неба вспышкой магния ударит белая холодная полоса; а то вдруг по чистому небу разбегутся легкие пе-

ристые облачка, как будто падают на землю иевесомые, золотистые перья неведомой сказочной птицы.

Но бывает, коиечно, и совсем чистое небо. Тогда оио делается многоярусным, и иевозможно отметить глазом лииии, где кончается один ярус и начинается другой. Самый ближний к земле багров или малинов, потом точь-в-точь как расплавленное золото, потом синий, как морская синева, потом поднебесная лазурь, потом, ближе к зениту, зелеиая, прозрачная глубина. В зеленой-то глубине и появляются первые, еще при жизни заката звезды.

Я, конечно, ие расписывал подробно наши закаты матери моего приятеля, но помиится, что все же пытался изобразить, чтобы дать хоть намек на их в общем-то не передаваемую словами красоту.

Все бы и шло хорошо, если бы я, выйдя в другую комнату и вовсе не собираясь слушать, что они там говорят, вдруг невольно не услышал следующего разговора.

— Послушай,— спросила у сына мать,— иеужели ои действительно способен чувствовать красоту? Он говорит о закатах так, как будто... Я даже не знаю, что сказать.

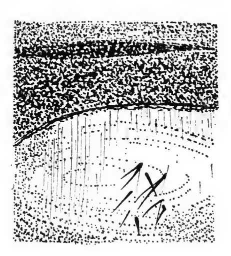
— Ну успокойся, мой пузик, для нас с тобой красивый закат — это неуловимые оттенки, июаисы, гаммы, сочетания цветов. А для него... яркое красное пятно — уже красиво!

Дело было перед завтраком. Я вышел на улицу, купил себе с лотка четыре горячие, пропитаииые маслом котлеты и съел без хлеба на ходу, вытирая пальцы о бумажный кулек...

Я думаю, что мой бывший приятель до сих пор не знает, почему я тогда уехал так неожиданно и в общем-то иеприлично: когда уезжаешь из гостей, надо в любом случае говорить спасибо.



ТАЙНА БЕЗЫМЕННОГО ОЗЕРКА



Я жил возле большого пруда, сделанного людьми посреди сухой, знойной воронежской степи.

Настолько горяча и пыльна была земля, настолько пышно лежала черноземная пыль на дороге, настолько безоблачно было небо, что пруд, когда я впервые пришел к нему из отдаленного села, показался мне чудом. Люди перегородили в этом месте широкую пологую балку, весной в нее с окрестных полей натекла вода, и вот образовался новый мир: вместо полыни и чабреца — сочная осока, стрелолист и кувшинки, вместо кузнечиков — стрекозы, вместо мышей и сусликов — лягушки и рыбы.

Больше чем на километр простерлось зеркало пруда, вдали смотрелась в него крохотная, с наперсток величиной, ветряная мельница.

Все, что нужно было для очерка о рыбном хозяйстве колхоза, я уже записал в блокнот и жил теперь праздно,

в свое удовольствие, целыми днями то жарясь на солнце, то барахтаясь в теплой, слишком даже теплой, стоячей воде.

Я знал, что рыбы в пруду так много, что если бы не подкармливать ее, то жила бы она впроголодь и прибывала бы в весе за лето не на пятьсот граммов, а на каких-нибудь сорок. Мне оставалось удивляться только, почему не стукается об меня рыба, когда я нырял или плавал.

Однажды под вечер к пруду подошел грузовой автомобиль. Из кузова на землю спрыгнул один человек, а из кабины вылез другой. Я знал обоих. Это были сотрудники Воронежской зональной рыбоводческой станции.

Мужчина, выпрыгнувший из кузова, снял очки, чтобы протереть их, отчего лицо его, очень худощавое и длинное, этакое интеллигентное лицо, сделалось как бы покруглее, и он стал похож не на интеллигента-книжника, а на подростка. Это был Юрий Леонидович Никифоров, посвятивший себя изучению планктона, то есть всего того мелкого, микроскопического, что болтается в прудовой воде.

На мой взгляд, внешность этого человека удивительно соответствовала его специальности. Именно такими худощавыми и жидкими я с детства представлял себе разных охотников за бабочками, жучками и прочей мелочью.

Человек, вышедший из кабины, напротив, был тучен. Он начал не с протирания очков, хотя они у него тоже были, а с протирания лба и лысины большим пестрым платком, вынутым из широких парусиновых штанов. Этого человека звали Борис Викторович Андреев, а занимался он проблемами разведения карпа и был горячим сторонником интенсивного метода рыбоводства.

— А, вы все еще тут? — добродушно проговорил он, увидя меня.— Наверное, успели целый том написать о наших карпах?

— Ничего не написал. Да и стоит ли здесь корпеть над бумагой? Лучше это делать в Москве. Кроме того — мало ли что. Может, последний день добавит такой штрих, что на весь материал взглянешь заново.

— Резон, резон,— вступил в разговор худощавый Юрий Леонидович.— Я вот много раз пробовал писать в стенную газету и просто так. Много интересного в голове,

а как за бумагу сядешь, рука сама выводит: «В связи...» — и дальше этого не идет.

Посмеялись.

— А вы зачем так поздно приехали?

Все посмотрели в сторону солнца. Оно, натруженное, как бы даже припухшее, замерло в той самой точке, до которой обычно движется медленно, а после которой быстро падает за горизонт.

— Дело одно есть. Хотите с нами? — предложил Юрий Леонидович.

Старший укоризненно посмотрел на него: дескать, все ты, парень, испортил.

— Ничего,— стал оправдываться Юрий,— корреспондент — человек приезжий, уедет в Москву, и концы в воду! Так что неопасно.

Я ничего не понял из разговора. Однако он меня заинтересовал. Есть какая-то тайна, которую только потому и не опасно открыть мне, что через несколько дней, и видимо навсегда, я покину эти места.

— Ну, так и быть,— согласился Борис Викторович.— Только, чур, не разглашать. Уж раз на то пошло, помогите нам завести бредешок. Втроем быстрее управимся.

Через четверть часа мы разбирали улов. Двух карпов-производителей, случайно попавших в снасть, сразу выпустили. Они были круглые, толстые, похожие на самовары. В каждом было до полпуда. Выпущенные, они не спешили зарыться в глубину и метров шесть шли поверху, так что спинные плавники их резали воду, словно перископы.

Все другие карпики были как на подбор удивительно ровные.

— Гриша! — крикнул Борис Викторович шоферу,— весы давай!

Отобрали сто карпиков и каждого прикинули на весах. Весили карпики от двухсот до двухсот пятидесяти граммов.

— Все в норме. Запустили их в мае сорокаграммовых, а теперь июль. Весят столько, сколько им полагается, дисциплинированные!

— А карасей? — спросил Юрий Леонидович.— Карасей тоже надо бы.

— Сколько их там?

— Десятка полтора наберется.

— Давай всех сюда.

Караси — рыба вольная и анархическая — сильно колебались в весе и росте, от рыбинки величиной с мизинец до густо-золотых красноперых красавцев шириной в ладонь.

Отобрали пяток поровнее, поодинаковее и, завесив, присоединили к ста карпикам, сидевшим уже в бочке. Всю остальную рыбу вытряхнули в пруд. И через минуту на воде остались только обрывки водорослей да одна мертвая рыбка — как-нибудь неудобно прищемили ее, выволакивая снасть на берег.

Бочку с узниками поставили в кузов. Борис Викторович залез в кабину. Мы с Юрием Леонидовичем устроились рядом с бочкой, и машина тронулась.

Между солнцем и землей в это время оставался просвет шириною в два пальца, не более.

Ехали полем, где росло просо, такое густое и плотное, что казалось — ложись на него, и выдержит, не согнется, потом проскочили деревню, потом пошли поля подсолнечника, и, наконец, встретилась лощина, где ничего уже не росло, кроме травы. Машина остановилась.

Борис Викторович вышел из кабины и спросил у Юрия Леонидовича, здесь ли то место.

— Здесь, хорошо помню.

— Тогда снимай бочку. Да отлей воды-то из нее, оставь в обрез, а то нести тяжело будет.

До сих пор я не спрашивал о цели этой поездки, которую рыбоводы окружили такой тайной, хотя и догадывался о ней. Теперь догадки мои подтвердились.

Вдвоем с Юрием Леонидовичем мы понесли бочку вдоль по ложбине, которая становилась все глубже и, наконец, превратилась в овраг.

По ответвлению оврага свернули мы вправо, поднялись на пригорок, с которого начиналась новая ложбинка, и посреди ее... Ну конечно же я был прав: посреди ложбинки, принимая в себя все краски предзакатного неба, неподвижное, как бы даже мертвое, лежало озерко. Оно было шагов двести в ширину и столько же в длину. Та, противоположная нам сторона его густо заросла рогозом. Заросль стояла, как стена, и, кроме того, группами вырывалась на чистый водный простор, образуя живописные островки.

Я — рыбак-поплавочник. Знаю толк в рыбных местах, научился с одного взгляда определять, куда стоит закинуть удочку, а куда не стоит. У меня сердце замирает, когда проходишь мимо такой заводи с нависшими над нею ольховыми деревьями. Над тихой вечерней водой я могу сидеть часами даже и без удочки. Так вот при виде этого озерка, затерянного одиноко в широкой воронежской степи, у меня зачесались ладони. Эх, посидеть бы здесь зорьки две! Небось килограммовые карасищи роются в июле возле камышовых зарослей. И никто их тут не тревожит, они мирно старятся и помирают своей смертью.

— А ты уверен, что здесь нет рыбы? — услышал я сквозь свои мечты голос Бориса Викторовича.

— Вполне. Все нужные исследования мы провели еще в прошлом году. Нынешним летом я тоже сюда наведывался. Ни одного экземпляра здесь нет.

— Тогда к делу.

И Борис Викторович торопливо стал выливать содержимое бочки в озерко.

— Ну вот, привольно им тут будет! — любовно усмехнулся рыбовод, словно выпустил на приволье не карасей да карпиков, а своих собственных детишек.

— Сто единиц на это озерко хорошо: никакой конкуренции, вполне естественное развитие!

— А вы мне так и не рассказали, зачем это делается.

Борис Викторович как бы ожидал этого вопроса.

— Понимаете,— сказал он,— тут сразу несколько целей. Во-первых, и это главное, как интенсивно они будут расти в таких условиях. Второе — каким болезням они могут подвергнуться. Третье — вопросы размножения при отсутствии естественных врагов. В общем, будем наблюдать за этим озерком. Вот только бы никто не пронюхал, а то все пропало,— и он подозрительно посмотрел и на меня, и на шофера Гришу, видимо вполне доверяя лишь своему коллеге.

Солнце между тем успело закатиться, и на землю опустились сумерки. Вода в озере погасла, сделалась черной как деготь. Ни всплеска, ни шороха. Не знаю, кому как, а мне всегда становится хорошо и спокойно, когда посидишь молча над тихой водой.

Есть в молчащей вечерней воде некая очаровывающая таинственность, такая, что даже говорить начина-

ешь шепотом. Может, это все оттого, что некогда, не знаю уж сколько миллионов лет назад, в прогретой стоячей воде зародилась первая живая клеточка.

Но тут была еще и другая, своя маленькая тайна — тайна безымянного озерка. Я живо представил себе, как сейчас осматриваются и обживаются на новом привольном месте карпики и карасики, и мне, как, очевидно, и моим спутникам, было хорошо оттого, что вот разумно вторглись в жизнь земли, изменили это озерко, и теперь у него новая эра в его маленькой истории, и что все это прошло хорошо, никто не знает, не нарушит... Пожалуй, главная-то радость и была в том, что никто не узнает и не нарушит, в том, что у озерка не было тайны, а теперь она появилась, и создали эту тайну мы каких-нибудь десять минут назад.

Вдруг что-то заставило меня оглянуться. На пригорке стоял человек в замасленной одежде: может быть, шофер, может быть, тракторист. Он посмотрел на нас и на порожнюю бочку, видимо все поняв, с легкой самодовольной усмешкой. Потом повернулся и пошел прочь, и мы тоже молча пошли к машине. У всех у нас сделалось дурное настроение, хотя, если разобраться, в сущности, ничего не произошло.

Уже садясь в машину, рыбоводы обменялись словами:

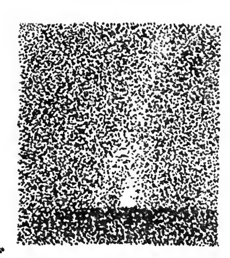
— Шофер он, может быть, дальний чей, случайно проездом?

— Нет, я знаю его, из соседней деревни.

Машина тронулась с места. На безымянное озерко смотрели удивительно яркие звезды.



ЗАКОН НАБАТА



Я вскочил на ноги рывком и пока еще вполне безотчетно преодолевая чугунную тяжесть сна.

В селе звонил набат. Не тот набат, который висел, бывало, на колокольне — двадцать девять пудов двенадцать фунтов. Тот и мертвого поднял бы, не то что пьяного.

Когда сбрасывали, разбивали и в разбитом виде увозили от нас колокола, оставили все же в селе один маленький колокольчик из того набора колокольчиков, в которые Сергей Бакланихин ловко вытрезвонивал камаринскую.

Счастливый колокольчик повесили на столб около пожарницы. Он-то и кричал теперь жалостным голоском, подражая тому, настоящему покойному набату.

Одевался я путано, торопливо, не попадая в перепутавшиеся штанины. А сам все глядел на окна: не крас-

неют ли стекла, не проступают на них, не трепещут ли отблески близкого пожара?

Сообразил еще, что на улице (при непроглядной темноте) жидкая грязь, лужи и трава, налитая вечерним дождем,— не стал надевать носков, выскочил в сандалиях на босу ногу.

В конце села перекликались люди:

— Кто звонил?

— Горит!

— Малый Олепинец.

Набат зазвонил увереннее, тревожнее, тверже: старенькую сторожиху тетю Полю сменил кто-нибудь из подбежавших мужчин.

— За Грыбовых бегите!

— Малый Олепинец горит...

В темноте там и тут слышалось громкое чавканье сапог — по раскисшей грязи бежали люди.

Пробегая мимо столба с колокольчиком (на время перестали звонить), я услышал запыхавшиеся и как бы даже восторженные слова сторожихи:

— Гляжу, вроде краснеется. Вроде деревья на небе проступили. Я на зады. Батюшки мои светы — зарево над Олепинцем! Что делать? В колокол. Руки трясутся. Не выходит по-набатному-то. Спасибо, Виктор Иванович подбежал...

По-настоящему, по-набатному мне привелось слышать несколько раз в детстве. С тех пор и осталось, что ничего уж не может быть тревожнее и страшнее, чем по-настоящему, по-набатному. Правда, случаи оказывались все больше безобидные: например, тревога.

Начинал бить набат, выбегали люди, село наполнялось криками, как при настоящем пожаре (старушки, пока опомнятся, успеют поголосить!), пожарная дружина, составленная из отборных мужиков, начинала действовать.

В поводу гнали лошадей к пожарному сараю. Из широких ворот по бревенчатому покатному настилу выкатывали за оглобли телегу с пожарной машиной, бочку для воды (тоже устроенную на оглоблях), разбирали багры, топоры, лопаты.

Объявлялось, что «горят» Черновы. Вся пожарная оснастка переправлялась к Чернову дому. Раскатывали брезентовые рукава к пруду или колодцу. В своем селе

на руках, не теряя времени на запрягание лошадей, катили телеги с пожарными машинами. Проверка не кончалась на том, чтобы просто подбежать к «горящему» дому. Время замечалось по первой струе, направленной на крышу и на стены: честь для пожарной команды, если вода польется через семь минут после того, как разнесся голос набата.

В жаркую погоду брандспойтщик вильнет струей на толпу, в особенности на баб и мальчишек. Тревога с ее неизбежным ударом по нервам людей разражалась визгом, смехом, весельем. Все переходило на шутку.

Эти своеобразные «маневры» проводились раз по пять за лето, так что все было обработано в тонкости, все в любую минуту было начеку. Ну, правда, и пожары случались чаще.

Позже, перед самым снятием колоколов, когда стали уж нарушаться в селе веками сложившиеся патриархальные порядки, кто-то подговорил Витьку Гафонова понарошку ударить в набат, и он ударил.

Мужики и бабы побросали косы и серпы (стояло жнитво), полумертвые прибежали в село, кое-кто от самого Самойловского леса.

Велик и непреложен закон набата: старый ли ты, усталый ли, занятой ли ты человек — бросай все и беги на зовущий голос.

Этот голос всегда означал только одно: другим людям нужна твоя немедленная, безотлагательная помощь. И бегут с топорами, с лопатами, с ведрами. Кое-кто с вилами — на всякий случай. Неизвестно, что за беда. Не ровен час, пригодятся и вилы.

И поднимается в тебе (несмотря на беду) некое восторженное чувство, что ты не один, что, случись у тебя беда, и для тебя точно так же побегут люди, потому что непреложен и велик закон набата.

Вот и теперь я бегу вроде бы один в темноте, но слышу то справа, то слева тяжелый топот и шумное дыхание. Значит, еще бегут мужики. Бегут напропалую, не выбирая дорог в грязи и во мраке.

Я успеваю подумать, спросить себя, почему все мы бежим не к пожарнице, а за Грыбовых, на зады. Не любоваться же пожаром повскакали мы все с постелей. Ну да, это вот почему. Олепинец близко, какой-нибудь километр за оврагом и буграми — добежим. А около пожар-

ницы хлопочут, наверно, другие люди — дружина. Они небось знают свое дело.

За околицей на луговине собрались в одно место все бежавшие. Не очень-то много народу осталось в селе, мало собралось и здесь. Пять-шесть мужиков, а то все больше бабенки.

Все глядим туда, где в непроглядной разбойничьей черноте мокрой осенней ночи за черным далеким бугром безмолвное, темно-красное стоит зарево.

Было это похоже, как если бы на черной линии земли лежал раскаленный уголек, а от него и в стороны и кверху красное освещение. Временами кто-то дует на уголек, отчего все зарево странно пульсирует.

Иногда желтое сердцевинное пятнышко зарева раскаляется до белизны. В эти секунды краснота растекается еще дальше во все стороны, особенно кверху, подсвечивая нижние, черные лохмотья набрякших осенних облаков.

— Ишь ты, как выбрасывает! — говорят в это время в толпе.

— Сказали, Олепинец. Да рази это Олепинец? Олепинец вон он, за бугром. Если бы Олепинец горел, тут бы не то что... и у нас бы светло было. А это вот что горит... Я вам сейчас скажу... Это горит Волково.

— Полно не дело-то говорить! Волково много правее. А это, я так думаю, Некрасиха.

— Нет, мужики, скорее всего Пасынково.

— Наверно, клеверный стог либо солома.

— Тут, брат, не соломой пахнет. Солома полыхает — и нет.

— Да. Пока тетя Поля увидела, пока бежала до колокола, пока мы все прибежали... Почитай, уж больше часа полыхает. Разве это солома? И не слабеет нисколько.

Некоторое время мы молча смотрим, как пульсирует красное пятно с желтой точкой посредине — единственное светлое пятнышко величиной с копейку в беспредельной осенней черноте.

— А ведь, пожалуй, и правда Некрасиха,— возобновляется ленивый, раздумчивый разговор.

— Пасынково...

— Волково...

— А сказали — Олепинцо. Да Олепинцо-то вот оно, за бугром. Если бы горело Олепинцо...

— А может, это... того, мужики... съездить?

— Съездить можно. Почему не съездить? Да ведь пожарница закрыта. Пожарник в Прокошихе.

Тут и до меня дошла вдруг вся нелепость положения.

— Как так в Прокошихе? — спросил я, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем вместе.

— Очень просто. Василий Барсуков теперь пожарник. Живет в Прокошихе. До нее два с половиной километра. Пока добежишь, да пока он прибежит...

— А если в своем селе пожар?

— И в своем. Все одно и то же. Недавно у Виктора в избе загорелось. Хорошо, ведрами успели залить. Потом уж и машину привезли, а она не качает!

— Как так не качает?

— Очень просто — испортилась. Тык-пык, тык-пык — вода не идет. Василия чуть не избили. Теперь, кажется, наладили.

— А я вот что думаю, мужики: не позвонить ли нам в Ставрово— в райцентр? Они скорее нас доедут. И машины у них лучше. Пусть им хоть и дальше, хоть и пятнадцать километров вместо наших пяти...

— Наверно, черкутинские приехали. От Черкутина до Некрасихи близко.

— Говорят вам: Пасынково горит!

— До Пасынкова им еще ближе...

— Из Черкутина и в район могут позвонить. От них легче дозвониться, чем от нас, из Олепина. От них прямая линия.

Успокоившись окончательно (звонить из Черкутина удобнее, доехать ближе), сосредоточенно глядим на далекий пожар. Но червячок сомнения (хорошо ли мы делаем, что бездействуем?), видимо, гложет совесть каждого. Нужно снова успокаивать червячка.

— Нам по такой грязи не доехать. Два дня лило как из ведра.

— Давно уж горит. Прогорело, наверно, все. Остались одни головешки.

— А ведь, пожалуй, мужики, и правда Некрасиха.

— Мне оказывает, что Некрасиха будет полевее.

— Вот я и говорю, что Волково.

— Пасынково...

Зарево не хотело сбавлять своей хоть и пульсирующей, но равномерной напряженности. Зловещими были именно его безмолвие, его бесшумность, полная тишина.

Наверно, там теперь суета, беготня, крики, вопли... Ничего не долетает сюда, к нам, стоящим на луговине в пяти километрах от пожара. «Тихое, долгое, красное зарево целую ночь над становьем своим...— и некстати и кстати стали вспоминаться любимые, точные слова.— Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар». Какие все-таки самые точные слова! Наверно, пришлось ему глядеть где-нибудь в Шахматове на русские наши пожары. Не может быть, чтобы одно прозренье?..

Вдруг дружно, громко заговорили бабы:

— Мужики, что вы стоите? Чего ждете? Мужики, разве так полагается?

— Давно уж были бы на месте, если бы сразу-то...

— Василий-пожарник, вишь, в Прокошихе... Чай, замок-то можно сшибить ради такого случая?

— Да хоть бы и без пожарных машин, с топорами. Там теперь каждые руки дороги.

— Ишь на что надеются, что прогорело давно, одни головешки остались! А оно все не прогорает. Вон как выкидывает, вон как разъяряется!

— Поезжайте, мужики. Ладно уж вам гадать: Некрасиха, Волково, Пасынково... Подъедете к месту, сразу видно будет — Некрасиха или Пасынково.

— Где это видано, чтобы на пожар глядеть, а не ехать! Рази так полагается?

Молча глядим на пожар. Но настроение от бабьего разговора наметилось к перелому. Нужен был теперь лишь маленький толчок, чтобы все пошло в другую сторону.

Тут в самую решительную секунду на пожаре опять выбросило — пожалуй, даже сильнее всех разов.

— А что, мужики, и правда, не поехать ли нам? Пожалуй, поедем. Что-то большое горит, не прогорает.

— Не проехать в такую грязь.

— Трактор завести. На тракторе...

— Приедешь завтра к вечеру.

— Попробуем на грузовике. Авось...

Через четверть часа (пока сшибали замок с пожарницы) наша колхозная трехтонка по расхлябанной колее, урча, разбрызгивая грязь, повезла нас всех на пожар.

С того времени как тетя Поля ударила в набат, прошло, я думаю, не меньше часу. Все нам казалось, что едем мы зря, больше для очищения совести, нежели для пользы дела. На головешки едем смотреть — упущено главное-то время.

Но зарево разгоралось все ярче. Впрочем, мы ехали теперь в сторону пожара, подъезжая все ближе и ближе к нему.

Как ни странно, машина наша ни разу не завязла. Даже самое гиблое место — против шуновского скотного двора — миновали благополучно. На Куделинской горе поняли, что горит Некрасиха. Само зарево, само пятно скрылось от нас за еловый лесок, но выше елок вздымались искры. Они метались, завивались в жгуты, завихрялись, клубились черно-красными клубами.

Шофер поднажал на газ. Вялое, полусонное, странно окостенелое состояние нашего духа прошло. Мы возбудились и, нетерпеливые, стояли в кузове — все лицом к пожару, готовые на ходу выпрыгнуть из машины, чтобы бежать и действовать.

Еще острее почувствовали мы всю нелепость нашего стояния на луговине, наши бестолковые пререкания, что горит — Пасынково, Некрасиха или Волково. Засмеют нас теперь пожарные дружины, приехавшие раньше нас: «Глядите, мол, люди добрые, олепинские пожаловали! К шапошному разбору. К головешкам. Пустите их вперед головешки заливать. Как раз по ним эта работа!»

От пожарища (горели сразу две избы) навстречу нашей машине (уж не бить ли?) бросились люди. Бабы завопили, причитая:

— Славу богу! Родимые... приехали!.. Выручайте, люди добрые! Приехали... Слава богу!

Обстановку оценить было нетрудно: мы — единственная реальная сила на пожаре. Кругом женщины. Один дом действительно уже догорал. И крыша и стены обвалились. Образовался чудовищный костер, к которому нельзя было подойти ближе чем на тридцать шагов — трещали волосы.

Второй дом (загоревшийся, значит, от первого) полыхал что есть мочи. Спасти его было невозможно. Да нечего уж и спасать: стропила вот-вот рухнут, из окон с гуденьем вырываются длинные мятущиеся клочья огня.

Надо было спасать третий дом, который еще не заго-

релся (полчаса назад в таком положении был второй дом), но весь раскалился от близкого огня и готов вспыхнуть в любую секунду. Народу в Некрасихе — два с половиной человека. Бабы таскали ведрами воду, чтобы поливать приготовившийся к вспышке дом, но жара мешала подбежать вплотную. А если кто и подбегал, то выплескивал воду торопливо, отвернувшись, обливая завалинку, не доставая до верхних рядов бревен, а тем более до крыши. Там-то, наверху, и было горячее всего.

— Родимые, выручайте христа ради, сейчас ведь примется!

А к нему и еще дом впритык. Но подгонять нас было не нужно.

Что-то проснулось в наших олепинских мужиках, и холодок восторга от своей же дружности и слаженности приятно пробежал у меня по спине.

Медный, хоть и давно не чищеный брандспойт в моих руках (так уж получилось в горячке) вдруг вздрогнул, дернулся, едва не вырвавшись из рук. Сильно щелкнуло, хлопнуло на его конце (как если бы вылетела пробка), и белесая струя воды ударила кверху, в черно-красное небо.

В следующую секунду я оправился от неожиданного резкого удара воды и перевел струю на крышу и стены.

От бревен и от железной крыши повалил пар. Значит, в самое время пришла вода! Еще пять — десять минут — и новая пища огню, новая пища зареву, если глядеть на пожар издали.

А мы все стояли бы там, на олепинской луговине, лениво рассуждали бы между собой:

«Что-то долго не прогорает...»

«А пожалуй, мужики, и правда Некрасиха...»

«Нет, Некрасиха будет гораздо полевее...»

И опять глядели бы со стороны на тихое, долгое, красное зарево...



МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ



Как ни старался я приехать засветло к тому месту на шоссе, от которого нужно поворачивать направо, ночь застала меня в пути.

Во время долгой езды по шоссе (сначала по бетону, а потом по булыжнику) я утешал себя, успокаивал, что не может быть... не такое уж ненастье... проеду. И вообще, когда едешь по широкому бетону, кажется — в мире не бывает непроезжих дорог. Правда, иногда вдруг заденешь краешком глаза, увидишь, как от бетона в лес узкой полоской тянется водянистое месиво, глубокие, заплывшие глинистой жижей колеи. На мгновение сожмется сердце, как перед несчастьем, но летящий навстречу бетон мигом развеет дурное предчувствие. И мелькнувшая лесная дорога словно приснилась, словно померещилась от слезинки в глазу.

Два пучка света. выбрасываемые вперед моим «газиком», то совсем упирались в дорогу, когда попадалась

выбоина, то прыскали к облакам. Они стали представляться мне умными живыми щупальцами, которые автомобиль — тоже живое существо — выпускает, чтобы ощупывать, изучать дорогу.

Вот щупальца замешкались, поползли вправо, совсем соскользнули с каменной полосы, обшарили мокрую траву, канаву, чахлый кустик, жирные пласты пашни и недоуменно замерли на бестрепетной водной глади. Поворот.

Водная гладь сама по себе не очень пугала меня. Бывает, лучше глубокая и широкая лужа с твердым, укатанным дном, чем безобидное на вид место, где колеса с каждым поворотом все глубже лезут в плотную засасывающую трясину. А вообще-то самое страшное — глубокая колея. Пока «газик» (или «лазик», как мы его зовем) стоит на своих четырех колесах, все еще есть надежда выкарабкаться из самой непролазной грязи. Но бывает, садится он на грунт своим низом, животом («дифером», говорят шоферы) — тогда дело плохо. Колеса теперь могут вертеться сколько им вздумается, как у паровоза, приподнятого от рельсов.

Лужи, полные воды, я приноровился проскакивать с разгона и, проскочив их больше десяти, почувствовал даже некоторый задор, этакую неосторожную удаль. Между лужами мотор рычал надсадно, стонал. Каждое колесо, чтобы продвинуться хоть на один оборот, сначала крутилось вхолостую, прокручивалось в липкой грязи.

В одном месте лужа показалась мне слишком глубокой, а вправо вроде бы уходил следок объезда. Я и свернул на этот следок. Метра три машина протащилась с разгона, а потом задрожала, засвиристела на одном месте. Скорее я переключился на задний ход и прибавил газу. «Газик» дернулся назад, но опять задрожал на месте. При этом слышно было, как он резко осел вниз. Судорожно я двинул вперед рычаг демультипликатора. Это приспособление резко увеличивает силу автомобиля, и на него теперь была последняя надежда. Мотор заревел еще надсаднее, но «газик» даже не дернулся хотя бы на сантиметрик, только еще глубже и прочнее осел. Каждый раз, когда я переключал ход то с заднего на передний, то с переднего на задний, пытаясь раскачать машину, автомобиль вздрагивал на одном месте, не в состоянии дернуться и продвинуться ни вперед, ни назад.

Я выключил мотор, фары и вышел на крыло, чтобы осмотреть.

Влажная беззвучная темнота окружила меня. С крыла машины капало. Два раза звучно шлепнулась отлипшая грязь.

Первым делом я стал прислушиваться, не работает ли поблизости трактор. Теперешнюю нашу ночь нельзя представить без того, чтобы не тарахтел вдали тракторный мотор. Обычно во время вечерних прогулок, во время любимого тихого сидения на пустынном холме даже досадно немного на то, что нельзя остаться вовсе в полном ночном безмолвии: либо трактор в отдалении, либо радиовещание из соседнего села. Сейчас рокотание трактора показалось бы мне слаще самой светлой музыки.

Но тихо было вокруг. Поздняя осень. Ночная осенняя пора. Темные ветреные ночи, поздние мглистые утра, серенькие, моросящие деньки. Мокнущая солома на полях, полупрозрачные леса. А главное — очень уж темно по ночам, темно, сыро и ветрено. Пожалуй, в такую осеннюю ночь теплая изба и теплая постель покажутся уютнее, чем даже в зимнюю морозную пору.

С фонариком я оглядел машину со всех сторон. Сидела она прочно, всем животом и передней и задней осями. До дороги, с которой я так легковерно свернул, карабкаться метра четыре, не меньше. Значит, нужно лопатой выбирать всю землю из-под автомобиля, чтобы он опять встал на колеса; затем нужно вырыть отлогий путь к твердой (уж стала твердой казаться расхлябанная колея!) дороге; затем нужно под колеса накидать либо веток, либо дров, либо камней — что окажется поблизости. Затем хорошо, если бы кто-нибудь подтолкнул сзади...

Плохо ездить в дороге одному! Вдвоем, тем более в компании, все переходит в шутку. Посмеялись бы над бедой и взялись бы дружно за дело. Вдвоем и то уж легче. И словом перекинешься, и работу сделаешь в два раза быстрее. Предстояло ведь именно работать. Кроме того, двое могут сделать то, что одному сделать совсем не под силу. Очень плохо в дороге одному!..

Пришлось зажечь подфарники, чтобы подсветило на те места, где выбирать землю лопатой. Сначала я остерегался грязи, старался не зачерпнуть воды или грязи в туфли, но оступился раз, оступился другой — и стало все

равно. Брюки я закатал выше колен. Впрочем, они все время сползали, раскатывались. Я и на них перестал обращать внимание.

Выбирать землю из-под брюха автомобиля было неудобно: лопата соскальзывала, лязгала по металлу. Земля утрамбовалась весом машины, лопата в нее никак не лезла, хоть плачь!

Остановившись отдышаться, снова стал слушать ночь и услышал впереди по дороге сочное, мокрое чмоканье. Кому-то еще не сидится дома в такую пору. Но ему что, если он пешком,— на дифер не сядет. Я дернул за рычажок фар и ударил вдаль таким ярким светом, что идущий по дороге человек от неожиданности заслонился рукой и даже отвернулся. Я снова погасил свет и стал поджидать прохожего.

Прохожий был в брезентовом плаще и кепке. На ногах резиновые сапоги. В руках можжевеловая палка. Он не собирался останавливаться около меня, но мне пропустить его показалось невозможным. Единственная живая душа в этой ночи, в этом моем одиночестве! Как же так, не поговорить с человеком, не отвести душу! А ему неужели не интересно, почему я здесь торчу, кто я, откуда? Может быть, мне нужна человеческая помощь? Именно насчет помощи — то... Неужели можно пройти не осведомясь?

Но нет, я со своей бедой не вызывал никакого интереса, никакой хотя бы праздной любознательности прохожего с можжевеловой палкой. Мало ли застревает машин на наших дорогах!

— Завяз вот,— сказал я, вроде бы и не обращаясь к прохожему, но все же в тот самый момент, когда он поравнялся с моей машиной.

— Что делать, грязь.

— Как что делать? Дороги.

— Так и будешь сидеть, пока дорогу к тебе подведут?

Прохожему было сорок лет, не больше. Да еще нужно прикинуть лет пять на то, что не брит. Задав свой шутливый вопрос, он остановился и повернулся ко мне лицом.

— Куда бы за трактором сходить?

— Здесь поблизости некуда. В бригадах сейчас ни одного трактора. А если во «Власть Советов» — километров восемь. Да и какой трактор за семь верст киселя хлебать

поедет!.. Мне вот, правда, торопиться некуда. Хошь, помогу?

— То есть как?..

— Ну как? Где подкопаем, где подложим. Не может быть, чтобы не вытащили. Она сама-то исправна?

— Сама как часы. Я буду очень рад, если вы... Я не ожидал, разумеется...

— Ты не думай, что я без корысти. Трояк за работу: чтобы на бутылку и на бутерброд.

Не то чтобы жалко было трех рублей — отдашь и десять. Но очень уж откровенная корысть неприятно резанула меня. Я ответил так, как никогда не ожидал бы от себя в такую минуту:

— Не надо. Я как-нибудь один. Подожду.

— Ну валяй!

И, усмехнувшись еще раз, теперь уж на прощание, он зашлепал по грязи своими резиновыми сапогами.

Хм, «подожду»! А чего, спрашивается, ждать? Дурак я, дурак!.. Зачем отказался от подмоги? Может, и правда вытащили бы?

Некоторое время я с остервенением (от злости на себя) рыл землю. Но было ясно, что как только я попытаюсь тронуть машину, так она и увязнет опять, и все мое выкапывание пойдет насмарку.

Между тем лесок, который я недавно проехал (какой там лесок — осиновые кустики!), до сих пор сливавшийся с чернотой ночи, так что его нельзя было и заподозрить, начал смутно проступать, потому что сзади него пожелтело и засветилось. Вокруг леска образовалось слабенькое сияньице. Потом пошли в небо, вроде как прожекторы, вздрагивающие, трепетные пучки света.

Оказывается, вот чего нужно было ждать: чтобы засветился осиновый лесок! Через пятнадцать минут грузовик поравнялся с местом моего одинокого сидения.

Наверно, и сам остановился бы грузовик, но я для верности вышел на дорогу и посемафорил рукой, прося ли, требуя ли остановиться.

— На кой тебя сюда понесло? — заругался шофер вместо приветствия.— Ехал бы по дороге.

— Думал, как лучше объехать лужу.

— Петух думал — в горшок попал... Дернуть, что ли?

— Ну а как же, конечно, дернуть. Век буду благодарить.

— Ладно. На бутылку дашь.

Шофер захлопнул дверцу и поехал вперед, чтобы встать поудобнее для выдергивания.

«Дались им сегодня эти бутылки! — думал я.— Тот — на бутылку с бутербродом. Теперь и этот — на бутылку. А ведь какую мерку выработали: не сто граммов, не стакан — бутылка! Должно быть, сказывается повышенный уровень благосостояния, повседневно растущие потребности».

Я не стал уж спорить: бутылка так бутылка! Лишь бы ехать, а не сидеть в луже.

Когда шофер подошел к моим подфарникам зацепить трос, я разглядел его. Здоровенный рыжеволосый детинище. Стандартная стеганка коротка ему. Наверно, неудобно лазить в карманы — приходится высоко задирать локти. Впрочем, стеганка расстегнута, клетчатая рубаха тоже, голенища резиновых сапог загнуты. От этого ноги кажутся еще длинней. А сам он весь как восклицательный знак: чем выше, тем шире и здоровее.

Силой и уверенностью повеяло от рыжего богатыря. Не было бы ничего чудного, если бы он потянул за трос да сам же и вытащил мою машину на твердое место.

Разглядел я и его грузовичок. Это была вконец обветшалая, побывавшая, должно быть, не в одном капитальном ремонте, чуть ли не довоенного выпуска полуторка. Ладно, что борта кузова перекосились и выкрошились, ладно, что вся она похожа на консервную банку, которую мальчишки гоняют вместо футбольного мяча,— очень уж гладка и ненадежна была резина. Вот что смутило меня в первую очередь. Такие колеса без единой зазубринки шоферы зовут лысыми. Казалось, камеры просвечивают сквозь стесавшиеся, утончившиеся покрышки.

Я сел за руль, чтобы помочь грузовику мотором. В ярком свете фар мне видно было, как лысые колеса, словно в масле, беспрепятственно крутятся на осклизлой земле, бросая в мои фары, в мое ветровое стекло мелкую, как дождь, и такую же частую грязь.

Покрутившись на одном месте с невероятной, почти пропеллерной быстротой, лысые колеса остановились. Хлопнула дверца грузовика. Сейчас детина подойдет, отвяжет трос и уедет, оставив меня ждать какой-нибудь новой оказии. И точно, детина подошел, присел на корточки и стал глядеть под мою машину.

— Засосало по выхлопную трубу. На моем драндулете не вытащишь.

И замолчал. Снова высматривает что-то там, под машиной. В эту минуту молчания каждый из нас думал посвоему. Я думал о парне, что он сейчас бросит меня и уедет, что он решил уезжать, но сразу как-то неудобно. Молчит, набирается духу.

— Да, не вытащишь,— обобщил парень свое разглядывание под брюхом машины.— Засосало. Давай сначала подкопаем, накидаем под колеса камней и веток, а тогда уж и дернем.

В грузовике нашлась еще одна лопата. В две лопаты с двух сторон дружно мы начали копать землю. Я заметил, что лопата парня не ищет, где помягче, а лезет под дифер в самые жесткие, в самые трудные места.

«Кряк, кряк! Дзень, дзень! Кхы, кхы! Шлеп, шлеп! Чмок, чмок!»

— А, гадство! У нас узнаешь, как не даваться!

«Шлеп, шлеп!»

— Глубже бери, все равно осядет.

«Чмок, чмок!»

— И когда это будут у нас дороги?

«Кряк, кряк!»

— Сам-то откуда?

— Колхоз «Власть Советов».

«Кхы, кхы!»

— А зовут как?

«Буль, буль!»

— Серегой... Глина, черт ее дери! Из-под каждого колеса надо полкубометра выбрать.

«Шмяк, шмяк!»

— У нас — не у тетки Пелагеи: за столом не фукнешь.

«Чмок! Трах!» Серега распрямился, держа в руках обломок черенка лопаты.

— Перестарался маленечко.

— Ладно, мою возьмешь.

— Чепуха! Завтра насажу — будет лучше новой! Перекурим? А то разогрелся я. Видишь, лопата не выдержала. Надо немного охолодать. Я, когда разгорячусь, про силу забываю, хоть в работе, хоть с бабой...

— Женаты?

— Третий год. Девочка народилась. Настя.

— Какое хорошее имя!

— Неуж плохое? По матери. Да вот незадача у меня.

— По работе?

— Не то чтобы по работе, но и не в дому. Видишь ли, я, конечно, могу открыться. Все от своей же глупости. Председатель наш, да завхоз, да агроном, да еще там два бригадира выпили после работы и подрались. Что у них там произошло, не знаю. Завхозу поломали два ребра. Отвезли завхоза в больницу. Ну а я возьми да и повесь на магазине бюллетень.

— Какой бюллетень?

— О состоянии здоровья.

— Непонятно... Что же было в том бюллетене?

— Конечно, мне бы не сочинить. Но я нашел старую газету и списал оттуда. Немножко добавил от себя. Пишу: «Бюллетень о состоянии здоровья завхоза Никитина. Пульс такой-то, дыхание такое-то, поломаны два ребра. Сердечная деятельность...» — и так далее. Кнопками приколол к магазину. Оказывается, шум. Приехали из района, не знают, как расценить. Стенная печать? Не подходит. Стали расценивать как листовку. Понимаешь, чем тут запахло?..

— На вид-то вы вроде смирный.

— Нет, я озорник. От этого я не отказываюсь. Но все же, какой я враг? Какой я, к примеру, политический преступник? Не враг же я? Неужели могут за врага сочесть?

— Я думаю, обойдется. Там люди неглупые. Очень даже неглупые. Разберутся что к чему. Главное тут — чувство юмора.

— Ну да! Я — чтобы посмеяться, а они — всерьез. Однако давай работать. Хорошо, что у меня запасная лопата есть.

«Шмяк, шмяк! Чмок, чмок. Кхы, кхы!»

— Ты, пожалуй, бросай лопату да иди на поиски. Камни, бревна, доски — все неси сюда.

«Шлеп, шлеп! Кряк, кряк!»

— Эх, сударушка, земля-матушка, сколько же тебя перекопано!

«Кха, кха! Трах!»

— Тьфу! Так-перетак, что за черенки пошли! Эдак-переэдак, нельзя дотронуться, он уже перелетает!

— Кто насаживал?

— Сам же и насаживал.

— Ты уж ставил бы себе дубовые черенки.

Я отдал Сереге последнюю из наших трех лопат, а сам с фонариком пошел на поиски. Недалеко от дороги среди перепаханного поля островком обнаружилась куча прошлогоднего льна, который выдергать-то выдергали, но почему-то не увезли с поля. Я набрал охапку слепившихся, шибающих прелью, тяжелых от прели снопиков.

— Хорош! Вали по целой охапке под каждое колесо. Да не так, а поперек.

Серега стал поправлять снопики, брошенные мною как попало, укладывать их рядочком один к одному поперек колеи. Работа наша спорилась. И чем больше и лучше она спорилась, тем больше я смущался предстоящей расплатой с парнем.

— Под мои колеса тоже по охапке положь. А я еще подкопаю для гарантии.

Сколько он времени потерял из-за меня! Даже неудобно теперь давать ему трешницу. Пожалуй, надо добавить рублик... Одно дело — просто дернуть и вытащить, а другое дело — потерять целый вечер.

— Все-таки надо бы и камней. Помнится, недалеко отсюда лежала кучка булыжнику. Еще до войны собирались мостить. С тех пор осталось. Пойдем сходим.

Мы пошли за булыжником.

Конечно, теперь он работает не ради этой самой непременной бутылки. А просто потому, что начато дело и нужно его закончить. Тут и самолюбие, и... ну, может быть, не самодисциплина, а нечто врожденное, перешедшее от деда и прадеда, ну... порядочность, что ли. А главное, пожалуй, все-таки азарт. Во всяком деле должен быть азарт, а иначе не сделаешь никакого, самого пустякового дела. И порядочность тоже. Стихийная, врожденная порядочность. Почти инстинкт.

Давно бы он плюнул не только на одну — и на три бутылки. Не похож ведь на сквалыгу, на жадину, готового надорваться из-за лишнего полтинника.

— Вот и булыжник. Давай, знаешь что... давай в мою стеганку. Ты понесешь за рукава, а я понесу за полы. Как носилки. В руках-то мы много ли?.. По три камня, больше не унесем.

Грязный, мокрый булыжник мы стали укладывать на исподнюю сторону стеганки.

— Хватит! Не донести.

— Клади, пока рукава не затрещат.
— Как черенки у лопат?
— Не говори... Раз-два — взяли!

Теперь надо было держать марку. Если он идет хоть бы что, нельзя мне останавливаться через каждые пять шагов, просить отдыха. А он идет да еще и разговаривает:

— А Маруся, моя жена то есть, спать ни за что не ляжет, пока я не приеду. Сидит и ждет. Приеду, тогда уж вместе.

— Значит, любит.

— Почему же меня не любить? — искренне удивился Серега.— Вали сначала все в одну кучу, будем раскладывать.

Говорят, что лучше всего сближает людей дорога. Но это неверно. Не дорога, а работа, делание одного и того же дела — вот что сближает людей по-настоящему и наверняка.

— Она что же, под стать тебе, рослая, Маруся?

— Что ты! Я ее на плечо посажу и унесу хоть на край света. Дробненькая — одни глазищи по чайному блюдечку. Ну, правда, верткая, поворотливая то есть, и по хозяйству, и в поле, и так... Очень она переживает за мою дурацкую неприятность.

— Обойдется.

— А Настя уродилась три кило шестьсот. Наверно, значит, в меня... Под заднее колесо вон тот плоский камень подложи. Да заткни его покрепче. Не так. Вот как надо его заткнуть. Теперь хорошо. Теперь давай пробовать. Экзамен нашему труду... Пожалуй, попробуем без твоего мотора. А то она опять вниз полезет. И давай так: ты садись за мою баранку, а я твою машину сзади подтолкну. Ничего, так будет вернее.

Через три минуты обе машины — и его и моя — стояли на главной колее. Это тоже был не асфальт, и, может быть, скоро опять сидеть в грязи. Но пока мы выиграли у дороги наше маленькое сражение.

— Ну вот, а ты говорил! — Серега надел на себя стеганку, отряхнув ее от земли, убрал трос и поломанные лопаты в кузов.— А ты говорил: «Не вылезем!» Кто сильнее: человек или дорога?

Давясь словами и покраснев (хорошо, что в темноте), я промямлил, протягивая Сереге бумажку:

— Вот!.. Как договорились. Уговор дороже денег. (В последний момент и четырех рублей мне показалось мало, и я присоединил еще один мятый рубль.) Вот! Без вас мне бы никак...

— Ладно! Не возьму. Вместе работали. Убери. А здорово мы ее, а? Одной земли кубометр вынули. Да покрышечные работы, мощение камнем на участке в четыре метра... Слушай-ка, давай заедем ко мне? Марусю поглядишь, Настеньку... Ты не думай, бутылка у меня найдется. Яблоки моченые с прошлого года держатся. У меня ведь погреб. Спрыснем такое дело, а?

Я ехал вслед за грузовиком и думал, как неожиданно может раскрыться всякий человек, какими неожиданными гранями может он вдруг сверкнуть, если жизнь повернет его так и эдак.

А может быть, и тот прохожий с можжевеловой палкой, рядившийся за три рубля, может, и он, в конце концов, позвал бы меня есть моченые яблоки?



ВАРВАРА ИВАНОВНА



Мы сидели за столом и разговаривали. Все уж было выпито и съедено. Теперь оставались на столе пустые стопки, пустая сковорода из-под яичницы, тарелка с остатком зеленого лука и тарелка с хлебом.

За столом кроме меня сидели бывший секретарь нашего райкома (еще до укрупнения), а теперь областной работник Кудряшов, новый секретарь райкома (по-теперешнему — парткома) Григорьев, председатель сельсовета Борисов и директор РТС Леонид Константинович Коровин.

Я признаюсь вам чистосердечно, что первые три фамилии я выдумал, чтобы не было лишнего разговора: де выпили по сто граммов под яичницу, а Леонида Константиновича Коровина засекретить никак не могу, потому что он-то и рассказал нам маленькую, но знаменательную историю, которую хочется передать людям.

И ведь как рассказал! Словно профессиональный литератор. Ничего лишнего, только одни главные детали, как будто пересказал содержание своего, написанного уже им рассказа.

А то что выпили по сто граммов под яичницу, так ведь перед этим целый день мотались на двух «газиках» по колхозным полям, по бригадам: где появились всходы, где нет всходов — весна небывало трудная: с середины апреля установилась летняя тридцатиградусная жара.

А тут еще новый председатель колхоза (поставили председателем молодого зоотехника, 1937 года рождения) наломал дров первоначальным административным рвением. В целях укрепления дисциплины порешили на правлении отрезать усадьбы у тех, кто не работает в колхозе. У злостных лодырей или там подрабатывающих на стороне оно бы и ладно, а то, как часто у нас бывает, перехватили.

Например, дед да баба дожнвают свой век в покосившейся избушке. Они, пока могли, до последней возможности ходили на колхозную работу — теперь же больше не в силах. Перевалило за восьмой десяток! Всему есть предел. Ну, сидели бы себе на завалинке да копались бы в своем садишке-огородишке. Небольшой залог, расцветающий в мае купальницами, а в июне — раковыми шейками да ромашками, картофельник за залогом. Оно, правда, за восемьдесят, оно, может, и скоро помирать, но хоть и два года, а жить надо. Нужны старикам и залог, и картофельник, и садишко с огородиком. Тем более что пенсия в колхозе не полагается.

И вдруг выходит решение: отобрать половину усадьбы.

— Да как же так, люди добрые? Уж на кончике-то, за огородом посеяли мы горстку овсеца, чтобы было что курам дать.

Куда там — не приняли во внимание! Так с посеянным и отчекрыжили. Даже истраченных семян не догадались вернуть. Вот оно что значит молодо-зелено!..

Или другой случай. Человек-то всю жизнь в Москве прожил, уехал еще в революцию, а не то что злостный беглец из колхоза. Работал в Москве на заводе, отдавал, можно сказать, народу свои силы и уменье. Во время отпуска каждый год — в деревню, где дом у реки и тоже садик за домом.

Выйдя на пенсию, и вовсе уехал на вольные воздуха. Садик между тем получился аккуратный, обихоженный, чистый, грамотный. Не такой, чтобы на продажу, а именно такой, чтобы для своего удовольствия. Сказано ведь великим писателем: пусть каждый посадит на земле хоть бы одно деревце. Пенсионеру и сам бог велел ковыряться в земле и ухаживать за садом.

И вдруг выходит решение: всю усадьбу московского пенсионера вместе с выращенным садом отобрать. Как у нас говорят: отрезать по углы. То есть оставить только ту землю, что находится под домом.

Молодой председатель колхоза ломает дрова — руководителям района в этих «дровах» разбираться. Удивительно ли, что к пяти часам, наездившись по жаре по пыльным полевым дорогам, мы проголодались, и яичница с салом оказалась кстати.

Разговор постепенно перешел на тему прямо-таки философскую. А именно обсуждали, не помню уж в связи с чем, где границы человеческой, допустим, силы или выносливости и может ли человек сам знать эти границы или существуют некие скрытые резервы, о которых нельзя и подозревать, но которые вдруг включаются в дело и все дело вывозят на гору.

Посыпались разные интересные случаи.

— А как же, бывало, на войне (шли из окружения), кажется, еще километр — и смерть. И шагу больше не ступить. Иссякли резервы организма. А немец как шуганет — и еще километров сорок, да почти бегом... Вот и загадка.

Мне вспомнился феноменальный и очень показательный в этом смысле случай, рассказанный бывшим флотским Мишей Горденко.

У них на эсминце на палубе у глубинной мины вдруг сработал взрывной механизм. Два матроса слышали щелчок и, твердо зная, через сколько секунд последует взрыв, подхватили мину, перекатили через леера и — за борт! Ухнуло за кормой, когда эсминец уж пронесся мимо. Но гвоздь-то в том, что после, в спокойной обстановке, те же матросы не могли мину приподнять от палубы хотя бы на сантиметр, не то что перебросить через леера. Откуда же взялись силы в нужную роковую секунду?

— Это что! — заговорил вдруг Леонид Константинович Коровин.— Все эти ваши рассказы — пустяки! Вот я

знаю случай...— И он рассказал следующее: — Я проверял работу одного колхоза в селе... (Он назвал село километров за двадцать от нашего.) После всевозможной канители, как вот и сегодня, пошли к бригадиру перекусить.

Бригадиром была женщина лет сорока, по имени Татьяна Сергеевна. Дом у нее справный, три окна по улице, перед окном в палисаднике жасмин, как все равно корзина с цветами. Правда, видно, что давно уж до этого жасмина руки не доходят. Сами знаете, что-нибудь одно: либо бригадировать в колхозе, либо цветы.

А вдова. Прошлый год похоронила мужа. Я уж и не помню, правду сказать, отчего он умер, то есть от какой болезни. Как будто от язвы желудка. А может, и не от язвы: врать не буду, и к делу не относится. Факт тот, что вдова.

В передней горнице просторно, прибрано, половички в разных направлениях, цветы в кадушках, ситцевые занавесочки, на образах вышитые полотенца и красные лампадки перед образами.

«Ты это зачем? — напустились мы на нее.— Член правления, член партии, как не стыдно!»

Татьяна Сергеевна показала глазами за тесовую перегородку и говорит, сходя почти на шепот:

«Мама помирает. Просила затеплить. Вчера соборовали».

Я заглянул за перегородку и увидел на кровати старуху, лежащую вытянуто и прямо, как лежат покойники на столе. Даже руки сложены на груди, как у готовой покойницы. Да она с лица и была уже готовая покойница: кожа желтая, щеки ввалились, губы натянуло до синевы, нос востренький, надбровные дуги выступили и прояснились. Про руки говорить нечего: воск и воск. И этот, знаете, серый, пепельный налет на лице. То есть нынче или завтра конец. Недаром же попросила, чтобы соборовали...

«Да, отработала Варвара Ивановна свое,— возвестил я, выходя из-за перегородки к столу.— Сколько ей? Чай, за восемьдесят?»

«Восемьдесят шестой,— подтвердила Татьяна Сергеевна.— Да уж, конечно, отработала. Во-первых, вырастила семерых детей. Две дочери на чужой стороне замужем. Четырех сыновей убило в немецкую войну. Один вот

недавно умер (это, значит, про своего мужа). Да после убитых сыновей детишки остались — их надо было на ноги поднять. Теперь кто где: и во Владимире, на тракторном заводе, и в Москве один, инженером. Выросли — и глаз не кажут. Отрезанные куски...

А вы думаете, такая чистота в доме от меня? Да когда мне, колхозному бригадиру, за чистотой в доме следить! От зари до зари на ногах да на нервах. Так что и чистота в доме — все от нее. Да трое моих ребятишек. Младшему — два с половиной, старшему — шесть. А куда денешься, жизнь...

Четвертого дня слегла. Сразу как-то перелом произошел. Три дня — и готово. Догорает, как свеча. Вот вы меня ругаете, почему я допустила лампаду и соборование. А как я могла не допустить, если это за все ее восемьдесят пять лет последняя и единственная воля, последнее на земле живое желание? Нет, уж мы — одно, а старики — другое. Пусть уходят, как им кажется лучше. Как им, с их темной точки зрения кажется по-людски, по-человечески».

Тут мы заметили, что говорим о Варваре Ивановне как о совсем умершей, а она ведь пока жива. И, может быть, даже слышит наш громкий разговор, только вставить уж ничего не может. Мы спохватились, стали говорить тише, а потом и вовсе переменили тему разговора.

Пока ужинали яичницей, побывали в горнице и трое ребятишек Татьяны Сергеевны. Старший, Сережа,— шестилетний сероглазый мальчик с соломенными волосенками— был уж приучен поздороваться с посторонними людьми. Четырехлетняя Маша в продувной рубашонке, круглолицая, розовощекая крепышка, вся перепачкалась в киселе из смородины. Вовочка, по третьему году, тотчас вскарабкался к матери на колени и пальцем стал показывать на еду. Все босенькие, но незапущенные. Видно, что были в хороших женских руках. А если и подзапустились самую малость, так разве за последние четыре дня.

Бригадира мы должны были вызвать в район на совещание. Но, видя, что у нее в доме почти покойник, сказали, чтобы она уж не ездила. Хлопот будет много: и гроб, и могила, и поминки, по деревенскому обычаю. И переживание: хоть и старый, отживший свое человек, а жаль...

На другой день совещались мы в райкоме, как вдруг секретарша вызывает меня к телефону. Звонят из колхоза, где мы вчера ели яичницу: бригадира Татьяну Сергеевну вечером убило наповал куском облицовки, отлетевшим от силосорезки. Надо ехать на место, разбирать. Да и как было не поехать! Потрясло и не укладывалось в голове, чтобы наша Татьяна Сергеевна, видная, сорокалетняя, сильная и выносливая, словно лошадь,— и вдруг мертва. Можно сказать, лучший бригадир в нашей зоне.

Захватил врача, поехал в колхоз «Победа». Силосная яма у них на въезде в село, так что мы сразу и увидели происшедшее.

Впрочем, что мы увидели? Лежит поверх изрубленной на силос кукурузы наша Татьяна Сергеевна. В стеганке, в мужских кожаных сапогах. Лежит ничком, лицо подвернуло на сторону. Висок пробит железным осколком. Руки в земле, как полагается бригадиру. Глядеть, собственно, нечего. Уж целую ночь пролежала здесь, на силосе. Положили в кузов, чтобы отвезти в больницу на вскрытие.

Надо бы и мне возвращаться в район, но вдруг встала перед глазами вчерашняя картина: старуха, почти покойница, и трое ребятишек мал мала меньше.

«Они-то как? Они-то как?!» — пронзила меня неожиданная мысль. Пустая изба. Покойница и трое ребятишек. Воображение почему-то твердо подсказывало мне, что уж обязательно покойница и трое сироток вокруг мертвой бабки. А может, залезли со страху под лавку, под стол и сидят.

Я завел свой «газик» и на третьей скорости — в село, в дальний конец села, где стоит желтый дом с тремя окнами по улице и с копной одичавшего жасмина в стареньком палисаднике.

Затормозил. Взбегаю на крыльцо — и чуть не обмер с испугу: навстречу мне Варвара Ивановна на своих ногах и с ведром. По воду.

«Да ты разве не умерла?!» — не удержалось у меня на языке. Не могло удержаться, настолько был уверен.

«А их куда? — деловито кивнула Варвара Ивановна назад в избу, где, видимо, сидели ее внучата.— Ну умру я, ладно. А их кто будет обихаживать, если остались

круглыми сиротами? Уж, видно, некогда мне, старухе, помирать. Не время. В избу проходите. Ничего. Может, холодного молока?»

Поверите или нет, три года прошло с тех пор, а она все живет, отсоборованная, совсем было уж преставившаяся русская женщина Варвара Ивановна. Живет — и некогда ей помирать. Но откуда берутся силы?..



ДОМ И САД



1

Я не помню, чтобы наш сад был когда-нибудь по-хозяйски и по всем садоводческим правилам ухожен. Позже я встречал сады, где яблони посажены рядами, стволы у них вымазаны чем-то белым, вокруг стволов земля вскопана ровным кругом, а между этими кругами всегда коротенькая, как если бы только из-под косы, трава.

Яблони в таких садах небольшие, не развесистые, не растут как попало и куда попало, но аккуратные, похожие одна на другую, округлые, каждая ветка на учете, на каждой ветке крупные и как бы даже несоразмерные с величиной деревьев яблоки.

Впрочем, надо сразу сказать, что речь тут идет о разных садах. В тех, где каждая яблоня вроде уж не дерево, а аппарат по выращиванию плодов, бывает обыкновенно по нескольку десятков, а то и сотен, а то и тысяч корней, а у нас-то и всего-навсего, если хорошенько пересчитать,

набиралось двадцать шесть яблонек. По масштабам настоящих садоводческих сел и местностей неловко называть садом это... А вот как назовешь? Чем заменишь? Что там ни говори, а сад.

Как только выйдешь в узкую дверь со двора, сразу по правой руке росла яблоня, которая у нас называлась липовой. Я, право, не знаю, что это за сорт и каково его правильное научное название. Нигде потом — ни в русских, ни в болгарских, ни в украинских, ни в грузинских, ни в самаркандских, ни в алма-атинских садах — я не встречал ни названия этих яблок, ни самих плодов.

Липовые яблоки были крупные и прозрачно-желтые. Если посмотреть сквозь яблоко на солнце, то оно просвечивалось, как стакан золотистого вина, а еще вернее, как стакан свежего липового меда. В середине чернели зернышки. Аромат у яблок был чисто медовый. Вкус — невозможно описать, тем более что в последний раз я ел липовые яблоки ни много ни мало двадцать пять лет назад.

Помню еще, что, когда потрясешь, бывало, спелым липовым яблоком около уха, явственно слышно, как гремят семечки.

Этот сорт был скороспелый, или, как говорят садоводы, ранний, то есть самый подходящий для детей. Жди, когда поспеют антоновка или анис; да и спелые-то они все еще кислые и жесткие, больше одного яблока не съешь — сразу набьешь оскомину. Разве что нарезать тоненькими ломтиками в чай, чтобы был он душистый и кисленький. Антоновку больше морозили, оставляли на зиму в холодной избе. Яблоки на морозе не теряли цвета, но покрывались белым морозным пушком и стучали друг о друга, как костяные или каменные. Внесенные в тепло, они тотчас оттаивали, а оттаяв, делались коричневого цвета. С них, как с вареной картошки, легко сдиралась кожица, на ободранной коричневой мякоти выступали прозрачные капельки — слезинки.

Каждый день не приходилось лакомиться морожеными яблоками, но чаще всего после бани, когда особенно хочется чего-нибудь кислого и сочного.

Нет слов, дорого, хотя бы и мороженое, яблоко зимой, но все же не принесет оно такого удовольствия, как только сорванное с ветки в разгар полдневного июльского зноя.

Из ранних были у нас грушовка, коричное и две са-

харовки. Коричное с грушовкой — очень распространенные сорта, о них ли рассказывать в подробности. Скажу только, что так как коричная была одна-единственная яблоня, а яблоки с нее обыкновенно берегли на варенье и, значит, запрещали нам трясти или рвать, кроме как собирать падалицу, то она-то, коричная, и казалась нам слаще и душистее всех.

На сахаровках росли плоские мелкие яблоки, этакими лепешечками. Едва-едва дорастя до своей величины, неприхотливое яблочишко тотчас начинало желтеть с одного бока и вскоре делалось как из воска. У него была слегка вяжущая, ненадоедливая, неприторная сладость. Уж и зелеными, когда другие нельзя взять в рот без того, чтобы не перекосило, сахаровые яблочишки сластили, принося нам самую раннюю, самую первую радость.

Была и пресная бель, была и боровинка, был и апорт. А еще были три яблони, которые мы попросту называли преснушками. На них ежегодно (иные благородные яблони родили через год) была осыпь некрупных продолговатых яблок в частую красную полоску. Под толстой, нежуючей кожей скрывалась сладенькая, довольно-таки вяжущая мякоть. Почему-то эти яблоки вкуснее всего было есть вприкуску с черным хлебом.

Осталось упомянуть еще винную яблоню. Не знаю, за что она так звалась. Правда, что яблоки с нее были кислы и терпки, вроде бы даже шибали в нос, но все же вином не пахли. Эти яблоки мать парила в горшке, и тогда они становились вполне съедобными.

Все яблони были рассажены в беспорядке, а не то чтобы в два рядка. Некоторые лежали ветвями на тесовой крыше сарая: можно было рвать яблоки с самой верхушки, если забраться на сарай.

В двух местах в саду, занимая большие участки земли, буйствовала малина. Каждую весну дедушка Лексей Митрич прорежал ее, убирая прошлогодние отжившие стебли, привязывал к колышкам. Но и после этого она оставалась частой, густой, почти непролазной. Малина была садовая, очень крупная, хоть и уступала немного лесной малине в сладости и аромате. Когда наступала пора малины, не успевали ее обирать, даром что собирали каждый день по три хлебные плошки. Наутро выйдешь в сад — еще гуще, еще обильнее осыпаны кусты зрелой малиновой ягодой.

Вдоль тына рядком росла черная смородина. А в левом дальнем углу сада неприступными колючими дебрями или, лучше сказать, джунглями стоял терновник.

Стоит упомянуть про хмель, который вился по тыну. Тын в этом месте нарочно был сделан из длинных кольев. К осени собирали желтые душистые шапки хмеля, а тут как раз подоспевал покров, и нужно было варить «кумушку». Значит, хмель оказывался кстати. В бочонок наливали теплого медового сусла и отвару из хмеля одновременно. Три дня и три ночи бочонок стоял на печи. В нем что-то урывалось, булькало, вздыхало, ударяло в стенки, недовольно бурчало. Если не вышибало пробку или не разрывало бочонок, через три дня ставили его в холодную воду. В покров подносили гостям в деревянном ковше душистую, все еще сладковатую, но уж и не только сладковатую, не просто сладковатую влагу. Пьешь с удовольствием, вроде как при жажде, а ноги между тем пьянеют. Встанешь, чтобы идти, да и покачнешься. «Кумушка» — ласково называли напиток старики. «Хорошо задалась «кумушка», «Отведай-ка, сват, моей «кумушки», «Ай да «кумушка», «Ай да хороша!»

Дедушка умер в тридцать третьем году. У моего отца к этому времени не было уж такого прилежания к саду, как у дедушки, и сад потихонечку начал запускаться. Захирела и перевелась пасека; между деревьями и кустами в середине лета буйствовала трава, вырастая выше смородины, вровень с малиной, разве что не могла соперничать с яблонями. Да и то иное зонтичное вымахнет метра на два в вышину, заплутается своими цветами в яблоневых ветках.

Деревья тоже почувствовали слабину хозяйской руки — замшели, начали омертвевать то одной, то другой ветвью, а вскоре умерла целая яблоня. И хоть бы какая-нибудь другая, а то самая лучшая, самая светлая, самая ближняя к дому — липовая.

Но все же, значит, отцу жалко было погибшей яблони. Когда на другой год от ствола пошел прямой, как стрела, крепенький побег, отец обрадовался и надеялся, что с липовой яблоней не все еще кончено.

Насколько же глуп и несмышленыш я тогда был! Понадобился мне для «чвикалки» прямой прутик — я, недолго думая, взял да и срезал этот единственный побег липовой яблони. Лишь по степени выволочки я узнал, как

жалел отец липовую яблоню и как он надеялся на ее возрождение. В процессе той же выволочки я, может быть, впервые почувствовал и понял, что ради нелепой детской забавы убил красивое, доброе дерево, которое потом много лет радовало бы и меня самого, и других людей.

Не знаю, сколько времени постепенно хирели бы и постепенно умирали бы деревенские наши сады, но тут подоспела роковая зима, которая одним махом решила все дело.

В ту осень, как всегда, яблони сбросили листву и доверчиво отдали себя долгому зимнему сну, чтобы весной проснуться, зеленеть, цвести, плодоносить.

Но проснуться им — увы! — не пришлось. Все случилось именно в глубоком сне, нельзя было ни противостоять, ни сопротивляться, да и какое у них, беспомощных, могло быть сопротивление и противостояние?!

Железный холод окутал землю, пробрался в глубокие снега и в глубину земли. Как цельная глыба льда, как один грандиозный ледяной кристалл, сияли, горели безрадостным ледяным огнем январские лунные ночи.

А весной, когда оттаяла, отогрелась земля, окуталась туманами, так что под их теплым парным теплом стали совершаться таинства прорастания зерен и почек, когда как ни в чем не бывало зазеленели травы и вспыхнули одуванчики, и цветущие ветлы стали как золотистые облака, и смородина расправила свои сборчатые ароматические листочки, яблони остались голыми и корявыми. Черные сучья простирали они в ясную голубизну весеннего неба, как бы грозясь костляво и неуклюже.

Нашлись мужественные, терпеливые хозяева, например Володя Постнов: он тотчас раскорчевал погибший сад и заложил новый ничуть не меньше.

Что касается наших яблонь, то у нас все пошло подругому. Мы с отцом спилили черные, мертвые деревья, изрезали их на дрова. Плохо поддавалась при этом нашей, давно не точенной пиле темно-коричневая плотная древесина. Крепким, за десятки лет накопившимся ароматом пахли глянцевые торцы поленьев и коричневые опилки, осыпавшие зеленую майскую траву.

Отец не возобновлял сада, на это у него явно не хватило духу. Напротив, как бы демонстрируя свое нежелание быть рачительным и хозяйственным, он по всему саду

насадил рябии, которые дружно прииялись и несколько скрасили запустеиие.

Впрочем, от пией погибших яблонь, от их корней пошли расти побеги, которые вскоре превратились в деревца, а там и во взрослые яблоии. Стали появляться и плоды. Но, увы, в этих плодах нельзя уж было узнать ни иашей грушовкн, ни иашнх сахаровок, ии иаших пресиушек. Это были одичавшие, переродившиеся яблоии. На них, как н на все остальное в саду, иикто ие обращал иикакого виимаиия.

Все развесистее и коряжистее стаиовились яблоии, все гуще разрастался териовник, быстро распространяясь вшнрь. Отпрыскн его рослн густо, как трава, превращаясь через трн-четыре года в колючие деревца с цветом и ягодамн. Смородииовые кусты большей частью погибли (наверно, заглушила трава), а те, что остались, вдруг, в конце концов, разжирели, расползлись во все стороны толстыми неуклюжими сучьями, превратились в этакие буйные купы, но родить перестали. Одиа только и польза от них — иарвать в апреле иежных ароматических почек, чтобы иастоять графинчик к приезду кого-нибудь из хороших друзей.

Надо ли говорить, что после смерти отца запустение и одичание сада пошло еще скорее, потому что если он хоть иногда косил траву или хоть иногда глядел иа сад, почесывая, по обыкновению, в затылке: «Эх, паря, как заросло все!..» — то теперь иикто ие делал н этого.

Может показаться, что мой отец был вовсе бесхозяйственный или даже ленивый человек. Но это иеправда. К равнодушию же его были, как я догадываюсь теперь, особые, тонкие, я бы даже сказал, психологические причины. Я когда-ибудь, если буду жив, обязательио расскажу о своем отце.

Итак, сад запускался и дичал иа глазах, на моих в том числе, потому что я каждый год приезжал в деревню — и весиой, и летом, и поздией осеиью, как только выдавались хотя бы три свободиых от московских дел дня. Конечно, удавалось и на иеделю и иа месяц.

Почему же, человек в силе (не как восьмидесятичетырехлетиий отец), не взялся я за сад и на запустение его смотрел как иа иеизбежиое и само собой разумеющееся?

Дело в том, что вместе с садом приходил в запустение, ветшал, разваливался на корню и мой родительский дом.

Еще давным-давно, когда я только что демобилизовался и жил в деревне между армией и московским институтом, отец задал мие вопрос, который заставил меия растеряться. Ои спросил:

— Ну, где ты собираешься жить? Нам со Стешей этого дома по иаш век хватит, успеем уйти под Останиху (то есть на кладбище), пока не задавит, а ты уж гляди. Если собираешься в деревне жить, в колхозе или, может, в сельсовете секретарем работать, надо бы ремоитировать. Ждать иечего. Упустишь — хуже будет. Тебе жить — гляди!..

Я, коиечно, ие собирался работать в колхозе или там в сельсовете. Все мои мысли были заияты предстоящими вступительиыми экзаменами в иистнтут. Я-то твердо знал, что я уже отрезанный ломоть и к караваю меня ие приставишь.

Но, с другой стороиы, иельзя было мне представить, чтобы вдруг когда-иибудь у нас не стало иашего деревеиского, олепинского дома. Вот почему я не мог ответить отцу виятно и вразумительно, а предоставил все естествеииому течению времени. Тем более что иа студеическую стипендию я, вероятно, ие смог бы вставить и иового стекла в разбитую зимиюю раму, ие то чтобы ремоитировать целый дом.

Так старики и жили: зимой дуло во все углы и бывало иногда до семи градусов на градусиике, оправленном в дешевую пластмассовую оправу, а уж выше четыриадцати ие поднималось.

Лето, когда дождь, обрадоваться бы ему, омывающему, свежему, иебесному, слушать бы, иаслаждаясь, его ровный уверенный шум. Но начинает лить струйками в сеиях, иачинаешь думать о том, что теперь и вовсе скоро сгииют все балки, и вместо радости болит сердце ие только при самом дожде, но едва лишь засииеет западиый угол иеба.

Каждый раз я уезжал из Олепиia с больиой душой, особенно в зимнее время. Но учеиье в институте, а впоследствии всевозможиые московские дела вскоре затушевывали мрачную картину разваливавшегося дома, загораживали его, мельтеша перед глазами, иаскакивая одио

на другое, громоздясь, не давая опомниться и сосредоточиться.

Теперь понятно, что смешно было бы приводить в порядок, облагораживать сад, не решив окончательной судьбы дома. Это все равно как если бы, следуя популярной поговорке, обзаводиться сначала подойником, а потом уж, через некоторое время, и коровой.

Между тем у меня появились дети, которых летом надо было увозить куда-нибудь из Москвы на траву, на цветы, на речку, на чистый, без примеси ядовитых паров и газов воздух.

Попробовали снимать подмосковные дачи, то в Хлебникове, то в Шереметьевке. Девчонки радовались всякой траве, всякому деревцу, всякой земляничке. А я, как найдется несколько свободных дней, все равно и с дачи уезжал в Олепино.

— Слушай,— однажды заговорила жена,— что же это получается? Снимаем дачу, платим деньги, а ты все равно удираешь от нас в свою деревню.

— Но ты ведь не хочешь с детьми ехать туда на все лето?

— Да, я не хочу ехать в эту завалюху. Я боюсь, вдруг все обрушится — задавит детей.

— А я не хочу сидеть за этим нелепым забором, воздвигнутым посреди других нелепых заборов! Я люблю гулять по привольным полям, по широким оврагам, по лесам, не замусоренным пустыми консервными банками и бумагой. Я люблю идти межой клеверного поля в ранний утренний час, когда начинает пригревать солнце и от клевера поднимается медовый аромат. Я люблю идти по холмам, то спускаясь в ложбину, то поднимаясь по размашистому склону. Я люблю смотреть, как по земле текут ручьи. Я люблю смотреть, как находит дождь. Я люблю ходить босиком по траве, в конце концов, и не из угла в угол по дачному участку, а чтобы идти целый день, а потом остужать ноги, опустив их в светлые струи речной воды. Я люблю больше всего на свете — черт возьми! — в сумерки на опушке леса жечь небольшую теплинку и глядеть на огонь. Я люблю купаться каждый день рано утром и идти к реке по обыкновенной земной тропинке, а не пробираться через эту чертову бензобазу, где воняет керосином, где земля пропитана мазутом и на каждом шагу спотыкаешься то о рельс, то о бетонную чушку!..

Кроме того, если бы даже мы нашли такое место, где все это есть — и холмы, и речка, и костер, и дождевая туча, и клеверное поле,— я все равно стал бы ездить в Олепино.

— Тогда давай рубить этот узел: давай отремонтируем деревенский дом.

— И тогда ты будешь ездить туда с детьми?

— Тогда буду.

Мою первоначальную нерешительность с ремонтом дома нельзя, конечно, объяснить тем, что вопрос-де был не согласован с женой. С кем бы из понимающих дело олепинских жителей я ни заговаривал о ремонте дома, все в один голос рассуждали: «Нет. Нельзя. Он пока ведь стоит, домом кажется. Его ведь только тронь. Двух бревен не соберешь. Нет, он уж весь. Труха. Надо его ломать, разносить, а на этом месте новый дом ставить. Можно городского архитектора пригласить. Такую дачу выстроят, что и во сне не снилось,— хоромы, терема».

Костя Камынин, наш деревенский родственник и специалист по плотницкому делу, изучал проблему дольше и тщеславнее других. Мы с ним лазили по крыше, проверяя железо (труха!), ходили по чердаку, изучая решетник, стропила и связи (решетник можно оставить, стропила постоят, и связи я бы не сказал, чтобы не годились), щупом залезали чуть ли не в каждое бревно (где и проваливался щуп в трухлявое дерево, а где и натыкался на крепкую древесину).

В конце концов Костя вздохнул и сказал:

— Отремонтировать, конечно, можно. Обойдется подешевле, и вид старого дома сохранится. Я ведь понимаю, что тебе вид оставить хочется. Но я бы лично, осыпь меня золотом, не взялся.

Зато он взялся в течение зимы организовать заготовку и вывозку леса. То и дело живя в Москве, я получал от Кости квитанции и счета: то за валку леса, то за трелевку, то за погрузку, то за перевозку, то за ошкуровку. В конце каждого педантично, скрупулезно, до копеечки составленного счета помещалась графа: «Непредвиденные расходы».

Надо было понимать, что с мороза, после погрузки или трелевки, мужикам необходимо было погреться. ну и заодно вспрыснуть благополучное завершение той или иной операции.

Я отсылал деньги как бы в темноту. Однако, когда в апреле приехал в село, увидел возле дома толстые, сверкающие на солнце бревна с обильными капельками смолы на них.

Так деньги, неподвижно лежащие в одном месте, вдруг, как бы чудом, превратились в груду золотистых сосновых бревен в другом.

Набежали было и шабашники. Их атаман обошел дом и с легким сердцем пообещал все сделать за две недели. Прослышав о шабашниках, торопливо прибежал Костя Камынин:

— Ну, что они говорят?

— Говорят, все будет готово через две недели.

— Дело твое, но я бы их гнал подальше от дома. Не сделают они. Разломать разломают, а сделать не сделают. И сами заплачут. И скажут: «Не надо нам никаких денег»,— сбегут. Поверь мне, разломают и сбегут!

На другой день и сами шабашники взглянули на дело трезвее, чем вчера.

— Давай новый дом срубим рядом с этим. Это нам проще и легче. А ремонтировать — нет, пожалуй, не возьмемся.

Тогда я поехал в Ставрово, то есть в наш районный центр, и нашел там организацию под названием «Ремстройконтора», то есть, значит, главное дело этой конторы не что иное, как ремонтировать дома.

Вскоре приехал инженер с метровой линейкой, обмерил каждый угол и все записал на бумажку. После этого ничего не было слышно от «Ремстройконторы» в течение месяца. Оказывается, инженер составлял смету.

Смета и сейчас хранится у меня. Это солидное изыскание, страниц на сто, в котором помечен каждый шуруп, который придется ввернуть в оконную ли, в дверную ли ручку, каждый погонный метр оконного переплета, каждый лист железа, каждый кирпич, каждый столб, каждая доска. Это была, короче говоря, прекрасно разработанная партитура, по которой, казалось, теперь и не умеющий играть или там руководить оркестром все спокойно и легко может исполнить.

Контора отрядила для ремонта бригаду из пяти человек. Бригадир у них был то и дело смущающийся, то и дело краснеющий молодой сероглазый плотник Виктор.

К началу ремонта дом совсем расхудился и был как решето. Мы всякий раз перед дождем бежали на чердак и под каждую дырку ставили то кастрюлю, то чугунок, то корыто, то таз, то хотя бы и тарелку, где капало, а не текло струйкой.

Накануне, как прийти плотникам, произошло прямо-таки символическое событие. Поднялся сильный ветер, ударяющий под заднюю застреху. Крыша начала пульсировать, как накачиваемая насосом волейбольная камера, раздуваться во все бока и, верно, улетела бы на середину села, если бы ветер не вышиб несколько листов железа по переднему скату. Крыша облегченно обмякла, из прорехи со свистом вырывалась струя, и все новые и новые листы железа, подхватываемые этой струей, как легкие осенние листья, кувыркаясь и гремя, улетали с крыши.

— Ну вот, теперь не хочешь, а будешь ремонтировать,— судили соседи, а больше всех дядя Никита Кузов.— Достоялся дом до самого своего часа.

Когда плотники отодрали наружный тес и ковырнули передний угол дома, то вдруг открылась большая дыра с улицы в избу. Угол прогнил насквозь сверху донизу.

Я отозвал Виктора и как бы по секрету еще раз спросил:

— Ну, как думаете, справится ваша бригада?

Виктор опять немного покраснел и ответил:

— Чай, мы не учиться пришли.

Тут нужно сказать, что хотя плотников выделила «Ремстройконтора» и что хотя они работали по смете, все же у меня с ними был особый договор. Контора пошла мне навстречу и разрешила расплачиваться не с бухгалтерией, а прямо с плотниками. Казалось бы, небольшая разница, несущественная организационная мелочь. Однако благодаря этой мелочи ремонт совершился в шесть раз быстрее.

Потом уж, когда все было кончено, я завел разговор:

— Быстро вы управились: полтора месяца — и готово.

— Чай, ведь мы работали,— скромно ответил Виктор.

— Ну, а если бы я вам платил не аккордно, а по порядку: я — в бухгалтерию, бухгалтерия вам — зарплату?

— Тогда бы месяцев восемь.

Итак, заинтересованные в скорейшем окончании дела плотники вставали с рассветом. Часов в пять утра (их

рабочий день начинался бы с девяти) все их топоры бойко переговаривались между собой. Глядя на слаженную работу плотников, я вспоминал немного стершееся, немного утраченное слово «артель». Артельная работа. Артельные ребята. Артель!

Каждый из них стучит своим топором, тешет свое бревно. Глядь, к вечеру не узнать сеней! Обновились сени! Из черных, гнилых, покосившихся стали белыми, ровными, чистыми. Дом, как в сказке, словно вспрыснутый живой водой, обновлялся, креп, здоровел, выпрямлялся, рождался заново.

Жена однажды походила вокруг дома и говорит:

— Хорошо бы крылечко с резным карнизиком!

Сказала да и легла вздремнуть не больше чем на полтора часа. Встает, выходит на улицу — глядь, крылечко с резным карнизиком! Правда, тут роль золотой рыбки сыграл самый, пожалуй, деловой и мастеровой работник артели — Володя Зотов. Он случайно услышал хозяйкино желание — ну а руки при нем. Сказал же Виктор, что не учиться пришли.

К концу плотницких работ я стал замечать, что в артели что-то неладно. Уйдя спать, плотники там, в своей комнате, о чем-то громко говорили, вроде как спорили. А однажды жена, поправляя постели плотников, обнаружила под двумя подушками плохо припрятанные ножи. То есть не то чтобы припрятанные, но, значит, держащиеся под руками.

Оказалось, что в бригаде нашелся один человек, то, что называется тертый калач, с дальней чужой стороны, побывавший в разнообразных переделках. У него были, в отличие от прочих, семейных и степенных ребят, черты, ну, что ли, от люмпен-пролетария, а вернее — воспоминания о периодах своей жизни, когда он бывал близок к люмпену.

Если я был тут в роли «хозяина-работодателя», а они все олицетворяли «наемную рабочую силу», то наш люмпен Леша проявился как «революционное» начало. Он начал уговаривать плотников и нажимать на бригадира, чтобы бригада к концу работы потребовала с меня гораздо больше денег, чем было положено сначала по смете, а потом и по уговору.

Логика его мне осталась непонятной. За каждое дело, сделанное сверх сметы и договора, мы рассчитывались

особо, и требование Леши не было вызвано ничем, кроме несложного, немудреного соображения, что больше денег всегда лучше, чем меньше.

Либерал Виктор, должно быть, краснел, смущался и, побаиваясь тертого человека, не отказывался наотрез от нелепой затеи. Один пожилой семейный мужик поддержал Лешу. Володя Зотов занял в этом щекотливом вопросе резко противостоящую позицию, олицетворяя, таким образом, в их миниатюрном, раздираемом противоречиями обществе консервативное начало. Общество раскололось на два лагеря. Но, как ни странно, победило все-таки нравственное начало, начало Володи Зотова, и мы, в конце концов, разочлись по-хорошему.

Когда сели вспрыскивать, хотя бы пока что и вчерне, так сказать, в общих чертах, отремонтированный дом, случился дядя Никита Кузов. Он, как самый старший и самый умудренный жизнью человек, поднял стакан с водкой и произнес:

— Ну, за то, чтобы сгнил!

И плотники, и мы с женой поглядели на дядю Никиту с недоумением: что за странная фантазия произносить такой тост по окончании дома?

— Ты что, дядя Никита, или зло какое на нас держишь, что желаешь нашему дому сгнить?

— А сгорит — хуже...

Посмеялись да и выпили за то, чтобы сгнил.

Душа дома — печка, а печников, тем более искусных, совсем не осталось в нашей местности. Только в Корневе остался один печник — Федор Петрович Орлов, о котором далеко слышна добрая слава. Говорили мне, что может сложить печку и наш избач Юрка Патрикеев, но говорили также, что его печки вскорости начинают дымить, трескаться, а потом и вовсе разваливаются. Если же не разваливаются — не греют.

Даже у опытных, настоящих мастеров бывают и удачи и неудачи, так же как, допустим, у хороших поэтов. Вроде бы все так же делал печник, как в прошлый раз, как в предыдущие сто раз, а вот, поди ж, не задалась печка, вышибает дымок во время топки, дров ест по три охапки зараз, а тепла не держит!

К Федору Петровичу я ездил несколько раз. Он все отнекивался: и в Калитееве обещал печку сложить, и в школе обещал печку переделать, и в Чувашиху зовут,

и в Пречистую Гору зовут. Одним словом — на разрыв хороший печник, да оно и понятно.

Понабив себе цену, которая оказалась очень высокой, мастер появился все же в нашем доме.

Никогда еще я не видел печника, который работал бы так медленно и вдумчиво. За день он успевал выложить один рядок, да и то иной раз на другой день рядок разбирал и переделывал. Казалось, что он одновременно и кладет печку, и решает какую-то трудную, запутанную задачу, связанную с этой же печкой.

Мне было все равно, сколько он проработает, но все же я однажды спросил у печника, почему так тихо продвигается дело.

— Так ведь вы просили хорошую печку сложить. Мы деньги большие берем, но зато работаем истово. Мы — старинные печники, мы совесть знаем.

Когда печка наконец была готова, Федор Петрович не дозволил топить ее нам, хозяевам печки, но сказал, что первые три раза будет топить сам, наблюдая за поведением детища, исподволь прогревая и просушивая: «И хорошую печку недолго испортить, если неумеючи просушить».

Уже с первой минуты, когда поднесли спичку к сухой смолистой лучине, по тому, как потянулся, как рванулся огонек внутрь, в темную печную глубину, можно было догадаться, что тяга у печки удалась на редкость. Печка загудела вдруг сильным устойчивым гуденьем, а с наружных стенок ее постепенно начал куриться вкусный, пахнущий глиной и как бы даже апрельским туманом парок.

Печку просушили, убедившись, что тяга и вправду хороша. Но надо было еще выявить главное качество печки — как она держит тепло.

Жена много раз подходила к печке во время топки, трогала ее рукой и огорченно убеждалась, что печка остается холодной. Она не знала ведь, что то, что скоро нагревается, скоро и остывает. Конечно, какая-нибудь железная печурка нагреет комнату за десять минут, но как только погаснет в ней последний огонек, так снова захолодает в комнате.

Когда мы, хорошенько перемешав золотую груду печного жара и дождавшись последнего трепетанья, последнего синего огонька, закрыли трубу, угли подернулись

вдруг тонкой темной пленочкой. С этой именно минуты и начала раскаляться печка.

Утром хозяйка дома в недоверчивости прислонила к печке ладонь и тотчас отдернула ее от неожиданности: старые, дедовские, потрескавшиеся изразцы, которыми Федор Петрович, хоть и не очень красиво, украсил печку, излучали сухое, горячее, домашнее тепло. Только на третий день остыла печка, да и то не так, чтобы до последней капельки теплоты.

Дело было поздней осенью. Нет-нет да и проливались дожди. Но уж не болело сердце, как два месяца назад, не нужно было бежать на чердак с кастрюлями и ведрами, подставляя их под всякую дырку.

В тепле, около печки, можно было со спокойным сердцем слушать то нарастающий, то убывающий шум дождя, слушать и наслаждаться им в полной мере, без тени досады или горечи.

2

«Каждый человек должен посадить хотя бы одно деревце» — так сформулировал великий мудрый писатель русской земли одну из главных и конечных обязанностей человека на нашей планете, хотя мы — увы! — больше замусориваем и оголяем, нежели украшаем и одеваем родную землю.

Казалось бы, трудно ли, долго ли посадить деревце, однако не каждый, думаю, может похвастаться тем, что он уж исполнил эту немудреную, но глубочайшую заповедь.

Отремонтировав дом, расчистив около дома строительный мусор и оглядевшись вокруг, я понял, что для меня настала пора сажать деревья.

Тут я почувствовал, как мне на плечи легла приятная ответственность за будущее, или, скажем вернее, я вдруг почувствовал, что будущее (не страны, не народа, не литературы, конечно), но все-таки некое маленькое будущее зависит теперь от меня.

Если я решу посадить около дома, к примеру, три березки, то, значит, со временем село будут украшать три могучие березы, которые будут видны издалека, из других деревень, а уж в своем-то селе тем более.

Мы ведь привыкли к деревьям села, как будто они

росли всегда; как будто они определяли пейзаж, вид села, лицо села всегда, так же как холм, овраг, река или колокольня с церковью.

Две старые березы около дома Александра Федоровича, черемуха около Николай-Петровых, ветлы перед каждым домом, дремучие липы, кольцом растущие вокруг церкви,— да разве можно представить, что в селе когда-нибудь было по-другому, что оно выглядело иначе, а ведь было, а ведь выглядело! Все могучие и большие деревья в селе сажались в землю веточками и прутиками, и, значит, от тех, кто их сажал, зависел сегодняшний вид села. Значит, все, что мы теперь видим, было в их руках. В их руках было сделать так, а не как-нибудь иначе. Решили бы они вокруг церкви насадить не липы, а сосны — совсем другим было бы теперь наше село. Не сосны, а березы — третье. Не березы, а дубы — четвертое. Но посадили липы...

Все-таки я решил начать с того, чтобы привести в порядок сад, выходящий одной стороной на улицу села. Значит, моя деятельность по изменению и украшению земли должна была начаться не с заступа, а с топора.

Терновник был в цвету, когда я с новым, остро отточенным топором вторгся в его дремучие колючие заросли. Ветви деревьев перепутались здесь одна с другой, во время ветра терлись одна о другую, обдираясь до древесины; кое-где они срастались одна с другой, врастали одна в другую, застилали друг дружке свет, глушили друг дружку. Не удивительно поэтому, что половина ветвей засохла намертво, половина зачахла и готова вот-вот засохнуть. Целые деревья давно уж умерли и распространяли среди буйного белого цветения свои черные, отжившие сучья. Приходилось рубить чуть ли не каждое второе дерево, а у оставшихся деревьев чуть ли не каждую вторую ветвь, чтобы остальным было и солнечно и привольно, чтобы можно было, наконец, войти в терновник, подойти к любому дереву, подобраться к ягодам, когда они поспеют осенью, в сентябре.

Кто не пробовал, тот не знает, как страшно рубить деревья в полном цвету — белые-белые, свежие-свежие, приготовившиеся к плодоношению, как готово к нему всякое живое существо в пору цветения и любви!

Срубленные деревья и ветви я с трудом вытаскивал из зарослей и складывал в кучу. Потом я притащил тяже-

лый широкий чурбан и на нем изрубил ветви на мелкий колючий хворост [1].

Очередь подходила к яблоням, но жена решительно положила запрет на рубку яблонь, говоря, что все равно сажать новые яблони будем осенью — значит, эти пускай постоят: еще раз попробуем их яблок, еще раз убедимся, что они никуда уж не годны.

Как нарочно, как будто чувствуя, что последний год перед смертью, обреченные яблони усыпались яблоками. И бывшая винная, и бывшие преснушки клонились к земле от обилия и тяжести плодов.

Но все же надежды, лелеемые нами, оказались ложными. В начале августа, когда настала пора собирать яблоки, мы стали пробовать их, тщательно стараясь найти хоть сластинку, хоть какую-нибудь зацепку, чтобы оправдать осужденных, но одичавшие, переродившиеся яблони ничего не могли сказать в свое оправдание.

В сентябре меня скороспешно вызвали в Москву. Уезжая и запирая деревенский дом, мы оставили в саду восемь широких и глубоких ям, считая, что для первого случая восьми новых яблонь достаточно: мало ведь их посадить, надобно еще и ухаживать.

Московские дела накладывались одно на другое, и мы уж примирились, что ямы будут ждать до весны, как вдруг в середине октября выпало несколько свободных дней. Недолго думая, мы помчались в деревню.

Павел Иванович Косицын рассказывал мне по порядку, как нужно сажать молодое яблоневое деревце:

— Ты когда яму копал, землю-то правильно ли выбрасывал? Надо бы верхнюю землю в одну сторону, а нижнюю — в другую.

— Мы не знали. Мы все в одну кучу. Ну да у нас на месте прежнего двора — черная перегнойная земля, мы будем носить ведрами, ничего.

— Значит, в середине ямы насыплешь курганчик хо-

[1] Между прочим, в этом году из всего села, из садов целой округи только у нас уродился терновник. Я не знаток тонкостей садоводства, но подозреваю, что во время рубки произошло некое искусственное опыление цветов терновника, тогда как естественного опыления в этом году почему-то не было. Терновника уродилось столько, что мы не знали, куда его девать. Уезжая осенью в Москву, взяли с собой несколько ведер на варенье, друзьям и дабы залить медом. Остальным попросили воспользоваться сельчан. Всякий приходил с ведром и рвал.

рошей земли, чтобы его вершина была вровень с краями ямы. На яму положишь доску. Деревце поставишь на курганчик, а корни его расправишь по склонам курганчика вниз, равномерно. Тут же следи, чтобы прививочный глазок был на уровне доски. Доска для того и кладется. Ну, конечно, корни, прежде чем сажать, надо окунуть в жидко разведенную глину. Теперь будешь сверху на расправленные по курганчику корни сыпать хорошую черную землю, а остальную яму по краям можно засыпать любой землей — не имеет значения... Да ты подожди, что же ты так от меня поедешь? Я тебе сейчас красной и черной смородины, крыжовнику, слив на развод дам. Красную смородину я, пожалуй, дам тебе прямо с материнской землей. На будущий год будешь с ягодами.

Надо сказать, что красная смородина у Павла Ивановича удивительно вкусна и красива. Прозрачно-рубиновая, крупная, она свисает почти виноградными гроздьями, празднично украшая сад. Павел Иванович если повезет ее на базар, то сломит ветку погуще и выставит вроде как на витрине. Тотчас вокруг его корзины образуется толпа. Иная покупательница умоляет его, чтобы продал ей именно ветку, но Павел Иванович держит свою линию:

— Подождите, когда расторгуюсь, тогда и ветку отдам, а сейчас не могу — фирменная вывеска.

И вот женщина ждет, когда опустеет корзина, чтобы стать обладательницей необыкновенной ветки.

— Интеллигенция! — заключает свой рассказ Павел Иванович.— Ей ведь не столько ягоды, сколько красота нужна. Но я это ценю. У нас красоту мало кто понимает...

Итак, я уезжал от Павла Ивановича не только с инструкцией, как сажать яблони, но и со всевозможными кустами смородины и крыжовника, а также с напутствиями:

— Значит, те, что с материнской землей,— прямо в яму. Ведро воды — и будут расти. Черенки будешь втыкать в землю с наклоном к юго-востоку, так, чтобы четыре почечных глазка ушли в землю, остальные — на воле. А за сливы не беспокойся, что очень малы, они ходко растут: лет через пять — ягоды.

Дома во время посадки мы подсчитали, что Павел Иванович надавал нам вгорячах двенадцать кустов черной и красной смородины, три куста крыжовника и три крохотные сливки — каждая как травинка.

Однако не за этим ехали мы из Москвы. Восемь ям, приготовленных под яблони, по-прежнему пустовали. Дело осложнилось тем, что в Дубках, где питомник, снабжающий всю округу, в этом году не оказалось прививков. Говорят, что их зимой в количестве многих тысяч штук съели мыши.

— Не жалей,— утешал сосед Александр Николаевич.— Поезжай прямо к Графскому, в «МЮД».

О Графском я не только что слышал, но и знал его в лицо. Он в нашем Ставровском районе работал одно время секретарем райкома. Потом с годами отошел от партийной работы, взял себе под Владимиром совхоз и вскоре сделал его образцовым. Совхоз называется «МЮД». Я не знаю, право, что это значит, если переложить на русский, а точнее сказать, на человеческий язык. Может быть, «Международный юношеский день», может быть, еще что-нибудь — бог с ним, с названием! Важно, что совхоз славится на всю область именно своими садами, своими саженцами и прививками. Можно было предположить, что человеку из бывшего своего района Графский найдет восемь отборных саженцев. Хотелось, конечно, пятилеток, чтобы через год-два уж и яблоки, но Костя Камынин, мой всегдашний здравый советчик, сказал:

— Не гонись за пятилетками: намучаешься с ними, а толку не будет. Неизвестно еще, сумеешь ли их отходить, чтоб отродились. Нет, ты бери двухлетки. Чем моложе деревце, тем легче оно приживается на новом месте.

Во Владимире я заехал к своему другу — владимирскому писателю Сергею Васильевичу Ларину. Он редактирует областную газету «Призыв», из его кабинета удобней всего было позвонить в «МЮД», узнать, есть ли там то, что нам нужно, ну и сказаться, что, мол, едем.

Однако дозвониться до «МЮДа» через боголюбовскую телефонную станцию оказалось делом досадным и трудоемким. Сколько ни набирали мы номер коммутатора, как ни велико было наше нетерпение, навстречу нам неслись одни только частые, короткие гудки самого что ни на есть писклявого тона.

У Сергея Васильевича по возрасту и, может быть, из-за нервного характера многолетней газетной работы терпение лопнуло раньше, чем у меня:

— Туда ехать двадцать минут, а мы уж полчаса мучаемся с этим коммутатором. Поедем! Я, пожалуй, составлю тебе компанию. Приятно присутствовать при таком великолепном начинании, как сад.

— Поедем. Будешь крестным отцом моего сада. Шутка ли!

В «МЮДе» нам не повезло больше, чем с коммутатором. Бухгалтерша, вполне и больше нас сознающая, в какое важное место мы приехали, сообщила нам, не отрывая глаз от своих бумаг, испещренных цифрами, что Графский лежит в больнице, а саженцев уж больше нет — все распроданы.

— Но мы еще с лета заготовили восемь ям! Не пустовать же им до будущего года!

Судьба наших ям взволновала бухгалтершу не больше, чем наше заявление, что мы приехали из Москвы только для того, чтобы посадить эти восемь яблонь.

— Надо бы раньше, опоздали.

— Но неужели в таком большом совхозе нельзя найти восемь прививков?

— Дорогие товарищи, мы продали в этом году сто семьдесят тысяч, а теперь нет, понимаете — нет, даже и одного!

Сергей Васильевич продолжал еще огорчаться, что вот если бы сам Графский не заболел... Но я его разговор слышал как бы издалека. Уж представились мне вдруг сто семьдесят тысяч яблонь, посаженных в этом году в окрестных владимирских селах и деревнях. То есть, конечно, нельзя было представить именно сто семьдесят тысяч яблонь, потому что я в таких садах никогда не бывал, но все же рисовались картины, как в деревнях за домами, выглядывая из-за крыш, туманятся розовым туманом цветущие купы деревьев, и пчелы среди белорозовых лепестков, и яблочные капели в августе, когда спелое яблоко ночью в устоявшейся тишине падает вдруг, ударяясь о землю так, что слышно на другом конце деревни.

Сто семьдесят тысяч яблонь! Груды то желтых, то красных яблок в домах, на базарах, на белой скатерти на столе. Яблоки в руках у синеглазых белокурых ребятишек. А сколько тишины и радости войдет в души тех людей, кто будет сажать эти яблони, ухаживать за ними, собирать плоды! Сколько добра и света появится в гла-

зах этих людей, когда они будут смотреть на сто семьдесят тысяч своих яблонь и любоваться ими!

...Агроном совхоза сначала отнесся к нам ничуть не сердечнее бухгалтера: «Нет — и все!» Однако под конец смягчился и сказал, что из фондов своего же совхозного сада может уступить нам восемь прививков. Правда, все это будут поздние сорта, а именно: антоновка и осеннее полосатое.

Меньше всего мне хотелось разводить поздние сорта. Осень. Нужно уезжать в Москву на зимние, так сказать, квартиры. Но тут-то и поспевают яблоки. Зачем они мне в это время? Или в Москве мало яблок?! Нет, хорошо яичко к светлому дню. Хорошо, чтобы дети уж в начале июля, а то и раньше начинали хрустеть сладкими яблоками.

Сергей Васильевич, рассуждая по-хозяйственному, настойчиво советовал мне взять восемь хотя бы и поздних прививков (вдруг не найдем других!), а потом уж и продолжать поиски того, что нам хочется. Между прочим, агроном подсказал, что, кажется, в Суздале опытная станция торгует разнообразным материалом. Есть у них будто бы и мабель — сорт, выведенный во Франции и недавно лишь у нас появившийся. Даже с моими скудными сведениями из французского языка можно было догадаться, что мабель — это «ма белль», то есть «моя прекрасная».

Сергей Васильевич без колебаний согласился продолжать поиски, добавив к своему горячему согласию:

— Хоть и близко живем, да ведь не каждый день удается побывать в Суздале. Говорят, иностранцы нарочно приезжают в Россию, чтобы поглядеть этот город.

На окраине Суздаля, если выезжать из него по дороге на Кидекшу, справа от булыжного выщербленного шоссе мы увидели большой участок земли, огороженный колючей проволокой. Обыкновенно колючая проволока соединяется в нашем представлении с неприятными, тотчас навевающими тоску вещами: проволочные заграждения на войне перед окопами, всякие там запретные зоны, концентрационные лагеря.

Здесь, в Суздале, за колючей проволокой временно содержались будущие сады, много-много садов, потому что участок был большой, а деревца лежали там, связанные в плотные емкие пучки, занимая все огороженное про-

странство. Они даже и не лежали, а полустояли рядами, передние привалившись к задним. Корни их были присыпаны землей, чтобы не высыхали на ветру и солнце.

Перед калиткой в огороженный участок стояла очередь. Сторож пропускал очередника, которого там, среди увязанных в пучки упакованных садов, встречала женщина, раздающая, значит, сады направо и налево.

Однако, прежде чем встать в очередь, надо было, оказывается, ехать обратно в Суздаль и там, в конторе, выписывать материал (здесь молодые деревья не называют кроме как материалом), а также заплатить деньги.

В конторе стояла еще большая очередь. Но в общем-то это радовало. Как-никак не за куском хлеба стоят люди, не за щепоткой соли, не за литром керосина, не за сахаром даже, а за садами, за весенним цветеньем яблонь, за чистым золотом спелых осенних садов.

Когда подошла наша очередь, я хотел было робко попросить восемь прививков, но Сергей Васильевич властно вмешался:

— Выпишите ему еще пятнадцать деревьев владимирской вишни да десять деревьев нашей невежинской рябины: зря, что ли, ехали такую даль!

Крестный отец будущего сада хотел видеть своего крестника не скудным и жалким, а этаким пышущим здоровьем крепышом.

— Да ведь уж восемь прививков есть.

— Ну вот и будет в самый раз. Шестнадцать яблонь, рябина, вишенье... Это для начала, на будущий год добавишь.

Из-за колючей проволоки выносили кто сорок, кто пятьдесят будущих деревьев. Не читали они, значит, недавнего романа одного писателя, который руководящим тоном советовал сажать одну-две яблони, чтобы хватало поесть, но чтобы не развивались-де в людях частнособственнические инстинкты.

А я, признаться, радовался, что люди берут по сорок да по пятьдесят деревьев. Я думал, что пускай берут: чем больше, тем лучше.

Колхозные грузовики нагружали и по четыреста и по пятьсот прививков. Бойко шла торговля садами на окраине города Суздаля!

Мы выбрали две коричные, две грушовки, два белых налива, ну и две мабели. Вишенье с рябиной выбирать

нечего: смотри только, чтобы была в порядке корневая система — так здесь называют корешки.

— За корневую систему не беспокойтесь,— говорила нам женщина, раздающая сады.— У нас первосортный, отличный материал.

Теперь надо было бы как можно скорее ехать домой. Мы не знали ведь, что саженцы иногда по многу дней обходятся без земли, пока их довезут до базара, пока их продадут, пока соберутся посадить в землю. Нам казалось, что каждая секунда дорога, что саженцы эти, как все равно рыба, выброшенная из воды, задыхаются без пищи, питья и воздуха и могут задохнуться совсем так, что потом уж не отходишь.

Сергей Васильевич, значит, был опытнее меня, если не беспокоился за судьбу деревьев, сказал только, что самое главное теперь — обмыть корешки будущего сада, для чего нужно-де заехать к нему домой, а уж Юлия Ивановна все приготовит: между прочим, гречневую кашу и грибы домашнего соленья.

— Поздно, надо бы скорей домой.

— Вот ведь неразумная молодежь! Сейчас потеряем полчаса, но зато справим дело, порядок, обычай, завещанный дедами. Лучше, что ли, если сад твой будет хиреть, чахнуть да так и не даст плодов!

Против этого сказать было нечего. Хотелось все-таки, чтобы сад не хирел и не чах. Да что говорить, соблазняло и то, что я давно уж знал Юлию Ивановну как прекрасную мастерицу солить ли грибы, квасить ли капусту, варить ли гречневую кашу...

И вот оно, будущее дерево, у меня в руках! Стволик его, толщиной с большой палец, разветвляется на три веточки. Беспомощно, с присохшими комочками материнской земли свисают корешки — три потолще и подлиннее, а между ними мелкие и спутанные, вроде как бы мочалка. Не так давно деревце уснуло, сбросив с себя тот десяток листочков, которые успели на нем вырасти. Во время сна его вырыли из материнской почвы, и судьба его затуманилась в расплывчатой дали. Расти ли ему в палисаднике перед домом, расти ли ему в хорошем колхозном саду, где деревья стоят рядами, а между ними ездят тракторы, расти ли ему в плохом колхозном саду, где между деревьями вырастает высокая, глухая трава, радовать ли ему своим цветением одинокого старика или никого не

радовать, слышать ли звонкие голоса веселых, радостных ребятишек.

Сонное деревце отвезли на торговый участок, потом оно долго ехало в автомобиле, и вот теперь предстоит ему проснуться весной на новом месте, среди нового, непривычного для него пейзажа: какая-то малина, какой-то терновник поблизости, какие-то смородиновые кусты. Но главное, конечно, земля. Придется ли она по вкусу оттаявшим, ожившим весной корешкам, что начнут копошиться там, в земле, простирая все дальше и дальше свои тончайшие мудрейшие щупальца?

— Давай почернее землички,— говорила мне жена в то время, как я сыпал в яму из ведра черный-пречерный перегной.— Теперь окунай корешки в глину, вот так. Большие корни не так важны, самое важное — капилляры. Теперь я подержу его, чтобы не покосилось, а ты сверху опять землички.

Мелкие черные комочки, которые я к тому же растирал в руках, заполняли пустоту между корешками.

— Глазок-то, глазок-то на юг ли смотрит? Говорят, надо, чтобы на юг.

В разгар наших посадочных работ, даже и не в разгар, а уж к концу, пришел в сад сосед Александр Николаевич. Он поглядел на нашу работу и сокрушенно покачал головой.

— Как же это вы так, без колышков?

— Каких-таких колышков?

— Ну как же? Около каждого деревца с северной стороны должны быть колышки. К ним привязывают на зиму молодое деревце. А так, без колышка, его сломает ветром, придавит и согнет снегом. Без колышков никак нельзя.

— Наверно, не поздно и теперь забить в землю колышки?

— Можно, конечно, но надо бы сразу. Теперь, если будешь забивать в землю кол, то его остриё может оборвать и повредить корни дерева. Надо бы сначала поставить в яму кол, около него поставить прививок, а потом уж и засыпать землей.

Вот незадача! Осторожно погружая в рыхлую землю остриё кола, я с болью прислушивался, не хрустят ли, не лопаются ли там, в земле, нежные драгоценные корешки, не сдирается ли с них коричневая кожица, не обрываются

ли они напрочь. Вишенье мы решили посадить так, чтобы, как только выйдешь из калитки в сад, сразу начиналась бы в будущем этакая вишневая аллея, то есть чтобы тропинка вдоль сада, а по сторонам и над тропинкой сплеталось ветками цветущее белое вишенье.

Идея красивая. Но, как это часто бывает, она попала на каменистую почву. Как раз по сторонам от тропинки раньше, давным-давно, помещался двор, мощенный в три ряда речным булыжником, и, что еще хуже, здесь же проходила широкая кирпичная стена двора, от которой теперь не осталось и следов, но, оказывается, остался в земле глубокий кирпичный фундамент, как все равно остаются в челюсти хорошо разветвленные корни от неудачно вырванного зуба.

Лопата натыкалась если не на булыжник и кирпич, то на щебень, которым была битком набита земля вокруг. Пришлось взять тяжелый, всесокрушающий лом, чтобы, в конце концов, провести в жизнь нашу красивую идею.

Я изо всех сил ударял ломом в землю, его остриё крошило там, в земле, все, что попадалось по пути. То и дело мне удавалось выворачивать из глубины целехонькие розовые, присыпанные белой известкой кирпичи, полновесные, крепкие, обожженные так, как умели обжигать кирпичи в старину.

Мой отец, бывало, не забьет гвоздя, чтобы не сказать с последним ударом: «Ну, кто ломать будет — ругаться будет!»

Трудно было теперь мне не чертыхнуться лишний раз, углубляясь ломом все дальше в землю и не видя конца ископаемому кирпичному фундаменту.

В сущности, получалась яма среди щебня и кирпичей. Мы насыпали в нее черной перегнойной земли и сажали вишневое деревце. Сдавалось мне, что деревце оказалось как бы в кадке с землей, и все надежды надо было полагать теперь только на изворотливость, жизнестойкость и проникающую силу корней, которые как-нибудь приспособятся там, в земле, чтобы добыть себе корму. Однажды нежные грибы шампиньоны проломили асфальт в Москве, около Манежа, и вышли наружу, как все равно из смертельной тюрьмы. По сравнению с подасфальтовой темнотой и глухотой наши вишневые корни, хотя бы и посреди щебня, должны чувствовать себя, как на курорте.

Десяток невежинских рябин я расставил вдоль тына, где положено быть рябине. Правда, Костя Камынин, подоспев к завершению наших трудов, смутил меня.

— Надо бы не рябины, а вишенье сажать около тына. Вишенье разрослось бы, загустело и образовало бы этакую зеленую стену. «Ветролом»,— как выразился Костя.

Раздумаешься — вроде бы и правда лучше вишенье к тыну. Но и вишневая тропинка вдоль сада чего-нибудь будет стоить! И рубиновые рябины по осени, склонившиеся над частоколом, если отродятся и вырастут все десять, тоже, я вам скажу, картина!

— Э-э!..— протянул Костя, взглянув на посаженные нами яблони, и у меня все оборвалось внутри от этого его возгласа.— Как же это вы сообразили колья с северной стороны, кто же так делает?

— Нам Александр Николаевич... сосед.

— Разве так можно! Колышек нужно ставить с южной стороны. Тогда в самое жаркое время дня от колышка будет падать тень на нежный ствол деревца, и, значит, не будет ожога. Ведь кожица может даже потрескаться от ожога. Вы сами подумали бы, какой смысл ставить колышек с северной стороны? Ну какой?

Как, бывало, в школе, не выучив урока, я стоял перед Костей, не зная, что отвечать. Что уж тут отвечать, если, не зная броду, полезли в воду!

Оставалась одна задача — защитить посаженные деревца от зимних мышей. Местные люди, как только выпадает снег, тотчас обтаптывают его вокруг каждого маленького деревца, и так делают несколько раз: после второго снега, после третьего. Мыши бегают, делая норки в рыхлом снегу. Они не могут пробраться сквозь плотный, утоптанный тяжелыми мужицкими валенками снег.

Кстати, тут мне вспомнилась небольшая сценка, которая разыгралась в нашем огороде месяцем раньше.

Я копал картошку — и вдруг выворотил вместе с землей свитое наподобие птичьего мышиное гнездо. Гнездо развалилось на земле, и оттуда выбежала стайка резвых, по наперстку величиной мышаток. Однако хоть и с наперсток, но все есть: и ушки, и хвостик, и черненькие булавочные глазенки.

У меня от деда, от прадеда, от отца врожденный инстинкт: если попадется мышь — убить. Сколько раз я видел еще в детстве, как отец, подавая вилами на телегу

снопы или клевер, вдруг раз, и два, и три бил вилами по земле, по невидимой пока что мне цели. Всякий раз, подбежав к месту действия, я находил среди жнивья серую, почти белобрюхую тушку, прихлопнутую ловкими и беспощадными крестьянскими вилами.

На лице у отца в это время не было никакого азарта, или злорадства, или удовольствия, но было такое же задумчивое, сосредоточенное спокойствие, как и в другое время. Он не забавлялся, не охотился, не удовлетворял свои, допустим, кровожадные потребности, но делал извечное крестьянское дело, такое же простое и такое же нужное, как связать сноп, подтянуть чересседельник, дать корму лошади.

Конечно, я тоже сразу же перебил бы всех мышат, выскочивших из гнезда. Но дело в том, что рядом со мной была моя шестилетняя дочка Оля. Она шагах в десяти сосредоточенно делала вид, что копает картошку, ковыряясь в земле детской игрушечной лопаточкой.

Я позвал Олю и показал ей мышонка, спрятавшегося под картофельным листом в ямке.

— Беги скорей за Рыжиком,— сказал при этом я.— Увидишь, как он с ними расправится. (Еще два мышонка притаились поблизости, думая, что их никто не видит. Или, может быть, они не бежали и не двигались, чтобы не привлекать к себе нашего внимания.)

Олечка не торопилась бежать за Рыжиком. Личико ее сделалось задумчивым и грустным. Вдруг она сказала:

— Если ты принесешь Рыжика, то я не буду смотреть, как он с ними расправляется.

После этого уж я и не мог лопатой покончить с маленькими и, что говорить, симпатичными на вид зверушками.

Через некоторое время я заметил, что Олечка усиленно старается не смотреть в одну сторону, однако вроде бы косит туда глазами. Я обернулся и увидел еще одного мышонка, пробирающегося через огромные для него комья земли.

— Смотри, смотри, еще один! — сказал я дочери.

— Ну и что? — с показным равнодушием ответила мне она.

Теперь, уезжая в Москву и покидая на зиму с таким трудом, с такой хлопотливостью, с такой ревностью по-

саженные деревца, я вспомнил об Олечкиных мышатах, которым мы даровали жизнь под солнцем, и подумал, что именно они-то зимой набросятся в первую очередь на наши нежные деревца.

Чтобы этого не случилось, надо было каждое деревце обложить от корня до верхушки лапником, еловыми колючими ветками, либо можжевельником и в нескольких местах схватить бечевкой. Кроме того, полагалось укутанное таким образом деревце привязать к колышку, чтобы не поломало бурей или мокрым снегом. Хвоя хороша не только от мышей, но и от зайцев. Впрочем, зайцев что-то поменело в наших в общем-то зайчиных краях.

Когда я заключил в своеобразный колючий футляр последнее деревце, невольно подумалось, что теперь, какие бы ни были неотложные общественные, писательские, служебные, семейные дела, в апреле обязательно нужно приезжать в деревню, чтобы к началу движения соков и пробуждения почек освободить яблони и вишенки. Спасительные зимние «футляры» обернутся для них тюрьмой, да и не тюрьмой даже, а как если бы похоронили во время летаргического сна и тем самым обрекли на мучительное задыхание.

Нужно было еще вылить под каждое дерево ведро воды. Тетя Анна Абрамова, заметив, что я десятый раз иду на пруд с ведрами, вышла из дому и спросила:

— Что, Володя, или прививочков посадил?

— Посадил, тетя Анна.

— Сердце кровью у меня за вас обливается — ведь повыдергают.

Эта мысль, признаться, вовсе не приходила мне в голову. Мороз загубит — понятно. Мыши погрызут, зайцы обгложут, по другим причинам не отродится деревце — все понятно, но чтобы человек... После такого нашего труда, после того, как, можно сказать, душу вложил в незнакомое доселе, но в благороднейшее на земле дело и оставил частицу души здесь на зиму с этими робкими веточками и робкими корешками...

Впрочем, может быть и другое рассуждение: самая пора делать посадки. За прививками надо ехать в Суздаль — большая канитель, да еще платить за каждый прививок семьдесят копеек новыми деньгами. А тут одно удовольствие: в чужом огороде выдернуть, в своем по-

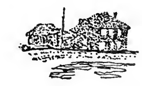
садить — пошло расти дерево. Ему ведь, в сущности, все равно, хоть ты и вкладывал свою, ну как ее... душу.

Нюра Московкина, напротив, успокоила:

— Не выдергают. Что-то не слыхать до сих пор было. Никогда не слыхали. Правда, уедете вы все — вот что плохо! — И уж не к разговору добавила: — Вы окна-то не заколачивали бы на зиму. Веселее в селе, когда нет заколоченного дома. Ничего, поглядывать будем. А то идешь мимо заколоченных окон, и так тоскливо делается...

Я пишу все это даже не в Москве, а в Болгарии, в гостинице с видом на красные, но черные от копоти черепичные крыши Софии, куда на два зимних месяца занесла меня моя ветреная, не всегда руководящаяся целесообразностью судьба. Смотрю на черепичные крыши, а вижу заснеженное мое российское село и посаженные мною впервые за всю жизнь деревца посреди глубокого снега.

Приехать бы к ним в апреле, выручить бы, помочь бы отродиться и вырасти! Дождаться бы цвета, дожить бы до плодов, до тихой, но глубокой радости садовода!



СОДЕРЖАНИЕ

Солоухин Владимир Алексеевич
МАТЬ-МАЧЕХА (р о м а н, р а с с к а з ы)
М., «Московский рабочий», 1969
488 с. P_2

Редактор *Д. Терентьева*
Художник *В. Саксон*
Художественный редактор *А. Игнатьева*
Технический редактор *М. Похлебкина*
Корректор *К. Андронова*

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, пр. Владимирова, 6

Л 49216. Подписано к печати 15/IV 1969 г.
Формат бумаги 84 × 108$^1/_{32}$.
Бум. л. 7,62. Печ. л. 25,62. Уч.-изд. л. 25,32.
Тираж 100 000. Тем. план 1969 г. № 246. Цена 1 руб.
Заказ № 1855.

Типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

